ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[5] 2009

РОМАН АДАМА ТОРПА "ПРАВИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ" / СТИХИ О ВОЙНЕ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ / ФРАГМЕНТЫ РОМАНА ДЖОНАТАНА ЛИТТЕЛЛА "БЛАГОВОЛИТЕЛЬНИЦЫ" / РАССКАЗ АРТУРА МИЛЛЕРА "ПРЕДСТАВЛЕНИЕ" / ФРАГМЕНТ КНИГИ УИЛЬЯМА Т. ВОЛЛМАННА "ЕВРОПА-УЗЛОВАЯ" / "ДВА ДНЯ С ЧЕРЧИЛЛЕМ" ЖАКА ДЮШЕНА В РУБРИКЕ "ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА"

Основан в 1955 году

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ ПОЭЗИИ И КУЛЬТУРЫ 2009

5-10 • ИЮНЯ • ЛОНДОН

При поддержке:
Федерального Агентства «Россотрудничество»
Посольства России в Великобритании
Посольства Великобритании в России

Главные медиа-спонсоры:
Агентство: **РИА-Новости**
Газета: **Аргументы и Факты-Европа**
Телеканал: **ТВ Центр**

15.04.2009

Оргкомитет продолжает прием работ на 7-й Международный фестиваль русской поэзии и культуры «Пушкин в Британии-2009».
На Турнир литературного перевода вынесен 5-й сонет Шекспира из поэмы «Sonnets to sundry notes of music», никогда не переводившийся на русский.
Денежные премии, фирменная статуэтка, телевидение, публикации в центральной российской и зарубежной прессе, выпуск книги финалистов.
Последний день приема рукописей 10 мая 2009 года.
В жюри – известные деятели культуры. С 2003 по 2008 годы в жюри в Лондоне побывали: Римма Казакова, Людмила Улицкая, Юрий Поляков, Александр Городницкий, Сева Новгородцев, Виктор Ерофеев, Лариса Васильева, Наталья Иванова, Владимир Бондаренко, Авдотья Смирнова, Дмитрий Дибров, Михаил Попов, Евгений Бунимович и другие. Председатель жюри Олег Борушко.
Подробные условия – на сайте **WWW.PUSHKINinBRITAIN.COM**.

На фото:
Российско-британский круглый стол «Пушкин и Англия», впервые в истории 2-х стран – в клубе на Пэл Мэлл. На фото слева направо: заместитель руководителя Росзарубежцентра А. Чесноков, посол РФ в Великобритании Ю. Федотов, директор Библиотеки иностранной литературы Е. Гениева и Председатель Фестиваля О.Борушко

Фестиваль освещают телеканалы: Russia Today, ТВ-Центр, RTVI. **Газеты:** «Литературная газета», «Новое русское слово» (США), «Русская Мысль» и «Перспектива» (Франция), «Лондон-Инфо», «Англия», «Европа-экспресс», «Еврейская газета» и «Районка» (Германия), «Русская Газета» (Болгария), «Маяк» (Португалия),» «МК-Афинский Курьер», «Омония» (Греция), «Вентрия», «Наша газета» (Ирландия), «Славяне в Испании» и «Вести» (Испания), «Новости Бенилюкса», «Маяк» и «Слово» (Португалия), «Крона» и «Чехия сегодня» (Чехия), «Наша Газета» (Италия), «Европа-Кипр», журналы «Русская Швейцария», «Соотечественник» (Норвегия), и другие

Адрес: 80 Rochdale Rd • London • SE2 0XB, *Тел/факс*: +44 208 311 6577 • *Моб*: +44 79 00 99 39 18
E-mail: borushko@sky.com • www.pushkininbritain.com

[5]
2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

"Солдатам не светит хорошая смерть..."

3 Адам Торп *Правила перспективы.* Роман. Перевод с английского Н. Гайдаш, С. Соколова

135 Тамар Радцинер *Стихи.* Перевод с немецкого и вступление Игоря Померанцева

140 Джонатан Литтелл *Благоволительницы.* Фрагменты романа. Перевод с французского А. Лешневской, И. Мельниковой

193 Уильям Т. Воллманн *Последний фельдмаршал.* Фрагменты романа *Европа-узловая.* Перевод с английского и вступление А. Нестерова

205 Артур Миллер *Представление.* Рассказ. Перевод с английского Олеси Качановой

Из классики XX века

220 Эрнест Хемингуэй *"Солдатам не светит хорошая смерть..."* Стихи о войне. Перевод с английского и вступление Максима Свириденкова

Документальная проза

224 Жак Дюшен *Два дня с Черчиллем.* Глава из книги. Перевод с французского Ирины Волевич

Война глазами детей

245 Ян Эрик Волл *Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии.* Перевод с норвежского Н. Федоровой

266 Войцех Лободзинский *Моя война.* Из воспоминаний. Перевод с польского С. Тонконоговой

Среди книг

274 Алек Д. Эпштейн *Ханна Арендт и суд над Холокостом*

БиблиофИЛ

279 *Информация к размышлению. Non-fiction* с Алексеем Михеевым

Авторы номера

284

© "Иностранная литература", 2009

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года – "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

О. Д. Дробот
заместитель главного редактора

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская
заведующая отделом критики и публицистики

Международный совет:

Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция:

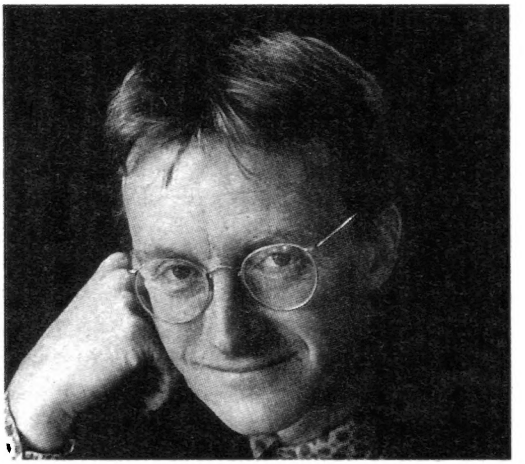
М. М. Алексеева
О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
А. Ю. Лешневская
Е. М. Мамардашвили
И. В. Мокин
К. Я. Старосельская
М. Н. Томашевская
Л. Г. Харлап
А. Ю. Шередега

Общественный редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Н. А. Богомолова
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
Т. Д. Венедиктова
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Г. А. Дашевский
Б. В. Дубин
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
А. В. Михеев
М. Л. Салганик
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Фонда Первого Президента России Б. Н. Ельцина

Адам Торп



Правила перспективы

Роман

Перевод с английского Н. Гайдаш, С. Соколова

Памяти моей матери
Шейлы Торп
и моего отчима
Джорджа Вистрейха.
Оба знали цену войне.

Знаю ли я себя? Я ли пишу эти строки? Чья тень выдает себя за мою? Я дерево, я прах, я тьма. Я крохотная частица Вселенной, которая обо мне и знать не знает. Я скрип половицы, моя гибель неминуема. Но я должна жить – или мир погибнет.

1

НАСТУПЛЕНИЮ 346-го пехотного полка на Лоэнфельде утром 3 апреля 1945 года предшествовал артобстрел. Еще не пробило одиннадцати, когда от прямого попадания фосфорного снаряда загорелся художественный музей. Теперь за крепкими стенами Музея кайзера Вильгельма поселился огонь. Зал за залом наполнялись дымом и погружались в пламя. Языки ползли по стенам, лизали потолок. Огонь прорывался через те самые двойные двери, которые каждый вечер аккуратно закрывал хромой вахтер герр Вольмер, те самые двери, круглые

© Adam Thorpe, 2005
© Н. Гайдаш. Перевод, 2009
© С. Соколов. Перевод, 2009

медные ручки которых до зеркального блеска утром по понедельникам полировала старшая уборщица фрау Блюмен. Теперь эти ручки, как маленькие цветные телевизоры, на тридцать лет опередившие время, с идеальным качеством транслировали багровое сияние. Залы, по счастью освобожденные более года назад от некогда наполнявших их сокровищ, один за другим встречали огонь. Рев пламени и грохот падавших стен заглушал доносившийся снаружи гул обстрела. В дальних, еще не тронутых огнем помещениях этот кошмар казался не столь ужасным, напоминая звук бушующего вдалеке моря. Здесь еще оставалось несколько скульптур, слишком тяжелых для эвакуации, — в основном современные работы Арно Брекера, Векерле, Климша (или подражания им). Суровые героические фигуры с плоскими животами и мускулатурой борцов — жалкое подражание эллинским образцам: центр тяжести на левую ногу, правая расслаблена, непременно с огромным тевтонским мечом или олимпийским факелом; эти топорные имитации (до неприличия пошлые, как в случае изогнувшейся обнаженной фигуры под названием "Заря" с сосками-пулями... — так один молодой скульптор надеялся привлечь внимание фюрера) эллинской гибкости, эти массивные скульптуры ждали прихода огня, будто последние преторианцы, охраняющие зажравшееся божество. Переступив порог, пламя захватывало залы почти мгновенно, торопливо; каменные и бронзовые фигуры исчезали и снова появлялись золотыми пятнами в черных прожилках (в дыму и тенях, отбрасываемых огнем), лица на угловатых головах выглядели скорее растерянными и бессмысленными, чем героическими. Будь это греческие подлинники или, на худой конец, римские копии, возможно, на их лицах отразилась бы бесконечная печаль при виде гибели всего вокруг. Но нет, то были беспомощные подражания, пытавшие скульптурную пластику внешним реализмом; "Заря" выставила напоказ вены в сгибах локтей и на лодыжках, все эти трудоемкие детали накладывались на плохо понятую скульптором геометрию совершенства. Камень выглядел дешевой подделкой под плоть, но плоть, дышащую не человечностью и уязвимостью, а так, как, скажем, дышит Афродита Киренская, несмотря на очевидную собирательность образа. Сколько посетителей музея восхищались фигурой "Зари", установленной на галерее, как у входа в бордель, и у скольких сердца наполнялись гордостью за достижения рейха! Сейчас, когда огонь поднимался по ступеням, она выглядела не лучше уличной девки в ожидании клиента. Пламя лизало холодное тело, затягивало его в огненные вихри и наконец поглотило "Зарю", как будто ее и не было.

Обвалился треснувший от удара снаряда потолок. Рухнула балка и сломала статуе шею, отвалившаяся голова покатилась вниз по каменной лестнице, но перекладины под ступенями прогнулись от жара, и лестница обрушилась, подняв фонтан искр; осталась висеть лишь часть железных перил. Изящная аллехская фарфоровая молочница, стоявшая в нише в середине лестничного пролета, уцелела — чудо, что случается при пожарах. А когда появились американские солдаты, осторожно перебираясь через развалины под негромкие причитания старой, опирающейся на палку женщины в черном, следившей за ними с дороги, на столе вахтера так и лежала сложенная газета. В океане разрушений стол остался почти целым, и газета под слоем сажи и пепла была совершенно невредима; а заядлый курильщик герр Вольмер, вот уже тридцать один год служивший в Му-

зее вахтером, полноватый и дружелюбный, если познакомиться с ним поближе, герр Вольмер, помнивший место каждой скульптуры и картины в своем Музее, имевший тайную слабость к "Заре" и обручившийся с ней в тишине ночи, герр Вольмер лежал рядом со столом, как обгоревшее бревно, неотличимый от скульптур, тут и там видневшихся из-под обломков.

Прислушайтесь: голоса. Голоса доносятся снизу. Когда у тебя нет голоса, ты – книга без слов или картинок. У меня нет голоса. Это чужие голоса, они рвут меня на части.

2

Большинство картин, скульптур, изъеденной червем деревянной церковной резьбы, драгоценных старых книг в переплетах свиной кожи и тонкого пергамента, а также небольшая, но достойная уважения коллекция глобусов эпохи Возрождения – с Исландией, но еще без Америки – покоились в соляном руднике неподалеку от Лоэнфельде. Их эвакуировали спустя несколько месяцев после бомбежки Гамбурга. Эта катастрофа (вкупе с приказом Министерства пропаганды) убедила кураторов, что музейное собрание в опасности, пусть даже по военным меркам Лоэнфельде и не имел особого индустриального или стратегического значения. Составили опись; как только рудник был готов принять коллекции, туманным мартовским днем 1944 года их через леса Тюрингии доставили под его безопасные своды.

Из собрания музея мало что сохранилось. Например, была утрачена четыреста тридцать одна картина из четырехсот восьмидесяти – некоторые, без сомнения, украли из рудника еще до того, как он обрушился во время жестоких боев 5 апреля 1945 года между наступающими американцами и остатками войск СС.

Часть работ была спрятана в самом Музее. Эти картины – около сотни, не обязательно самые ценные – все последние годы войны были укрыты в подвалах. Знали об этом немногие.

Нужно сберечь образ времени. Но времени вовне не существует. Время – это моя кровь. Я слышу, как оно пульсирует. Кровь – это не образ, это звук. Может статься, мой удел – сберечь звук времени.

3

На фотографии 1901 года позади собравшейся по случаю открытия помпезного бюргерского мемориала толпы виднеется забор – неодинаковой длины доски, покрытые обрывками старых плакатов. Это и был вид на Музей, который прежде успел побывать "замком, сараем кожевника, винными погребами, фабрикой поташа, пустырем, откуда в 1799 году прогнали цыганский табор, построенной из сосны школой для сирот, которая сгорела в 1863 году..." (Вернер Оберст. История Музея кайзера Вильгельма, 1935).

Древние подвалы замка, куда вели истертые каменные ступени, пережили все эти перемены, какое-то время даже служа тюрьмой. ("Как две огромные хлебные печи, установленные перпендикулярно друг другу", – так писал о подвалах Музея Вернер Оберст.)

Два года спустя было дано разрешение на строительство Музея, который, по словам местной газеты, "будет достоин богатой истории и высокого уровня культуры Лоэнфельде. Шедевры искусства, до сих пор выставленные в трех комнатушках позади городской ратуши, будут объединены со знаменитой палеонтологической коллекцией Шмелинга, старинными книгами и рукописями из библиотеки Лоэнфельде в просторных чистых хранилищах, достойных нового века".

Построенный в рекордные сроки Музей был открыт экспозицией гравюр Дюрера под волнующие звуки местного военного оркестра, ведь на церемонии присутствовал сам кайзер. За три месяца на Дюрера пришли посмотреть тринадцать тысяч сто девяносто один человек. Сохранилось свидетельство, что первые посетители главного зала, откуда мраморными дугами поднимались вверх величественные парадные лестницы, были вынуждены ходить по настилу вокруг мозаики Ханса Тома (крупные цветы и голые младенцы).

Самой успешной выставкой музея стала Entartete Kunst[1], которую привезли в Лоэнфельде в марте 1938 года. Посмотреть на "дегенеративное искусство" явилось невообразимое количество людей — сто сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь человек, в пять раз больше, чем на любую из прежних выставок. Посетители шли гуськом по тесным коридорам, специально сооруженным из решеток и брезента, громко разговаривали и смеялись, как в кабаре, то и дело задевая работы модернистов своими плечами, локтями, задами. Втайне от всех подвалы Музея уже приняли под свою защиту некоторые из картин.

Вот оно – счастье. Я вижу движение света. Я слышу то, чего никто не слышит.

4

Подвалы выгорели дотла.

Американцы нашли обугленные холсты, черные рамы со следами позолоты и трупы четырех сотрудников музея (кто они, американцы не знали). Слишком сильный жар сверху. Возможно, они изжарились медленно, как в гигантской хлебной печи; возможно, умерли быстро, когда обвалилась часть крыши; но наиболее вероятным представлялось, что они задохнулись от угарного газа — подобное было замечено еще в Гамбурге. Солдаты этого толком не знали, да их это и не слишком занимало.

Солдаты не искали картины, они искали выпивку. В подвал спустились пятеро из восьмерых патрульных. Их задачей было проверять дома, обнаруживать снайперов, искать мины. Мин и снайперов не было. Пока. Все равно этот патруль был полнейшим бредом, город кишел как своими, так и немцами — штатскими, бродившими повсюду: беженцы среди беженцев. В остальном приказ был как обычно — стрелять во все, что движется.

Все, кроме одного, поднялись наверх.

Последний должен был бы руководить ими. Но дома, в Западной Виргинии, капрал Нил Перри когда-то, желая упрочить свою рекламную карьеру, изучал изобразительное искусство. До сих пор ему невероятно везло, он даже заполучил заказ на "Девушку у водопада" для Кенси-

1. Дегенеративное искусство (*нем.*). (*Здесь и далее – прим. переводчиков.*)

тас. Ссутулившись, он ворошил обгорелые останки картин. На холстах пятна — черные на черном; обуглившиеся охра и умбра́ пузырились и осыпались с холста, как со дна сковороды. Перри нашел табличку с парой слов из названия, остальное обгорело.

mit Kanal

Он положил табличку в нагрудный карман. Суконная куртка со всеми ее ремешками, карманами и заклепками казалась ему смирительной рубашкой. Слишком теплая для первых весенних дней. Вернувшись домой, он повесит табличку в рамку и назовет ее "Осколок войны".

Табличка на табличку.

Четыре мертвеца сидели у стены, застывшие, как слепки погибших в Помпее; Перри не мог думать о них как о людях, пусть даже один был в очках. Они больше походили на болванки, заготовки, требующие дальнейшей обработки. Было темно, но Перри знал, какие цвета таятся в их темноте — темно-красный, лиловый. Один труп обнимал другого — радости сердца сгорели, как и все, что тут было горючего.

Капрал присел на корточки, не торопясь наверх, где нет ни минуты покоя, где нужно отдавать и получать приказы и где ты все время в гуще событий. Эта часть подвала уцелела, мощная балка удержала потолок. Сверху пробивались солнечные лучи, резко прочерченные в дымном воздухе. Перри даже не задумывался, безопасно ли здесь оставаться. Кто-то кричал сверху — один из новеньких, — но он не слушал. Он очень устал. Перри понимал, что хуже командира, чем он, надо еще поискать, но сейчас, на самом дне усталости, ему было все равно. В любом случае этот патруль — пустая трата времени. Как и многое другое.

Он сдвинул каску на затылок и протер глаза, которые щипало от дыма. Пока работала артиллерия и горел город, войска ждали в полях — длинная колонна танков на широкой автостраде, за ними пехота, — а впереди из-за пологого холма поднимались черные клубы дыма; там, куда падали снаряды, виднелись красные всполохи, быстро утопавшие в дыму.

Оттуда не было видно даже крыш, лишь церковный шпиль торчал над гребнем холма. Но солдаты и так знали, что́ увидят, когда в конце концов войдут в город.

Они уже побывали в стольких местах — стратегически́ важных и не слишком, с мостами, рыночными площадями, широкими и не очень улицами и улочками, ощетинившимися ружьями там, где немцы не сдавались; они бомбили и убивали, пока все улицы и улочки не превращались в проспекты, потом входили в город и шагали по этим проспектам, как на параде, и только время от времени, когда никто не ожидал, снайперы снимали кого-нибудь из них.

Они форсировали Рейн полмесяца назад под Везелем, будто какие-то римляне. В Везеле остались целы только батареи отопления. Да запах сырой сажи. Да развалины, к которым невозможно прикоснуться, как к только что выключенному фонарю. Странно, но развали́ны всегда выглядят одинаково. У сдавшихся немцев под глазами были темные круги, и все они были либо слишком старые, либо слишком молодые, и, что особенно злило, некоторые все равно пытались сопротивляться несмотря ни на что.

Он пнул какой-то обломок, пнул обгорелые рамы и обуглившиеся холсты и повернулся к выходу. Вдруг цветовое пятно — лоскут чистого неба в сточной канаве — привлекло его внимание.

Осторожно порывшись в обгорелых останках, Перри вытащил небольшую картину.

Вот оно. В картинах он понимал больше, чем, скажем, в химии или верховой езде.

Или в стихах, хотя лет в пятнадцать-шестнадцать пробовал сочинять стихи, когда одолевала тоска.

От позолоченной рамы осталось три четверти, держалась она плохо, и картина чуть не выпала на пол, так что пришлось придержать холст сзади. Перри смахнул клочья горелой бумаги и вынес находку на свет, пробивавшийся между сломанными балками; картина потянулась к свету, как стайка цветных рыбок.

Это был пейзаж. Он чуть не прослезился.

Деревья, пруды и камни.

Чудо что за картина. О ней хотелось кричать. Во-первых, старая, а во-вторых, стоит больше, чем можно себе представить, и так же хороша, как бывает хороша девушка, если не приглядываться.

Сердце колотилось как бешеное, в горле пересохло.

Он зажмурил глаза, которые опять защипало, потом вгляделся в нее снова. Огонь не пощадил раму и ослабил гвозди, которыми она крепилась, и только. Наверное, при более внимательном осмотре найдутся места, где краска пошла пузырями, но сейчас он не видел ни пузырей, ни даже самых маленьких пупырышков, хотя и знал, что́ может сотворить с краской жар. Перри зажег бы фонарик, но чертовы батарейки опять сели. На заднем плане пейзажа виднелись золотистая деревенька и снежные горы. Впервые за долгое время он был счастлив.

Света хватало, чтобы различить обгорелые буквы внизу рамы — ch, потом o, потом, кажется, два раза nn — и ниже Christian Vollerdt (1708–1769) "Landschaft mit Ruinen"[1]. Художник, видимо, был немцем. Это имя Перри видел впервые, но он вообще мало знал о немецкой живописи. Он напрягал память, пытаясь вспомнить хотя бы одного немецкого художника. Ну, хорошо, Дюрер. Жаль, что это не Дюрер. Или не Рембрандт, не Тициан, не Микеланджело, не Винсент Ван Гог.

Он сжимал картину в руках, не слушая криков и смеха сверху.

Крошечная фигурка в огромной шляпе, вдали руины с колоннами. Ни кустика. Зато овцы. Конечно, дурак ты эдакий, откуда здесь взяться Ван Гогу.

Он знал, что́ они думают — они думают, что начальник патруля задержался по нужде. Но на самом деле три дня назад в бункере под Оффенбахом он нашел буханку черного хлеба, и сейчас живот у него крутило. Все его чувства затаились в ожидании.

Послышался шум и кашель. Обернувшись, он увидел в облаке пыли Моррисона, державшегося за свой M1 так, будто он боялся того, что найдет внизу. Его лицо было перемазано сажей, отчего белки глаз казались еще белее.

— Мне бы кампари холодненького, Нил. С собой.

— Тебе с лимоном или так?

Моррисон был своим хотя бы потому, что с самого начала, с самой Нормандии был рядом с Перри, а Перри был рядом с ним — по эту сторо-

1. Кристиан Фоллердт (1708–1769) "Ландшафт с руинами" (*нем.*).

ну ада, где пахло бурями, и горели живые изгороди, и мечталось только о плотном завтраке, — под снегом, в заминированных лесах; они шли голодные, холодные, не спавшие, то под обстрелом, то под бомбежкой и так до самого Лоэнфельде. Два последних сопляка, оставшихся от первого призыва. Они не были дружны. По крайней мере, сам Перри не выбрал бы капрала Моррисона в приятели. Хуже того, Моррисон действовал на нервы, но рядом с ним опасность, казалось, отступала. Вдвоем они были неуязвимы. Самое страшное, что враг смог им сделать за все время, случилось где-то под Сааром — осколок шрапнели пробил Моррисону фляжку и оцарапал Перри ухо. Они начинали рядовыми первого класса и потихоньку, по мере того как гибли остальные, росли в званиях — ни талант, ни героизм не имели к этому никакого отношения. На одном сложном переходе, когда погибли все старшие офицеры, Перри почти полдня командовал целым пехотным взводом. Он был и. о. капитана пять часов, и раз за ним не оставили этого звания, значит, справился он из рук вон плохо. Перри даже не знал, что остался за старшего, а когда понял, геройствовать было уже поздно. Но Нил Перри никогда не думал о званиях, да и необходимость вспоминать о них представлялась нечасто. Не та это была война. Он делал что мог — был так себе солдатом, ни плохим, ни хорошим. И выживал — вот уже полгода на фронте. Рядом с Моррисоном.

— Ну так, Нил, послушай. Знаешь, чего я вдруг такой свеженький?

— А ты в этом уверен?

Расхохотавшись, Моррисон пересказал последние новости: оказывается, в этом городе будет остановка на пару дней — просушить ботинки, отожраться и помыться, а потом он найдет себе девчонку, потому как у него уже такой стояк, что ходить невозможно. Наступление идет слишком быстро, и линия фронта уже давно не линия. Разные подразделения наступают на одни и те же города с противоположных сторон и начинают палить друг в дружку, но это военная тайна. Перри кивнул, слушая вполуха. Моррисон всегда говорил слишком громко, в подвале это особенно чувствовалось. Его голос отражался от стен и бил по барабанным перепонкам. Сейчас он почти кричал.

— Сначала ототру с себя всю грязь, — говорил он, — наемся от пуза, потом одна девочка, потом вторая. А это что за черт?

— Картина.

— Вижу, что картина. Сначала отмоюсь, потом на боковую, потом пожру, потом найду девчонку, и она мне поднимет настроение, а потом вторую, может, сразу двух. Решил прибрать к рукам?

— Просто на глаза попалась.

— В жизни не рисовал, — заявил Моррисон. — В школе на геометрии не мог нормальный круг начертить.

— Линия не смыкалась?

— Даже с циркулем.

— Тогда это был не круг. Так же как пруд — не озеро.

— А мама говорила, это потому, что я гений. Можем упереть вместе, деньги пополам. Что с дохляками делать? — И Моррисон сделал вид, что целится в мертвецов.

— Морри, это такие же парни, как мы.

— Эти два точно не парни, — заявил Моррисон, глядя на два обнявшихся трупа. — Хотя кто их теперь разберет.

— В жизни бы не поверил, — ответил Перри, не думая, о чем говорит.

Он слишком устал. Моррисон мог бы и уйти. Перри хотел остаться с картиной наедине. Пейзаж напоминал о чем-то из детства. Давно забытом.

Мистер Кристиан Фоллердт. Великий художник. Величайший. Может быть. Всех не упомнишь.

Моррисон вскинул карабин на плечо и пошел обходить развалины, с каждым шагом поднимая тучи пепла, от которого першило в горле. Он споткнулся об один из трупов, от которого отвалилась стопа — взяла и отвалилась. Моррисон не заметил. Из-под каски виднелась его крепкая шея, на которой свиной щетиной топорщились редкие рыжеватые волоски. Из-за одной только этой шеи Перри не пошел бы с ним даже в поход. Даже на один день. Да хоть на полдня не пошел бы.

— Знаешь, чего ребята затеяли, а, Нил? Они там с девчонкой развлекаются, очень красивая девчонка, только без головы.

— Что?!

— Ага, — солдат, не удержавшись, прыснул. — Мраморная. Статуя.

И заржал, как сумасшедший, а четыре обгорелых трупа сидели с открытыми ртами, неподвижные, как камни.

Господи, прошу, вспомни обо мне. В лесу так много демонов. Так много глаз. Где-то есть свет и есть тень. Здесь нет света и нет [тени?]. И все-таки, я не верю, что это конец.

5

Того, у которого на носу до сих пор красовались очки, звали герр Хоффер, и был он и. о. и. о. директора Музея.

Тревога началась в шесть утра и не умолкала — что было весьма необычно — целый час. Оставив скудный завтрак нетронутым, он проводил жену и дочерей с заранее собранными чемоданами в убежище, надел на рукав фольксштурмскую повязку и поспешил в Музей.

Время приближалось к половине седьмого. Кругом метались такие же до сих пор не укрывшиеся под землю недоумки, казалось, что все почему-то бегут в противоположную сторону. Снаряды били вслепую и падали довольно далеко. Он проехал городскую площадь — на неровной мостовой велосипед трясло, и клацали зубы — мимо кучи мусора, до январской бомбежки бывшей его любимым зданием в Лоэнфельде. Мусор никто так и не расчистил. Это была обязанность ортсгруппенляйтера, но тот давно спился. А может, так проявилась своеобразная дань уважения к старейшему и прекраснейшему зданию города, нежно-розовому между темными балками и великолепному в простоте и изяществе пропорций. Даты строительства на доме не было, не было никаких данных и в архивах, но, без сомнения, здание, до недавних пор служившее респектабельной гостиницей, построили одним из первых после шведского нашествия 1631 года.

Каждый рабочий день герр Хоффер крутил педали мимо местных достопримечательностей и размышлял на подобные темы. Его, к примеру, приятно щекотала мысль, что после Резни[1] в Лоэнфельде первым делом

1. Здесь и далее автор сознательно изменяет реальные события, имена и названия.

выстроили гостиницу, что казалось ему весьма показательным. (Когда-то он любил выпить в ней светлого пива, отсутствие коего в последние годы чрезвычайно удручало.) Затем, полагал герр Хоффер, власти приступили к возведению собора. В те времена гостиница, несомненно, служила также и борделем. В 1631-м население Лоэнфельде вырезали под корень — все двадцать тысяч, — так что поначалу в городе обитали лишь плотники, столяры и каменщики. Самые ненасытные профессии.

Особенно часто вспоминалась эта страница местной истории тогда, когда он по рабочим дням катил на велосипеде в Музей — мимо ратуши, где ежедневно в один и тот же час мелодично били часы, укрепляя веру в мировой порядок; и, конечно, когда светило солнышко или сиял перламутровый весенний рассвет, принося с лугов и садов нотку свежести, которую были способны передать лишь величайшие живописцы. Коро, например. Или Клод Лоррен.

Оранжевая вспышка озарила небо, за ней последовал грохот. По слухам, американцы подошли так близко, что их артиллерия уже доставала до города. Может, это снаряд. Бомбардировщиков в ясном утреннем небе не видно, не слышно и зенитных батарей. Может, слухи и врут.

Мысли обратились к жене и дочерям. Он притормозил, раздумывая, не повернуть ли назад, повилял по дороге, но взял себя в руки и двинул дальше. Следует исполнять долг. Вообще-то герру Хофферу, в октябре призванному в фольксштурм, полагалось быть на поле боя, но его батальону было практически нечем воевать, да и формы на них не нашлось, к тому же в последний раз седовласого компанифюрера видели выезжающим из города на своем велосипеде с корзинкой. Поэтому долг герра Хоффера был предельно ясен: защищать Музей и остатки его коллекции от чего и кого бы то ни было.

Он ехал вперед сквозь дым, в котором люди казались пустыми контурами людей, какими-то перепуганными тенями. Перспектива того, что он увидит, когда окажется на месте, пугала. Перед его мысленным взором предстала четкая картина: "Кайзер Вильгельм" в руинах, уже поросший плющом и довольно романтичный с виду, а вокруг — только каменистые поля да случайный пастух на заднем плане. На затянутом тучами небе редкие проблески розоватого. Ветер. Лоэнфельде как римский Форум — Мекка для художников. Но останутся ли художники после разгрома?

Колесо зацепилось за трамвайные рельсы, и на руле звякнул колокольчик.

Музей занимал два квартала на пересечении улиц Фрица Тодта (бывшей Линденштрассе) и Отто фон Герике. Построенное в 1904 году здание своей игривой экстравагантностью вполне соответствовало данному периоду: высокая круглая башня, завершенная куполом, почти целиком стеклянная кровля и островерхие пристройки, чьи фасады повторяли элементы декора известных соборов. Широкая мощеная площадка вкупе со стоявшим, словно часовой, в углу перед зданием приземистым монументом прославленному бюргеру придавали этому довольно нелепому строению некую торжественность.

За несколько метров до Музея герр Хоффер всегда слезал с велосипеда и шел дальше пешком — его умиротворяло благородство широкой мостовой. Даже сегодня, когда на город падали снаряды и к вечеру, видимо, стоило ждать наступления американцев, — даже сегодня он не из-

менил привычке и последние несколько метров прошел пешком, держа велосипед за руль. Колеса подскочили на невысоких закругленных ступенях крыльца, с которого, замерев, словно статуя, следил за его приближением герр Вольмер.

Вахтер курил и казался взволнованным. Он тоже повязал на рукав фольксштурмскую повязку, но одет был в старую, кайзерских времен шинель и помятый островерхий шлем. Издалека доносились взрывы, похоже было, что бомбят по периметру. Как будто нарочно, чтобы развеять иллюзии, за большими домами по соседству раздался грохот и поднялось облако черного дыма.

Они перекинулись парой слов и вошли внутрь. Герр Хоффер закашлялся, окутанный облаком дыма от горького дешевого табака вахтера. Увы, его запасы никак не кончались!

Все собрались в общем зале у подножия башни, отделенном от кабинета герра Хоффера стеклянной дверью. Фрау Шенкель и Вернер Оберст уже ждали их, как и Хильде Винкель, хорошенькая студентка, часами рисовавшая музейные скульптуры. Единственный не уволенный смотритель (теперь в Музее все равно показывать было нечего) не явился. Не было и фрау Блюмен, последней оставшейся уборщицы, обычно трудившейся по утрам с шести до восьми. Как любил повторять герр Хоффер, это был музей-призрак.

Фрау Шенкель, музейный секретарь, с торжественным видом сидела за старомодным "ремингтоном" и курила сигарету из заначки, неподалеку стоял архивариус Вернер Оберст с бледным рябым лицом. Он тоже повязал на рукав гражданского пиджака фольксштурмскую повязку. Как, бывало, шутил герр Хоффер, если считать герра Вольмера, то на страже искусства стоял батальон из трех человек.

Герр Хоффер прокатил велосипед между столами, ободряюще улыбаясь собравшимся.

— По нам бьет артиллерия, — тихо сказал Вернер. — Это уже не бомбы с неба.

— Я пришел к тому же выводу, Вернер, — согласился герр Хоффер. — Сначала они сотрут нас в порошок, а танки и пехота докончат начатое артиллерией.

— Если вы и дальше будете продолжать в том же духе, я возвращаюсь в Берлин, — заявила фрау Шенкель, не имея в виду ничего конкретного.

— Я и не знал, что вы из Берлина, — ответил герр Оберст, тоже ничего не имея в виду.

— Лучше американцы, чем русские, — проговорила Хильде Винкель, теребя верхнюю пуговку блузки.

— Как будто можно выбирать, — отозвалась фрау Шенкель.

— По-моему, фрейлейн Винкель права, — сказал герр Хоффер.

— Солдаты есть солдаты, — возразила фрау Шенкель, — особенно если они не немецкие. Где-то в России благодарные крестьяне подарили корзинку чернушек моему дорогому покойному мужу.

— Фрейлейн Винкель молода и хороша собой, — с неуместной жизнерадостностью произнес Вернер. — Американские пехотинцы вряд ли ограничатся тем, что поцелуют ей ручку.

Хильде Винкель схватилась за горло, как будто собралась удушить себя на месте.

— Фрейлейн Винкель, ни один американский солдат и пальцем вас не тронет. Иначе ему придется иметь дело со мной, — поспешил успокоить ее герр Хоффер.

Вернер хмыкнул.

— Все, кто находятся в этом здании, — продолжал герр Хоффер, все больше распаляясь от собственных слов, — под моей официальной защитой. Все вы. Даже герр Оберст, — добавил он, не желая снизить пафос.

— Вряд ли мной заинтересуются даже самые отчаявшиеся солдаты. А впрочем, спасибо, Генрих. Теперь я могу спать спокойно.

— Герр Хоффер, — прошептала Хильде Винкель, — я в самом деле очень вам благодарна.

Герр Хоффер с довольным видом кивнул, снял перчатки и предложил всем сесть вокруг стола.

Что делать дальше, он понятия не имел.

Большая часть коллекции была упрятана в тридцати трех километрах к северу от города на соляных рудниках Гримменберга, в шахте номер четыре; американцы промаршируют над ними, ни о чем не догадываясь, а когда война закончится, герр Хоффер вернет все в Музей. По ночам ему снились кошмары! Он подъезжает к рудникам на велосипеде, а шахту захлестнула волна мародеров, мгновенно заполнив четыреста сорок квадратных метров, и унесла все, оставив лишь голые стены. Почему-то во сне он всегда чувствовал себя одновременно и над и под волной и просыпался с криком, а фрау Хоффер приходилось успокаивать мужа, прохладной рукой стирая у него со лба мелкие капельки пота.

— Я считаю, — заявил герр Хоффер после непродолжительной дискуссии, во время которой здание ощутимо дрожало и в рамах дребезжали стекла, — я считаю, что нам стоит немедленно спуститься в подвал. Как верно подметил Вернер, это не обычный авиационный налет. Это артиллерийский обстрел, и американцы уже совсем близко. Спасибо вам, что продолжаете ходить на работу в такие тяжелые дни. Если вы предпочтете вернуться домой, я не стану вас удерживать. Хотя ходить сейчас по городу очень опасно.

Вернер опять фыркнул.

— За кого ты меня принимаешь, Генрих? За дезертира? Я снова в строю, — полушутя заявил он, похлопав себя по желтой повязке, на которой слова "Deutsche Volkssturm — Wehrmacht" были пришиты еще более криво, чем у Хоффера.

— Я тоже в вермахте, — ответил герр Хоффер, — и мой долг — сторожить картины в подвалах.

Он уставился на стол прямо перед собой — ему было неловко разговаривать с несколькими людьми одновременно. Заставив себя посмотреть на собравшихся, он поймал восхищенный взгляд Хильде Винкель, как всегда направленный куда-то чуть ниже его глаз. Он вспыхнул. Мелькнула мысль, что она, должно быть, еще совсем юной осталась без отца. А может, он действительно еще достаточно молод. Мужчины долго не стареют, если не...

— Но у вас семья, герр Хоффер, — сказала фрау Шенкель.

— У всех семья, — возразил Вернер.

— У некоторых она больше, чем у других, — нижняя губа фрау Шенкель предательски дрогнула.

Герру Хоффреру стало невыносимо стыдно, что он думает о Хильде Винкель, когда Сабина с девочками сидят в убежище.

— Я помню о своем долге, — сказал он неестественным фальцетом. — Пусть до сих пор слабое зрение мешало мне отправиться на фронт, но оно не помешает мне защищать родину. В убежище от меня было бы мало толку, жена сама отправила меня сюда. Вот я здесь — и останусь здесь до конца!

Волнение он спрятал за уверенным тоном, а в финале даже стукнул кулаком по столу. На самом деле Сабина просила его остаться. Но ни это, ни то, что он и не собирался сопротивляться американцам, ничего не значило. Правда, он еще не выяснил, что по поводу плана обороны думают остальные, и даже не знал, не вооружен ли Вернер — тот вполне мог взять с собой свой знаменитый пистолет.

— Я иду с вами, — решила фрау Шенкель. — Мне возвращаться не к кому.

— Я тоже, — прошептала Хильде Винкель. — Мой дом здесь.

— И мой, — вздохнул Вернер, подняв руку, как будто на собрании.

— А я не пойду, — заявил герр Вольмер.

Все удивленно воззрились на вахтера в островерхом шлеме и имперской шинели.

— Я должен оставаться здесь, — буркнул он. — Пока мне не покалечило ногу, два года в окопах просидел. И остался цел. И они мне ничего не сделают.

Все с облегчением рассмеялись такой безрассудной храбрости.

— Вряд ли американцы будут так уж бомбить, — вставила фрау Шенкель. — Они знают, что мы проиграли. Нашим мальчикам конец.

— Не говорите не подумав, фрау Шенкель, — пробормотал Вернер сквозь зубы. — Вы распространяете пораженческие настроения. Государственное преступление.

С Вернером Оберстом никогда нельзя было понять, язвит он или говорит всерьез.

— Но ведь я не Восточный фронт имею в виду! Там мы определенно побеждаем, герр Оберст! — огрызнулась фрау Шенкель, сверкнув на Вернера голубыми глазами.

— Я ни на что такое и не намекал.

— Вот и хорошо.

Даже сейчас, даже перед лицом крайней опасности эти двое не могут не пререкаться, подумал герр Хоффер.

Он забежал в свой кабинет собрать самые важные бумаги. Остальные занялись тем же, а герр Вольмер принес керосиновую лампу и запер входные двери.

Герр Хоффер любил свой кабинет. Любил стеклянную столешницу, которая словно бы продолжала собою окно — когда-нибудь он напишет этот оптический эффект, когда-нибудь, когда появится свободное время. Здесь приятно пахло бумагами, мастикой, которой натирали пол, и совсем неуловимо — еще со времен герра и. о. директора Штрейхера — трубочным табаком.

Герр и. о. и. о. директора Хоффер вынул из верхнего ящика стола разлинованный лист розоватой бумаги, взглянул на четырнадцать напечатанных строчек и сунул его в карман.

Протер очки, прислушиваясь к доносившимся издалека взрывам и пулеметным очередям. Его охватила усталость. В воздухе чудился запах

фейерверка; водрузив очки на нос, герр Хоффер сообразил, что ошибся, стекла не были грязными — в воздухе клубился дым. На столе, как всегда, стоял телефон; его уродливый черный шнур, опять же как всегда, тянулся к потолку. Вот уже неделю линия отключена. Все-таки он снял трубку и проверил.

Тишина.

Тишина такая неумолимая, как будто весь рейх исчез с лица земли или его завалило снегом. Подобная тишина бывает в горах после лавины.

Он задумался, не взять ли с собой бутылку марочного коньяка, припрятанную в столе. Подарок от нынешнего штурмбаннфюрера СС, в кабинете которого теперь висела одна из жемчужин музейной коллекции: "Mademoiselle de Guilleroy au Bain" Жана-Марка Натье[1]. Ее забрал из Музея еще предыдущий штурмбаннфюрер. Он имел на это все законные основания — за неделю до того, как его черный "майбах" остановился у парадного входа, герр Штрейхер получил приказ вычеркнуть все, касающееся этой картины, из инвентарной описи и аннулировать страховку. Тогда он вызвал в кабинет герра Хоффера и сказал: "Музей остался без стен". Затем закурил трубку, поставил пластинку с песнями Шуберта на стихи Гейне и ножом для бумаг принялся резать себе запястье. К счастью, нож был тупой. Это был уже второй нервный срыв и. о. директора Штрейхера.

Фрау Блюмен оттерла пятна крови с кожаной обивки, и герр Хоффер не без тайного удовлетворения занял директорское кресло. Оно стояло за директорским столом с тысяча девятьсот четвертого года! Так что, когда бывший штурмбаннфюрер в сопровождении трех своих молодчиков забрал из Музея картину, герр Хоффер формально находился во главе музея. Но сделать ничего не мог. Не полагалось даже долговой расписки, ибо картину брали не в долг. Герр Штрейхер оказался прав — у Музея действительно не осталось стен. Рейх снес их. Теперь стенами Музея стали границы рейха. Эсэсовцы, даже не удосужившись что-либо сказать, направились прямо к огромному полотну, ухватили его с обеих сторон за раму и пронесли до самого штаба СС, завернув всего лишь в брезент. Черный "майбах" элегантно полз сзади. Герру Хоффферу это напомнило похороны.

Это случилось в 1938 году, с тех пор прошло почти семь лет. Нынешний штурмбаннфюрер, переведенный сюда из Труа, прибыл с ящиками отборного коньяка. Ящики стояли в кабинете штурмбаннфюрера у окна. Герр Хоффер представил себе, как разбитое стекло впивается в пышные бедра мадмуазель де Гийруа.

— Прошу вас, — сказал тогда свежеиспеченный штурмбаннфюрер, протягивая коньяк 1921 года, — пожалуйста, не считайте меня неблагодарным.

Герр Хоффер решил не брать коньяк в подвал.

Вместо коньяка он прихватил несколько пластинок, оставшихся от герра Штрейхера, и обшарпанный патефон (прежде всего чтобы порадовать Вернера). Патефон был складной и в сложенном виде напоминал небольшой чемоданчик.

Герр Хоффер свято верил, что Музей находится под защитой каких-то, возможно, сверхъестественных сил, поскольку до сих пор ни бри-

1. Жан-Марк Натье (1685—1766) — французский художник, создатель стиля "исторический портрет".

танцы, ни американцы не пытались разрушить его довольно заметную башню. За прошедший год Лоэнфельде всерьез бомбили раз пять или шесть, и Музей (как и он сам, разумеется) оставался целым и невредимым. Герр Хоффер не слишком-то верил в Бога, но из уважения к соседям ходил в церковь почти каждое воскресенье. Однако к вверенным его заботам предметам искусства относился почти с религиозным трепетом; в особенности герр Хоффер почитал деревянную резьбу, представленную в средневековой экспозиции. Всю ее, кроме одной восхитительной скульптуры, надежно спрятали в соляных шахтах. Оставшуюся в Музее "Марию Магдалину в печали" тринадцатого века они с герром Вольмером спустили в подвал.

Это решение он принял сам, не спрашивая у герра Штрейхера. Точно так же именно он и никто другой придумал устроить кладовую в Зале гравюр за двойными дверьми, которые вели в подвальные помещения. Тщательно замаскированный рычаг открывал потайную дверь внутри кладовой; они с герром Вольмером сами все соорудили. Единственный вход в подземелье был искусно замаскирован. Его не обнаружило даже гестапо, нагрянувшее однажды в поисках евреев.

Герр Хоффер надеялся, что после войны его официально назначат на пост директора и все и всегда будет решать он сам. А пока он чувствовал себя не слишком уютно за стеклянной столешницей с бронзовым пресс-папье, ощущая себя самозванцем. Но герр и. о. директора Штрейхер был стар, болен и душевно слаб — вряд ли после третьего срыва он когда-нибудь придет в себя настолько, чтобы снова взвалить на себя весь груз ответственности.

Рейх сломал его, но рейх не сломал герра Хоффера.

Они уже направлялись к спуску в подвал через пустые залы, а герр Хоффер все вспоминал герра и. о. директора. Вернер с пластинками под мышкой, как всегда, шел немного впереди. Под пустыми крюками, торчавшими из стен, виднелись выцветшие прямоугольные пятна — призраки снятых картин. Внезапно герру Хофферу захотелось очутиться в бомбоубежище вместе с Сабиной, Эрикой, Элизабет и тремя их чемоданами. Но об этом нечего было и думать — здесь он исполнял свой долг. К тому же в убежище всегда темно, воняет и кишмя кишат партийные деятели. И сосед с первого этажа, который то и дело чихает, заплевывая все кругом. И вечно орущий младенец Ульрика. Так что сидеть в убежище — настоящая пытка.

Далекие раскаты приблизились, казалось, толстые стены уже не в силах их сдерживать. Держа в одной руке керосиновую лампу, а в другой патефон, герр Хоффер попытался успокоиться. Прежде всего нужно прекратить думать, что бомбы и снаряды нацелены лично на тебя.

Когда они проходили через средневековые залы, фрау Шенкель приглушенно вскрикнула: "Боже мой!" — и в то же мгновение (хотя, видимо, это случилось чуть раньше) он увидел, как справа от них задрожало стекло в окне, и осколки полетели внутрь.

Мне так одиноко. Страх – мой самый верный спутник, но скверный товарищ. То и дело шутит надо мной. То возникает там, где прежде ничего не было. То играет в прятки – но мне никуда от него не спрятаться. Почему моя судьба – вечно искать его? Ведь я не огорчусь, если он никогда не вернется.

Капрал Нил Перри не знал, что делать со спасенной картиной.

Вернее, знал, что хотел бы сделать, но имелось целых два препятствия.

Во-первых, в армии за грабеж по головке не погладят (даже и думать нечего!).

Во-вторых, холст слишком большой, чтобы приладить его куда-нибудь под форму, к тому же в этом городке он намеревался поразвлечься и не хотел, чтобы ему что-нибудь мешало.

Из развалин эхом доносилась стрельба, время от времени вступала артиллерия, и по свисту снарядов было ясно, что это восемьдесят восьмые. Всегда найдется какой-нибудь придурок — любитель игры не по правилам. Как бы то ни было, через час его патруль вернется на базу и будет распущен развлекаться. Час — это очень долго. Три секунды — и то долго.

"Долго" может быть любым промежутком времени. Зависит от того, что творится в голове, не ломит ли спину, не свело ли мышцы, в порядке ли желудок.

В нескольких улицах отсюда отряд обнаружил бакалейную лавку с выбитыми стеклами, двориком, соломой и кроватями — там и устроили командный пункт; по его догадкам, если верить Моррисону, они простоят в этом городе еще пару дней, дожидаясь, пока не выровняется линия фронта. Их так гнали вперед, что Перри не особо удивился бы, проскочи они через немцев и окажись где-нибудь в Минске. Все должно утрястись, прийти хоть к какому-то порядку, вроде того, что царит в военных картах на столе генерала Омара Брэдли, где крошечные флажки движутся вперед размеренно, как какая-нибудь никудышная флотилия в Чесапике.

Они с Моррисоном собирались облазить музейные подвалы, надеясь найти пиво. В других городах им, бывало, везло, изредка попадались даже бочонки с коньяком. Остальные занимались тем же наверху, под предлогом поиска шизанутых нацистов, считающих, что они со своими маузерами могут переломить ход войны.

Подвал повернул и оказался гораздо больше, чем можно было предположить. Здесь ничего не выгорело. Это место было похоже на лавку старьевщика — Моррисон осветил фонариком сломанные картинные рамы, церковные скамейки, гипсовые фигуры, старые массивные стулья и рулоны зеленой ткани. Пивных бочонков не было, зато Моррисон расстрелял раскрашенную деревянную статую, чья тень словно выпрыгнула на них с высоко поднятыми руками; ее голова разлетелась на куски от выстрелов, которые хотя и оглушили ненадолго Перри, но зато заставили вспомнить о последствиях необдуманной стрельбы и рикошете.

Он чувствовал себя неуютно; именно в таких укромных уголках обычно и затаиваются всякие психи, которым неймется дорого продать свою жизнь. Несмотря на то что все вокруг провоняло от жара и стало отвратительно маслянистым на ощупь, дальней стены огонь практически не коснулся. Словно сам себя успокаивая, Моррисон заметил своим мягким, протяжным висконсинским выговором, что тут кто угодно задохнулся бы от угарного газа. Перри задумался, почему те четверо, ко-

торых они тут обнаружили, не попытались убежать от огня или хотя бы укрыться у дальней стены. Наверное, огненный смерч ворвался внезапно. Может, это и в самом деле газ, идущий впереди огня, о котором ему толковал доктор, может, и правда угарный газ — тогда, выходит, Моррисон снова его удивил. Последствия. Рикошет.

От Музея не осталось ничего, кроме части стены; он бы и не догадался, что тут было, если бы ему не сказала девушка в длинном пальто. У Музея собралась толпа человек в тридцать, они стояли у руин, будто не могли поверить своим глазам, — она была одной из них.

Он-то подумал, что тут раньше была какая-то большая церковь, да и по фронтону было похоже. Наверху в нише-раковине чудом уцелела белая фарфоровая фигурка — наверное, Дева Мария — слишком высоко, не снять.

И тогда девушка — лет восемнадцати, в очках, худая как жердь, немного говорящая по-английски, — сказала, что это городской Музей кайзера Вильгельма.

— Не церковь, нет? Кирк? Представляешь, я в Гарварде учил немецкий. Это айн кирк тут, да?

— Нет, — ответила она, игнорируя его потуги говорить по-немецки, словно он пытался ее поцеловать или еще чего похуже. — Это музей. Искусство. Kunst. И книги. Библиотека и художественный музей.

Она говорила в настоящем времени, видно, ее английский оставлял желать лучшего, а может, просто еще не свыклась с мыслью, что от Музея осталось одно воспоминание. Все кивали и повторяли: "Музей, музей", и он начал подозревать, что по-немецки это слово звучит точно так же. Видать, местные любители искусств, вот только выглядят как все — полуголодная, оборванная толпа, из которой война вытянула все соки. Неподалеку лежали трупы, лица закрыты газетами. Страницы на ветру шелестят, и кажется, они все еще дышат. Обувь на мертвецах, если она на них есть, всегда выглядит слишком большой. Он не знал, как умудрился дойти до этого города практически без единой царапины — Богу он не очень-то молился, а даже когда и случалось, то скорее для подстраховки.

Может, все дело в Моррисоне. Может, Морри его ангел-хранитель!

Моррисон вполне мог бы сойти за этакого коренастого, крутого ангела. Губы с вечной блуждающей улыбкой, пухлые, как у девушки, и темные ресницы на редкость не шли к его рыжей голове, которую он всегда старался выбрить наголо. Нос небольшой и приплюснутый — Перри подозревал, что тут не обошлось без индейской крови, как у самого Перри, а возможно, и ирландской, причем смешались они не лучше, чем вода с маслом.

— Ну так, — сказал ангел-хранитель, — ничего тут нет в плане выпивки.

— Где-нибудь найдется.

— Только не здесь. Выручку с картины пополам, ее-то мы всегда и искали.

— Возможно, — сказал Перри.

— Так и есть, — сказал Моррисон.

Он посветил Перри в лицо фонариком.

— Нил, сказать товарищу "да" всегда легко и приятно.

Как будто они вместе ее нашли, подумал Перри.

Совсем как пятый труп: о пятый труп они споткнулись оба и одновременно — едва на ногах устояли. Он лежал в углу у дальней стены. Благодаря ему и сменилась тема разговора — с мертвыми всегда так, пока у тебя самого внутри хоть что-то теплится.

— Надо же, еще один! — сказал Моррисон, дернув, по своему обыкновению, головой, как петух, клюющий зерна.

Фонарик осветил лицо, в ответ блеснули открытые глаза и еще влажные зубы. Этот совсем не обгорел, но до него добрались крысы — нос и правая щека были сильно изъедены. Насколько им удалось разглядеть, это был молодой человек, одетый в крестьянскую одежду. Впрочем, на крестьянина он похож не был. То, что осталось от его лица, казалось довольно нежным.

Слово "нежный", вспыхнувшее в голове Перри, было родом из "Время истекает на рассвете" — детективного романа, который он читал последние четыре месяца. Но даже когда делать было нечего и оставалось лишь ждать, ждать и еще раз ждать, расстроенные нервы не давали читать по порядку. Каждый раз, открывая книжку, он возвращался на пару страниц назад, а потом прочитывал только одну, так что в итоге выходило, что читал он не вперед, а назад, и рано или поздно, совсем как неизбежно сжимающаяся Вселенная, он вернется к титульному листу.

Мертвец с нежным лицом не задохнулся, он был застрелен. Пули прошли чуть ниже шеи — такие дырки моль не проест.

Это выяснил Моррисон, пустивший луч фонарика обследовать труп, словно играя в полицейского; Моррисон, вытянувший губы, на которых все еще блуждала загадочная улыбка, — розовые, как бутон, губы кинозвезды. Кларка Гейбла, или кого-то вроде него. Не Тони Мартина. Он пытался понять, не его ли это собственные шальные пули, но нет — слишком уж бледное у мертвеца лицо, и кровь уже запеклась. На нем были мешковатые вельветовые брюки и задрипанная фуфайка, какие носят местные старики крестьяне, что совершенно не вязалось с его внешностью.

— Может, он был полон честолюбивых планов, — произнес Перри. — Может, хотел скакать галопом, а не трястись рысцой. Или был упертым коммунистом.

— Может, он уже начинает совсем новую жизнь, — отозвался Моррисон и злобно сплюнул на пол.

Обшарив карманы мертвеца, они обнаружили мятые фотографии какого-то дома (наверное, родного) и женщины (наверняка матери) и красный блокнот с названием музея на обложке. Кайзер Вильгельм, чтоб он провалился. Может, жив еще. Тот, который тюльпаны выращивал. Блокнот был мелко исписан карандашом, Перри его забрал, потому как вдруг там написано, где скрывается Адольф Г., странички пропитались кровью. На одной набросок, сделанный нетвердой рукой, — деревья на холме. Может, это тот самый лес, где Адольф Г. закуривает свою последнюю сигарету, предположил Перри.

— Этот говноед не курит, — возразил Моррисон.

— Ну и псих.

— А то мы не знали.

Они вернулись к тем четырем трупам, которые сидели у обгорелых картин. В дыре, сквозь которую виднелось небо, появилась вполне живая женщина; она стояла между обвалившихся балок и смотрела вниз,

лицо ее казалось привлекательным. Русая, с безумным взглядом, она кричала что-то по-немецки. Похоже, звала кого-то. И впрямь звала.

— Генрих! Генрих! — кричала она.

Перри догадался, что трупов ей не видно. В растрепанных волосах запутались хлопья пепла, глаза красные, а еще она была красивая. Наверняка одного из мертвецов звали Генрихом. Вся беда со смертью в том, что с ней ничего не заканчивается.

— Может, поднимешься, узнаешь, чего ей надо?

— Ты не будешь возражать, если на это уйдет некоторое время? — улыбнулся Моррисон.

Перри слишком устал, чтобы настаивать, чтобы Моррисон был с ней поласковее. Просто хмуро пожал плечами.

— Удостоверься сначала, что она не миссис Гиммлер. Вон тот, в очках, чем не Гиммлер? Очки похожие.

Моррисон рассмеялся:

— Пора бы нам поймать удачу за хвост.

— Когда-нибудь да поймаем, — пообещал Перри, глядя на мертвеца, у которого на носу до сих пор держались очки, будто он фокус показывал.

— Ладно, поделим семьдесят на тридцать. Семьдесят мне, а...

— Морри, ну сколько можно.

Он чувствовал себя пленником усталости — усталости собственного тела. До того устал, что готов был остаться тут, внизу, навсегда, как рыба в мутной воде.

— Вот она, Нил, индейская кровь. Дает себя знать, чтоб тебя...

— Давай иди уже.

Перри отвернулся и занялся прекрасной, бесценной спасенной картиной.

А Моррисон полез наверх к женщине. Чем-то не нравится ему моя родословная, думал Перри. Ну подумаешь, была у меня индейская бабка. И задница свербит, как будто сейчас отвалится.

Я на дне глубокого озера, у меня нет головы. Мое безглавое тело лежит среди водорослей, к нему привязана веревка, веревка тянется наверх. Однажды кто-нибудь придет к озеру и вытянет ее. Если ты решил жить, то всегда найдется ради чего. Можно было остановиться у грушевого дерева и обернуться, но нет, мне нужно было бежать. Сегодня тот, длиннолицый, принес мне хлеба.

7

Стекло вздулось перед ними, как парус.

Они шли и шли, герр Хоффер не слышал ничего, кроме странного низкого звона. Из губы Хильде Винкель сочилась кровь — и капала с подбородка на грудь. Вернер Оберст, казалось, рассматривал свое плечо, его тощая шея вытянулась, как у петуха. Ему рассекло правое ухо. Кровь лилась из мочки прямо на плечо и на картонные футляры граммофонных пластинок. Герр Хоффер не знал, что делать с накатившей на него звенящей глухотой. Казалось, грохот взрыва пытался пробиться прямо в мозг.

Он заметил, что с пальцев что-то течет — его тоже зацепило. Левая рука была вся в крови; драгоценная лампа валялась на полу разбитая. Почему-то стало стыдно. Поначалу герру Хоффер казалось, что его не задело.

Как бы не так. Перед ними раскинулось море разбитого стекла, и они стояли на самом берегу. Стекло сжульничало. Так нечестно. Теперь он даже на губах чувствовал стеклянную пыль. Фрау Шенкель осталась невредима, хотя в седых волосах и на длинном пальто засверкали мелкие осколки. Она кричала Вернеру, что у того порезано ухо, — до герра Хоффера звуки доносились как через толстый матрас. Она протянула Вернеру носовой платок, который тот приложил не к тому уху. Герру Хофферу было приятно сознавать, что бедняга Вернер, обычно такой собранный, никак не может взять себя в руки. Хильде прижимала ко рту рукав. Ее пухлая верхняя губа была рассечена прямо посередине, из-за рукава виднелся край раны.

Они оставляли на полу кровавые следы. Кровь заляпала их лица и пустые белые стены. И что им стоило спуститься в подвал сразу же, как раньше!

Он прижимал руку, не решаясь взглянуть на рану. Его охватил какой-то животный ужас. Порез начал болеть только теперь, как будто сначала ему требовалось подумать. А вдруг остальные ослепли? Рука фрау Винкель покоилась на спине Вернера — небывалое зрелище. Они шли спотыкаясь, уже в кладовой герр Хоффер запнулся о швабру и ушиб нос. Со слезами на глазах он пытался нащупать потайной рычаг — все было как в тумане. На полпути вниз по лестнице их догнала яркая оранжевая вспышка, и свет погас.

Рядом вскрикнула Хильде Винкель — к Хофферу вернулся слух. Все еще не верилось, что бомбы падают так близко. Здесь, внизу, шум канонады можно было принять просто за сильную грозу.

Они отыскали в темноте стальную дверь подвала, отперли тяжелый замок, запнулись о картины, стоявшие рядами на по́дмостях. Не занятыми картинами остались только два небольших участка вдоль стены, где были свалены облезлые подушки, и узенький проход посередине.

Они попытались устроиться поудобнее.

В тусклом свете, едва пробивавшемся сюда из лестничного колодца, фрау Шенкель осмотрела раны и пришла к выводу, что отделались они царапинами. Герр Хоффер не знал, верить ли ей. Вот, например, у Хильде распухла губа, и порез выглядит очень глубоким и некрасивым.

— Больно улыбаться, — сказала она, не отнимая от рта носового платка. — Не шутите, пожалуйста.

В любом случае, идти сейчас за врачом было бы верхом безрассудства.

Без керосиновой лампы было темно, а когда они закрыли дверь, то наступила просто тьма кромешная. Вернер с грохотом опрокинул заготовленное на случай долгих налетов ведро.

— Слава богу, оно пустое.

— Ой, — отозвалась Хильде. — Пожалуйста, не смешите.

Тьма была непроглядная, и герру Хофферу начало казаться, что он задыхается. Он предложил приоткрыть дверь, и несмотря на опасность все согласились. Сквозь щелку в двери в подвал вернулась жизнь. Смерть — это черный цвет, ламповая сажа. Впрочем, белила — тоже. Три слоя грунта, чтобы сровнять холст. Он нервно покосился на картины. У него была тайна, а ему не слишком нравилось иметь дело с тайнами. И зачем три слоя? Одного хватило бы. Можно было и не возиться. И если нет света, что толку в белилах? В краплаке, в ультрамарине, кад-

мии желтом, жженой сиене, кармине, саже? А ведь из них можно создать все цвета! Все чудеса, которым он посвятил свою жизнь!

Без света ничего не существует. Разве что смерть.

В кладовой над лестницей хранился запас свечей и спичек на крайний случай. Герр Хоффер как бы невзначай вспомнил о нем, но никто не вызвался подняться.

— Ну уж нет, — отказалась фрау Шенкель. — Хватит испытывать судьбу.

— По-моему, вы только этим и занимались, — буркнул Вернер, который от боли сделался еще более желчным.

Они сидели друг напротив друга, по двое с каждой стороны — Хильде Винкель рядом с герром Хоффером, фрау Шенкель рядом с Вернером, прижимавшим к себе патефон.

И. о. и. о. директора мучился от мысли, что не оправдывает ожиданий своих подчиненных. Особенно терзала его утрата керосиновой лампы. Он снова пожалел, что не сидит с семьей в убежище. Герр Хоффер хотел для себя всего лишь тихой, размеренной жизни. И как хорошо все начиналось. Ему повезло получить должность замдиректора, когда он был еще совсем молод — пятнадцать лет назад в день именин герра директора Киршенбаума. Ему представилась возможность жить среди прекрасных картин и пополнять коллекцию, его работа была размеренной и спокойной, он был жрецом в храме искусства. Судьба осчастливила его очаровательной пухлой женой и двумя прелестными дочками, Эрикой и Элизабет. Он был так счастлив.

Обмотав руку платком, он думал (перебивая себя пустыми словами утешения для других, едва пробивавшимися через его собственную боль), как все это было глупо и бессмысленно, и, может быть, реальность — это именно боль и страдание, а все прочее — камуфляж, маскировка, как три слоя грунта на холсте. Даже нос, и тот до сих пор саднил.

— Надо было забить окна, — произнесла из тьмы фрау Шенкель, как будто вменяя ему в вину еще и это.

— Здесь больше ста окон, не говоря уж о стеклянной крыше, — ответил герр Хоффер. Они с и. о. директора думали об этом еще в тридцать восьмом, но стоимость работ выходила чересчур высокой.

— Надо было строителям соображать, когда строили, — заявила фрау Шенкель.

— В тысяча девятьсот четвертом был мир.

— И кто в здравом уме захочет жить в огромном бункере? — проворчал Вернер.

— Я не об этом, — огрызнулась фрау Шенкель. — Но окна нужно было забить. В ратуше и в штабе СС ведь это сделали.

— Подобные привилегии предназначены для элиты, — буркнул Вернер.

У всех четверых были изранены лица, невидимые осколки, застрявшие в ранках, причиняли острую боль. Рука герра Хоффера болела сильнее, чем лицо, на носовом платке проступил кровавый цветок. Наверное, так даже лучше, ведь американцы вряд ли пристрелят раненого, правда?

— Лучше бы нам вывесить белый флаг, — продолжала фрау Шенкель, будто читая его мысли, — а то они могут открыть стрельбу, когда мы будем выходить.

— Тогда вас пристрелят партийцы, — ответил Вернер невыразительным голосом. — Пару недель назад в Ганновере гауляйтер Лаутербахер лично руководил казнями. Мне сестра рассказывала.

Герр Хоффер подивился силе его голоса. Наверное, рана на ухе действительно оказалась неглубокой. Лежавший на плече носовой платок ловил капавшую кровь, но, видимо, у Вернера было так мало крови, что она перестала капать. Впрочем, это было неудивительно.

— Ну и что? — не унималась фрау Шенкель. — Мало ли что там, в Ганновере? Это не наше дело.

— Я из Ганновера, — сказал Вернер. — И я в вермахте.

— Пожалуйста, не надо ссориться, — вмешался герр Хоффер.

— А хотите скажу, чего я больше всего боюсь? — спросила фрау Шенкель.

На душе у герра Хоффера заскребли кошки. Как минимум раз в неделю повторялся один и тот же разговор, и всегда в одних и тех же выражениях.

— Как я понимаю, эту проблему давно решили, — ответил Вернер, как обычно слово в слово повторяя свою реплику.

— Они не останутся на своих местах. Евреи этого просто не умеют. Вечные странники. Скоро начнут возвращаться. И не надейтесь на их великодушие. Я однажды видела целый поезд, он притормозил на станции. Они ужасно выглядели. Совершенно ужасно.

Наступила тишина. За последние пару лет фрау Шенкель рассказывала им про поезд с евреями не меньше ста раз.

— Не волнуйтесь, фрау Шенкель, — как всегда, сказал Вернер. — Русские их добьют. Можете спать спокойно, как все добропорядочные немцы.

— Разве можно спать спокойно, когда такой шум? — фыркнула она, прикуривая очередную сигарету. Она их несколько лет копила, как и герр Вольмер, и теперь пожинала плоды своей рачительности.

— Кое-кто так никуда и не уехал, — произнесла Хильде Винкель не слишком отчетливо — распухшая губа мешала говорить. — Пишеки, например.

— Пишеки — не евреи, — хмыкнула фрау Шенкель с таким видом, будто считает их ничуть не лучше. Герр Хоффер подивился, откуда все знают его соседей Пишеков.

— Да, но в Берлине брат фрау Пишек прятал в подвале целую семью, — сказала Хильде.

— Я и не знала, — ответила фрау Шенкель с сарказмом. А может, вовсе и не с сарказмом, с ней, как и с Вернером, никогда не поймешь.

Вернер Оберст пожал плечами и сказал:

— Повыползут из своих щелей и начнут всех во всем обвинять. Если им за это заплатят, конечно.

— Не всех, — возразил герр Хоффер. — Зачем всех обвинять? Смысла нет.

— Конечно, не всех, — ответил Вернер. — Кто догадался придержать еврейчика на черный день, того не тронут.

— Какая мерзость, — согласилась фрау Шенкель. — Ни стыда ни совести у некоторых.

— В общем, — заключил Вернер с неприятной улыбкой, — не ждите от тех, кто вернется, милосердия. Для евреев все едино — око за око, зуб за зуб. Нас так ведь учили, верно?

— Сожжение за сожжение, рана за рану, ушиб за ушиб, — драматическим шепотом проповедника возгласил герр Хоффер.

— В точку, Генрих, — буркнул Вернер.

— Вы же сказали, что русские их прикончат, — сказала фрау Шенкель.

— Кто-нибудь обязательно вывернется. Они живучие.

— Я бы не сказал, что они накопили опыт, — возразил герр Хоффер. — По крайней мере за последнее время. В стрельбе, бомбежках и прочем они понимают не больше нашего. Может, они все позабыли. Если подумать, две тысячи лет прошло.

Вообще-то, до сих пор он об этом не думал.

— Не понимаю, о чем вы говорите, — отрезала фрау Шенкель.

— У них нет своей страны, — объяснила Хильде Винкель, прижимая руку к губам. — Они космополиты.

— Они обделывали свои дела за нашими спинами, — сказала фрау Шенкель. — Как коммунисты. Половина евреев и есть тайные коммунисты. Они его и придумали. Голыми руками душить будут, как душили христианских младенцев.

— Вот именно поэтому, — продолжала Хильде, не слушая, — международный капитализм так легко заразил весь мир.

Герр Хоффер представил себе темное полированное дерево банков за широкими дверьми на широких авеню.

Стены внезапно содрогнулись, как будто мимо проехал гигантский поезд. Откуда-то посыпалась не то цементная пыль, не то мышиный помет. Они закашлялись, хотя это и не был дым артиллерийского снаряда.

Неожиданно для себя герр Хоффер очень испугался. Подвал напомнил ему склеп. Неживые камни могут с легкостью сомкнуться и превратить подвал в склеп. Плохо. Надо чувствовать себя таким же неживым, иначе стошнит. В камнях и строительном растворе нет ни капли сознания. И в картинах, между прочим, тоже. Если он начнет думать о собственной одушевленности, о жажде жизни, его вырвет от страха.

Затем грустно, будто сочувствуя его растерянности, за дверью раздалось заунывное "мяу", и в подвал скользнул Каспар Фридрих, музейный кот.

— Доброе утро, Каспар Фридрих, — жизнерадостно поздоровались все, словно пытаясь скрыть правду от ребенка.

Каспар Фридрих сразу направился к Хильде и, мурлыча, закрутился у нее на коленях, пробуя их когтями, как будто месил тесто. Его шерсть была в пыли осыпавшегося цемента.

— Тысяча девятьсот сорок пятый год, разрушение Лоэнфельде, — пробормотал Вернер, сложив руки на груди, как делал всегда, когда упоминал исторический факт.

— До этого ведь не дойдет, правда? — сказала фрау Шенкель.

Вернер прокашлялся:

— А вы знаете, если верить архивам, между тысяча шестьсот тридцать первым годом и Вестфальским миром тысяча шестьсот сорок восьмого сельское население Тюрингии сократилось на восемьдесят процентов? А потом — вы только послушайте — всего за десять лет оно выросло на сто двадцать пять процентов.

— Ну и ну, — улыбнулся герр Хоффер. — Видно, они всерьез подошли к проблеме размножения.

— Миграция, Генрих. Не надо торопиться с выводами. Сначала люди бежали в город под защиту крепостных стен. Потом, когда наступил мир, вернулись обратно на поля. Как евреи. Миграция, фрау Шенкель.

— Возможно, — согласилась та, не слушая.

— Даже знаменитая Резня, и та, скорее всего, преувеличена, — продолжил Вернер. — Например, большая ярмарка в Лоэнфельде в тысяча шестьсот тридцать первом. Ее не отменили, она состоялась всего три месяца спустя после трагедии. У нас есть... вернее, были подтверждающие документы. Не удивительно ли? Когда-нибудь я напишу популярную историю Лоэнфельде, основанную только на одних документах. Если, конечно, мне вернут архивы. Вот только никому не нужна сухая, полная дыр правда. Ее запирают в ящиках и считают скучной.

— История предпочитает яркие краски, — проговорил герр Хоффер.

— Для того чтобы прикрыть дыры, — возразил Вернер. — Никому ведь не нравится дырявая ветошь.

— То, что в России холодно, оказалось чистой правдой. Ни у кого не было подходящих носков.

— Пусть Правда, бегущая от дурных времен, укроется у Сказки, — продекламировал герр Хоффер, многозначительно подняв палец.

— Только не вмешивай сюда Шиллера, — сказал Вернер.

Герр Хоффер победно улыбнулся.

— Вестфальский мир! — провозгласила Хильде Винкель, из-за раны, впрочем, довольно невнятно. — Главная стратегическая цель фюрера — аннулировать Вестфальский договор.

— Спасибо за информацию, — отозвался Вернер. — Я и не догадывался.

Все замолчали.

Вернер погрузился в свои мысли. Его жизненная философия была проста, как у аскета: факты превыше красоты.

Он наблюдал, за неуклюжими эсэсовцами, выносившими из Музея архив, с тем же чувством, с каким другой смотрел бы, как насилуют его дочь. Вернер был специалистом по Лютеру, в особенности по его рукописи "Vom Bekenntnis Christi"[1] 1527 года, хранившейся в Музее Лоэнфельде со дня основания. Он исследовал рукопись, как карту острова сокровищ, засиживался над ней ночами, публиковал нудные статьи в никому не известных журнальчиках, уцелевших со времен старозаветной Германии. Женат он не был — его женой стала музейная библиотека. В ней имелись огромные фолианты, прикованные к столам цепями; герр Хоффер полагал, что сам Вернер мало чем отличается от этих томов. Когда в прошлом году из Музея вывезли все книги, кроме справочников, он исхудал, щеки ввалились, а глаза будто втянулись в темные глазницы. Даже больная рука (он утверждал, что его ранили на прошлой войне) стала казаться короче и кривее. Герру Хофферу он напоминал забытую в подвале луковицу — засохшую почти до состояния окаменелости, но все же хранящую в себе крупицу жизни. А ведь ему всего пятьдесят три.

Все они теперь стали засохшими в подвале луковицами.

Вернер, разумеется, опасался, что на соляном руднике будет сыро. Но там было слишком глубоко для сырости. Когда за месяц до эвакуации

1. "О вере Христовой" (*нем.*). Имеется в виду работа М. Лютера "Исповедь Мартина Лютера о Святом причастии" (1528).

Музея герр Хоффер впервые посетил рудник с членом подконтрольного СС отдела охраны памятников культуры, это было первое, в чем он убедился. Офицер объяснил ему, что соляной рудник — идеальное хранилище, потому что соль впитывает влагу, и даже показал очень древние соляные слои, куда не попадали грунтовые воды. В больших пещерах было абсолютно сухо, для хранения музейных ценностей они подходили идеально. Офицер, знавший о рудниках практически все, к искусству имел отношение лишь постольку, поскольку был архитектором, специализировавшимся на реставрации каменных замков, и почему на помощь послали именно его, осталось загадкой. Герр Хоффер решил, что он тронутый: офицер не закрывая рта разглагольствовал о великом рейхе и его восстановленных феодальных замках в окружении крытых соломой деревенских и городских кровель, о сказочных пейзажах, по которым скачут рыцари в серебряных доспехах с черепами на шлемах, о древних языческих церемониях; это даже фюрер считал галиматьей.

Хорошо, что там не было Вернера с его язвительным, метким остроумием. Иначе потом могли бы возникнуть проблемы.

— Как ваша рука, герр Хоффер? — спросила фрау Шенкель, наклонившись, чтобы почесать Каспара Фридриха за ушком.

— Царапина, всего лишь царапина, — ответил он.

На самом деле рука болела. Вид раненых он переносил плохо — после первого налета, когда он насмотрелся на чудовищные увечья, полученные жителями города, его долго рвало за кучей строительных обломков, откуда торчала белая, присыпанная штукатурной пылью детская ладошка. Сначала он подумал, что это фарфоровая кукла.

— Смотрите, как бы не было заражения, — сказала фрау Шенкель.

Вернер поставил пластинку и завел патефон: подвал наполнился неземной красотой "Auf Flügeln des Gesanges"[1] Мендельсона.

— Ах, Мендельсон, — вздохнул герр Хоффер.

Учитывая их положение, песня была самая подходящая. Поэт переносит свою возлюбленную в райский сад на берегу Ганга, где скачут газели, а фиалки тянутся к звездам. Даже треск заезженной пластинки не помешал духу герра Хоффера воспарить в такт музыке. Он закрыл глаза. Эту песню они слушали каждый налет. Она не только отвлекала, но и заполняла собой неловкую тишину. Из-за темноты и волнения читать было практически невозможно, а карты не любили ни Вернер, ни фрау Шенкель — единственное, в чем они всегда сходились.

Песня плавно перешла в серию громких щелчков, ознаменовавших конец записи. Вернер убрал пластинку в коричневый футляр, последовал общий вздох восхищения и гордости за немецкое искусство, которое, как все они знали, было лучшим в мире.

— Оба евреи, — вдруг сказал Вернер.

Странный, бессмысленный комментарий прозвучал словно непристойный звук вместо аплодисментов. И улыбающийся тонкой сардонической улыбкой Вернер.

— Только по дедушке, — заметил герр Хоффер.

— А Гейне?

1. "На крыльях песни" (*нем.*).

— Уж такой человек герр Штрейхер. Любит свою музыку, откуда бы она ни взялась, — заключила фрау Шенкель.

— Жаль, что мы не взяли шахмат, — посетовал герр Хоффер.

— Я всегда тебя обыгрываю, — ответил Вернер. — В прошлый раз ты так расстроился, что я решил их не брать.

— Он был космополитом, — вмешалась Хильде Винкель.

— Кто?

— Мендельсон. Долой народную музыку! — вот как он говорил. — Голос Хильде звучал напряженно, голову она склонила набок. — Кстати, он был настоящим евреем. После семнадцати лет так ничего путного и не создал. Не было внутреннего конфликта. Еврейская кровь задавила романтический порыв. Стремление к борьбе. Он так и не достиг героических высот.

— Как хорошо, фрейлейн Винкель, — проговорил герр Оберст, — что вы мне об этом напомнили. Я чуть было не поставил вторую сторону.

А потом, совершенно неожиданно, вынул пластинку и переломил ее об колено.

А что, если время не существует совсем или оно лишь некая ледяная плоскость, по которой можно скользить из одной точки в другую, так что однажды я смогу скользнуть обратно, а все продолжало бы существовать? Что, если бы лед был так тонок, что можно было бы провалиться? Где бы мы тогда оказались? ... Длиннолицый опять поднимался ко мне и утешал, и у меня лились слезы. Нужно было оглянуться, поравнявшись с грушевым деревом.

8

Перри засунул полотно мистера Кристиана Фоллердта в узкую щель в стене, по всей вероятности некогда предназначавшуюся для лучины. По высоте щель была в самый раз. Задвинул холст до упора, и тот скрылся во тьме. Вот и отлично. Он пнул груду обгорелых картин, впрочем, это уже были не картины, и тут же пожалел об этом.

Неожиданно он обнаружил, что мертвец в гиммлеровских очках прижимает к себе картину. Руки у него были сложены крест-накрест — вот почему они сразу ее не углядели, — а колени подтянуты к груди, так что нижняя часть рамы покоилась на животе, а верхняя упиралась в горло. Холст был черным, но с обратной стороны. Может, покойник все-таки сумел ее спасти, закрыв полотно грудью, животом.

Перри ухватился за краешек рамы, почти касаясь мертвого лица. В лице покойника что-то неуловимо изменилось. Скрещенные руки намертво вцепились в картину. Капралу совсем не хотелось прикасаться к трупу, но и сломать обуглившуюся раму было боязно, так что пришлось выбирать — либо то, либо другое. Попробовал потянуть обгоревший холст на себя, но мертвые руки не отпускали, держали железной хваткой. Как с одноруким, подумал он, на вид слабый, а на самом деле, когда у него были две руки, сил в них было меньше.

Он дернул посильнее, с рук мертвеца, обнажив кости, осыпался прах, и картина высвободилась. Едва удержавшись на ногах, Перри перевел дыхание. Пальцы мертвеца стали цвета свежеспиленного бука; застыли в неподвижности; казалось, верни им плоть — и они еще послужат. На запястье болтались опаленные часы, виднелись шестеренки. Наверное, когда-то они были красивыми.

— Спасибо, — улыбнулся Перри мертвецу. — Господи, что-то ты совсем исхудал. Ты уж прости.

Понимая, что ему ни за что не разглядеть картину в пробивавшемся сверху тусклом свете, Перри все-таки попытался разобрать, что же в ней было такого особенного, что покойник прижимал ее к себе до самого конца, прямо как мешок с золотом. Низ рамы защитили его ноги, так что слова на табличке были почти читаемы. На холсте, там, где картину прикрывали руки, отчетливо выделялся большой крест — X. Все остальное осыпалось серой сажей. Крест же был черным и блестящим, в черноте виднелись контуры — черные на черном, — и только. Вся эта чернота напомнила Перри, как в детстве он пинал ногами иголки в хвойном лесу у себя дома. Однажды, еще ребенком, он увидел, какая черная и влажная почва прячется под иголками, и неожиданно понял, что деревья питаются именно этой влажной чернотой, точно такой же, как та, на которой Джо Сэвилл выращивал грибы у себя на ферме. Что эта богатая черная почва — перегной из опадавших годами иголок и что все на свете растет из собственной смерти.

Его поразило, до чего ярким оказалось это воспоминание — один день в сосновом лесу, в горах, в гостях у старшей сестры; острая боль от того, что мать оставила их вот так, без предупреждения, а отцу все хуже и хуже, и он напивается все чаще и чаще; одинокие прогулки по лесу, где он пинал кочки ногами и вдруг осознал (внюхиваясь в сладковатый запах того, что, как он узнал позже, называется перегноем), что все растет из собственной смерти и именно так воскрес Иисус. И тогда он вытащил нож и принялся резать и копать землю и с большим трудом вырезал в ней большой черный крест. Вот почему обгорелые останки картины вернули его на пятнадцать лет назад.

В реальном мире из-за того креста ничего не изменилось. Отец пил все больше и больше и в конце концов умер.

Наверху кричали — счастливые пьяные голоса, немецкие, английские, русские. Русские — конечно не солдат, а военнопленных. Ребята развлекались как могли.

Первый освобожденный город, еще во Франции, стал для Перри самым ярким воспоминанием в его жизни. Он кидал детишкам шоколадки, на нем висли девушки, их бронетранспортер утопал в цветах. Как ни странно, в Германии творилось примерно то же самое, но к тому времени это уже не радовало. С тех пор как наступление шло все быстрее и легче, ему уже ничего не хотелось. Слишком много трупов, слишком много раненых, перепуганных и скорбящих, слишком много взорванных домов и загубленных жизней и бесконечных бездарных приказов, сползавших с бумаги словно специально для того, чтобы все извратить и перепутать.

Он вынес черный холст под столб света, чтобы рассмотреть табличку. Позолота вздулась, но буквы, обрывки слов остались различимы: au и Bur, и Waldesraus, и дата, которую, впрочем, было не разобрать. Перри оторвал табличку и сунул в карман вместе с той, на которой был mit Kanal. На всякий случай еще раз поворошил останки сгоревших картин, но только зря поднял клубы черной пыли.

Потом покосился на мертвеца в очках — ему показалось, что тот шевельнулся.

Сверху, сложив ладонь рупором, кричал Моррисон: женщина оказалась вовсе не фрау Гиммлер, а что-то вроде Хаффер. Как он понял, она ищет в этих развалинах не то мужа, не то жениха, не то брата — ну и шатается вокруг как полоумная. Может, один из мертвецов он и есть? Может, даже тот, в гиммлеровских очках. Как "муж" по-немецки? Он где-то посеял этот сраный разговорник. Пусть Перри вытащит свой и посмотрит, как там "муж". Что-то вроде "ман", да?

Перри слушал вполуха, не понимая, почему вдруг Моррисон так нянчится с этой теткой. Его гораздо больше занимало, что означает Waldesraus по-английски, если это вообще целое слово. Он не знал, чем его так заинтересовала табличка, может, как способ отвлечься от трупов, руин, автоматных очередей и своей отсиженной задницы. Капрал достал разговорник, но тот так часто мок под дождем и снегом, что многие страницы слиплись намертво. "Муж" слипся. А вот Wald означал лес. Может, Waldesraus — это что-то про лес? Мертвец в очках прижимал к себе картину с лесом. Тогда все понятно. Безгубый рот был открыт, словно умоляя не делать... чего-то. Или, когда их накрыла волна жара, он зевал.

Моррисону Перри велел поступать, как сочтет нужным, только не надо говорить немке, что тут внизу трупы. Скажи *nein*, или *nicht*, или *где дорога на Берлин*. В отверстии появилась еще одна голова, этот был из младших, похож на бойскаута — улыбка до ушей. Перри стало тошно, он больше не мог командовать. Никакого смысла разыскивать снайперов или мины, когда вокруг толпятся гражданские. Очередной идиотский приказ.

Он покосился на часы. Еще час. Притворяться, что они на боевом посту, осталось ровно пятьдесят минут.

Сейчас Перри понимал как никогда: ему надо ходить одному. Командир из него никудышный. И желудок, кажется, вот-вот вывернется наизнанку.

Мальчишка крикнул сверху:

— Сэр, вас прикрыть?

Это означало: "Да сколько можно ссать?"

Перри заорал (сам себе удивившись): "Что еще за сэр? Какой я, к черту, сэр? Мы же тебе все объяснили, болван. В крайнем случае — капрал. Хочешь, чтобы меня тут порешили? Сколько раз говорить? Я Перри. Или того лучше, я Нил. И ты, Картер, отлично это знаешь".

— Я Коули. Да, сэр. То есть...

— Придурок ты, Коули. А мне что-то неохота подыхать из-за придурка. Понял?

— Да, Перри.

— Лучше Нил. И на "ты".

— Ладно, Нил.

— Надо же, не совсем безнадежен! Выходит, теперь у нас полупридурок.

— Да, сэр. Нил. Перри.

— Меня произвели в английские рыцари? Где мой сраный конь? Полцарства за коня!

Его голос эхом разносился по подземельям. Когда-то в школе, в прошлой жизни, он играл солдата в "Ричарде III", и вот теперь он снова солдат. Лицо покрылось испариной. В желудке творилась великая русская революция.

Рядом с Коули появился Моррисон с ухмылкой на пухлых киношных губах.

— Нил, ты чего там?

— Слушайте. Патруль временно распущен. Через час все должны явиться на командный пункт во дворе бакалеи для переклички, а сейчас делайте что хотите. Нет, перегруппировка здесь через сорок пять минут. Кто опоздает, тот считается выбывшим из строя. Через сорок пять минут чтобы все были здесь. Валите отсюда и развлекайтесь.

— Нил, ты серьезно?

— Да. Я все обдумал. Задание выполнено. — У него кружилась голова. Русские в животе наступали. — Раньше расчетного времени, вот и все. Что эти несколько минут изменят? Войну проиграем? Давай отсюда, Морри. Отвали от меня на сорок пять минут, только под пулю не попади. И не суйся на глаза офицерам и последнему чокнутому снайперу в этом богом забытом, как его там, городишке. Главное, чтобы Джорджи Паттон[1] ничего не узнал, сечешь?

Бойскаут сдавленно захихикал, а Моррисон заорал вниз, подражая выговору генерала Паттона: "Да! Мы еще порвем этих гуннских ублюдков в клочья!"

— Морри, ты всю его сраную речь наизусть помнишь?

— До самого последнего слова, начальник.

Моррисон опять перегибал палку. С ним частенько такое случалось.

— *Когда-нибудь*, — гундосил он под восторженные возгласы бойскаута, — *эти говнюки немцы поднимутся...*

— Морри, кончай...

— ... и возопят: *Господи, как нас затрахала эта их Третья армия и этот их отморозок Паттон!*

Голос Моррисона эхом отражался в каменном сумраке: отморозок Паттон... отморозок Паттон... Да, но каков отморозок. Перри вспомнилась тишина, когда генерал сделал паузу, — ни один из тысяч рядовых не дышал, слышно было, как ветер шелестел листвой.

— *Мы хотим только одного: покрепче прищемить врагу яйца!* — крикнул салага, пытаясь влиться в компанию, и воспоминания улетучились.

Моррисон отвесил ему подзатыльник.

Перри уже удалялся в глубь подземелья, торопливо расстегивая ремень.

Тени на потолочных балках движутся очень медленно. Наблюдать за ними все равно что наблюдать за минутной стрелкой. Они движутся, но ты не видишь их движения, как не увидишь и движения Луны, если только не позволить себе двигаться вместе с ней. Тишина тоже движется. Когда-нибудь мне будет этого не хватать.

9

Стены продолжали чуть-чуть дрожать, но разрывы артиллерийских снарядов и бомб казались слабыми и очень далекими. Возможно, это была иллюзия. Под землей все кажется далеким. А выстрелы всегда громче,

1. Джордж Смит Паттон-младший (1885—1945) — один из главных генералов американского штаба во время Второй мировой войны.

чем вспоминается. Герру Хофферу очень хотелось оказаться наверху, пусть даже рискуя погибнуть под артобстрелом. Вдохновленный песней Мендельсона, он воображал, как прогуливается на лужайке или в лесу вместе с прелестными дочками и милой Сабиной. Надо было сидеть дома. Но стоило только подумать, что в Музей могла бы попасть бомба и его подчиненные были бы вынуждены справляться сами, без руководства!..

Такое навсегда остается в истории — в местной истории, — а что может быть важнее для человека?

Он не мог больше сидеть во мраке. После того как Вернер разбил пластинку, все замолчали, и стало совсем неуютно.

— Пойду принесу свечи. Если нет в кладовой, одна-другая наверняка найдется у герра Вольмера. И аптечку принесу.

Он решительно закрыл за собой дверь, не слушая возражений. Он создан для света, а не для темного подвала.

Свечей в кладовой не оказалось, нашлись бечевка, несколько драгоценных спичек, рулон клеенки, несколько журналов — только не свечи.

Он пробежал, словно за ним кто-то гнался, по залам первого этажа, осторожно обегая битое стекло в средневековом зале; пятна крови на полу и стенах уже подсыхали. В следующих залах тоже уцелели не все стекла; он видел грязное небо и чувствовал весенний воздух, смешанный с дымом, как будто где-то в городе вовсю дымила адская печь.

Никогда еще музейные залы не казались такими заброшенными. А ведь картины были его лучшими друзьями. Каждую он мог воспроизвести в уме, даже если не видел ее несколько лет. Теперь он научился любить даже те из них, от которых когда-то воротил нос, например, вычурную эротику Хольберга, Штайнбрюка и им подобных, — зачем бы иначе он прятал их в подвал вместе с Беком, Мозером, Флинком, Саломоном ван Рёйсдалом, Иоханнесом Хальсом и другими подлинными шедеврами — Пуссеном, Коро, Сезанном, Ван Гогом? Хотя Ван Гог — это тайна. Его маленькая тайна.

Герру Хофферу неприятно думать, что его друзья вынуждены тесниться под землей, в беспросветной темноте, словно в чистилище. В его снах они сменялись перед его взором, как страницы книги. Почти четверть коллекции! Спрятана, причем без разрешения!

Разумеется, как минимум раз в неделю он спускался в подвал через кладовую в Зале гравюр, а на рудник ездил минимум раз в месяц. Его несчастные друзья выглядели точь-в-точь как самые настоящие арестанты. Застоявшийся сухой воздух шахты, скудное освещение, волнение, которое он всегда испытывал в подвале, и страх разоблачения — все это сильно затрудняло общение с искусством.

Герр Вольмер нашелся в своей известной всем комнатушке рядом с главным фойе. Он сидел, зажав коленями островерхий шлем, и натирал щеткой для обуви его кожаную поверхность. Свою комнатенку он делил с умывальником, чуланом для швабр и кривоватой буржуйкой, на которой дымилась медная кастрюлька. В топке горели деревяшки, которые герр Вольмер насобирал на развалинах разрушенных во время бомбежек домов. Герр Хоффер всегда восхищался тем, с какой стойкостью герр Вольмер переносит лишения, но всегдашнее выражение его лица, мало отличавшееся от того, что у других людей принято называть угрюмой гримасой, отнюдь не радовало, особенно по утрам.

— Нам нужны свечи, — сказал герр Хоффер. — И аптечка. Фрейлейн Винкель и герр Оберст поранились осколками стекла. — Он поднял свою обмотанную руку, вокруг которой тут же завились кольца синего сигаретного дыма. — И я тоже. Ничего серьезного.

Герр Вольмер взглянул на него из-под кустистых бровей, дернул густыми кайзеровскими усами и, отложив шлем и щетку, открыл чулан. Часы на стене громко тикали, заглушая далекие раскаты артобстрела. Вахтер достал из чулана белую коробку с красным крестом на крышке. Герр Хоффер, который предпочел бы, чтобы тот сказал что-нибудь сочувственное, потянулся за своей связкой ключей. В то же мгновение комната дернулась в сторону и снова встала на место; герра Хоффера швырнуло об стол. Он сильно ударился животом о край столешницы, дыхание перехватило. Герр Вольмер устоял на ногах: тридцать лет назад ему не раз приходилось спать в бункере во время обстрелов.

Снаружи раздался глухой звон стекла, как будто море отступало, разбившись о волнорез. И тишина.

Они вышли в фойе. Цветные стекла парадных дверей и двойной овал витража, расписанного когда-то самим Якобом Клюге, мелкими осколками лежали на полу. Окна не пострадали.

— А я-то мечтал о тихой жизни, — пошутил герр Вольмер.

— И до Клюге добрались, — вздохнул герр Хоффер. Сердце билось прерывисто, как испуганная птичка.

Они отперли дверь и выглянули наружу.

Несмотря на густую пелену дыма и строительной пыли было очевидно, что что-то изменилось — на мраморном постаменте не было знаменитого бюргера. Черный дым поднимался из-за крыш и цветущих вишен; едва ли не каждую секунду сверкала новая оранжевая вспышка, как будто американцы передавали при помощи азбуки Морзе какое-то зашифрованное послание.

Надышавшийся пылью герр Хоффер закашлялся. Раненую руку он обо что-то ушиб, и из-под повязки снова сочилась кровь.

И. о. и. о. директора и вахтер вышли из здания, чтобы оценить ущерб. Фасад был весь в выщерблинах, как будто по нему прошлась пулеметная очередь. Они подняли глаза: высоко в небе, над черными клубами дыма и пыли, строем летели бомбардировщики. Американские. За ними несся глухой пульсирующий рев. Со стороны ратуши поднялся столб огня, потом еще один почти в том же месте — изрыгнув гриб дыма и строительного мусора, земля под ногами задрожала.

Прав был Вернер. Американцы решили сровнять город с землей.

На улице появилась толпа в тридцать-сорок человек с лошадью и телегой, груженной коробками, тюками и сундуками. Люди — по большей части женщины, дети и старики — выглядели жалкими и оборванными. Некоторые старики нарядились в свои лучшие костюмы, сейчас превратившиеся в лохмотья. Старомодные деревенские наряды: штаны до колена, широкополые шляпы и забавные куртки.

Герр Хоффер когда-то изучал сельские жанровые сценки, поэтому считал себя знатоком национального костюма.

— Они с Одера, — сказал он.

— Это где?

— На польской границе.

— На польской границе? Это... так это же далеко, герр Хоффер.

— Бегут от красных.

— Ну, это понятно.

Кто-то из беженцев заметил две одинокие фигуры у дверей и закричал. Толпа развернулась и, как единый организм, как огромное насекомое, устремилась к ним из клубов пыли.

Они поспешно ретировались и заперли дверь на оба засова, сверху и снизу. Звук хлопнувшей двери никак не умолкал, повторяясь и повторяясь в пустых пространствах музейных залов. Герр Хоффер в первый раз ощутил, что Музей может не пережить это наступление. Он потрогал осколки витража ногой, ожидая, что дверь вот-вот выбьют. Как он все-таки к нему привык! Каждый день, выходя из здания, он поднимал на него глаза. Витраж Клюге впечатался в его жизнь так глубоко, как будто они не могли существовать друг без друга. Аполлон златокудрый — вестготский воин; Диана — рейнская дева в прозрачном наряде, теперь все стало возможным. Например, толпа может ворваться в подвал и уничтожить картины.

Герр Вольмер опустил жалюзи в своей комнатушке, но предосторожности были не нужны — беженцы исчезли.

— Может, мы поступили неправильно?

— Почему это?

— Может, не надо было захлопывать двери у них перед носом?

— Лучше сдохнуть под обстрелом, чем попасть в лапы красных, которые сначала всех изнасилуют, а потом замучают насмерть, — пробормотал герр Вольмер. Что не слишком утешило и. о. и. о. директора.

— Прежде всего мы должны думать о картинах, — сказал герр Хоффер за всех присутствующих.

— Я остаюсь на посту, — ответил вахтер, доставая метлу из чулана. — Сюда никто не войдет — только через мой труп.

— Никто, кроме тех, кого вы знаете, — вмешался герр Хоффер. — Не все из нас собрались здесь сегодня, и о семьях тоже не стоит забывать. Перед уходом я сказал жене: если случится беда, приходи в Музей.

— А я всегда говорю: в беде надо держаться вместе.

— Я звал их, но она решила остаться дома.

— Лучше собственного дома места нет, герр Хоффер.

— Да-да, но надо исполнять свой долг. Я пробегусь по зданию и проверю, как дела. Мало ли что бывает с этими бомбами. И мне не очень нравится, что вы сидите наверху, пока мы укрываемся в подвале.

— Вы сами сказали, — возразил вахтер, держа метлу наперевес. — Это мой долг. Ваш долг — это картины.

Он начал сметать цветные осколки в фойе, а герр Хоффер поспешил прочь с аптечкой, тремя свечами и коробком спичек. Когда-то в малоизвестном журнале он высказал мнение, что витраж Клюге слащав и старомоден. Это заметила местная пресса — последовали возмущенные письма, призывы к увольнению... Как прекрасно быть молодым и наивным! Теперь витраж Клюге выметут, и никаких больше возмущенных писем. Несмотря на все свои недостатки герр Вольмер — просто чудо.

Он обошел верхние залы. Световые люки в Длинном зале остались целы. Учитывая, что почти вся крыша представляла собой большой световой люк, это было хорошо. О стекло часто бились птицы, пытаясь пролететь насквозь. Следуя обычному маршруту вахтера, герр Хоффер под-

нялся на редко посещаемый третий этаж и проворно зашагал по коридору. У него было много планов на эти помещения, но пока они пустовали. Минимум треть от площади Музея не использовалась. После войны он планировал посвятить себя расширению экспозиции. В его планы входило и создание художественной школы. Нельзя же стоять на месте.

Неподалеку от деревянной лестницы на чердак сверху раздался отчетливый шорох.

Он замер и прислушался. Всю жизнь герр Хоффер панически боялся крыс, а этот звук как раз позволял предположить, что там очень жирная крыса. На прошлой неделе Каспар Фридрих поймал одну, перепугав при этом всех, потому что она выглядела на удивление большой и страшной. Шорох стих внезапно, как обычно случается с такого рода шорохами. Герру Хоффер у моментально расхотелось подниматься. Даже тут, вдалеке от крысиного царства, не хотелось оставаться надолго. За многие годы борьбы в подвале крыс потравили, но на чердаке они до сих пор удерживали свои позиции. Чердак был слишком велик, слишком похож на огромную швабскую конюшню. Он поспешил прочь.

Вдали, притворяясь удаляющейся грозой, взрывались бомбы.

Он стоял на вершине лестницы в подземелье, сжимая свечи и спички, и вспоминал Вергилия — тот момент, когда Орфей "в Тенара устье вошел, в преддверье глубокое Дита"[1], и ему казалось, будто он тоже несет жизнь сонму бесплотных душ.

Может быть, моя смерть наступила давным-давно, не знаю. Что значит быть живым? Иногда я вижу птиц. Птицы живые, но это еще не доказывает моего существования; ведь и слова в книге могут порождать живые образы, но это всего лишь иллюзия жизни. Я слышу кого-то внизу, но, может статься, я просто призрак. Или одинокое божество на своих небесах.

10

Коньяк Перри обнаружил наверху, в большом столе красного дерева.

Стол торчал из-под кучи мусора и осколков стекла. Капрал обшарил ящики. Коньяк, судя по этикетке, был дорогой, марочный. Он было подумал, не окопаться ли где в одиночку, не напиться ли. Через двадцать пять минут солдаты с позвякивающими рюкзаками соберутся вместе и вернутся на командный пункт во двор бакалеи — никто и не узнает, что на сорок пять минут патруль под началом капрала Перри ушел в самоволку... думать об этом было приятно.

Потом они разделятся и отправятся в город, в то, что осталось от города, а он останется. На самом деле ему уже расхотелось пить в одиночестве, слишком уж это тоскливо. В последнее время он стал суеверным — жадным эгоистам тут не выжить. Он разопьет коньяк со своим ангелом-хранителем, Абелем Моррисоном из Уайтхолла, что в Висконсине, с человеком, подобных которому он никогда бы не узнал, не будь этой войны. Он проиграет Моррисону в безик, как всегда проигрывает; его колода "Дядя Сэм" уже такая затертая и потрепанная, что не всегда понятно, какую карту держишь в руках.

1. "Георгики", IV, 468. Перевод С. Шервинского.

Вскарабкавшись на кучу обломков — так дома он лазил по холмам, — Перри посмотрел на две изрытые воронками, заваленные сломанными деревьями, трупами и строительным мусором улицы, которые пересекались прямо перед ним, а потом туда, где они, почерневшие и вымершие, уходили в перспективу. Среди мусора лежало что-то длинное и железное, похожее на шпиль. Та девушка на улице вроде говорила, что тут была башня.

Осталось тридцать минут.

Он закурил и снова порадовался тому, что ослушался приказа. Послушание — грех. Не верите — посмотрите на немцев. И все-таки то, что он самовольно распустил патруль, тревожило его совесть. Ему надо больше верить в себя, в свое право на индивидуальность перед лицом бездушной машины-войны. Это был жест. Они сровняли этот город с землей, потом ходили по нему, сровненному с землей, и вышибали двери. Он просто разбил лед, разбил ледяную бессмыслицу. Через полчаса все соберутся вместе и снова превратятся в патруль — но сказанное останется.

Он затряс головой, избавляясь от лишних мыслей и выводов, все собой заслонивших. Затем осмотрелся, позволил себе коснуться реальности. В воздухе пахло гарью, горьковатой, едкой, знакомой, почти привычной. Запах нельзя нарисовать или сфотографировать. Только свет, цвет и тень. Сумерки, будто задумавшись, наступать не спешили.

Стоял апрель.

Об этом пришлось вспомнить — на мгновение ему почудился ноябрь.

После бомбежки в городе всегда появляется больше пространства. Как будто Кинг-Конг покусал дома своими огромными клыками, оставив одни обломки, торчащие тут и там камины, трубы, извивающиеся, как лакричные тянучки, батареи, прижавшиеся к какой-то случайно уцелевшей стене. Среди обломков начинали проступать тропы, похожие на те, какими в джунглях ходят звери. То и дело на улице мелькали люди в зеленой форме. Гражданские и пленные ходили медленнее. Пленных было видно издалека — они маршировали строем и держали руки за головой. В основном это были мальчишки и старики в военной форме с чужого плеча. Темные глыбы среди мусора — трупы. Что-то похожее на останки противотанковой пушки, прямо под ней — оторванная рука. Похоже, чуть раньше он прошел мимо и не заметил.

Звуки доносились будто издалека, ими можно было дирижировать — криками, взрывами, очередями. А это что? Винтовка?

Он на мгновение замер и снял с плеча свою. Вот теперь у него есть задача. Тут можно просидеть до ночи, а уж потом разобраться с картиной со снежными пиками, с солнечной золотой долиной. Пусть пока отлежится в подземелье, в щели. Мистер Кристиан Фоллердт. Неплохой трофей. Вот только сидит он на виду. Снайпер перед выстрелом улыбнется.

Перри расслабился и принялся сбрасывать вниз камушки, стараясь не обращать внимания на то, как неудобно сидеть мягкой задницей на твердой каменной кладке. Он скрутил самокрутку и прикурил от недокуренного "Честерфилда". Язык уже немного саднило. Гитлер — враг курения. Считает, курить вредно. Ненормальный. Как воевать без курева? Стройная женщина бросила на него беглый взгляд, проходя мимо прямо по мусору. Он махнул ей рукой, но она пошла дальше. Она была на каблуках, а из сумочки торчало что-то, видимо, зонтик. Вот это шик — так одеваться и не обращать на него внимания. Ему нравились худенькие. Пол-

ные женские руки Перри не прельщали. Однажды во Франции он видел, как из огромной ямы достают полуразложившиеся женские трупы, все еще на каблуках. Ему сказали — дело рук гестапо. Тридцать, может, сорок. Не надо было смотреть. Туфли были украшены бантиками.

Он потряс головой и следующие несколько минут потратил на раздевание хорошенькой стройной женщины, ясно представляя себе ее небольшие груди, жалея, что не увязался за ней. Его губы мягко касались ее сосков — сначала одного, потом другого, словно благоговея перед ними. У Моррисона внутри каски была приклеена картинка из "Эсквайра" с Ритой Хейворт, кокетливо поглаживавшей длинные ноги и говорившей: "Дашь мне время подумать?" В планшете была еще одна — красотка, задравшая свитер так, что тяжелую округлость груди было видно почти до самого соска. "Не сезон для свитеров". Перри не держал у себя фотографий кинозвезд, ни одной, только карточку Морин в купальнике, но это не в счет. В конце концов его голова — не помойка. Единственный раз, когда он чем-то подобным увлекся, была "Греческая рабыня" Хирама Пауэрса, распалившая его воображение в четырнадцать лет. Было что-то в этих цепях, прикрывавших лобок, в невозможной гладкости мрамора, в маленьких красивых грудях, что не давало покоя. Несколько лет назад в Вашингтоне он пошел посмотреть на оригинал и смутился, оказавшись рядом с ней на людях, в компании дам в лисьих мехах и огромных шляпах.

Да, ему нравились худые женщины.

Здесь они в основном грушевидные и суровые, с завитками над ухом и в одинаковых светлых кофтах поверх фартука, такие всегда возвращаются на насиженное место, как сбитые кегли. В деревнях, по которым, спотыкаясь в грязи, брели беженцы, эти дамы даже своих невзрачных озлобленных соплеменниц с завитками над ухом встречали без всякого сочувствия.

Конечно, среди них попадались и хорошенькие.

В каждом городе, который они проходили. Кроме того кирпичного, где дождь шел и шел, а бомбы все падали и падали, и слишком много людей погибло от снарядов прямо в своих танках. И Джек Бургин отправился в ад с оторванной головой, где и ему больше не придется то и дело расчесывать свою пышную шевелюру. И кто в этом виноват? Своя же базука, чтоб ей пусто было.

Связи с местными женщинами не приветствовались. И вообще у него дома невеста — в Кларксберге, Западная Виргиния.

И все время вертелся вопрос: почему те француженки не сняли красивых туфель, не спрятали их? Ведь многих расстреливали босиком. Прямо на снегу. Впрочем, не всегда.

Он любил, да, он любил Морин. Она была маленькая и крепенькая, с карими, близко посаженными глазами — от этого ее лицо только делалось привлекательнее, это вам не аккуратная среднестатистическая миловидность, застегнутая на все пуговицы. Морин было легко вспомнить. О ней было легко видеть сны, в которых она непременно сидела за фортепиано. Насколько ему было известно, Морин к фортепиано в жизни не прикасалась. Может, когда вернется, он уговорит ее хотя бы за него сесть.

А молоденькие немки иногда сами к ним приставали.

А что, разве не бежали они за машинами? Да сколько раз. Разве нет? Слишком мало местных самцов — кто погиб, кто на фронте, кто просто ударился в бега перед наступлением, а девушки изголодались, некото-

рые были очень милы, очень хорошенькие, готовые на все просто так, ради того, чего тебе никогда не понять, того, что, наверное, можно назвать утешением. Успокоением. Сочувствием.

Кто-то сказал бы: "сексуальный голод". Или еще похлеще.

Они всегда старались отдать что-нибудь взамен — печенье из НЗ, сушеные груши, банку тушенки. Перри, правда, еще ни разу не доводилось. Наверное, на него повлиял медицинский инструктаж — послушать врачей, так по эту сторону Атлантики сифилис у всех без исключения. Пакетики шипучки он раздавал детям, чернослив с ужина — старухам, сахар и сгущенку — женщинам с младенцами на руках. Отчасти причина была в том, что он был заросший, вонючий, грязный. Как только в городе будет вода, будут и ванны. Он хотел теплой пенной ванны и чистого белья и какой-нибудь волшебной сигаретки, которая прочистила бы ему желудок. И пуховую перину, чтоб после ванны можно было сладко проспать двое суток.

А потом горячий обед, что-нибудь полезное, что не произведет взрыва в желудке. И чистая родниковая вода, которую не надо кипятить и которая не воняет хлоркой.

Он так устал, что усталость казалась приятной. Если бы прямо сейчас у него перед носом случилась мировая революция, он бы укрылся с головой и уснул.

Даже винтовка тяжелая, чтоб ее разорвало. Вряд ли у него встанет. Ведь кровь нужна голове, где она бурлит и мешает провалиться в забытье.

Остальные, впрочем, именно этим, наверное, сейчас и занимаются. Прямо сейчас, скорее всего.

Моррисон, например, с той, которая искала какого-то Генриха. Наверное, все-таки Гиммлера. А они так и не догадались. Перри ухмыльнулся. Если на то пошло, он бы тоже с удовольствием разлегся на плоском животе какой-нибудь красотки. Болезни и грязь везде, от них никуда не денешься. Пусть зануды врачи языки чешут.

Тоненькая ниточка, которая вела к жизни — его собственной жизни после войны, — еще натянута. Стойкость проведет его по ней. И Морин сядет за фортепиано.

Он заерзал на груде обломков, посмотрел на часы. Двадцать три минуты. Время ползло мимо. Только мысли не отступали. Перри вытащил из нагрудного кармана две таблички: *Waldesraus* и *mit Kanal*. Обе под стекло. Внизу прошел один из старичков — рядовой первого класса из роты "Чарли", помахал рукой и что-то крикнул. Перри, как дурак, торопливо засунул таблички в карман, как будто это были ценные трофеи.

— Ты как?

— Нормально, угу, все нормально.

Ну и кому какое дело, у кого какое звание?

Нашивки — дерьмо собачье, мишени для снайперов. От его собственной осталось полинялое пятно на плече, которое, может, когда-нибудь кого-то введет в заблуждение.

Перри нащупал бутылку коньяку — здесь лучше не пить, слишком заметную точку он занял.

Да, здесь было хорошо, решил он, на этой горе, прислонясь к чьему-то сломанному столу. Стол как будто всегда и был сломанный. Будто бы все и всегда было сломанным. Завтра утром сразу после переклички он

дежурит у раздаточной вместе с капитаном Кокрейном. Между возвращением на командный пункт и дежурством он свободен. На Перри накатила эйфория, как будто он снова вернулся в школу и прогуливал уроки. Это чувство не забылось даже спустя столько лет. Целых десять. Все-таки он ужасно молод.

Если, конечно, какой-нибудь сраный эсэсовский гондон не соберется отстаивать свое право на защиту своей живописной и изолгавшейся страны.

Надо решать, как поступить с этим прекрасным трофеем — снежными пиками и золотой долиной мистера Кристиана Фоллердта. Разберется, когда остальные напьются и завалятся спать. Хаос — лучшая маскировка.

Он женится, народит шестерых детей, и все благодаря мистеру Фоллердту. И еще огромный холодильник "Норге" заведет.

Сгущались сумерки, из ниоткуда поползи тени, погружая улицы в темноту. Он почесал лоб — сдвинул каску на затылок и впился ногтями туда, где кожу раздражала пропотевшая льняная подкладка.

И бассейн "Гэтсби".

Закинув за плечо винтовку, он осторожно спустился по ненадежному, сыпучему склону, некогда бывшему музейной башней. В рюкзаке булькал коньяк. Тут можно подвернуть ногу — и отправиться в увольнительную. Вот только, как кто-то однажды сказал, нарочно ногу не подвернешь. К тому же он не трус. Трусов надо отстреливать на месте, как крыс, так сказал верховный бог генерал Паттон.

Кстати, сэр, он был совершенно прав.

Перри миновал стол, на котором сверху лежала аккуратно сложенная газета. Под столом лежал труп. Из обуглившейся головы торчало что-то вроде гвоздя. Потом капрал прошел вдоль музейной стены, которая пережила все, включая обрушение кровли. Стена казалась театральной декорацией — зияющие дыры окон, изгиб кованой балюстрады, обои в цветочек и болтающиеся радиаторы. А наверху в своей нише-раковине стояла уцелевшая маленькая белая Дева Мария как чудо — или самоубийца, готовящийся к прыжку. Ничего особенного. В городах, которые сровняли с землей, случаются и не такие чудеса. Например, целехонькая бутылка коньяку среди обломков письменного стола. Торчащие радиаторы — это вообще не чудо. Можно хоть всю стену снести к чертям собачьим, а радиаторы останутся целехонькие, как ощеренные зубы. К ним притулились люди. Насквозь промокшие. Или, может, просто окаменевшие от этого внезапно обрушившегося на них мира.

Он поднял глаза и догадался, что крыша тут, видимо, была стеклянной — от нее остался лишь каркас, похожий на пунктирный шрифт, готовый обрушиться в любой момент.

Au revoir, подумал он. Я не такой придурок, чтобы стоять тут и дожидаться, пока ты на меня упадешь.

Я вижу их всех: папу, маму, Лео, Лили, маленького Хенни, бабушку, всех моих двоюродных братьев и сестер, всех теток и дядьев. У меня тридцать шесть пуговиц – ровно столько, чтобы хватило на каждого. Мама – верхняя пуговица, она не дает мне застудить горло. Тогда, у грушевого дерева, можно было обернуться, увидеть ее в дверях и помахать рукой на прощание.

Одной из драгоценных спичек фрау Шенкель зажгла свечу, и всем тут же полегчало. Золотистый огонек осветил нежное лицо Хильде Винкель и ее пухлые губы, на которых запекшаяся кровь блестела как помада. Распухшая верхняя губа, хоть и напоминала утиный клюв, наполнила сердце герра Хоффера нежностью. Хильде писала диплом о реализме в современной скульптуре — той самой партийной скульптуре, которую герр Хоффер ненавидел за ее фальшь и героическую напыщенность. Распухшая губа была куда реалистичнее.

— Шрама наверняка не останется, фрейлейн Винкель, — произнес он слегка запыхавшимся голосом, еще не отдышавшись после своего похода. — Губы быстро заживают.

Свет от свечи украсил их лица, даже архивариус Вернер стал похож на себя в юности. Впрочем, не так уж сильно он изменился, ведь Вернер был таким тощим, что обвисать было нечему. Как ни странно, здесь было довольно тепло. Золотистый огонек заставил забыть, что от холодного каменного пола их отделяют только старые подушки.

— По-моему, дело пошло на поправку, — произнес герр Хоффер.

— Именно это, слово в слово, — ответил Вернер, — сказала моя больная мать за два часа до смерти.

Герр Хоффер решил не обращать на это внимания. У него внезапно возникла надежда. В конце концов приспособился же он к войне, хотя и совсем не сразу. Его больше не пугали даже трупы и развалины. Только выстрелы. Мирная жизнь показалась бы странной, как запах забытого печенья в ящике старого комода, от которого давно утерян ключ.

Фрау Шенкель сняла пальто, закатала рукава и перевязала раны — прошлую войну она начинала медсестрой. Фрау Шенкель была удивительной женщиной. Ее муж и сын отморозили ноги и погибли на Восточном фронте с промежутком в три недели, но она с поразительной стойкостью как ни в чем не бывало продолжала ходить на работу. Она почти не изменилась, только теперь ее волосы были гладко зачесаны, открывая шею и внушительный лоб. И кожа — кожа вокруг ногтей стала грубой и неухоженной, тогда как раньше у фрау Шенкель всегда был безупречный маникюр, а ногти она натирала чем-то с запахом дюшеса.

Ее муж был машинистом железнодорожного состава и замерз прямо в пути, что герру Хофферу казалось весьма странным. После второй смерти (Зигги, двадцать два года, сын, третье января сорок третьего) он вообще не нашелся, что сказать ей. Прокашлявшись, он все же попытался начать сочувственную речь, но она подняла руку, и он замолчал. Вот так, с поднятой рукой, она и замерла, сидя за своей пишущей машинкой, глядя прямо перед собой, как статуя — мраморная, ведь лицо у нее было очень бледное, — и герр Хоффер не осмелился ни шелохнуться, ни произнести еще хоть что-нибудь. Он думал: эта женщина осталась одна. Казалось, будто одиночество захлестнуло ее, превратило в камень, убив все, что в ней было живого.

Он думал: сейчас она не выдержит, закатит истерику, разрыдается.

Вместо этого она очень медленно опустила руку, несколько раз напряженно моргнула и сказала ему:

— Вчера мне снились деревья, герр Хоффер. Мне больше ничего не нужно. Я не могу объяснить, просто поверьте мне. Пожалуйста, давайте продолжим работу.

Он подчинился и отдал ей бумаги, которые нужно было подшить. И даже почувствовал облегчение. Фрау Шенкель чем-то пугала его. Если бы он вдруг лишился жены и дочерей — если бы, например, прямо на их квартиру упала бомба и пробила перекрытия до самого убежища, — у него наверняка был бы жалкий вид и едва ли он понимал бы, что происходит вокруг. А фрау Шенкель приснились деревья, и она успокоилась в своем лесном уединении.

Несколько дней спустя он застал ее у картины в Длинном зале.

В этом огромном пустом пространстве под стеклянной крышей когда-то хранилась современная коллекция, низведенная теперь до собрания безвредного, приличного и банального. Фрау Шенкель редко глядела на картины, хотя знала содержимое каталога не хуже герра Хоффера. Она стояла перед березовой рощей кисти Пауля Бюрка с грязной дорогой, уходящей сквозь неподвижные стволы в укрытую листвой даль. Эта картина заиграла только теперь, когда рядом не осталось больших экспрессионистских работ, и за это герр Хоффер пытался ее не любить. Почему она называлась "Waldesrauschen"[1], было непонятно, так как на ней нельзя было разглядеть и намека на то, что ветви шевелятся на ветру.

С другой стороны, все картины утопали в тишине, как жужжащая муха в капле янтаря.

— Они никогда не перестают расти, — произнесла она, услышав, как предательски скрипнула половица, когда герр Хоффер попытался незаметно выскользнуть из зала. — Деревья такие упорные.

Без сомнения, она стояла перед Бюрком уже давно — в затянувшейся нерешительности, чуть выставив вперед одну ногу, как будто движение оборвалось внезапно. Глядя на нее, герр Хоффер вспомнил все свои любимые скульптуры, включая те, которые видел только на фотографиях. "Давид" Донателло, к бронзовой коже которого он так хотел прикоснуться. Тот же необъяснимый потенциал движения в неподвижности. В мраморных исполинах Новой Германии не было ни движения, ни нерешительности. Ни прошлого, ни будущего. Все так было, есть и будет. Потому он и считал их бессмысленными истуканами, пусть и со вздувшимися венами на стопах и неестественно заломленными руками. Впрочем, об этом он предпочитал помалкивать.

Что же он сказал тогда, стоя на пороге, когда паркет скрипнул сам по себе и в стеклянную крышу огромного зала влетела муха?

— Мне кажется, фрау Шенкель, что в лесу всегда чувствуешь себя защищенным.

Его голос подхватило эхо. Его очки запотели. Точно с тех пор прошли недели, а не годы — он отчетливо увидел черные рукава и красные повязки, снимавшие одну за другой картины с крюков по кивку серых кителей, представлявших Комитет конфискации дегенеративного искусства, и вспомнил, что тогда сказала фрау Шенкель: "Между нами, герр Хоффер, они не очень-то мне и нравились".

1. "Звуки леса" (*нем.*).

Но это было несколько лет назад, в прошлом десятилетии, когда он все еще ездил на работу трамваем, а герр Штрейхер все еще формально занимал директорское кресло. Теперь (то есть два года спустя) герр Штрейхер был прикован к постели, фрау Шенкель потеряла мужа и сына, и это была уже его война, и каждый день он двадцать минут ехал в Музей на велосипеде, вдохновенно размышляя об искусстве.

Не успеешь оглянуться, как все меняется так, что и не узнать.

За закрытой дверью было почти не слышно бомбежки. Это была особая дверь, установленная в 1938 году по специальному указанию министерства.

Герр Хоффер поднял глаза на пологий свод подвала. Он казался абсолютно неуязвимым. Что там сказал Шиллер о знаменитом Зевсе Олимпийском работы Фидия? Что, если он встанет, крыша храма обрушится? В кривизне была сила, а бог стал служить человеку. Это был подвал когда-то довольно прочного замка. Его башни, откровенно говоря, весьма приземистые, возвышались до самого 1631 года, пока шведы не сровняли тот с землей, и теперь можно было стоять на груде камней и видеть небо. Как будто и не было никаких башен.

Три слоя грунта, чтобы холст затвердел. И времени не пожалел, подумать только!

Как будто слой белизны был так же необходим, как завеса тьмы, — его тайна надежно укрылась в полном отсутствии света.

Может быть, я последний человек на земле, если не считать демонов и мышей. Как можно доказать, что все, нами испытанное, не придумано нами же? Но хлеб, который они приносят, настоящий. Как и холод. Как и страх.

12

На чудом уцелевшем подоконнике стояла пишущая машинка. Наверное, отбросило взрывной волной. Или какой-то шутник поставил.

Печатайте, мисс Хейворт.

Машинка оказалась совершенно целая, только краска по большей части обгорела. "Ремингтон". Название было еще различимо, едва-едва. Совсем такая же, как на открытке, которая была у него когда-то в колледже, — сумасшедший дада-коллаж с таким же "ремингтоном" в углу, каким-то типом в пальто, разложенными в ряд курительными трубками, анатомической моделью головы и нарисованным мольбертом с подписью "Naturkraft"[1] — все перемешано в стиле, который, видимо, лет двадцать назад считался революционным. Сейчас Перри даже имя художника не помнил, но тогда часами замирал над открыткой, думая о своем — о девушках, например, или о смысле жизни.

Он стоял во внутреннем помещении музея, совсем недавно вывернувшемся, как носок, наизнанку, и смотрел в окно, притворяясь посетителем, который пришел полюбоваться на картины. Удерживать равновесие, стоя на куче мусора, было не так-то просто. Слишком много битого стекла и ржавого железа.

Не помогли и воспоминания о музеях, там, дома, о том, какие они внутри, добротные, спокойные, непоколебимые, будто и воздух в них

1. "Сила природы" (*нем.*).

не приспособлен для дыхания. Будто они вне времени. Вечные. Исконно истинные, непостижимые, вечные.

Перри пощелкал по клавишам "ремингтона", но их приварило огнем. Он задумался, а не написать ли картину — пишущая машинка в разбитом оконном проеме на фоне дымящихся руин. "Выжила". Развалины и грязь, огонь и смерть так приелись, что сделались в порядке вещей, а вот попасть бы в город, где на окнах стоят цветы, люди ездят на автобусах, а из пекарен тянет запахом свежего хлеба, — это было бы непривычной, нелепой роскошью.

Вот что он будет рисовать, когда вернется, — обычные городские улицы. И лишь иногда — руины, лишь иногда — искореженную пишущую машинку, маленькую белую мадонну в нише обгорелой стены или газету, лежащую среди обломков. Эти картины не будут продаваться, они должны перейти к его детям и внукам, а тем временем бомбежки уступят миру и все станут снова гнуть спину в Луизиане, ну и пусть. Вот только представить эти свои будущие работы он сейчас не мог — ему хотелось отбросить свой рекламный стиль, поменять его на что-то более сложное, выстраданное, ведь если посмотреть вокруг, видишь лишь странные, изломанные линии, хаос форм.

Перри так и не смог представить свои будущие картины, но сама мысль о них грела; и ничего, что сейчас он стоит на руинах Музея с винтовкой за плечом как самый обычный солдат, да он и есть самый обычный солдат.

Он переступил через труп, прикрытый одеялом. Из-под одеяла торчала рука, рядом с ней валялась каска с мультяшными молниями СС по краям, вокруг было раскидано какое-то барахло, выпотрошенное из карманов. Развернувшись, Перри пнул каску ногой. Она закружилась и покатилась, покатилась и загремела, и гремела, и гремела все дальше и дальше, как будто рассказывала что-то и никак не могла остановиться.

Всякий мертвец — это просто очень несчастный сукин сын. Даже эсэсовец.

Карманы ему проверили, значит, свои тут уже побывали. Моррисон или другой кто.

Тебе, парень, идет быть таким — несчастным и мертвым. Такие вы нам больше по душе. Когда-нибудь в другое время я мог бы сказать тебе: "А пошли-ка, брат, пообедаем". Увы, этого с нами так и не случилось, а теперь уже и не случится, потому как время на дворе нынешнее, и никуда от него не деться.

Фокус в том, чтобы не слишком много думать. Жаль, что у меня нет патефона. Тридцать шесть пуговиц. Но где же я? Где я среди них? Папа, мама, Лео, Лили, маленький Хенни, бабушка... А я где?

13

Где-то в городе они нашли себе вайды.

Вот что увидели римляне, когда они вышли из-за деревьев, — синие, разукрашенные вайдой террористы, не знающие страха смерти. Оглушительный нечеловеческий крик, доносящийся из тумана.

— Думаю, мы все живем в сумасшедшем доме, — сказал Вернер, тоже как будто из тумана.

— Очень ободряющее замечание, герр Оберст, — вздохнула фрау Шенкель.

— Это не я придумал. Это Бодлер.

— Обычно в больницах поуютнее, — проворчал герр Хоффер, ерзая на своей подушке.

— Иногда вы говорите такие вещи, что мне и впрямь кажется, что вы помешанные, — полушутя заметила фрау Шенкель и затянулась.

Все замолчали.

Помешанные. Какое гадкое слово. Герр Хоффер определял им множество пороков.

Стоит им заставить тебя стыдиться, и ты человек конченый.

Вайда. Вайда и поташ. Вернер как-то написал брошюрку, которую герр Хоффер так и не дочитал до конца. Когда-то производство поташа было главным местным промыслом. А теперь — градусники. Нет, теперь — выживание.

— О чем вы думаете, герр Хоффер? — поинтересовалась Хильде Винкель, по обыкновению глядя куда-то чуть ниже его глаз — с робостью, которая так ему нравилась. Компресс над ее губой, нежной, как цветок, покрылся багрянцем.

Герр Хоффер скрестил руки на груди.

— Я думаю о том, как мы сами все усложняем, — ответил он. Спиной он опирался на холодный камень стены — теперь наверняка заболеет воспалением легких и умрет, как только война закончится.

— Это мужчины все усложняют, — неожиданно возразила Хильде.

— Мужчины?

— Да. Не женщины. Мужчины.

— Фюрер тоже мужчина, — заметил Вернер.

— Он художник. Им руководит женская интуиция. А все остальные только искажают его замыслы. Все, кроме немецких женщин. Мы голосовали за него, и мы остались с ним.

— Немецкие мужчины тоже, в общем, ничего плохого не сделали, — возразил Вернер, явно получая удовольствие от этого разговора.

— Я опять не понимаю, о чем вы говорите, — пожаловалась фрау Шенкель.

— Хильде предлагает избавиться от мужчин так же, как мы избавились от евреев, цыган и коммунистов, — жизнерадостно объяснил Вернер. Вид у него был странный. Осколки разбитой пластинки так и валялись у его ног. Герр Хоффер смотрел на них с обидой, как будто эта выходка была направлена лично против него.

Фрау Шенкель закусила губу и опустила глаза. Ее лицо искривила внезапная гримаса. Она судорожно сморгнула.

— Простите меня, фрау Шенкель, — произнес Вернер.

— Ничего страшного.

Она взяла себя в руки так же стремительно, как смахивают крошки со скатерти. Снова наступила неловкая тишина. Бомбардировка напоминала брюзгливого старика, бормочущего что-то в свое пиво.

— Между прочим, — заявил Вернер, почесав костлявую щеку, — женщины легко займут место мужчин. Взять, например, Фриду, которая раздает полотенца в бассейне. У Фриды волосатые руки. Ее все мужчины побаиваются, даже стопятидесятипроцентные партийные шишки с жирными ляжками и квадратными бицепсами — вот такая она, эта Фрида.

— Пожалуйста, давайте сменим тему, — взмолилась Хильде.

Но, как выяснилось, говорить было не о чем. Герр Хоффер думал о чудесах Дрездена и чарующих фасадах Лоэнфельде с балконами вишневого дерева.

— Как жаль, — произнес он чуть слышно, — что потом все останется по-прежнему.

— Что? — не поняла фрау Шенкель.

Герр Хоффер помолчал в нерешительности.

— Жизнь, — расплывчато ответил он.

— Не останется, — возразил Вернер. В свете свечи он отбрасывал забавную тень. — Жизнь никогда не будет такой, как прежде.

— Пораженчество, — хмыкнула фрау Шенкель.

— Я имел в виду, — перебил герр Хоффер, пресекая спор, — что, когда все это закончится, мы возьмем себя в руки и станем жить дальше.

— Это плохо? — произнесла Хильде с очевидным усилием — губа распухала прямо на глазах.

— Разве я сказал, что это плохо?

— Как бедный Густав, — сказал Вернер.

Герр Хоффер сам удивился, что покраснел. Он решил промолчать.

— Он ведь взял себя в руки и стал жить дальше, — ухмыльнулся Вернер, наслаждаясь его неловкостью.

— Не стоит, Вернер, не надо язвить.

— Вот за что мы можем быть благодарны, — скривилась фрау Шенкель. — Представьте только, если бы бедняга Густав сидел сейчас с нами.

Хильде захихикала. Даже фрау Шенкель улыбнулась. Герр Хоффер внезапно ощутил, что и его это позабавило. Да, мысль о том, чтобы оказаться запертыми в подвале с бедным Густавом, была такой дикой, что становилось смешно.

— Кстати, ты читал работу Густава о нюансах штриховки запястий у Рафаэля? — поинтересовался Вернер.

— Конечно читал. Ты меня уже в сотый раз спрашиваешь.

— По-моему, гениальный текст. Хотя я, конечно, не специалист.

Возникшее между ними напряжение сдерживало только мерцание свечи. Падающие снаряды уже не ревели, а только бормотали вдали.

Разумеется, герр Хоффер не хотел говорить про Густава Глатца. Хотя он прекрасно помнил, как однажды, наверное, лет пятнадцать назад, еще когда партия не пришла к власти, талантливый молодой исследователь подметил удивительное сходство между портретом английского злодея Ричарда Саутвелла кисти Гольбейна и лидером национал-социалистов. Густав даже подрисовал усики на репродукции (в "Штегличер анцайгер"), и с тех пор это самодовольное, свиноподобное лицо стало мишенью для острот.

— Может быть, — предположил тогда Густав, откинув назад густые кудри, — это своего рода физиогномический тип.

— Как это?

— Прежде чем стать шерифом, Ричард Саутвелл был убийцей. Поспособствовал казни своего друга детства. Графа Суррея, поэта.

— Я-то думал, общеизвестно, что у герра Гитлера лицо цирюльника, — фыркнул герр Хоффер.

— Или официанта.

— Официанта в грязной забегаловке, с немытыми пивными кружками и выщерблинами на двери.

— Нет-нет, — рассмеялся Густав, — официанта в цирюльне, где подают смертельно опасные бритвы.

Блестящий, острый, язвительный ум. Вполне возможно, еврейская наследственность. Глатц. Очень даже возможно. Однако его не увезли, хотя, учитывая его состояние, так было бы лучше, и не важно, еврей он или нет.

Герр Хоффер попытался выкинуть Густава Глатца из головы и пожалел, что не захватил бутылку коньяку из ящика стола. Хотя здесь, внизу, было более-менее безопасно. Все они знали, какой древний этот подвал и какие крепкие каменные плиты пошли когда-то на его постройку. Все равно что спрятаться в древней, неприкосновенной немецкой истории. Наверное, следовало взять семью и удрать, укрыться в лесу Тюрингии, как поступили многие другие. Но это означало бежать на восток, навстречу Красной армии. Навстречу мадьярам. Огромным и волосатым. С лицами, синими от вайды.

Наверху будто хлопнула гигантская дверь, стены вздрогнули. На руки посыпалось крошево старинного строительного раствора.

Раскрыв рты, они как один уставились вверх.

Снова захлопали двери — казалось, наверху кто-то буянит. Все молчали, как будто слова могли навлечь на Музей новые снаряды. Каспар Фридрих, сидевший у Хильде на коленях, тревожно поднял голову и напрягся, уже не мурлыча, а вслушиваясь единственным ухом в темноту. Плохой знак, решил герр Хоффер. Под компрессом губа Хильде выглядела ужасно, но, судя по ее виду, ей не было больно. Он сжал внезапно задрожавшие губы. С его ртом такое часто случалось. Рот, рот, рты не удавались ему никогда. Груди — ерунда. Ягодицы — одной левой. А вот рты... И еще почему-то талии. И свет в волосах. И правильно угадать размер ноги. И верный изгиб руки. Все эти пальцы и тени от них! Вообще, обнаженную натуру рисовать сложно. Слишком много мыслей навевает.

Надо меньше думать! Вообще не думать! Браться за дело! Взять и нарисовать рот!

Стало трудно глотать. Страх произвел на него странный эффект — сердце как будто сжалось с легкими в один комок.

Над головой брюзгливый старик снова забормотал в свое пиво. А может, Бог на небесах из сплошных дверей.

Герр Хоффер, наверное, мог бы в своей жизни добиться чего-нибудь получше. Оставить след. Художник всегда оставляет хоть какой-то след. Он покосился на изуродованное лицо Хильде Винкель. Осколок стекла поцеловал ее и оставил свой след. Лучше бы он сам ее поцеловал. Как можно об этом думать? Он на двадцать лет старше! Герр Хоффер почувствовал себя совсем старым.

И это в сорок два года.

Под конец войны чувствуешь себя таким маленьким и старым. Словно заблудился в метель.

Партия ничуть не лучше. Партия — самая большая глупость, на которую ты способен, увеличенная до необъятных размеров. Поначалу радуешься, ведь так приятно узнать в чем-то частичку себя, особенно пока не понимаешь, что это за частичка. И так продолжается, пока слой за слоем не отвалится вся твоя наносная философия, все твое образова-

ние, все твои тревоги и пороки и не останется одна рафинированная глупость. И тогда ты понимаешь: "Ах, вот оно что".

Закрой глаза, будь моей, подай мне лето, подай мне вина.

Впрочем, можно умереть от горя. Кирхнер, например. Кирхнер умер от горя. У него конфисковали сотни картин, и он умер от горя. А кто бы не умер? Это случилось во время выставки дегенеративного искусства.

Естественно.

Что правда, то правда, сомнительная честь для Лоэнфельде – оказаться в числе городов-участников. Всенародная выставка "Entartete Kunst". Сомнительная честь! В одном ряду с Галле, Эссеном, Кёльном... Удивительное дело, вообще-то. Кто-то из семьи Кирхнера написал письмо герру Штрейхеру и описал, как все случилось. Его сестра, кажется. Впрочем, Кирхнер и так уже был на пределе. Между прочим, он был морфинистом. Из Музея Лоэнфельде конфисковали две его картины. Наверное, сожгли. Яркие, сверкающие краски. Они не вернулись с выставкой. С ней приехали другие, тоже конфискованные, выставленные на поругание. Что это было? Мираж в раскаленной пустыне. Пытка.

Нет, все равно что смотреть на блевотину, в которую превратился шедевр кулинарии.

Потом их опять увезли в грязном мебельном фургоне. На дальнейшее поругание. Снова и снова на дыбу.

В голове у герра Хоффера, как на кинопленке, крутились цифры – 149565... 6... 7... 8! 149568 – количество посетителей "Entartete Kunst" (Вход бесплатный!) В пять раз больше, чем на любой другой предыдущей выставке! Какой успех! Поздравляем, герр Хоффер! Цифры – вот что важно! Искусство для народа!

Сто сорок девять тысяч пятьсот шестьдесят восемь человек семенили гуськом через нарочито тесные коридоры из решеток и брезента, громко говорили, громко смеялись, а его терзали невыносимые боли в позвоночнике. Все три недели.

Он вспомнил, как возвращался домой и ложился на диван, а Сабина – о милая, любящая жена! – гладила его по голове прохладными руками.

– Что с тобой, мой хороший?

– Я не очень-то люблю людей.

– Ты ими насквозь пропах.

– Вот именно. Ох... Их слишком много, и все они бесконечные пошляки.

– Милый, тебе нужно радоваться. Твой Музей никогда еще не был таким популярным. Даже в булочной только о нем и говорят.

– Не сомневаюсь. И у мясника наверняка тоже. Потому что вход бесплатный, и им дозволяется глумиться над моими любимыми художниками. Я хочу уволиться.

– Говорят, в Дахау очень хорошо в это время года, – нервным голосом сказала Сабина. Ее глаза уже наполнялись слезами.

Она позировала ему обнаженной, вспомнил он. Как настоящая живая модель. Но его акварели и карандаши были слишком робки – что поделать, не всяк родится художником. Сабина всегда получалась какой-то тощей. Вся ее удивительная округлость куда-то пропадала, не достигая бумаги. Даже маслом не выходило ничего стоящего. Однажды она, хихикая, предложила: а не порисовать ли ему чужих жен? И эта идея возбуди-

ла обоих. Но до дела так и не дошло. Позже он, случалось, воображал ее чьей-нибудь чужой женой, что благотворно сказывалось и на его творческой, и на постельной стороне жизни. Вот только, предаваясь любовным утехам после сеанса рисования, они обыкновенно приводили рисунки в полную негодность.

Дегенеративное искусство выставляли перед казнью. Картины висели криво, и он схлопотал выговор, когда попытался их поправить.

— Герр Хоффер, не вмешивайтесь!

— Нельзя вешать картины так криво!

— Они и должны висеть криво. Вот это раскрашенное космополитическое дерьмо должно валяться на полу. Снимите и бросьте на пол, пусть топчут. Вы меня затрахали, герр Хоффер. Ведете себя как полный идиот. Никогда не бывали в Дахау?

— Бывал, и не раз. У меня там тетя живет. Там очень хорошо в это время года.

Что он ответил на самом деле? Ничего. Удивительно, как легко уничтожить картину — достаточно повесить ее криво. Ее достоинства как не бывало. И его тоже.

Два Бекмана, небольшой фотоколлаж Рауля Хаусмана, в котором была и карточка "ремингтона" фрау Шенкель, три Оскара Шлеммера, маленький Херцог, великолепный ранний Нольде и прекрасный Карл Шмидт-Ротлуф. Все верно, все по списку. Теперь вас повесят криво, словно задели локтем, нарисуют вокруг оскорбительные граффити и будут хохотать во все горло. Ха-ха. Ха-ха-ха. Все, от бургомистра до последнего дворника. Ха-ха-ха. Какая ерунда. Вот сумасшедшие, правда? И противные. Ребенок, и тот лучше нарисует. Нам они никогда не нравились. Как хорошо, что мы оказались правы. А вы? Тоже рисуете?

Разумеется, герр Штрейхер опять был на больничном. Очередной срыв. Вот так герру и. о. и. о. директора Хофферу и пришлось выкручиваться самому — выкручиваться, чтобы и второй ногой не очутиться в концлагере. Гопля.

Герр Хоффер, вы идиот.

Внезапно ему захотелось выговориться. Молчание становилось нестерпимым. Особенно под грузом воспоминаний.

Он потянулся к пластинкам и не глядя поставил одну из них. Это оказался вальс, "Souvenir d'Aix-les-Bains" Оффенбаха. Все чуть заметно закачались под музыку, даже главный архивариус и хранитель книг, отвечающий еще и за историю города, а также за коллекции ископаемых изделий местных народных промыслов. Который и сам был в некотором роде ископаемым.

— Кругом евреи, — произнес он, покачиваясь еще заметнее.

— Вот он какой, ваш герр Штрейхер, — отозвалась фрау Шенкель.

— Что вы имеете в виду? — спросила Хильде.

Герр Хоффер, улыбнувшись, объяснил, что музыкальная коллекция герра Штрейхера так и не была очищена от заразы. Потом он, задевая блузку Хильде костяшками пальцев, приподнял Каспара Фридриха и начал с ним "танцевать". Хильде нахмурилась.

— Но разве это не Иоганн Штраус?

— Оффенбах, — ответил Вернер. — Кстати, Штраус тоже еврей.

— Вы уверены?

— Примерно наполовину. Может, чуть больше или чуть меньше. Поинтересуйтесь в авторитетных органах.

— Кои сегодня нам недоступны ввиду непредвиденных обстоятельств, — закончил герр Хоффер. — Жаль только, что это не вальс "Американский орел", правда, Каспар Фридрих?

— Но фюрер любит Штрауса, — не унималась Хильде.

— Не волнуйтесь, наверняка он любит исключительно его арийскую половину, — ответил Вернер, невозмутимый, как всегда. — Он ведь художник как-никак.

Герр Хоффер рассмеялся, а Хильде нахмурилась еще сильнее, уставив сверлящий взгляд куда-то в его подбородок. Вальс кончился и теперь крутился у него в голове.

— Пусть небо желтое и синяя трава... — пропел он и пустился танцевать с Каспаром Фридрихом, ухватив того за мягкие лапы. Какой все-таки добродушный зверь! Маленькие кожаные ладошки-подушечки были сухими и прохладными.

— Я помню эту песню, — сказала фрау Шенкель. Ее глаза были полны слез.

Вернер перевернул пластинку, и музыка зазвучала снова; перед мысленным взором герра Хоффера закружились девушки в длинных юбках и мужчины с пышными нафабренными усами — Франция, беззаботное веселье и кутеж! Ах, былые времена! Дега, Моне, Ренуар! Золото, чистое золото! Ах, моя милая Сабина! Ах, Берлин! Ах, жизнь!

Музыка смолкла. Герр Хоффер со вздохом отпустил кота и поймал на себе резкий, неприязненный взгляд Вернера. Нет, наверное, показалось.

— Пожалуй, почитаю, — произнес Вернер, вытаскивая из кармана книгу.

— Глаза испортите, — сообщила фрау Шенкель.

— "По поводу мокрого снега". Какой блистательный заголовок.

Это были "Записки из подполья" Достоевского. Вернер откинул со страницы ляссе. Его удивительным образом притягивала русская литература, несмотря на то что она была запрещена.

С раздражающе надменной улыбкой под очками-полумесяцами Вернер держал книгу близко к свече.

— До чего подходящая книга, — заметил герр Хоффер.

Впрочем, он ее не читал.

— Я тоже так решил, — ответил Вернер. — Перечитываю ее минимум раз в год. Особенно эпизод про мизернейший немецкий бобрик, каждый раз смеюсь над этим местом. Припоминаете?

— Да, очень мило, — согласился герр Хоффер.

— А как он думал, что у него подлое и глупое лицо, и изо всех сил старался придать ему благородное выражение? — улыбался Вернер. — Просто чудесно. И потом, разумеется, все остальные тоже кажутся ему гнусными, подлыми дураками.

Он глянул на герра Хоффера так, что тому сделалось не по себе.

Может быть, Вернер всегда презирал меня, подумал он. Из зависти.

— Просто чудесно, правда? — повторил Вернер из-за своих сверкающих полумесяцев. — Вы только представьте.

— Мне больше понравилось то место, — соврал герр Хоффер, — где он хвалит романтика за его ум. Я ведь сам романтик.

Вернер бросил на него ядовитый взгляд.

– Генрих, Достоевский говорит о русском романтике.

– Да, но...

– Который гораздо умнее и практичнее немецких "глупых надзвездных" романтиков, "на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи".

– Понятно.

– Или ты считаешь себя русским романтиком, Генрих?

– Разумеется, ты знаешь текст лучше меня.

– Надеюсь, что никаким русским он себя не считает, – проворчала фрау Шенкель. – Только этого не хватало.

Герр Хоффер прикрыл глаза. Перед ним опять замелькали кафе, вальсы и зеленые воды Сены.

– Между прочим, Дега, – произнес он ни с того ни с сего, – тоже не любил евреев.

В основном я занимаюсь тем, что бездельничаю ["бесцельно брожу"? – *herumschlendern]. Вчера пришло пятеро, я едва успела спрятаться. Ни один голос не показался знакомым. Они проплывали надо мной, как корабли. Так и не довелось попрощаться ни с мамой, ни с остальными. Мне бы оглянуться, но и грушевое дерево, и черная калитка остались позади – прочь из сада, прочь из моей жизни.*

14

Когда-то на рубеже веков эта широкая улица была застроена большими домами, виллами с каменными портиками и замысловатыми коваными решетками балконов и заборов вокруг аккуратных садиков. Теперь большую часть фасадов украшали свежие следы от снарядов и выстрелов. Немцы то бежали сломя голову, то пытались отбиваться, отчего было только хуже. *Вы вступили на вражескую территорию.* БУДЬТЕ НАЧЕКУ.

Один из больших домов казался нетронутым, хотя входная дверь едва висела на петлях. Даже мебель можно было разглядеть. Может, там внутри крепкие деревянные кровати с пуховыми перинами? Может, это ничейная территория? Может, никто не успел тут все обшарить и кровати стоят целехоньки? Карта города, разбитого на секторы, была такой грязной, что на ней и улиц-то было не разобрать. Перри сверился с планом-схемой, который получил как командир патруля.

Должно быть, он на Фриц-Тодт-штрассе, длинной и изогнутой улице. На Фриц-Тодт-штрассе было много трупов, и только один, в форме, выглядел не обысканным – очередной эсэсовец, с гитлеровскими усиками запекшейся крови. Все мертвецы выглядят одинаково, будто притворяются спящими. А некоторых словно скрючило. Некоторые были полуголыми, в основном женщины и дети. Неподалеку валялась мертвая лошадь, запряженная в обгорелую телегу. Вонь стояла непереносимая.

Еще вчера все они говорили себе: "Завтра нам наконец повезет. Если не завтра, то послезавтра". Иначе не пытались бы бежать.

Ему хотелось домой.

Где-то продолжали мерзко завывать восемьдесят восьмые, на востоке раздавались взрывы и поднимались черные клубы дыма. Наверное, у

тех кроликов, что сидели в засаде на подступах к городу, на другой стороне еще остались друзья.

В больших домах иногда находятся не только кровати, но и выпивка, и запасы еды. Людей тут не осталось. Все богатые разбежались. Проверять карманы эсэсовца ему не хотелось. Все равно труп уже наполовину сгорел. Так что Перри скинул с плеча винтовку и пригляделся к дому повнимательнее. Все окна закрыты ставнями, ограда высокая, ворота на замке. Одну из реек погнуло снарядом, похоже, тем самым, который убил лошадь и искорежил мостовую, — здесь можно было пробраться внутрь. Перри ступил за ограду и тут же остановился.

К крыльцу вели две ступени, дверь за ними была то ли сорвана с петель, то ли выбита. Видимо, внутри уже кто-то пошуровал. За дверью виднелась чья-то тень. Перри подобрался и шагнул из укрытия, словно из леса.

Это был пехотинец.

Моррисон. "Черт, как же я тебя люблю", чуть было не сказал Перри. Эту огромную щетинистую шею он где угодно узнал бы. И покатые плечи, и черную изоленту на стволе винтовки, и карманный фонарик, заткнутый за пряжку на левом ботинке. И то, как топорщилась куртка под мышками. Все это было так знакомо, так прекрасно, почти так же прекрасно, как родной дом.

Моррисон с кем-то разговаривал.

Перри подошел поближе, но тот даже не заметил, до того увлекся поставленной задачей. Он предлагал какой-то девушке пару леденцов. Та стояла в тени коридора. Видно было плохо, но Перри заключил, что красотка что надо. Потолок над ее головой вздыбился, мебель была то ли перевернута, то ли ее снесло взрывной волной. Она не то чтобы боялась, скорее, не хотела сделать неверный шаг. Девушка была очень худой, даже слишком, на вкус Перри, с копной нечесаных светлых, рыжеватых волос.

— Конфеты? — повторял Моррисон. — Конфеты? Бон-бон?

Тут он наконец оглянулся и увидал ухмыляющегося Перри.

— Похоже, она догадывается, что бесплатного сыра не бывает.

— Какого черта? Она получит конфеты и еще американца в придачу!

Как всегда пухлые губы на его квадратном лице были чуть изогнуты, глаза полуприкрыты — Перри ничуть не удивило бы, если б девушка не стала артачиться. Да и не только девушка. Губы кинозвезды. Кинодивы! Вот почему он никак не мог вспомнить чьи. Уж точно не Тони Мартина.

— Может, она не очень-то хочет второго. Я тут коньяк реквизировал. Морри, малыш, настоящий коньяк!

— Да ну?

— Марочный. Совсем как во Франции. Где остальные?

— Явятся, Нил, когда вволю наразвлекаются.

— Дьявол, перегруппировка через десять минут.

— Иди ты! Как время бежит! Как будет "спать" по-немецки? Из головы вылетело. На паровозный свисток похоже.

— У тебя нет времени.

— Как это нет! Еще как есть! У меня столько времени, сколько ты и вообразить себе не можешь! Сотни часов!

— Тогда не обращай на меня внимания.

— Но я не знаю, как это сказать!

— Может, я тоже не знаю.

— Как же. Все ты знаешь. Ты тут самый шустрый умник.

— Морри...

— Ну так давай колись, какое слово? Нил! Ну! Давай колись, иначе нельзя... Это закон войны.

Перри занервничал. Вдруг придется возвращаться одному. Придумывать оправдания. Скажем, я потерял свой патруль, когда на нас выскочил резервный батальон войск СС. Потом решил: а пошло все к черту, время — это ерунда. Только тепло священно. Здесь, вне вечности, которая, наверное, не теплая и не холодная. Как сон.

— Schlafen, — сказал он.

— Ага, точно.

Жаль, что Перри не знал, как будет "круглый глист". Или "вязальная спица". Зато знал "канал".

Размахивая леденцами, Моррисон двинулся вперед, повторяя:

— Schlafen? Schlafen?

Девушка не отвечала. Стояла молча, сжав ладони в замок, только сверкала большими глазами.

Моррисон приближался к ней осторожно, как удав к кролику.

Перри выглянул из-за мощной шеи Моррисона, покрытой щетиной до самого воротника, и заметил, что девушка косится налево.

Входная дверь была сорвана с петель или выбита. Казалось, в доме больше никого, но она смотрела в сторону. Влево.

Моррисон взлетел в воздух.

Обои на боковой стене задымились и покрылись красными пятнами, мгновением позже раздался и звук. Поначалу выстрелов не было слышно, а потом они стали такими громкими, что рвали слух, как одежду.

На то, чтобы укрыться снаружи за ступенями, сжав винтовку и даже носа не высовывая из-под дверного косяка, у него, казалось, ушел целый месяц.

Он ждал. Сердце колотилось где-то в носу. Стоит высунуться, и ему конец. И думать нечего. Теперь все утихло, остался лишь звон в ушах. В коридоре никого, а то было бы слышно.

Перри, как улитка, подтянулся к ступеням, теперь можно было осторожно выглянуть. Сначала в роли приманки выступила каска, надетая на винтовку.

Никто не выстрелил.

Моррисон уже погрузился в чертову ладью и отправился в путь. Он лежал на полу, его трясло, в руке все еще были зажаты розовые леденцы в обертках. Девушка исчезла. Из-под подбородка хлестала кровь, в шее открылись жабры. Нужно бросить его обратно в воду. Пятно на обоях напоминало художество пятилетнего ребенка. Вниз по цветочному рисунку ползли красные капли.

Моррисон молчал, не звал даже врача или маму. Трясся с широко открытыми глазами, уставившись в пол между собой и Перри, рука лежала под головой, как будто он сам себя баюкал. Каска качалась на полу, газетная вырезка пропиталась кровью. *Дашь мне время подумать?*

Перри так перепугался, что не мог держать винтовку. Снайпер наверняка в комнате справа, где снаружи окна закрыты ставнями, в открытую дверь видны уродливые желтые обои в цветочек. Какой же гадкий вкус у этих иностранцев.

Где-то позади на улице бродили гражданские, пробирались по своим делам через руины и трупы. Ни одного солдата в поле зрения. Судя по тому, как сотрясался Моррисон, чертова ладья оказалась гоночным катером. Лицо его было залито кровью, он словно смотрел через осенние листья в каком-нибудь лесу Западной Виргинии, его пухлые губы больше не улыбались.

Вот блядство.

Теперь Моррисон стонал, тихо, как обиженный ребенок. Черт, мог бы хоть умереть молча. Хотелось орать, звать врача, подмогу, но так Перри выдал бы себя снайперу, который явно не подозревал, что их было двое. А у него даже гребаной гранаты не было. Как он хотел держать все под контролем! Чтобы никто не звал его "сэром" или "капралом". Какой же он говнюк. Надо было взять гранату, тогда он швырнул бы ее в дверь, но ведь гранаты тяжелые, а Перри так любил ходить налегке! Некого и винить, кроме себя. Идиот. Он должен вытащить Моррисона, но тот лежит прямо перед открытой дверью, за которой притаился снайпер. В подобную передрягу Перри уже попадал, но тогда рядом был весь взвод, а сейчас он остался один. Вот чего он никак не мог понять: после семи месяцев в Бельгии и Франции, Люксембурге и Германии, после всего, что выпало на их долю, враг подстрелил его ангела-хранителя! Никогда прежде Перри не был так одинок. Только теперь он понял, как ему страшно.

На самом деле так страшно ему не было вот уже несколько месяцев. Даже когда штурмовали "линию Зигфрида" и форсировали две большие реки. Он уже позабыл тот парализующий страх, который сковал его в первый день боев во Франции. Если не шуметь и удержать дрожь, то снайпер может выйти из комнаты. Вот если бы у него была граната или бомба. А у него всего-то и было, что М1, боевой нож и этот чертов разговорник.

Можно побежать за помощью.

Какой бред, что рядом нет никого из американцев, никого из своих. Ведь не навсегда же он распустил патруль, всего на несколько минут. Может, они ушли навсегда, вся рота — все роты, все батальоны, вся дивизия, вся Третья армия, до самой распоследней сигареты и пакетика обезвоженного сока, и остались в развалинах только он и Моррисон, совсем как во сне, который в последнее время повторялся так часто.

Во сне ему тоже никогда не удавалось удрать.

Сильно пахло коньяком. Спина была мокрой. Он разбил чертову бутылку, ударившись о стену, когда вылетел из прихожей. Нужна лишь секунда, чтобы все в жизни перевернулось. Может, завтра удача и вернется, только ты уже будешь мертв.

Гражданские проходили мимо, не приближались. Волосы у них были посыпаны побелкой, как мукой. Усталый, испуганный, вцепившийся в винтовку так, что побелели костяшки пальцев, Перри, наверное, являл собой то еще зрелище. Если он закричит, даже если позовет врача, ничего хорошего из этого не выйдет. В ушах все еще звенело от выстрелов. Шея Моррисона как обычно складками нависала над воротником, такая же некрасивая, как всегда. Перри охватила слабость, он ни на что не мог решиться. Болела задница, он сидел на корточках и не знал, что делать.

Он попытался сосредоточиться.

Судя по всему, Моррисона убили из пулемета "шпандау", установленного за той дверью на сошках, а девушка послужила мухой, заманившей птичку в ловушку. По тому, как пули прошили обои, — точно пулемет. Да. Да. Да.

Возьми себя в руки.

Вдруг одна из женщин, проходивших мимо, замерла и в ужасе схватилась за лицо. С порога текла кровь, она сочилась по мраморным ступеням и капала с них, рядом с подошвами его ботинок, как краска, и дальше три ярда вниз по дорожке, которая шла под уклон, и стыки каменных плит уже напитались кровью, а еще дальше, у калитки, начала собираться лужица.

Он бросил на нее равнодушный взгляд, будто кто-то во время уборки вылил ведро воды на каменную плитку в коридоре, и вот теперь она собралась в лужу такого знакомого темно-красного цвета. Одна струйка стекала со ступеней, вторая собиралась лужицей у его грубых башмаков. В Морри было много крови.

Абель Моррисон не должен был этого делать. Нельзя приставать к женщине. Соблазнять глупого кролика.

Дашь мне время подумать?

И теперь ему — Нилу Уэсли Перри — придется найти выход. Решение, до которого он никак не мог додуматься.

Медленно-медленно он начал подниматься, прижимаясь спиной к стене. Остановился, пригнувшись. Прислушался. Было очень тихо. Кажется, что-то шевельнулось. Перепуганные гражданские ретировались подобру-поздорову. И вот опять. Что-то шевельнулось.

Спичка.

Внутри дома чиркнула спичка. Может, этот тип решил покончить с собой и заодно взорвать дом. Перри приготовился бежать.

Потом запахло табаком.

Убийца Моррисона курил сигарету. Нет, трубку. Перри тоже захотелось курить. Хороший, крепкий табак, три звездочки. Сладкий табак, куда лучше "Старого золота".

Его все еще трясло, хотя и поменьше. Кровь была повсюду. Моррисон опустошался, как опрокинутая бутылка. Глубокое ранение, обильное кровотечение. Красная лужа доползла до ворот и уперлась в преграду дорожной пыли. Весь мир затих. Даже взрывы и выстрелы умолкли. Казалось, слышно было, как снайпер подносит трубку ко рту. Наверное, сидит рядом со своим "шпандау" как герой, приобняв девушку, курит свою уродливую, шишковатую трубку, какие так любят немцы, — герой, чтоб его, сумасшедший сукин сын. Сидит и ждет.

Теперь Перри стало по-настоящему страшно. Страх окутал, как горе. Такого с ним еще ни разу не случалось. До сих пор ему попадались немцы трех разновидностей — убитые, раненые и пленные с руками над головой, чаще всего старики и мальчишки, основной состав фольксштурма. Были и другие — те, что стреляли из лесов, но этих он никогда не видел. Их пули рикошетили от танков, впивались в стоявших рядом товарищей, но он никогда не видел, как в них стреляют. Вот почему стало страшно. Это была уже не война, а дуэль.

Он разозлился на себя — страшно быть не должно. Разозлился даже на то, что опять хотелось в сортир.

Перри прижимался к стене, стоя ногами в густой висконсинской крови своего ангела-хранителя, а содержимое его кишечника бурлило и

просилось наружу. Он представил, как врывается в дом и с бедра палит в дверной проем, но ничего не сделал. Лицо свело так, что было больно, подкладка каски натирала, хотелось разрыдаться. Гражданские прошли дальше и исчезли, даже не оглянувшись. Желторотые трусы. В одиночку ему со "шпандау" не справиться. Куда деться от восьмисот пуль в минуту? Надо бежать за помощью. Вряд ли остальные далеко ушли, наверняка уже возвращаются к Музею, все семеро.

Моррисон все еще не затих. Он уже не стонал, а скулил, как щенок в корзинке, которому хочется к мамке суке. Перри подавил желание присесть рядом, прошептать: "Все хорошо, друг. Я с тобой". Он поднялся на ноги, в чем тоже не было никакого смысла. Из головы не шла Байю, старая сука лабрадорша, которая жила у них в Кларксберге. Она то и дело приносила очередной помет, щенки так и копошились вокруг, скулили, совсем как Моррисон, отец иногда топил не похожих на чистокровных лабрадоров. Жалко. Перри ничего против дворняг не имел.

Он пытался скользить дальше вверх вдоль стены, но воротник зацепился за неровную штукатурку и сдавил кадык. Перри осторожно отстранился, как будто на его голове в хрупком равновесии упокоился весь мир. До него долетел смех. Точно смех. Изнутри. Низкий мужской смех. Живот болел. Он покосился на окно, но шансов справиться со ставнями до того, как его изрешетит очередь, не было. Его подмывало заглянуть в щелочку. Может, получится выстрелить в нее, прямо через ставню, не открывая, но окно было слишком высоко, пришлось бы прыгать. Так высоко, что пришлось бы встать на цыпочки, чтобы дотянуться до подоконника — дом был приподнят на две ступени, чтобы внутрь не проникала влага, совсем как дома в Кларксберге. Разумно. И против тараканов помогает. На мгновение все подернулось туманной дымкой, как будто сон был обратной стороной страха.

Он чуть не уснул, стоя у стены с открытыми глазами.

Придя в себя, Перри понял, что надо бежать куда глаза глядят, но ноги не слушались, из-под них уходила земля. Он стоял, чуть пригнувшись, желая только одного — выпрыгнуть из кровавой лужи. Кишечник болел, надрывался, пытаясь избавиться от своего содержимого.

И вот он решил опорожниться, не дожидаясь разрешения.

Не слишком прилично. И почему-то как всегда говно стекло в ботинок по левой ноге. Запах поднялся к лицу, как пар поднимается вокруг локомотива и укрывает собой всю станцию, только на сей раз пахло не углем.

Немцы, берегитесь! Не покупайте у евреев! Кто сказал: не советую любить ближнего, любите лучше самого дальнего? Неужели действительно Ницше? А может, Шопенгауэр? Как жаль, что не спросишь у папы!

15

Не сказать, чтобы герра Хоффера сильно удивило то, что Вернер его презирает. И все же на несколько минут он лишился дара речи. Во время воздушных налетов тишина нередко наступала сама по себе, поэтому в убежища и брали с собой патефоны и карты. Многие засыпали или притворялись, что спят. Похоже было на дальнюю поездку по железной дороге — когда сидишь в битком набитом вагоне, где почти никто не

разговаривает. Полутьма убежища успокаивала, и страх казался всего лишь какой-то абстракцией где-то за пределами сознания, своего рода квадрат цвета пурпура или киновари. Страх объединял всех, отрезвляла только мысль — в любую секунду ты можешь умереть. Вместе со всеми этими людьми, как правило, совершеннейшими незнакомцами. Незнакомцами, которые чихают, бормочут, барабанят пальцами и достают тебя кто во что горазд.

До сих пор герру Хофферу редко доводилось пережидать налет в подвале вместе с музейными сотрудниками — всего-то три-четыре раза. Чаще всего налеты случались по ночам, а летом — по вечерам, от полвосьмого до полуночи. В этом войска союзников были весьма пунктуальны. Бомбили обычно фабрики, железную дорогу и различные сооружения на окраинах. Разрушили и многие жилые дома, то и дело бомба, точно по злому умыслу, падала на какой-нибудь старый и любимый особняк в центре. В прошлом году британцы устроили утренний налет, сотни людей на юге города укрылись в церкви Мартина Лютера. Разумеется, на нее сбросили бомбу, и все погибли. С неба упало столько бомб, что они стерли с лица земли не только церковь, но и здания по соседству. Все решили, что это они нарочно. Они вечно бомбили школы, церкви и больницы, хотя это и против правил, пусть даже во время самых тяжелых боев. Но у горожан не осталось сил на злость, подняли визг лишь отдельные партийные деятели. Война была чудовищной, слишком чудовищной, чтобы злиться. Вместо злости было какое-то тихое возмущение, величавое от чувства, что это варварство — детище врага и что во всем виноват мистер Черчилль. Этими же чувствами пестрели газеты, укрепляя всеобщее негодование. Моральное превосходство над врагом было очевидным. Все знали, что борьба с большевизмом — их долг, так же как когда-то в дедовские времена борьба с дикими мадьярами. Американцев и британцев, этих глупых и жадных налетчиков, уничтожат их лживые союзники — большевики, так что в конце концов они за все поплатятся. На немецкие земли всегда кто-то покушался, их всегда осаждали — если не глупые и жадные дикари вроде славян, то наглые французы, эти псевдоримляне с их напыщенными речами и глумливыми манерами. Возомнили себя римлянами! Наполеон в тоге — римлянин! Чернявый семитский коротышка! Но стоит этим выскочкам захватить и разрушить пару-другую городов и войти в леса, как на этом их победы и заканчиваются. Суровые, мрачные леса раз за разом отбрасывают их назад, отбрасывают легионы грабителей, как мерзкую заразу! И как отрадно сознавать, что они всякий раз остаются ни с чем на краю бескрайнего девственного, несокрушимого леса! Какой надеждой и опорой был для немецкой души этот бесконечный лес, его стройные стволы, благоуханный бальзам их несомненной правоты! Вот, наконец, Германия объединила все свои бесконечные леса в одних границах, как мать собрала свое разбежавшееся потомство. Как молода Германия! И если церковь рушится и хоронит под собой свою паству, то это лишь родовые схватки, предшествующие рождению великой нации! Разбитое колено у ребенка! Невзирая на личное горе, мы должны смотреть дальше и видеть больше, как дерево, в мечтах чувствующее себя лесом!

В общем, убежища герр Хоффер терпеть не мог. Иногда он вообще не спускался, а оставался наверху в импровизированном гнезде из стуль-

ев и подушек, на случай, если выбьет стекла. Фрау Хоффер, хотя и побаивалась спертого, нездорового воздуха, где каждый чих мог смертельно заразить ее девочек (а в подземельях кашляли и чихали все, кому не лень), все-таки слишком боялась погибнуть под развалинами собственного дома, поэтому каждый раз уводила дочерей в подземелье. Там, глубоко-глубоко в душной темноте убежищ, которые и были-то всего-навсего укрепленными подвалами, все немецкое превосходство сжималось в комок, будто по приказу инстинкта самосохранения. Дома же, посреди своих стульев и подушек, герру Хофферу казалось, будто оно, это немецкое превосходство, сияет сверхъестественным светом, переполненное какой-то невероятной силой. То был дух искусства, в котором так преуспел его народ. Духовный, но в то же время не религиозный опыт (а религию, как известно, безнадежно исказили паписты). Это было высшее добро, поселившееся в искусстве, чистое и вечное, значение которого он имел счастье понимать, как всякий истинный немец.

Иногда он осторожно зажигал свечку и читал, сидя в своем замке из стульев и подушек, потрепанный томик "Rembrandt als Erzieher"[1] Юлиуса Лангбена, с восторгом и сожалением от собственного детского идеализма возвращаясь к тем местам, которые подчеркнул когда-то в юношестве. Например, три жирные черты теперь уже выцветшими красными чернилами стояли под такой цитатой: "Бисмарк заложил основу единства, но истинному кайзеру, великому герою-художнику, придется оживить и углубить его".

Когда-то он воображал, что именно он, Генрих Зигфрид Хоффер, став великим героем-художником, оживит и углубит внутреннее единство немецкого народа. Об этом он и думал, когда подчеркнул данное предложение... какое это было потрясение, электрический разряд, перст судьбы! Какой сентиментальный, романтический юнец не думал об этом, читая Лангбена? Но все помалкивали, каждый держал свои мечты при себе. Поначалу, когда Лангбенов герой-художник воплотился в Адольфе Гитлере, герру Хофферу показалось, что его надули. Но в какой-то миг незаметно, в результате неизбежной и неожиданной химической реакции, оживший герой-художник стал воплощением его мечты, его, герра Хоффера! Проповедник со сжатыми кулаками, чей визгливый монолог часами не умолкал по радио, проповедник, похожий не то на официанта в дрянной забегаловке, не то на провинциального цирюльника, не то на того англичанина, который погубил своего друга; сей проповедник был не человеком, он был воплощением воли, исполнением желаний. Он был вещественным воплощением его, герра Хоффера (ведь он ожил после того, как его придумал герр Хоффер!), духа, всего лучшего, что в нем было.

Вот как приветствовал фюрера герр Хоффер и большинство его друзей и знакомых в первые дни его власти — с любовью, которая на самом деле была любовью к себе, любовью ко всему лучшему в себе.

Однажды (гораздо позже, когда Партия давно и прочно закрепилась у власти) он попытался объяснить эту былую наивность герру и. о. директора Штрейхеру.

1. "Рембрандт как воспитатель" (*нем.*).

— Ах так, — рассмеялся герр и. о. директора, посасывая свою неизменную трубку. — Мне это напоминает вот что: легко дружить с тем, кто с тобой не дружит, особенно если ты этого не знаешь.

Сейчас наверху было тихо. Герр Хоффер вдруг понял, что так и не рассказал про витраж Клюге. Вообще-то, он и не собирался, чтобы не ослабить боевой дух. Но, вспомнив ядовитые взгляды, которые из-за Достоевского бросал на него Вернер, и наступившее потом долгое молчание, решился восстановить свои позиции.

— Кстати, — произнес он, — витраж Клюге уничтожен.

— Он ведь тебе никогда не нравился, верно? — припомнил Вернер.

Мог бы об этом и не вспоминать, между прочим.

— Я был к нему нежно привязан, — довольно холодно возразил он. — Он был частью души нашего Музея.

— Душа музея — это люди, — возразила Хильде Винкель. Ее распухшая губа в свете свечи блестела, как мокрая слива.

— Какие люди?

— Посетители. Настоящие живые люди, — продолжала она, не глядя на него. — Они вдыхают жизнь в здание и придают его содержимому смысл.

— Душа музея, — ответил герр Хоффер, с восхищением глядя на то, как движутся губы Хильде в нежном, облагораживающем все вокруг свете свечи, — между произведениями чистого искусства и его ценителями.

— Между?

— Это встреча разума художника и взгляда зрителя.

— И в ней душа?

— Да, в этот момент где-то посередине возникает умственное и духовное возмущение, — объяснил герр Хоффер, сам едва понимая, что он говорит, — своего рода химическая реакция в воздухе.

— То есть душа висит в воздухе? — переспросила она, очень стараясь не улыбнуться. — Словно какой-то зеленый дым?

Сверху раздался грохот, гораздо более отчетливый, чем отдаленный гром. Все вжались спиной в стены, но цемент не посыпался.

Вернер Оберст протирал очки-полумесяцы с таким видом, будто проглотил лимон. Может, он просто боится, подумал герр Хоффер, утирая покрывшийся испариной лоб. Вот бы Вернера и фрау Шенкель тут не было, а были бы только он и Хильде, и ее робкие глаза, и ее изуродованные губы.

— Ну что ж, — вздохнул он, — скажем по-другому. Видите ли, фрейлейн Винкель, я льщу себя надеждой, что предметы искусства, находящиеся на нашем попечении, кое-что да значат, — герр Хоффер повернулся к ней. Его голос дрожал, но он ничего не мог с этим поделать. Ряды картин, установленных на грубо сколоченных треногах, уходили в темноту. На мгновение их взгляды встретились, и он покраснел. — Что не все сводится к посетителям. Что есть какая-то сила, энергия, которая передается от художника холсту. Движениями кисти. Запахом льняного масла и олифы...

— Герр Хоффер, а какая у вас самая любимая на свете картина? — спросила внезапно фрау Шенкель, как будто нарочно, чтобы сбить его с мысли.

Не задумываясь, герр Хоффер назвал Альтдорфера, "Пейзаж со святым Георгием и драконом".

— В детстве, когда я ничего еще не знал об искусстве, я увидел ее репродукцию в одной книге из отцовской библиотеки, — продолжал он, сам того не желая заговорив уверенным тоном утренних лекций, которые когда-то читал по вторникам. — Меня впечатлили даже не краски, репродукция-то была неважной, а необъятность нависающих деревьев, в которых чувствуется ветер, качающий кроны в солнечных лучах, и переплетение ветвей, куда не проникает свет, — необъятность природы, в которой и Георгий, и дракон — всего лишь мелкие детали.

Вернер, казалось, собрался возразить.

— Альтдорфер был первым, — настаивал Хоффер. — Оригинал висит в Мюнхене, в Пинакотеке. Когда мне исполнился двадцать один год, я ездил на него посмотреть. Картина оказалась гораздо меньше, чем я ожидал, а из-за дурного освещения ее было плохо видно. Мне пришлось отойти в сторону, чтобы не отсвечивало, но все же меня точно так же, как в детстве, захватили величие, полнота природы, органичное совершенство деревьев, тянущихся к свету, безразличных к той мелкой стычке, которая случилась под их кронами. — Наконец-то Хильде смотрела ему в глаза, восхищенно решил он. В ее зрачках мерцал огонек свечи. — Я был очарован, — добавил он.

Вернер водрузил очки на нос и изрек:

— Выходит, достаточно одних книг.

— Боюсь, я не совсем понимаю.

— Тебя точно так же тронула репродукция.

— По-своему, по-детски — да.

Вернер понимающе кивнул — его лицо скрыла тень. Герр Хоффер поразился, как человек, с которым ты столько лет проработал бок о бок, может в одночасье оказаться совершенно чужим. И годы ничего не значат. Герр Хоффер чувствовал, как будто его поднесли Вернеру на подносе, как какой-нибудь зрелый фрукт.

— Нет, Вернер, в оригинале заключена особая сила. Знаешь, что сталось с Карлом Швезигом?

— Нет.

— Его арестовали в тридцать третьем году.

— Ну и что? Этого следовало ожидать.

— Три дня пытали в подвалах. Он оборудовал у себя в студии перевалочный пункт для беженцев. Евреев и так далее.

— Евреи на чердаке, — произнес Вернер, поднимая голову из тени. — Какой ужас.

— Наверняка коммунисты, — с кривой миной ввернула фрау Шенкель.

— Не обязательно, — возразил Вернер.

— Но возможно, — сказал герр Хоффер. — В общем, они спустили в подвал все его работы и расставили их вдоль стен. Угадайте зачем.

— Чтобы сжечь их у него на глазах, — предположил Вернер.

— Нет. Фрау Шенкель?

— Даже не буду пробовать. Все равно не угадаю.

— Фрейлейн Винкель?

— Какое это имеет значение? Он укрывал террористов. Наверное, топтали их сапогами одну за другой. Понятия не имею. У меня другая специальность. Но кто-то же должен заниматься грязной работой.

Она снова не смотрела ему в глаза, эта застенчивая робость заводила, наверное, еще больше. Если бы ему предстояла пытка, он предпочел бы, чтобы его пытала Хильде. Он бы лежал привязанный, полностью в ее власти. Иногда в бессонные предрассветные часы он предавался этой фантазии.

— Нет, они не тронули картины. Наоборот. Они расставили их у стен и прямо перед ними принялись его пытать, совершенно голого. Художника пытали на глазах у собственных картин. Герр Швезиг сам мне это рассказал несколько лет назад. Он поражался проницательности палачей. Теперь он не может смотреть на них без стыда. С тех пор не рисует. А все потому, что оригинал обладает огромной властью, он совсем как живое существо. Если бы его пытали среди репродукций, это не было бы таким унижением.

— Американцы привезут еду? — спросила фрау Шенкель совсем не к месту.

Никто не ответил — они не знали. Герр Хоффер разозлился — и на то, что она вообще об этом заговорила, и на то, что сменила тему. Большую часть дня он упорно пытался не думать о еде — о пирогах, о яйцах, о настоящем белом хлебе и (в особенности) о большом куске сочного бифштекса с кровью. Последние два года ему все время хотелось есть. Фрау Хоффер когда-то пекла замечательные пирожки, но о таких роскошествах давным-давно забыли и вспоминать. Стоило только подумать о еде, и ничто другое в голову уже не лезло до тех пор, пока не удавалось перехватить какой-нибудь сухой кусок и на час-другой успокоиться. Когда-то он был приятной полноты и мог похвастаться здоровым аппетитом; теперь кожа свисала складками, а лицо сморщилось. Даже фрау Хоффер отощала, и под грудями, которые сохранили свои размеры, когда все остальное съежилось, теперь виднелись ребра. Похудело не все — плечи сохранили свою округлость. А впрочем, это вопрос пропорций. Это он понял, когда в очередной раз рисовал: вот почему ему не давались руки — он всегда додумывал за природу. Ее предплечья и плечи были непропорциональны. Герр Хоффер не мог запечатлеть как есть объективную игру света и тени, из которой, как по волшебству, рождается объем. Его рассудок вмешивался, подправлял, совершенствовал... Истинные художники — как дети. Тот же Шмидт-Ротлуф, например.

Герр Хоффер втайне боготворил Шмитда-Ротлуфа. Яркие, крупные мазки, как у Ван Гога, если бы тот вконец сошел с ума и открыл какую-то до того неведомую часть своей души. Было настоящей пыткой смотреть, как единственного Шмидта-Ротлуфа в коллекции "Кайзера Вильгельма" забирают как "дегенеративное искусство", и как потом он вернулся, пригвожденный к позорному столбу "культурного большевизма".

Когда-то герр Хоффер заметил на картине большую кляксу потекшей желтой краски. Эта клякса его потрясла — нахальная, жирная, местами прикрытая дикими красными и зелеными штрихами; Шмидт-Ротлуф щедро мазанул жидкой краской и дал ей растечься, будто мыло по стеклу. Картина изображала мальчика на пляже с пальмой на втором плане, выполненной широкими, небрежными мазками и тычками широкой кистью. Герра Хоффера, который любил рассматривать ее вблизи, всегда немного пугала и глубоко трогала эта беззастенчивая, случайно-намеренная клякса, навсегда оставшаяся на холсте. Совсем как начало конца, росток какого-то внутреннего человеческого стремления к саморазрушению.

— У них должен быть шоколад, — произнесла Хильде Винкель, не закрывая рта, как будто в ожидании — нет, не поцелуя, а забытой шоколадной роскоши. — У них будет шоколад.

Все замерли, околдованные ее словами.

Шоколад не шел у них из головы. Они едва дышали, как будто оступились и вдруг попали в сказку. Вдалеке гремели бомбы. Ничто не тряслось, и все же в воздухе стояла белая цементная пыль, пеленой окутывая огонек свечи. Но они, очарованные вызванным Хильде видением, ничего не замечали.

— Нам все равно не достанется, — буркнул через какое-то время Вернер как будто из другого мира, из-под слоя вечного льда. — Если в обмен не отдадим того, чего хотят они.

Озеро глубокое и холодное, и я на самом дне. Кто-то дергает за веревку. Веревка рвется. Зачем мы живем? Чтобы помнить. А когда умираем? Куда уходит наша память?

16

Перри понесся вперед как ошпаренный.

Всегда этим и кончается. Если в тебя не попали, ты либо мчишься сломя голову, либо застываешь на месте, затаившись. Хотя нет, не всегда. Бывает еще, стреляешь с ходу, шагаешь и палишь. Говорят, совсем как на прошлой войне. Самому Перри пострелять с ходу довелось только раз, когда под Далем вся колонна угодила в засаду под внезапный перекрестный огонь из леса. Рота "Д" была в арьергарде. Ехали, в ус не дули, все тихо-гладко, и вдруг такое. Чернолесье вокруг Даля густое, дремучее, эсэсовцы нарыли себе нор, прикрылись опавшей хвоей и дерном, замаскировались и ну палить в спину с двух шагов. Американцы тогда остервенились, весь лес прочесали, постреляли вдоволь. И малыш Хендерсон из своего пулемета, установленного на джипе, популял от души.

Хендерсона представили к "Серебряной звезде". Через пару дней оказалось — посмертно.

А сейчас Перри со всех ног летел по улице, и дерьмо стекало у него по ноге, и в заплечном мешке хрустело стекло.

Через несколько минут к развалинам Музея подтянулись остальные, и они всемером помчались в бакалейную лавку на ротный командный пункт и вернулись с подкреплением, притащили ручной пулемет "браунинг", надышали спиртным. Перри сказал взводному, сержанту Ридделу, что пуля в Моррисона угодила при проверке дома. Подробности он докладывать не стал. Если бы они, как положено, держались вместе, может, Моррисона и не застрелили бы. С другой стороны, стерве девчонке и снайперу только подай цель. Не немец — готово дело. Положили бы весь отряд, всех восьмерых, бац — в шею, бац — в коленку, бац — еще куда.

Сержант Риддел был под мухой и не очень соображал, что произошло сначала, а что — потом. Остальным командирам вообще было не до этого.

Двенадцать бойцов под командованием Риддела заняли позиции за кучами щебня по фронту, а Перри и здоровый детина по имени Джим Уэбб подползли к дому слева. Прижимаясь к земле, Перри отчаянно трусил, пробитое пулями тело Моррисона так и стояло перед глазами. Снай-

пер уж точно их заметил, роковое окно с закрытыми ставнями было прямо над головой. Со ставней облезала краска, отслоившийся пласт трепетал на ветру, словно омытый дождем листок на ветке, Перри хорошо его разглядел. Быстро спускались сумерки, темнело на глазах. Все тело у Перри так и зудело, так и чесалось.

Джим Уэбб сжимал в руке гранату. Дверь на улицу была распахнута.

Уэбб вполз на две ступеньки вверх по лестнице (Перри прикрывал его), нахлобучил на ствол винтовки каску, поднял повыше и встряхнул. Ничего.

Джим Уэбб поднялся на ноги. Перри у него за спиной весь сжался.

Тишина.

Моррисон не пошевелился. Внутренняя дверь не открылась. Ступеньки не заскрипели.

Перри взглянул на ставни. Сосредоточенность его достигла предела, даже страх исчез. Малейшее движение, и пулемет с той стороны улицы разнесет облупившееся дерево в щепки. Уэбб подкрался к двери и прислушался, Перри прикрывал.

Тишина.

Теперь моя очередь, подумал Перри. Так твою растак.

В руке у него была граната. Голова пустая-пустая, как всегда в такие минуты. Перри подобрался поближе, стал боком к входу. Уэбб выждал секунду и пинком распахнул дверь. Перри выдернул кольцо, метнул гранату в комнату и зажал уши.

Когда дым рассеялся, они увидели, что в помещении никого нет. Разбитые зеркала, россыпь стреляных гильз на широкой кровати. Это оказалась спальня, не гостиная.

Они шепотом заспорили, что делать дальше. Другие комнаты пусты, это точно. Снайпер уложил Морри и смылся. Схоронился где-нибудь, затаился и ждет, как и полагается снайперу. Трубочку, чтоб его, покуривает, сука эсэсовская.

Они говорили тихо-тихо, как будто боялись разбудить младенца. Стук их сердец был громче слов. Что, если снайпер все-таки пристроился где-то в темноте, приладил "шпандау" на сошки, нацелил на закрытую дверь (вон их сколько)? Жертве даже и дверь открывать не обязательно, почуял дымок трубки — и ты уже на небесах. А ведь им надо зачистить дом. Или, может, вызвать танк, пусть подкатит, жахнет прямой наводкой. Камня на камне от этого чертова дома не останется, и их фото замелькает во всех газетах.

Что, слабо?

Или я, мать твою, не капрал?

Уэбб подал знак товарищам, чтобы подходили, только поосторожнее. Хотя снайпера наверняка и след простыл. И девчонка вместе с ним смылась. Вот Моррисон никуда не делся из передней, тело его не сдвинулось ни на дюйм, лужа крови почернела и застыла. Рот у Моррисона запал, киногеничные губы натянулись, приоткрыв зубы. Жизнь, уходя, забрала с собой прихотливый изгиб уст. У двоих солдат в здоровенных, словно не по размеру, касках, мокрогубых, прыщавых мальчишек, с виду моложе Коули, в глазах застыла тревога. У Моррисона на складках загривка все так же топорщилась рыжеватая щетина, но сама шея выглядела как-то по-другому. Очень уж белая — вот первое, что бросалось в глаза.

Солдаты принялись обшаривать разоренный дом, пинками открывая дверь за дверью и целясь в темноту, прокрались вверх по лестнице, прикрывая один другого, но даже на чердаке никого не обнаружили. Из пустых комнат раздавались бессмысленные выстрелы, разлетались на тысячи блестящих кусков высокие зеркала: после смерти Моррисона ребята нервничали и палили во все, что двигалось.

Один из мальчишек выглянул во двор и принялся звать остальных. Так орал, как будто Гаити открыл.

Подошли, посмотрели. Оказалось, внизу на клумбе лежало тело. Какой-то старик, и рядом "шпандау". Выбросился из окна верхнего этажа вместе со своим "шпандау". Все поразились, какой пожилой. В шелковой пижаме, на седых волосах кровь. Может, и не он стрелял, наверное, это хозяин дома, и его выкинул в окно какой-нибудь психованный эсэсовский сучонок, избавился от орудия убийства, переоделся священником или трехзвездным американским генералом, поди догадайся, кто перед тобой.

Они спустились в сад, и Перри обыскал у старика карманы. Трубка из бородавочника, табак, коробок спичек. Табак очень ароматный.

— Это он, — сказал Перри.

И внезапно разозлился, когда салажонок пнул мертвеца. Со стариками так не поступают. Особенно с покойными.

Почти наверняка гильзы и мертвое тело — все, что осталось от снайпера. Значит, можно вздохнуть полной грудью. Если бы еще злость так не кипела.

Моррисона убили преднамеренно, ни за что, исподтишка. Этим снайперам, безумным фанатикам, бьющимся до последней капли крови, им бы только убивать из-за угла. Они чокнутые, им уже не остановиться. Вот что говорили солдаты, пока возились с телом Моррисона.

Перри поразило это "ни за что". На шоссе из Кайзерслаутерна, возле маленького городка, где из окон свисали белые флаги и никакой промышленности, кроме текстильной, не было в помине, они убили женщину. Совсем молодую — лет двадцать пять-двадцать шесть. Она выскочила из придорожного крестьянского дома, и из машины Перри грянули выстрелы, и она упала и осталась лежать на боку с застывшим изумленным лицом. А колонна даже не остановилась. Ну не может колонна из восьмидесяти танков, и джипов, и полугусеничных машин, и бронетранспортеров останавливаться из-за того, что пулеметчик из роты Перри застрелил крестьянку. Вот если бы на колонну напали, или надо было подавить очаг сопротивления, или попался бы КПП на шоссе — тогда остановиться можно. А КПП встречались куда как часто — войска протискивались, как дерьмо сквозь жестяную трубу, как выразился великий Джордж Смит Паттон.

Перри не сомневался: она выскочила из дома поглазеть на проходившие войска, просто из любопытства. А пулеметчик пристрелил ее, и она осталась лежать в своей сбившейся косынке, мертвая, с широко раскрытыми удивленными глазами, и Джимми Джонс, который стрелял, высказал на ее счет пару ласковых, мол, сама во всем виновата. Убитая, пожалуй, была немногим старше Джимми Джонса. Он стал какой-то дерганый после того, как вчера немецкий танк, выкатившись из-за деревьев, положил трех человек из колонны и безнаказанно скрылся. Перри помалкивал. Если выскакиваешь откуда-то, как черт из табакерки,

значит, тебе не терпится на тот свет, кто бы ты ни был — командир корпуса или деревенская девушка.

Глядя сейчас на тело Моррисона — холодную недвижимую колоду в большой темной луже, на застывшие белесые глаза под черными ресницами, Перри думал о девушке с фермы, и ему почему-то казалось, что вина за смерть Моррисона и молодой немки лежит на нем, на капрале Перри.

В ожидании, когда принесут носилки, он присел на корточки. Ребята высыпали на улицу — глаза нервно бегают, винтовки на боевом взводе, — закурили, принялись задирать прохожих. Перри курить не стал, очень уж саднило в глотке. Штаны и носки подсохли — и запах был чужой.

Моррисон мертв — значит, никто ничего не узнает. Насчет картины.

Моррисон все твердил:

— Ну так, значит, барыш за старую картину пополам. Как полагается между приятелями. — Пока лазали по подвалу, раз пять повторил. На разные лады.

А Перри на него злился и помалкивал.

— Стало быть, выручку за старую картину располовиним по-приятельски, — зудел Моррисон. Раз пять или шесть сказал. Не меньше.

И вот он мертв. О своих правах на картину больше не заявит. У него теперь одно право: на память. Чтобы хоть родные его помнили, дома, в захолустном Висконсине. И никто в мире больше не скажет "Ну так", как произносил Моррисон, не кивнет по-петушиному. Никто и никогда. Как бесили Перри это "Ну так" и этот кивок! Как будто все на свете парню известно.

А теперь ужасно жалко этих черточек, непонятно почему. Как без них жить?

Когда санитар перевернул тело, Перри увидел рваную рану на шее и пену в уголке запавшего рта. Похоже, щеку тоже зацепило. В этих пулях страшная силища. Свистнет розгой — и каюк.

Никогда еще Перри не видел смерть так близко и ясно, можно сказать, под самым носом.

Да, гибли многие, только не у него на глазах. Даже когда салажонку Берджину снесло голову случайным выстрелом из гранатомета. Кого-то убивали словно в параллельном времени, секунд на десять опережавшем твое собственное, — повернулся, а перед тобой уже труп, — а кого-то где-то далеко, и всех этих "бац — в шею, бац — в коленку, бац — еще куда" ты не видел. А сейчас память будто уложила жуткую картинку в конверт, и он никак не закрывается.

На обоях все так же красовался холм из далекого детства, целый школьный год провисел, давно пора снять. При этакой сырости холм, должно быть, уже корни пустил — мохнатые колючие отростки протянулись вглубь, киноварь перешла в кармин. Мой ангел-хранитель мертв, подумал Перри, и холм — его крыло, и крыло это треплют ветра смерти, которым нельзя поддаваться, если хочешь выдюжить.

Конфеты (как были, в целлофановой обертке) так и остались у Моррисона в скрюченных пальцах. Перри взял мертвеца за запястье — ледяное и скользкое, липкое от пота, обильно покрывавшего темные волоски, — выгреб леденцы себе на ладонь и сжал кулак. Какие все-таки

незамысловатые потребности у мужчин и женщин! А у мертвеца нет никаких желаний, и нет для него ни вкуса, ни сладости.

Что до души... ну, если уж она упокоилась, ей конфеты ни к чему.

Перри ссыпал леденцы в карман и опять присел возле тела на корточки.

Через несколько минут он услышал громкие голоса — и в дом втащили девчонку с косичками и в перепачканном фартуке. За руки ее держали двое тех самых прыщавых юнцов в здоровенных касках. Худышка была до смерти перепугана. Перри покачал головой. Не та. А вдруг? Нет, точно не та. Двое вояк разочарованно глядели на пленницу.

— Погоди, — сказал Перри.

В глазах у парнишек засветилась надежда.

Перри принялся рыться в карманах в поисках конфет. Да где же они, черт возьми? Конфеты оказались в нагрудном кармане по соседству со старыми табличками от картин. Перри протянул леденцы девушке, погладил ее по живой теплой ладошке, и у него перехватило горло. Немочка сложила конфеты в карман передника и убежала.

Если бы это оказалась та самая стерва, как ему следовало поступить? Выпустить заживо кишки и намотать на гусеницы танка для смазки, как говаривал генерал Джордж Паттон? Или еще что придумать?

Между сном и бодрствованием одно различие – холод. Во сне я не чувствую холода. Вот и вся разница. Разница между жизнью и нежизнью. Бытием и небытием. Безопасностью и беззащитностью. Холод.

17

На минуту герр Хоффер задремал.

Он не отдыхал уже три года, с тех самых пор, как начались налеты. Сирены включались почти каждую ночь, и все, что оставалось, — лежать без сна и думать: может, сегодня будут бомбить нас, хотя вот уже несколько месяцев самолеты обходили Лоэнфельде стороной. До этого года Хофферы редко спускались в убежище, чаще всего оставаясь в постели до конца воздушной тревоги. Поначалу, будто для разминки, сирены слегка покашливали. Так и представился лысеющий коротышка средних лет в кабинете со стеклянными стенами, со столом, заваленным бумагами; коротышка был в наушниках и стоял перед какой-то панелью с приборами. Через пару секунд начиналось. Сирены взвывали и принимались тянуть одну и ту же ноту дольше, чем казалось физически возможным, потом вдруг стихали, и как только ты начинал задремывать от усталости, они взвывали опять, и все повторялось снова. Немного утешало лишь то, что у британцев, вероятно, творилось то же самое, и враг в своих туманных городах тоже не спал ночами. Так что как же было герру Хофферу не быть усталым, смертельно усталым, как и всем жителям Лоэнфельде? Три года их преследовала усталость, она делала всех раздражительными и нетерпимыми, она накатывала внезапно, средь бела дня, как будто на тебя набрасывали толстое одеяло, из-под которого невозможно выбраться. Сколько раз герр Хоффер просыпался за рабочим столом, где он задремал, подперев лицо рукой и уткнувшись локтем в стекло, продолжая сидеть, в то время как душа улетала все дальше и даль-

ше в блаженное забытье? Его мечты о мире состояли из еды и сна, если не одновременно, то хотя бы по очереди: он мечтал лежать на пуховой перине в уютной гостиничке на опушке леса, есть в постели с подноса, изредка гулять среди деревьев, возвращаться к перине и к невероятной, жирной еде — мясу, рыбе, яйцам, мелко нашинкованным овощам; запивал бы он все это светлым пивом и сладким рейнским вином, заедая твердым сыром и шоколадными пирожными, сколько влезет, а потом спать! В девственной тишине и столько, сколько захочется — целый день, целую неделю! Вот что снилось сейчас герру Хоффферу. Фрау Хоффер во сне тоже присутствовала, но не играла сколь-нибудь важной роли. Ее томной наготы он желал не так отчаянно, как еды и сна. В момент внезапного затишья он очнулся от собственного вскрика — во сне он выпал из окна гостиницы в глубокое ущелье. И еще несколько мгновений не понимал, что произошло и где он находится.

Судя по всему, никто не заметил, что он спал, хотя во сне он, без сомнения, как минимум один раз всхрапнул. На всякий случай герр Хоффер высморкался. Чувствовал он себя скверно.

— Может, они отступили, — сказала фрау Шенкель, глядя в потолок.

— Может, они и не наступали, — предположил Вернер Оберст.

Они вслушивались в тишину. Но вскоре в пыльном воздухе подвала повисло предчувствие того, что тишина вот-вот нарушится страшным, оглушительным грохотом, что все это были цветочки, а вот теперь пойдут ягодки.

— А кто вообще сказал, что они наступают? — поинтересовался герр Хоффер, прокашлявшись.

Хильде Винкель ответила, что эсэсовцы эвакуировались.

— Вчера они жгли бумаги. Я видела дым.

Сам штурмбаннфюрер уехал на своем "майбахе" в большой спешке, за ним устремились его подчиненные всех мастей на том транспорте, какой смогли отыскать, включая велосипед и телегу из-под навоза. Видели даже, как один младший администратор толкал тачку, набитую бумагами.

— Вчера в магазин моего соседа заходили солдаты, — поделилась фрау Шенкель. — В штатском. Сказали его жене, что американцы наступают по шоссе и что к городу подтягивается много танков. Соседка спросила, почему они не сражаются, а те только рассмеялись. Какой позор! И ушли не заплатив. Они были не местные.

После признания фрау Шенкель — почему-то это прозвучало как признание — все помолчали. Впечатление осталось неприятное.

— Зато бомбить больше не будут, — проговорил герр Хоффер. — Наконец-то выспимся.

— У них полно негров! — содрогнулась фрау Шенкель.

— В кино видели, — прокомментировал Вернер.

— Вот именно, — ответила она.

Как было известно герру Хоффферу, больше всего на свете фрау Шенкель боялась, что ее изнасилует негр. Об этом писали в газетах, а она верила каждому газетному слову. Герр Хоффер не имел понятия, как будут вести себя американцы, но почему-то ему казалось, что даже самым грубым из них не будет до фрау Шенкель никакого дела. Один ее запах чего стоил — влажная овчина вперемешку с шариками от моли и едва заметным душком мочи. В лучшие времена она маскировала эту свою особен-

ность одеколоном и приличным мылом, но теперь даже особы вроде фрау Шенкель старались мыться не слишком часто.

После рассказа фрау Шенкель ему сделалось неловко еще и по своим причинам. Хотя их компанифюрер, пожилой бакалейщик, вот уже несколько дней как укатил на велосипеде неизвестно куда, теоретически их фольксштурмский батальон должен быть на поле боя. В последний месяц ради защиты фатерланда начали забривать даже четырнадцатилетних мальчишек. У герра Хоффера не было оправдания, как, например, у директора завода, потому что Музей не только не производил ничего полезного для нужд обороны, но ко всему прочему еще и пустовал. Год назад из его залов вынесли почти все произведения искусства.

Он покосился на картины, расставленные на треногах. Золоченые рамы тускло поблескивали в свете свечи. Нет, он не был пессимистом. Даже в самые тяжелые времена он чувствовал себя счастливцем.

Он мечтал о такой жизни еще студентом факультета истории искусств в Гейдельбергском университете — с его башенками и внутренним двором у подножия холма, с которого как поверженный бог нависал древний замок, — еще тогда он мечтал хранить шедевры искусства, заниматься приобретением новых сокровищ, старых и новых, ухаживать за ними, как мать за детьми, рассказывать о них людям — торговцам, конторщикам, рабочим с фабрик. Возвысить всех вокруг до того же благородства духа, которое царило на факультете искусств в Гейдельберге.

Никогда он не был так счастлив, как когда бродил по руинам Гейдельбергского замка с друзьями-школярами! Все они были братьями, марширующими в ногу с прогрессом и искусством, слишком юные, чтобы испытать ужасы войны, слишком юные для окопов — и теперь война уже никогда не коснется их в новом, разумном, прекрасном будущем!

Закрыв глаза, герр Хоффер предавался воспоминаниям. Далеко внизу змеилась река, серебряная в мшистой зелени лесов, обнимая краснокрыший старинный город, точно такой же, каким его рисовали сто лет назад, — как объединял их этот пейзаж с пламенными романтическими умами былых времен! Без слов стояли они у парапета и смотрели вниз — огромный замок, от которого после нашествия армии Людовика XIV (они всегда называли Людовика по-французски, с ненавистью и любовью одновременно!) остался пустоглазый остов, одним своим видом звавший на великие дела.

Гейдельбергский замок был такой большой, такой обездоленный.

Половина огромной башни, обвалившаяся под обстрелом французских пушек, поросла травой и вьюном, словно замок был из песка и обрушили его ведерком. Их, зеленых юнцов, эта башня околдовывала своей историей. Рисуя, они впитывали историю — ее блеск и бесконечность — и чувствовали свое превосходство. Никогда они не повторят ошибок старших, даже старших братьев, прозябавших в окопах. Никогда не станут жертвами.

Герр Хоффер взял тогда за моду носить плащ-пелерину и отрастил остроконечную бородку, какую носили художники рубежа веков. Он любил воображать себя членом довоенной революционной группы "Мост", например. Он старался походить на самого Кирхнера, или Эрика Хеккеля, или Карла Шмидта-Ротлуфа с его моноклем.

Сейчас эти воспоминания вызывали улыбку.

Подумать только! Он носил широкополую шляпу! Двадцать с чем-то лет тому назад. Невероятно. А кажется, будто совсем недавно. Вчера.

Да, время было не самое легкое. Не лучшее время для романтика. И веком рационализма его тоже нельзя назвать. Нет! К двадцать третьему, его второму году учебы, простой обед стоил тысячу миллионов марок, а билет в театр — пару яиц. Улицы Гейдельберга наводнили нищие и торговцы кокаином; и даже в его скромную комнатушку несколько раз вламывались воры. Правительство пало, законов никто не соблюдал, а каждый раз, когда объявляли об очередной революции, ничего не менялось, только где-то там расстреливали рабочих, а еда становилась еще дороже. Его друзья спекулировали на бирже и разбогатели как цари — герр Хоффер никогда потом не пил столько шампанского! Но если не было приемов и вечеринок, ходил голодный, как и все остальные немцы. А девушки! Как свободно раздавали они свои милости! Он отсиживался в своей комнате — этот набожный парнишка из Эбербаха — и боялся разгула, боялся даже тех девушек, которые являлись на вечеринки, добела напудрив лица, и, раздевшись, демонстрировали удивительно чистые груди. Не все же они были актрисами или танцовщицами кабаре!

И как быстро расставались с идеалами тогдашние юноши! Как быстро их начинала заботить только очередная сделка, только свежие биржевые новости, только очередная девица! А ведь было время, когда они смотрели с развалин замка на город, цитировали Шиллера, Бенна и Гофмансталя и верили, что впереди их ждет век красоты и благородства духа.

— Вот пример тому, как прибирается в своем доме Природа, — говорили они. — Без разрушения нет созидания. Без чисто загрунтованного холста нет шедевра.

И их юная страна станет путеводной звездой всего мира!

Он мысленно улыбнулся, но тут же испугался своих мыслей. Ему так хотелось прожить деятельную, интересную жизнь! И он получил ее, но вкупе с чудовищной, абсурдной тенью под названием реальность. Ему уже сорок два года. Сорок два! В юности он бродил с друзьями по неухоженной территории замка и мечтал, мечтал!

Он не пессимист. У него есть жена и две прелестные дочки. И Музей.

Он должен вернуться домой.

Вернер снова завел патефон — Шуман! "Die alten, bösen Lieder"[1] — опять на слова Гейне! Фортепиано взяло несколько аккордов, и да, давайте! *Вы злые, злые песни, коварный, страшный сон, пусть вас в гробу схоронят, должен большим быть он!* Вернер тихо подпевал, но герр Хоффер, поймав острый взгляд фрау Шенкель, решил, что разумнее этого не делать, закрыл глаза и вернулся к гейдельбергским мечтам.

Господство пошлости — прямое следствие развития науки, техники и индустриализации городов — противоестественно. Как далеки были наука и техника от гейдельбергских высот, тонувших в ароматах весеннего разнотравья нестриженых газонов, укрытых тяжелыми ветвями! Этому порочному триединству противостояла невыразимая загадка, частичка божества, священное, неистребимое стремление, придающее

1. "Старые, злые песни" (*нем*). Из цикла "Любовь поэта" Шумана. Слова в переводе В. Н. Аргамакова.

благородство человеческим страстям, почти погребенное под ложью и пошлостью наступивших времен.

— Надеюсь, у них нет пикировщиков, — донесся из другого мира голос фрау Шенкель.

— Господи помилуй, — пробормотал Вернер, — обязательно ей надо перебить Шумана.

Но и его вдохновляла революционная новизна — и даже эпатажные выходки дадаистов казались ему если и не здоровым искусством, то как минимум живительным течением.

Впервые в жизни увидев кубистскую картину — вихрь красок кисти Делоне, висевшую в модной галерее на Потсдамер-штрассе в Берлине, — он почувствовал, что начинается самое захватывающее приключение в его жизни! Околдованный, он стоял перед ней, как когда-то стоял, очарованный рухнувшей башней и пустоглазым величием Гейдельбергского замка. Впрочем, остроте его восприятия способствовало и то, что в галерее постоянно устраивались танцы с участием девушек, обнаженных до пояса. Но картина захватила его целиком. Это была смерть деньгам, рождение искусства.

То были бурные время.

В конце концов он влюбился, влюбился в прекрасное видение из шляпной лавки — в Сабину Трессель, которая ничего не понимала в искусстве, но, подняв руки к волосам, одним жестом поразила герра Хоффера в самое сердце.

Вернер беззвучно повторял последние слова, иронично и как-то проникновенно затихавшие вместе с последними печальными, нежными нотами: *Что в том гробу сокрыто – от вас я не таю: навек в нем схоронил я любовь и скорбь мою.*

Неужели и Вернер когда-то влюблялся? Может, боль, испытанная в юности, и стала причиной его бесчувственности и сухости? И был ли Вернер хоть когда-нибудь молодым? Уже пятнадцать лет назад, когда герр Хоффер только появился в Музее, Вернер Оберст выглядел так же — окостеневшим, пыльным ископаемым. А ведь, наверное, ему тогда было едва за тридцать.

Вернер сунул пластинку обратно в закапанный кровью футляр, и Хильде Винкель спросила, не стоит ли подняться и посмотреть, что происходит, потому как артобстрел утих.

— Может, танки уже здесь, — предположил Вернер, — вот и не стреляют.

Все задумались.

Герр Хоффер не мог этого представить, разве что совсем по-глупому, по-детски. Колонна танков ползет по белоснежным бетонным квадратам, словно по пешеходной дорожке в американском парке, меж бескрайних голых полей, окружающих Лоэнфельде. Так и представлялось: игрушечные танки, снося на своем пути игрушечные домики, подползают к макету Лоэнфельде, наподобие того, что выставлен в ратуше.

— Тогда они двинутся дальше и повстречаются с нашими мальчиками, марширующими домой с русскими пленными, — заявила фрау Шенкель, — вот будет сюрприз для американцев.

— А что, по-вашему, сделают русские пленники? — поинтересовался Вернер, явно забавляясь.

Фрау Шенкель злобно на него покосилась.

— Наверное, порадуются, — предположила Хильде. — Мы ведь уничтожаем капиталистов, которые им тоже враги.

— Вот именно, — согласилась фрау Шенкель.

— Большевики, значит, будут радоваться, — проговорил Вернер с ноткой сарказма в голосе.

— Конечно. Вот увидите.

— Как бы то ни было, никаких русских пленных не будет — ни радостных, ни каких-либо других.

— Думаете, мы всех перестреляем? — словно удивившись, спросила Хильде.

— Не будет никаких русских пленных, — повторил Вернер со зловещей ухмылкой.

Герр Хоффер прекрасно понял, что тот имеет в виду. У кузины фрау Хоффер была соседка, которая слушала Би-би-си.

Эта призрачная связь, кстати, немало его тревожила. Он решил сохранять нейтральное выражение лица, а вот фрау Шенкель нахмурилась.

— У нас хорошие мальчики на Восточном фронте, — сказала она. — Там пленных не расстреливают. Даже большевиков. Я бы знала. Хотите, покажу вам письма мужа? Они делились хлебом в русских деревнях с голодающими детьми. У них даже был еврей-переводчик — русский еврей. И уж конечно это не они с комфортом отсиживаются в хороших носках по домам и верят всякому вранью!

Она говорила о муже и сыне так, будто они живы.

— Ну мне, допустим, не слишком комфортно, — заерзал на подушке Вернер. — И носки у меня дырявые.

— Только не ждите, что я их заштопаю, — отрезала фрау Шенкель.

И Хильде Винкель, и герр Оберст улыбались. Вражда фрау Шенкель и Вернера Оберста временами служила отличным развлечением.

Отдаленный взрыв. Снова затишье. Может, американцы не стали утруждать себя Лоэнфельде и прошли мимо? Если так, то это почти обидно.

Вернер отложил книгу и закрыл глаза.

Наверняка у него заболела голова, решил герр Хоффер. Тут слишком темно, чтобы читать. Как в застенке, в застенке для помешанных.

Осторожнее, осторожнее со словами. *Помешанные.* У этого слова плохие ассоциации.

Сейчас, в подвале, герр Хоффер вспомнил то, что произошло семь лет назад. Воспоминания были настолько отчетливыми, словно с тех пор прошло не более недели. Партийный чиновник, конечно, не исходил пеной, как фюрер в Мюнхене на открытии выставки, но говорил примерно в том же ключе.

— Дамы и господа, — вещал он с баварским выговором, нависая над микрофоном, установленным в углу главного фойе, — выставленные здесь работы искажают природу до неузнаваемости. Небо на этих картинах представляется скорее желтым, чем голубым, а мир фантазий и галлюцинаций — реальнее реальности. В медицине существует вполне определенный термин для обозначения людей, из-под кисти которых вышло подобное, — помешательство. Все эти годы так называемые эксперты, все как один продавшиеся еврейским капиталистам, вводили нас в заблуждение. Очень скоро и нас ждет такое же помешательст-

во, если прямо здесь и сейчас мы честно и откровенно не скажем: "Довольно!"

Все хлопали. Герр Хоффер, не поднимая глаз, теребил очки.

— А теперь, — продолжал чиновник, — пришла и мне пора сказать: "Довольно", иначе у вас не останется времени на то, чтобы убедиться, какой мусор нам подсовывали вместо искусства, пятная нашу арийскую сущность! Герр Хоффер?

Все посмеялись его шутке, чувствуя себя очень умными, рациональными и добродушными.

Как же душно было герру Хофферу в этом фойе, как же душили его меховые воротники и зимние пальто, испускающие едкие миазмы табака и пота! Он помнил этот запах даже теперь, семь лет спустя.

Настала его очередь. Это был один из самых тяжелых дней в его жизни. Он поблагодарил собравшихся и выразил надежду, что предвкушающая зрелище почтеннейшая публика благодаря этой выставке узнает, что "самое главное для искусства — это быть воспринятым всерьез". Море лиц — напыщенно серьезных лиц. Кто-то пару раз кашлянул. Кто-то чихнул. Его воротник настолько пропитался испариной, что хоть выжимай. "...Что гости поймут величайшую ценность искусства как силы, олицетворяющей наивысшее вечное добро. Силы целебной, способной отнюдь не разрушать, а, напротив, углублять и расширять единство".

Двусмысленные абстракции, позаимствованные в основном у Юлиуса Лангберна, безвредным водопадом изливались на головы почтенной публики, встречаемые вежливыми аплодисментами.

Позже партийный чиновник, глянув на него с подозрением, произнес:

— Вы ни разу не упомянули слово "дегенеративный". Можно подумать, вы стоите в стороне от нашего возмущенного коллектива. Как еврей какой-нибудь. Надеюсь, дело не в этом.

— Я не сомневаюсь, что все знают, как называется выставка, — ответил герр Хоффер. Какая удача, что чиновник был толст, лыс и невысок. — Вывеску на входе невозможно не заметить.

Партийный чин закусил губу, а герр Хоффер с язвительной улыбкой, совершенно непривычной его лицевым мускулам, продолжил, что, дескать, наших бюргеров хлебом не корми — дай послушать культурно-образовательные речи, от чего чиновник почувствовал себя польщенным. Затем герр Хоффер предложил ему тонкую дорогую сигару, тем самым окончательно сгладив углы.

Худшее же в этой чудовищной истории наступило тогда, когда по окончании выставки принадлежавшие Музею картины, как воровскую добычу, погрузили в два грязных мебельных фургона и повезли из родного дома в Галле. Это и в самом деле походило на воровство. Грузовики уехали, оставив лишь красные деревянные буквы на стенах: Entartete Kunst да Eintritt frei. Стена, смотрящая на улицу фон Мольтке, была завешана гигантской растяжкой, на которой обутая в сапоги свастика топтала нескольких художников семитского вида, — творением карикатуриста из местной газеты. Растяжка так там и висела, пока назойливые письма местному представителю Министерства пропаганды не сделали свое дело и ее не сняли.

И конечно все поздравляли герра Хоффера с небывалым успехом выставки. А у него десять дней не проходила мигрень.

Вернер открыл глаза и спросил герра Хоффера, о чем тот думает.

— Ни о чем, — соврал он. — О семье. О мягкой постели.

— Я думаю об Ирмфриде.

— А кто она? — спросила фрау Шенкель.

— Он — великий герцог Тюрингии, — вздохнул Вернер, — в пятьсот тридцать первом году поверженный франками у крепости Шейдунген. С тех пор страна управлялась франкскими герцогами, примерно так, как станут нами управлять американцы. В истории нет ничего нового, стоит лишь копнуть поглубже. Все повторяется. Снова и снова.

— Боюсь, я думала про кофе, — сказала фрау Шенкель. — Уж простите меня, необразованную.

— Ну что ж, — вмешался герр Хоффер, — как заметил еще Курт Швиттерс, во времена нужды сердце мечется от сахара к кофе.

— Швиттерс теперь работает на лакокрасочной фабрике в Вуппертале, — с довольным видом произнесла Хильде Винкель.

— Это Оскар Шлеммер, — поправил герр Хоффер. — Швиттерс бежал в Норвегию.

— Тем лучше. Там холодно.

— У нас даже была какая-то его куча, — припомнила фрау Шенкель, — ее еще фрау Блюмен вымела.

— Вздор, фрау Шенкель, — поднял палец герр Хоффер, как учитель, раздраженный поведением учеников. — У нас действительно был его ассамбляж, "Маленький собор", очевидно родственный "Собору эротической нищеты". Он состоял из дверного замка, трех обломков кораблекрушения, лоскута ткани и железной решетки и символизировал веру автора в то, что жизнь это эстетический феномен и что жизнь неразделимо сплавлена с искусством. Фрау Блюмен просто не желала тратить десять минут на уборку пыли с кучи мусора — это я ее цитирую, разумеется. Мы прибавили ей жалованье и купили новую перьевую метелку, с тех пор на ассамбляже не было ни пылинки. А вы знаете, что я видел мерц-скульптуру Швиттерса в Ганновере?

Это известие никого не впечатлило.

— Он сделал в ней ниши, посвященные друзьям, и положил в них вещи из дома каждого. Например, Мохой-Надь был представлен носком, карандашом и, если не ошибаюсь, окурком. В одной нише было колесо с морской свинкой. Как я завидовал Ганноверу! Нашего Швиттерса забрали эти недоумки. Наверняка растоптали его своими большими черными сапогами.

Он наслаждался своими непозволительными речами, наслаждался вниманием: сидевшая рядом Хильде дрожала — она очень рассердилась. Никогда еще он не позволял себе такой откровенности.

— Ну и ладно, так даже лучше, — заявила фрау Шенкель. — Лично я бы это искусством не назвала. Что до меня, то пусть сидит в своей Швеции сколько влезет.

— В Норвегии, — поправил герр Хоффер.

— Да где угодно, лишь бы не в Германии.

Она принялась рассматривать свои ногти, которые уже несколько недель не видели маникюра — лак она берегла для люфтваффе.

— Желательно, где-нибудь на дне фьорда, — добавила она.

— Скажите это американцам, — проворчал Вернер.

Хильде Винкель фыркнула.

— Думаете, их волнует этот ваш шут Швиттерс? Или вообще хоть какое-нибудь искусство? Им интересно только взрывать наши города и жевать жвачку!

На губе у нее вокруг компресса бисером проступили капельки крови.

— Это, моя дорогая фрейлейн Винкель, слияние жизни и искусства, — улыбнулся Вернер.

— Постарайтесь не шевелить больной губой, — посоветовал герр Хоффер.

— Этим вашим так называемым слиянием жизни и искусства они заинтересуются, только если на нем можно заработать! — бросила Хильде, даже не поморщившись. — И британцы такие же! А мы — мы что-нибудь делаем?

Она переводила пылающий взгляд с одного на другого, но смотрела как по обыкновению не в глаза, а куда-то в подбородок, будто следила за чем-то, переползавшим с одного на другого. Герру Хоффферу она внезапно напомнила Бригитту Хельм — невероятно хорошенькую девушку, которую он знавал в юности, — и он понадеялся, что в присутствии американцев Хильде не будет такой сердитой.

— Выживаем, фрейлейн Винкель, — тихо произнес он. — Сейчас нет смысла заниматься чем-то еще.

Она затрясла головой, словно в отчаянии; на ее ладонь упала капелька крови.

Герр Хоффер посмотрел на часы. Не было еще и полдевятого. А казалось, что они сидят тут уже несколько часов.

Где-то далеко возобновился артобстрел — невнятный глухой рокот.

Вернер поставил другую пластинку — старенький джаз, который герр и. о. директора Штрейхер слушал с демонстративным пренебрежением к указаниям Партии. Теперь он звучал с пренебрежением к мнению Хильде, которая снова затрясла головой, на сей раз от отвращения. Игла плясала по дорожкам где-то с минуту, пока не наткнулась на глубокую царапину, звук был похож на паровоз, который никак не может тронуться. Вернер переставил иглу, но царапина тянулась по всей записи до самого бумажного ярлыка.

— Жаль, — сказал герр Хоффер.

— Мы танцевали под это в юности, — вспомнила фрау Шенкель, затянувшись сигаретой и поправляя немудреную седую прическу.

Вернер сунул пластинку в футляр и закрыл глаза. После шумного джаза тишина стала еще заметнее. Мысли герра Хоффера метались от сахара к кофе и обратно. Он попытался представить юную фрау Шенкель, танцующую под джаз. Собор эротической нищеты!

В желудке будто скрипела дверь. Он закашлялся и заерзал, коснувшись плечом плеча Хильде. Она отстранилась.

— Может, мы их отбросили? — предположила фрау Шенкель.

Хильде Винкель горько рассмеялась, потом содрогнулась и прикрыла рот рукой.

— По-моему, мне надо наложить швы, — сказала она. — Надеюсь, американцы хотя бы обработают раны.

— Вас-то они обработают, не сомневайтесь, — пробормотал Вернер, не открывая глаз.

Никто ему не ответил, потому что никто не знал, что их ждет.

Зачем они мне помогают? Их могут расстрелять из-за меня. Когда один из них поднимается ко мне с едой, я никогда не знаю, кто это. Только когда раздаются три стука, пауза, а за ней четвертый – только тогда я знаю, что это они. Иногда они исчезают на несколько дней. Тогда я убеждаю себя, что жизнь – это сон, что моя смерть давно наступила. Вот только мертвые не думают все время про сахар и кофе.

18

Моррисона унесли на носилках, отряд прочесал дома по всей улице, Перри отправился докладывать. Врать оказалось легко. Все прочие сосредоточились в расположении части, пили, курили, играли в карты – девушки их сейчас не прельщали. Поведение командира отряда они осуждать не собирались – зелены еще, но Перри к товарищам по оружию все равно не тянуло. У него были новая обоюдоострая бритва "И-зет-флоу" и полный тюбик мыльного крема "Барбасоль", он пальцами размазывал крем по подбородку и щекам и сбривал, размазывал и сбривал – чем не времяпрепровождение. Он облился из ведра, подпоясался чистым полотенцем – сюда бы еще девчонку с ласковыми ладонями, и никакой постели не надо. Ее кожа пахла бы хвойным мылом, и густые волосы тоже. Из каптерки ему выдали пару чистых немецких подштанников, носки и зеленые штаны какого-то парня, отправленного в тыл, Перри не был с ним знаком. От штанов несло прачечной. Края пустых карманов были обтерханы.

– Мужик, поди, на седьмом небе, – высказался Перри полувопросительно.

– Небось лечится сейчас где-нибудь в Гонолулу, – подал голос Риддел. – Смотри, не запачкай их. Глядишь, вернется – потребует штаны обратно.

Перри похлебал горячего варева, запил содовой и занялся поисками батарейки для фонарика – нормальной, не севшей. Черта лысого он нашел. С пьяных какой спрос. А Перри не хотелось пить, ему и так было здорово – чистые, выбритые щеки, руки пахнут мылом. В первый раз за семь месяцев выдали новое нижнее белье.

Он прошел в помещение, где лежало тело Моррисона, и вытащил у него из-за пряжки ботинка фонарик. Удивительно, но башмаков с покойного еще никто не снял. На что они мертвому-то? Вместе с Моррисоном лежало еще штук десять покойников, прикрытых чем-то вроде старых занавесок, без персональных медальонов на шее не поймешь, где кто. Но Перри ни к чему был личный знак Морри, его интересовал только ботинок с заткнутым за пряжку фонариком. Фонарик светил.

Странно, почему это мертвецы делаются так не похожи на самих себя?

Он поблагодарил Моррисона, перекрестил его на случай, если поблизости нет капеллана, и его волной накрыла печаль, он даже прослезился. Солдаты слишком часто хнычут, подумал Перри, времени на войну не остается.

Он высморкался и заторопился прочь, не стал приподнимать покров с лица своего ангела-хранителя, не попрощался. Ведь лицо у мертвеца будет чужое, незнакомое, лик новопреставленного только вытеснит из памяти образ живого.

Перри замедлил шаги, стараясь взять себя в руки, на душе было пусто и горько. Винтовку он захватил с собой. Хотя город был прочесан вдоль и поперек, до предпоследней бельевой корзины, как выразился сержант Риддел, в этой самой необысканной корзине вполне мог сидеть полковник ваффен СС со "шпандау", а под самой последней неподнятой крышкой лежать бомба.

К тому же у Перри имелся план.

Уже стемнело. Плотные клубы дыма и пыли висели в воздухе, как туман в фильме про вампиров. Это облегчало задачу. Люди жарили на кострах вкусно шипящих кур, пламя живописными пятнами расплывалось во мраке. Редко и привычно грохали снаряды — не поймешь, кто стреляет, — шипели и искрили провода, то и дело взрывалось что-то мелкое, будто дожидалось подходящей минуты. На верхних этажах разрушенных зданий мерцали огоньки — словно путеводные огни в бессмертие на каком-нибудь греческом храме. Он как-то, по заказу "Тексако", нарисовал греческий храм с путеводным огнем в бессмертие, но при печати краски изменили цвет, и картина получилась жутко мрачная. Из облаков дыма и пыли сладко тянуло пивом и коньяком, воняло резиной, густые запахи оседали на языке. Догорали пожары, полыхала фабрика термометров.

Загляни на фабрику термометров, сказали ему. Она была почти по пути. Снаряды повредили резервуары со ртутью, текучий металл расплескался по территории, забавные лужицы (чистый яд!), отсвечивавшие в потемках красным, собирались вокруг тел погибших, обтекали их, сливались и вновь дробились, распадались на серебристые созвездия, на крошечные шарики и опять соединялись и росли. Ртуть не оставляла на земле ни пятнышка, не то что кровь, или бензин, или вода, она словно вообще не касалась поверхности. Никому и в голову не приходило сунуть в жидкий металл палец или даже ногу, зато кирпичи кидали все, кому не лень, и любовались подвижными каплями.

Девушки в городе нос не воротят, сказали ему, твердят, что ненавидят только русских, а не англичан и американцев — янки им особенно по сердцу. Некоторые даже злятся, что мэр — или кто там у них во главе — не выкинул назло эсэсовцам белый флаг, а другие гордятся этим. Они голодны — а солдаты, что ли, не голодны? — грузовики со жратвой не поспевали за темпом наступления, вот почему части застряли здесь на пару дней. Перри сам слышал об этом от лейтенанта Говарда, тот язву себе заработал, так огорчался отставанием от графика. В солдатской столовке ничего, одни завтраки: сухой суп-концентрат, пшеничные хлопья и тушенка. Вот тебе и вся горячая пища: плохо разошедшийся в кипятке сухой фасолевый суп, а в нем плавают куски тушенки. Ну, правда, сигарет вдоволь. Если, чего доброго, когда-нибудь и сигареты закончатся, доблестная Третья армия сразу капитулирует.

Перри закурил "Честерфилд" и двинулся в путь среди груд битого кирпича и мертвецов, которые, как мнилось при свете дня, обрели бессмертие. Для них все вроде как только-только началось — и вместе с тем закончилось. Озабоченные старики с чемоданами и свертками даже не замечали его. Лица их были мрачны, ведь вся прожитая жизнь обернулась кровью на руках, и больше ничего за душой не осталось. Матерям с молчащими детьми было нелегко толкать разбитые коляски. Парни из других рот праздновали взятие очередного стратегического пункта —

их сердца все еще бились. Развалины оглашались смехом, воплями и свистом. Кто-то отрубил живой курице голову, несколько человек пялились на бегающее туда-сюда заводной игрушкой птичье туловище.

Моррисон всего этого не видит, подумал Перри. И никогда не увидит. Ему теперь все чуждо, вообще все, даже Млечный Путь.

Картина смерти Моррисона мелькала в памяти несколькими кинокадрами — и лента обрывалась. Мелькнут кадрики внезапно в полной тьме — и обрываются.

Потравить бы сейчас байки. Самому парочку рассказать и других послушать. Посмеяться.

Складки на загривке, поворот головы, жабры на шее, жуткое щенячье поскуливание. И тьма. Мрак в душе.

Перри ужасно хотелось жить, но ведь и Моррисону — тоже. Патриоту, квадратной башке из висконсинского захолустья. Девичий изгиб губ, кивок-клевок головой под неизменное "Ну так"...

Это его черточки, Моррисона. Больше ничьи.

А семья еще не знает.

Кожевник Моррисон-старший выделывал кожи в вонючем бетонном сарае. Морри несколько раз про него упоминал. И вечно выигрывал в безик.

Перри проскользнул мимо разбитой лавки: в выкатившемся на улицу кирпичном крошеве кухонная утварь, метелки, терки, сковородки, целая плита. Конец света, а такие магазины еще существуют, удивительное дело. Какие-то гражданские ковырялись в месиве, набивали карманы, калечили пальцы о битое оконное стекло. Груды щебня, дымящиеся балки. Артиллерия постаралась, снарядов не жалели. Наверное, дома уже лежали в руинах, а обстрел все продолжался. Почему это от сгоревших зданий всегда несет жуткой кислятиной? И удивительно, стены рухнули, а батареи отопления держатся.

С самым невинным выражением лица он пробирался к развалинам Музея, направление на восток, пересечь парочку широких улиц — и на месте. Перри — художник, пожалуй, единственный во всей округе. В один прекрасный день он уйдет из рекламы, положит конец тупому копированию и посвятит себя творчеству. Он видел себя в просторной студии, наполненной ярким северным светом, но никак не мог представить, над какой картиной работает. В конце концов, какая разница? Он никогда даже не задумывался, какую картинку выдать для рекламы — все равно чего, арахиса, шоколадного печенья, жевательной резинки, автомобилей, — картинка являлась ему во всех подробностях, даже если он получал самые общие указания от фирмы-рекламодателя или от своего босса. Линия у него всегда выходила чистая и четкая, особенно хорошо получались лица.

Кто-то сказал, что он чем-то напоминает Гранта Вуда.

На смуглых телах его сборщиков кукурузы и кофе блестели капельки пота. Его стиль являл собой смесь соцреализма и чего-то призрачного, неуловимого, вроде детских воспоминаний. Если бы не война, он бы почти наверняка работал сейчас в Нью-Йорке в одной из ведущих компаний. Деньги пришлись бы кстати, только у него их нет. А что достижения в работе пока невелики, так это ничего. Главное — начальный капитал, все остальное приложится. За этим-то он и возвращается в подвал, все ради искусства. Даже невинность можно на себя не напускать, у

него ведь и вправду намерения чистые. Совесть его спокойна, то, что он собирался сделать, никаких угрызений не вызывало, вот только вышел на дело он совершенно один, и лучше нацепить на себя личину солдата, который получил боевой приказ и направляется в конкретное место, указанное командиром.

Большинство улиц, даже тех, что пошире, были сплошь засыпаны щебнем и битым кирпичом, будто после разлива реки, несущей вместо воды строительный мусор, уровень паводка достигал середины окон первого этажа, пленные еще не занялись расчисткой, и людей почти не было видно.

Это улицы смерти, подумал Перри, ты будто в другой мир попал, еле пробираешься через море развалин, размолоченных стен, бревен, обломков и осколков.

Мимо прополз одинокий танк, поднял целую тучу удушающей известковой пыли и скрылся за углом, где у подножия длинной приставной лестницы стояла кучка штатских. Мужчина на верхушке лестницы прилаживал веревку к огромному нацистскому орлу, торчащему над зданием. Перри охотно бы посмотрел, как низвергают нацистский символ, зрелище осталось бы в памяти, но уже стемнело, и у человека наверху никак не получалось набросить веревку как надо, и пыль столбом стояла в воздухе.

Да и вообще, со злом будет покончено, только когда оно перестанет приносить прибыль. Этого не произойдет ни завтра, ни послезавтра.

Слышались отдельные винтовочные выстрелы, изредка ухала пушка, откуда-то издалека доносились короткие пулеметные очереди. Англичане метко прозвали пулеметы пустомелями: трещат слишком часто и без всякой видимой причины. Сейчас, похоже, стреляли из крупнокалиберных "браунингов эм-эм-джи", что бьют на четыре тысячи ярдов. Наверное, предместья зачищают. Только бы обошлось без большой крови.

А может, обнаружили где-нибудь на верхнем этаже снайпера с винтовкой и палят сейчас по нему из танка, пока гаденыш не подпрыгнет, не завизжит и не рухнет лицом вниз, как кукла.

Перри посветил фонариком на очередные развалины. С зазубренной стены свисало одеяло, здесь же притулилась разломанная кровать с лежащей на ней куклой, усадишь — глаза откроются. Под игрушки частенько маскировали мины-сюрпризы, и Перри не стал трогать куклу, она напомнила ему о мертвом младенце, попавшемся недавно на глаза. А вот одеяло Перри скатал и пристроил на плечо.

Надо же будет подложить под себя что-нибудь мягкое, пока ждешь.

Когда он увидел торчащий фронтон, и уцелевшую стену с пишущей машинкой на подоконнике, и кусок стеклянного потолка в небе, и крошечную статую Девы Марии, и торчащий из кучи мусора письменный стол, то испытал неведомое доселе возбуждение, почти сексуальное.

Перри постарался взять себя в руки. Надо набраться терпения. Ждать придется как часовому, с винтовкой у колен. Пока путь не будет свободен.

А это случится нескоро.

Какие-то люди закопошились вокруг, словно только вышли из укрытий, удивительные, не от мира сего создания засновали туда-сюда: штатские с чемоданами (этакие туристы), с велосипедами, нагруженными постельным бельем, с тележками, на которые была навалена фарфоровая

посуда, табуретки, матрасы. Никто не обращал на Перри ни малейшего внимания, будто дело точно происходило во сне. Из груды обломков торчала рука, девичья рука, Перри отшвырнул в сторону пару камней, мусор помельче съехал вниз, показались белая грудь и плечи. Статуя, мраморная статуя без головы, понял Перри, может, та самая, с которой один из ребят понарошку трахался. Как это ее опять засыпало, интересно знать, сама, что ли, провалилась, очень уж тяжелая? Может, древнегреческая. Как у нее груди здорово торчат, и соски такие острые. У Морин не такие.

Не сезон для свитеров.

Он присел на корточки у кучи мусора и задумался о жизни. Почему-то ему казалось, что, когда тебя выселяют, это страшнее бомбежки. В голове не укладывалось, как такое возможно в Америке, чужие люди высаживают дверь, выносят твое добро, велят твоим родным убираться прочь. Сцена времен Гражданской войны со всеми ее ужасами. Впрочем, родной Кларксберг под бомбами представить себе тоже невозможно.

В Кларксберге имелся крошечный музей с индейскими кресалами и памятными вещами первых колонистов, с отдельной комнаткой, посвященной Джексону Каменная Стена, где в стеклянной витрине висела его военная форма и стояло чучело его боевого коня.

Когда их год назад готовили в Англии к высадке, один хрен из британских BBC рассказал им, как они называют на жаргоне бомбардировку музеев, школ, больниц и прочих беззащитных гражданских объектов.

Волнующая бомбардировка.

Наверное, это и есть британский юмор — произносить с вычурным британским акцентом, а то весь эффект пропадет: "А не устроить ли нам, старина, небольшую волнующую бомбардировку? Будет на что посмотреть, а?" Что ни говори, англичане в день высадки дрались так же храбро, как американцы или канадцы, да еще и потеряли меньше. Отличные вояки, несмотря на весь их выпендреж.

Ватага незнакомых Перри солдат — руки сцеплены, как в танце, каски набекрень — прошествовала мимо. Юнцы распевали "Ветер в голове".

Издали еще не убранные обгоревшие трупы вокруг мертвой лошади в сгущавшемся мраке казались валунами в реке.

Перри не шевелился.

Только пощупал таблички в нагрудном кармане. *Waldestraus.* А на другой — *mit Kanal.*

Интересно, люди, не говорящие по-английски, так же думают о жизни? Если вы понимаете, о чем я.

Он медленно поднялся и проскользнул в подвал. (Ждал, чтобы улица опустела и никто не мог его увидеть.)

Пока спускался вниз, мимо мертвецов что-то прошмыгнуло. Крыса, наверное. Тоже есть хотят. Он зажег фонарик Морри и быстро посветил в сторону четырех покойников. Лиловые, точно у негров, лица, искаженные смертной мукой, мелькнули за кучей экспонатов, обращенных в прах. Мертвые срама не имут.

Перри заволновался. А что, если я не найду заснеженных вершин и золотой долины в нише? Но картина была на месте, да и куда бы она делась от своих четырех мертвых хранителей. Он, осклабившись, вынул трофей из углубления. Полотно все больше восхищало его. Мистер Кристиан Фоллердт. Ты да я.

Перри примостил фонарик в нише и еще раз внимательно всмотрелся в картину. Закатные лучи освещали долину, на переднем плане была купа березок, озеро и высокая скала, полотно точно светилось само по себе.

И еще собака. Ее он прежде не приметил.

Крошечный пастух все так же опирался на посох, к нему все так же жалась отара овец. Луч фонарика упал на табличку, и душа Перри наполнилась радостью. Как, бишь, звали художника, Джон, похоже? Джон Кристиан Фоллердт (1708–1769) "Landschaft mit Ruinen". Пейзаж с руиной. Или, может, с руинами. Пока Моррисон стоял над душой, он не мог толком разобрать названия, одному лучше думалось.

Фоллердт должен быть знаменит. Неплохо бы еще знать, как правильно произносить эту фамилию, три согласных подряд. А картина замечательная, как ни крути. Высокая скала вовсе и не скала, а руины, возможно, замка или церкви, и поваленные колонны на переднем плане тоже часть единой композиции.

Ветер в голове, да?

Великолепие заснеженных гор напомнило родные американские лесистые склоны, речку, где на мелководье сверкает форель, и прочую подобную чепуху, которую ему поручалось изображать. Вершины над золотой долиной освещались последними лучами солнца. Подобно ведерку для льда в Помпеях — может, и другие примеры есть, — картина уцелела в огненной купели. Полотно вызывало в нем что-то вроде религиозного чувства, он готов был поклоняться ему как святому образу. Красочный слой покрывали тоненькие трещинки, один угол вроде как чуть пузырился. Или это от возраста?

Он тихонько провел пальцами по полотну, по легкой шероховатости мазков, проступающей из-под лака. И тут раздался шорох.

Перри посветил фонариком в ту сторону, откуда доносилось шаркание. Мертвец, который был не Гиммлер, ворочал головой.

Мол, вся ночная смена в сборе.

Покойник в круглых очках и с раззявленным ртом. Он тряс головой.

Уставился на Перри слепыми стеклами и тряс головой.

Не шуми и надейся, что демоны тебя не заметят. Я не оглянулась, но все равно [попала] в ад.

19

Бомбардировку уже было не спутать с урчанием в животе герра Хоффера. Стены под их спинами дрожали. Огонек свечи окружил туманный — не дымный, а пыльный — ореол, в воздухе повисла горечь, которую не могли бы породить даже дрянные сигареты фрау Шенкель.

Герр Хоффер закрыл глаза, пытаясь отрешиться от мыслей. Он боялся, что его стошнит. Вот уже шесть недель как приступов мигрени не было. Тогда он лежал в постели, положив на каждый глаз по носку. Укутанный абсолютной тьмой, совсем как его тайна. Больше ни на что не было сил. Свет был пыткой. Бедняжке Сабине приходилось шептать ему утешающие слова, выносить ведро с блевотиной и следить, чтобы дети не шумели. Обычно приступы наступали, когда он расслаблялся после чудовищного напряжения, но в последний раз причиной послужил шок.

Дрезден.

Только не думать про Дрезден. Ну вот, тут же стало хуже. Тогда, по крайней мере, еще оставались сомнения. Он расстегнул воротничок.

— Как вы себя чувствуете, герр Хоффер?

— Спасибо, фрау Шенкель, хорошо. Это все воздух.

Когда он узнал, что случилось с его любимым городом, он захотел, чтобы их мальчики стерли с лица земли Оксфорд. В двадцать восьмом году он прожил неделю в Оксфорде, любуясь его сокровищами (в особенности Клодом Лорреном из университетского Музея Ашмола). Он плавал на лодке по Айсис и пил чай в Иффли. Оксфорд очаровал его. Он заезжал и в Бат, и Бат восхитил его. Он рыдал, когда налет люфтваффе разбомбил батский зал для ассамблей. Узнав о Дрездене, он захотел, чтобы Бат разбомбили снова и чтобы Оксфорд, его любимый Оксфорд, стерли с лица земли.

Он был в таком отчаянии, что даже вознамерился свести счеты с жизнью, но вмешалась мигрень, придя на помощь негодовавшей Сабине.

Целых три дня он не мог покинуть темноту спальни, не говоря уж о том, чтобы решиться на самоубийство.

Про Дрезден думать нельзя.

Само сидение в душном подвале и без того слишком напоминало мигрень. Не менее тяжелый приступ был у него и в начале войны, во время сильной жары, когда ему позвонил штандартенфюрер СС из Берлина с обвинениями в пораженчестве. Причиной звонка было письмо с просьбой вернуть *Mademoiselle de Guilleroy* под защиту Музея.

Не сказать, чтобы Сабина была преисполнена сочувствия. Вместо сострадания, она снова предложила взять пример с уважаемых жителей Лоэнфельде, вступивших в общество "Друзья рейхсфюрера СС".

— Это ничего не стоит, — подчеркнула она. — Одна марка в год. Все остальные взносы добровольные.

— Нет, — ответил он. — Нет, нет и нет.

— Между прочим, — продолжала она, сидя совершенно нагая перед зеркалом и расчесывая длинные светлые локоны, — если бы ты думал обо мне и детях, то мог бы и в саму организацию вступить.

— О чем ты?

— Стань офицером шутцштаффеля.

— Я лучше свиньей стану.

— Спасибо, Генрих, что ты так заботишься о своей семье.

Она поерзала голым задом по мягкому табурету.

— Не хочу таскать на груди жестяные значки, — жалобно сказал он.

— Это же шикарно, последний писк моды.

— Я ненавижу шик и презираю моду.

Разговор начинал напоминать ссору. Сабина закончила причесываться и скользнула к нему под одеяло.

— У них сексуальная форма, — сказала она. — Особенно черный пояс и ботфорты.

— Я буду в них выглядеть идиотом.

Она гладила его живот, а он лежал в насквозь промокшей от пота ночной рубашке, не в силах оторвать взгляд от ее крепких грудей. Потом протянул руку — они оказались на удивление прохладными.

— Я бы, пожалуй, и сама их надела, — промурлыкала Сабина. — Ремень, ботфорты и больше ничего, мой милый Генрих.

Реакция любимого муженька на подобное предложение ее чрезвычайно порадовала. Его малыш вытянулся по струнке в своем красном колпачке – как будто сам герр министр Гиммлер явился с проверкой! Малыш заслужил поцелуй! Сюда! И сюда, и сюда!

– Герр Хоффер, хотите, я открою дверь?

– Спасибо, фрау Шенкель, не надо. Я нормально себя чувствую. Правда.

Герр Хоффер поерзал на своей подушке и вздохнул. Не секрет, что мысли о сексе – лучшее лекарство от страха. Он не стал открывать глаза, только попытался придать лицу благообразное выражение. Ноздри пощипывало – в них набилась пыль. Известка, наверное. И это только начало.

Вообще-то от одного взгляда на форму СС его начинало мутить. Всю "чистку" современных работ в тридцать шестом проводили эсэсовцы под началом чудовища Циглера и безумца Вилльриха, которых герр Хоффер – по настоятельной просьбе герра Штрейхера – сопровождал по Музею. К счастью, у Комитета конфискации дегенеративного искусства не оказалось инвентарного списка, иначе они непременно обнаружили бы заметную недостачу (уже надежно укрытую в подвале). Но они спешили, ведь им надо было распотрошить сотни музеев по всему рейху.

– Худший день в моей жизни, – сказал он тогда Сабине. – Я должен был им помешать.

– Чтобы тебя арестовали? Не будь дураком, Генрих. Это всего лишь картины, мой милый.

Вся беда была в том, что Музей существовал на средства местных промышленников, и все они состояли в "Друзьях рейхсфюрера СС": "Дойче-банк", "И. Г. Фарбен", "Роберт Бош", "Крайпе термометр", "Сименс – Шукерт", "Лоэнфельде Дрюкерай" – список можно продолжать и продолжать. Их пожертвования были жизненно необходимы "Кайзеру Вильгельму", например, в двадцать третьем году не хватило бы средств на великолепного Ван Гога, хотя цена была до нелепости низкой (в двадцать третьем Ван Гог еще не стал легендой).

– СС – наше все, – кривился герр Штрейхер. – Как христианство.

Потом Комитет конфискации дегенеративного искусства ураганом прошелся по современной коллекции, оставив от работ модернистов одно воспоминание, и красивая черная форма сделалась герру Хоффер ненавистной.

На самом деле тот ужасный день в тридцать шестом заронил в нем жажду мести. Герр Хоффер был уверен, что рано или поздно взорвется, если не найдет выхода ярости и чувству вины. Поскольку что-либо предпринять не представлялось возможным, оставалось прибегнуть к фантазиям. Его любимым изобретением стала Выставка дегенератов, на которой были бы выставлены вымазанные грязью связанные мужчины и женщины, и у каждого на шее картонная табличка с криво написанными словами "дегенерат-эсэсовец". И чтобы по распоряжению директора закрытие выставки все откладывалось и откладывалось. Наверняка, американцы это разрешат. Вот британцы, скорее всего, нет. Как там Трейчке описывал англичанина? Герр Хоффер запомнил это со школьной скамьи: "Лицемер, с Библией в одной руке и опиумной трубкой в другой, сеющий по миру блага цивилизации".

Но кто придет посмеяться, кроме евреев? Те десятки тысяч, которые прежде смеялись над картинами?

Его пугали эти мысли.

А как же быть с сотнями тысяч приличных людей, которые были в СС простыми клерками или почетными членами? Если на всех навесить таблички, Музея не хватит. Придется открыть третий этаж и чердак, и все равно экспонатов окажется больше, чем посетителей. К тому же американцы-то уйдут, а он останется.

Впрочем, это всего лишь фантазия, выдумка, чтобы не взорваться.

Вернер закурил сигарету и протянул пачку Хильде Винкель. Как и фрау Шенкель, и герр Вольмер, он два года их для себя откладывал. Герр Хоффер тоже взял сигарету.

Фрау Шенкель внезапно поведала, что заперла все ценные вещи дома в шкафу, а ключ взяла с собой. Произнесла она это таким тоном, будто доверяет им личную тайну.

Все молча покивали. Не хотелось отвлекаться от сигаретного блаженства на разговоры. Герр Хоффер курил редко — Сабина не одобряла, — но сейчас он смаковал каждый глоток дыма, затягиваясь глубже, чем когда бы то ни было. Так лучше думалось.

Ну конечно, Вернер не презирал его. Чушь какая! Лучше думать о голой Сабине.

Внезапный укол — ревность, — и он закашлялся.

Бендель.

Бендель если и курил, то турецкие цветочные сигареты. Он совершенно искренне, вслед за фюрером, полагал, что курить вредно!

Бенделю *очень* шла черная форма. По словам Сабины.

— Может быть. Но обертка — это еще не все.

— Она привлекает внимание к содержимому.

Ах, как захотелось плакать. Он крепко зажмурился и даже чуть слышно застонал. Не думать про Бенделя. И про Дрезден. Про секс. Про свиные отбивные. Про Комитет конфискации. Он собирает цветы с мамой на лугу, воздух пахнет лесом. Вот так. И к черту Бенделя. Он, герр Хоффер, остается на небесах. Он собирает полевые цветы в полях Бад-Виндульгена, солнце улыбается окрестным лугам, холмы топорщатся соснами, бабочки порхают, мама смеется, она в ярком платье...

Не поддаться обаянию Бенделя было невозможно.

В штурмфюрере СС Клаусе Бенделе не обманулся один только герр и. о. директора Штрейхер, давно привыкший держать ушки на макушке.

Правда, надо учитывать, что нервы герра Штрейхера расшатались еще до появления Бенделя. Когда это было — в тридцать пятом? Гайки уже закручивались. Отставки (если не что похуже) уже сделались в мире искусства обычным делом. Герр Штрейхер отставки боялся зря, но его нервы были натянуты, как скрипичные струны.

— Классическая тактика Бисмарка, — шутил он, — держать всю Европу в напряжении, намекая на возможную войну. Они добьются, что я сойду с ума.

— Вы хотите сказать — тактика фюрера?

— Да нет, фюрер просто перенял эстафету.

Наверное, для герра Штрейхера было бы лучше, если бы его уволили, как и его предшественника. Правда, герр директор Киршенбаум был евреем, который использовал свои связи с другими богатыми евреями, искусственно поднимая ажиотаж вокруг картин отдельных посред-

ственных художников, дабы их собственные коллекции больше стоили. По крайней мере так писала местная газета (а потом статью перепечатали в популярной "Дойче культурвашт"). Для отставки хватило. Не верьте ни единому слову!

Кураторы, ученые – все падали, как кегли: Юсти, Шардт... но герр и. о. директора Штрейхер устоял, несмотря на то что не скрываясь поддерживал "пейсатых жуликов" и "безумных сенсуалистов".

– Может, дело в том, – сказал герр Штрейхер в один зимний день, растапливая камин в кабинете нацистской газетой "Фёлькишер беобахтер", – что меня так и не назначили на место Киршенбаума. Я как бы не в счет. Я невидимка.

Герр Хоффер считал, что дело было не в этом.

Он растягивал сигарету и вспоминал свою первую встречу с Бенделем. Герр Штрейхер всячески поощрял это знакомство. Год, кажется, был тридцать шестой, незадолго до чистки модернистской коллекции. Шел снег. Герр Штрейхер вызвал герра Хоффера и понизил голос, ибо все знали, что у фрау Шенкель, сидевшей в соседнем кабинете, отменный слух и муж железнодорожный машинист, ничего особенного из себя не представлявший, однако состоявший в Партии с незапамятных времен. Вступил, еще когда учился железнодорожному делу в Зонтхофене, а потом организовал "саксонские" лесные лагеря для мальчиков, где они мололи кукурузную муку, метали копья и строили хижины из веток и листьев папоротника.

Герр и. о. директора попросил герра Хоффера познакомиться со штурмфюрером.

– Его зовут Клаус Бендель. Лейтенант из канцелярских. За последний месяц двадцать раз расписался в книге гостей, – шептал герр Штрейхер.

– Двадцать раз. Подумать только. Я и не предполагал, что он заходит так часто.

– Вы с ним разговаривали?

– Нет. Ограничивался приветствиями.

– Разумно. Поговорите с ним. Для эсэсовца у него странные вкусы. Слишком часто стоит перед Ван Гогом.

– Неудивительно. Это наше главное сокровище.

Герр Штрейхер нахмурился. Он считал сокровищем "Обнаженную" Пуссена.

– Хорошо, сокровище коллекции девятнадцатого века, – поправился герр Хоффер. – Так же как Кандинский – сокровище коллекции века двадцатого.

Герр Хоффер купил Кандинского в прошлом году на аукционе. Бывший владелец – богатый еврей – спешно отбыл в Америку, а его богатая коллекция пошла с молотка за сущие гроши. Первый Кандинский "Кайзера Вильгельма" назывался "Синие круги II". На самом деле кругов не было, холст был исчерчен фиолетовыми линями, которые не образовывали вообще никаких фигур.

Герр Штрейхер не понял намека и, пригладив кустистые седые брови желтыми пальцами, возразил, что Бендель никакого интереса к Кандинскому не проявлял.

– Однако знающие люди говорили мне, что Черный Карлик – большой любитель Ван Гога.

– Понимаю. Но герр министр Геббельс к СС отношения не имеет.

— Симпатии к нашему голландскому гению — не то, что он стал бы афишировать, не так ли, Генрих? — отмахнулся герр и. о. директора. — Ведь это не лучше сексуального отклонения, — он несколько раз затянулся трубкой. — Фюрер не одобряет безумие в художниках. Хотя лично я на своем веку не раз видел желтое небо. Синие луга попадались реже. Хотя некоторым цветам, например васильках, ничего не стоит сделать поле синим. Я всегда считал, что его рисунки лучше картин.

— Фюрера?

— Ван Гога, герр Хоффер. Я не претендую на оценку творчества фюрера. Оно, разумеется, выше всяких оценок. Акварели венских статуй. Снежные пики. Очаровательные альпийские долины...

— В голландском языке для "цвета" есть два слова, — перебил герр Хоффер, пока герр Штрейхер не ляпнул какую-нибудь глупость. — Verf и kleur. Verf — это цвет краски, а kleur — зрительный эффект. В письмах Винсент обычно упоминает verf.

— И что?

— Винсент отталкивается от красок на палитре, от verf. Не от природы. Но в результате его картины приближают нас к природе.

— Вы всегда зовете его по имени? Словно вы с ним приятели.

— А как же Рембрандт? Это тоже не фамилия.

И. о. директора вздохнул, как будто его заместитель огрызнулся, и причмокнул трубкой.

— Возможно, Ван Гог — величайший гений, — произнес он, — но ему не дано было таланта совладать со своей гениальностью. Тем не менее его картина — чрезвычайно важная и ценная часть нашей коллекции.

Герр Хоффер в полемику вступать не стал, а лишь отметил, что Ван Гог никогда не подвергался нападкам со стороны властей, вероятно потому, что относился к девятнадцатому веку. Так что нет никакой причины для беспокойства.

Герр Штрейхер, не слушая, ерзал в директорском кресле. Наконец он подался вперед и уставился на своего заместителя холодным взглядом. Его седая шевелюра выглядела так, словно отродясь не видывала расчески.

— Генрих, пожалуйста. С ним стоит познакомиться, даже если он действует по собственному усмотрению. Потом всегда можно помыться. Я однажды встречался с куратором телевидения, даже пожал ему руку. Потом отмывался хлоркой. А то сыпь началась.

"Куратором телевидения" был Геринг. Герру Штрейхеру доставляло удовольствие величать его самым незначительным из его титулов. Герру Хофферу нестерпимо захотелось, чтобы и. о. директора говорил еще тише.

До этого они не беспокоили штурмфюрера СС Бенделя. Членов СС вообще не стоило беспокоить без дела, особенно молодых.

Неделю спустя, еще лежал снег, но уже подтаявший и грязный, герр Хоффер, проезжая на велосипеде мимо штаба СС, увидел Бенделя. Тот, в форме (без пальто, хотя стояли холода), болтал с одной из секретарш. В тридцать шестом году подразделения СС в Лоэнфельде еще не стояли, потому что еще не было нужды защищать город; но административный штаб на тенистой Йозеф-Геббельс-штрассе разместился довольно давно, соседствуя с местным отделением гестапо. Здесь то и дело сновали сотрудники криминальной полиции в штатском и фланировали затя-

нутые в черное сотрудницы СС в изящных серых перчатках, вызывающе качая бедрами, проходя мимо рябых караульных.

Герр Хоффер повернулся, чтобы рассмотреть Бенделя получше, его велосипед повело в сторону, прямо на бордюр, который на этой засаженной липами аллее был старым и довольно высоким. Герр Хоффер упал, но не ушибся. Только опозорился, как он сам позже описывал эту историю.

Штурмфюрер СС Бендель подбежал и помог ему подняться. Герр Хоффер отряхнул снег с пальто, поблагодарил его, и, разговорившись, они вместе направились дальше по улице. Герр Бендель — само очарование — поздравил герра Хоффера с тем, какое у Музея превосходное собрание живописи, и даже упомянул, что не сомневается в ценности коллекции средневековой резьбы по дереву, хотя это совсем не его область. Впрочем, область интересов герра Бенделя простиралась довольно широко: он изучал историю искусств под началом герра профессора Пиндера в Берлинском университете, потом прикладные искусства в Венской академии художеств (чего не стоило упоминать при фюрере, дважды провалившем вступительный экзамен), затем по обмену отучился семестр в Гарварде и, наконец, провел несколько месяцев в Лувре, работая над диссертацией "Форма как эстетический принцип в творчестве Жоржа де Латура".

Какой интересный малый, подумал герр Хоффер.

— Сейчас, конечно, рисовать некогда, слишком много работы, — признался Бендель.

Они шли вперед (герр Хоффер катил велосипед по грязной мостовой), а Бендель рассказывал о работе. Он был местным официальным уполномоченным по делам культуры и архитектуры от личного штаба рейхсфюрера СС Гиммлера. Его участок включал довольно обширную местность вокруг Лоэнфельде, но был, разумеется, гораздо меньше участка, подконтрольного штабу СС в Лоэнфельде и непосредственному начальнику Бенделя, золотозубому штурмбаннфюреру СС Веделю. Их близкое соседство — кабинеты обоих располагались на одном этаже — привело к тому, что Золотой Зуб нередко интересовался мнением Бенделя по культурным вопросам, что немало раздражало остальных штурмфюреров, также состоявших под его началом.

Что, признался Бендель, уже порядком ему надоело.

Герр Хоффер успокоился. Ему даже начали нравиться испуганные взгляды, которые бросали на них встречные. Бендель был в форме. В форме СС — в ее кровавой нарукавной повязке и начищенных до блеска сапогах, поясе и перчатках, в коричневой рубашке с черным галстуком и разрозненных серебряных деталях было что-то такое, что заставляло думать об облаченном в нее человеке как о чрезвычайно дорогом украшении, а не как о живом существе. Одетые в нее люди напоминали скорее... японские столики для чайных церемоний.

Чтобы поддержать разговор и прервать внезапную паузу, герр Хоффер поинтересовался, что означает римское XIII, вышитое на манжетах и воротнике.

— Номер подразделения, — объяснил Бендель. — Мы — Abschnitt Dreizehn[1]. — Он протянул руку почти до самого носа герра Хоффера и про-

1. Подразделение 13 (*нем.*).

демонстрировал вышитый белой нитью номер на манжетной ленте. От него пахло сладковатым турецким табаком, как будто он до сих пор ютился в студенческом общежитии. — Я не суеверный, — расхохотался он.

Смех был странный — громкий и будто бы чуть запаздывающий.

Герр Хоффер деликатно поинтересовался обязанностями официального уполномоченного по делам культуры и архитектуры от личного штаба рейхсфюрера СС Гиммлера.

Бендель вздохнул.

— Знаете, с каждым днем я все больше и больше теряюсь в догадках. Меня заваливают бумагами. Например, Kampfbund für Deutsche Kultur[1] строчит штурмбаннфюреру СС Веделю очередную кляузу по поводу некоторых еврейско-большевистских работ в вашей, герр заместитель директора, коллекции. Жалобу спускают мне. Я перенаправлю письмо в соответствующие инстанции, в данном случае либо в Министерство народного просвещения и пропаганды, либо в Имперскую палату изобразительных искусств, либо герру министру Русту в Министерство науки, образования и культуры. В нашем случае, скорее всего, сразу по всем трем адресам.

Герр Хоффер побледнел и сглотнул накопившуюся слюну — не хотел, но не смог удержаться.

— А потом, — жизнерадостно продолжал Бендель, — я, возможно, последую примеру герра Шульце-Наумбурга.

— Да? А что он сделал?

— Он собрал фотографии модернистской коллекции Kronprinzen Palast и показал их фюреру. Да будет вам известно, герр Хоффер, живопись интересует фюрера больше всего, если не считать архитектуры, дорожного строительства и собак. У нас имеются фотографии всех картин "Кайзера Вильгельма". Посредственного качества, но нам достаточно.

Красивое, свежее лицо Бенделя, дружелюбно улыбавшееся из-под черного козырька фуражки, вдруг показалось герру Хоффферу жутким. Да еще этот дурацкий значок в виде черепа.

— Эта ваша работа... то, что вы рассказываете... это случилось на самом деле? — спросил он с дрожью в голосе. У него затекли руки, сжимавшие руль велосипеда. Улица казалась широкой, темной и бесконечной. Он никогда не видел злобных писем из Kampfbund für Deutsche Kultur, но, возможно, герр Штрейхер прятал их.

— Конечно, — ответил Бендель. — Случилось, ибо я сам это придумал.

— Не понимаю.

— Все, что я придумываю, происходит на самом деле, — снова улыбнулся тот, выдохнув белый морозный пар.

Ах, вот и конец улицы. По бульвару, в который она упиралась, ехали машины, превращая снег в черную слякоть. Перед трактиром выгружали бочонки из фургона. Бендель посмотрел на грузчиков сосредоточенным взглядом. У герра Хоффера засосало под ложечкой. Не может быть, чтобы фюрера мог заинтересовать провинциальный музей.

— Я придумал фюрера еще в детстве, — произнес Бендель, будто прочитав его мысли. — Тогда о нем никто и не слышал. Потом, в пятнадцать лет, я придумал, что наступит чистое время и коррупция и обыденность

1. Общество по защите немецкой культуры (*нем.*).

уйдут в небытие. Позже, студентом, когда фюрер еще не стал фюрером и не ввел новый порядок, мне представлялось, что наши города, наши жизни заполнит искусство и Германия станет новыми Афинами. Каждый раз мое воображение опережало реальность. Я всегда мечтал о конных рыцарях, прекрасных девах и замках с высокими башнями в стране, где нет ни машин, ни фабрик, ни электрических проводов. Может быть, это не пустые мечты, а предчувствие будущего.

Один из эсэсовских безумцев, подумал герр Хоффер. Вот и все. Амбициозный обаятельный безумец.

Бендель повернулся к нему, и герр Хоффер покраснел. На бледном подбородке Бенделя он заметил пару юношеских прыщиков. Лет двадцать пять. Из молодых, да ранний.

— Именно поэтому, когда я получаю от необразованных кретинов из Общества по защите немецкой культуры кляузу на ваш великолепный Музей, я подробно излагаю в ответном письме то же, что сейчас рассказал вам, и убираю их глупость в ящик стола. — Его бесстрастное лицо вдруг оказалось очень близко. — Мещане все еще у власти, герр заместитель директора, вы понимаете?

Герр Хоффер кивнул, впрочем, вяло.

— Кстати, на следующей неделе я зван на банкет, где будет присутствовать герр министр Геббельс. Я решил не упоминать при нем вашего Ван Гога. Возможно, вы слышали, что он питает к Ван Гогу слабость, несмотря даже на неодобрение фюрера. Но я не выдам вашу тайну.

— Какую тайну?

— Ваш Ван Гог уникален. "Художник в окрестностях Овера". Где еще он изображает себя за работой?

— Это спорно, — возразил герр Хоффер. — У одного нашего бывшего сотрудника, Густава Глатца, есть монография...

— Герр Хоффер, разумеется, все так, как в названии. Как и "Гамлет, принц датский" — пьеса о Гамлете, принце датском. Об уникальности этой картины знает так мало людей, что это практически тайна. Пока меня это вполне устраивает.

— Вы говорите так, будто решение зависит только от вас.

— В определенном смысле так оно и есть. Как сказал людоед в стихотворении Виктора Гюго, после того, как сожрал дитя принцессы фей: "Я хотел есть!" Восхитительно, особенно в оригинале.

Герр Хоффер не понял смысла цитаты, впрочем, произнесена она была совершенно мирным тоном. Офицер дружелюбно попрощался и, довольно бесцеремонно похлопав герра Хоффера по плечу, перешел на другую сторону улицы и затерялся в толпе. Для такого молодого человека он был необычайно самонадеян. Герр Хоффер чувствовал себя рядом с ним школьником.

Отчет герру Штрейхеру он тогда предоставил весьма сбивчивый и запутанный. Успокоить тревогу герра и. о. директора ему не удалось. Путаница всегда хуже ясности. Ясность — это главная цель фюрера: чистое бесконечное небо, пронизанное солнечными лучами, как в древних Афинах. Герра Штрейхера терзало странное чувство, что за те три года, что фюрер у власти, все лишь больше запуталось, даже после того, как с "коричневыми рубашками" разделались раз и навсегда. Нет, Общество по защите никогда не писало им писем, сказал он.

В последнее время над коллекцией Музея никто не насмехался, если не считать нескольких партийных филистеров. Не говоря уж о том, чтобы строчить гневные письма.

Это было странно, но не слишком. Бедного Густава Глатца в 1933 году избили штурмовики, которых потом расформировали. Эта мерзость случилась в марте, за день до выборов, вот почему на двери служебного входа был пришпилен плакат. Густава Глатца, музейного специалиста по барокко, автора блестящей работы о нюансах штриховки запястий у Рафаэля, до полусмерти избили. Большинство музейных сотрудников винили штурмовиков, а не нового канцлера, который, кстати, вскоре с ними разделался.

В Музее старались не говорить о политике. Даже в первые дни Партии у власти. Когда однажды утром они обнаружили непристойную партийную агитку на заборе напротив, герр Штрейхер лишь заметил, какой блестящий получился коллаж. Агитка не закрывала целиком предыдущий плакат, и вышло:

Немцы!
Берегитесь!
Не покупайте у евреев!
Вавилон
Грета Гарбо

Когда на фасаде Музея появилась непристойная антисемитская надпись, они просто обсудили, чем лучше ее смыть. Даже увольнение герра директора Киршенбаума после клеветнической статьи в газете вызвало минимум разговоров. Это случилось сумрачным февральским днем тридцать четвертого года. Ему дали пятнадцать минут на сборы, все робко пожали ему руку (кроме фрау Шенкель, которая всегда считала директора "типичным евреем"). "Не покупайте у Греты Гарбо", — улыбнулся он. И ушел. Все понуро продолжили работу. Вернер, конечно, тогда еще не работал в Музее.

Герр Штрейхер сглаживал углы, дисциплинированно являлся на все партийные банкеты, на которые его приглашали как и. о. директора местного Музея, и старался быть на дружеской ноге со всеми, кто имел в городе хоть какой-то вес. Он был кавалером Железного креста, который надевал по любому поводу. Но основная причина того, что модернистскую коллекцию "Кайзера Вильгельма" не особенно критиковали, заключалась в том, что в тридцатые годы Музей перестал быть культурным центром Лоэнфельде. Вот в 1904 году, когда он был новеньким брильянтом в ее сокровищнице... Теперь же он был осколком прошедшей эпохи, и даже имя его отдавало пылью веков. Здание, построенное в стиле вычурной эклектики, теперь, в век строгого классицизма и героической помпезности, казалось нелепым и даже пошлым. Местный житель покажет вам ратушу (точнее, забавные часы на ее башне), сверкающую новенькую фабрику термометров, розовую, много повидавшую на своем веку гостиницу, построенную в 1632 году и недавно отреставрированную, городской парк с огромными дубами и живописными прудами с большей гордостью, чем Музей с его коллекциями пыльных книг, картин и окаменелостей. Сосредоточенные в центре старинные особняки семнадцатого и восемнадцатого веков с их прелест-

ными резными балкончиками вишневого дерева были куда привлекательней эксцентричной постройки, расположенной к тому же чуть дальше, чем предполагала пешая прогулка, на неестественно тихой аллее, где бюргерские особняки и сады прятались за рядом декоративных деревьев как раскормленные члены какого-нибудь снобистского клуба.

Вот почему после "отставки" герра Киршенбаума в тридцать четвертом на Музей и на то, что в нем хранится, никто не обращал внимания, что, хотя и было несомненно во благо, раздражало герра Штрейхера и огорчало его заместителя. Они разрывались, им одновременно хотелось и привлечь к Музею внимание специальными выставками, плакатами, рекламой, и залечь на дно, лишь открывая и закрывая двери в положенные часы. В итоге выбрали последнее; в местной прессе даже не было сообщения о приобретении Кандинского. В сложные времена лучше не высовываться.

В итоге любое действие стало казаться им почти что преступлением, а частые визиты члена СС не могли не встревожить. Герр Хоффер прекрасно это понимал. Выслушав его доклад, герр и. о. директора оживился — восторг штурмфюрера СС Бенделя по поводу Ван Гога полностью подтверждал его подозрения. Герр Хоффер не стал упоминать про вероятность того, что фотографии картин покажут фюреру, так как это была очевидная шутка.

— Уникален, — повторил герр Штрейхер. — Нехорошее слово. Что-то мне не очень нравится эта история.

— Полагаю, беспокоиться не о чем. Как и многие другие амбициозные юноши, он метит в министры культуры, но...

— Нам очень даже есть о чем беспокоиться, — воскликнул герр Штрейхер и сунул прямо под нос герру Хофферу номер "Таймс". Номер был вчерашний. Из-за внезапных резких движений табачный дым, столбом стоявший в непроветренном кабинете, заклубился.

— Боюсь, я плохо читаю по-английски, — как всегда сказал герр Хоффер и, как всегда, добавил, что учился в Оксфорде. Герр Штрейхер размахивал перед его носом "Таймс" с той же регулярностью, с какой называл герра министра Геббельса Черным Карликом, а маршала Геринга куратором телевидения.

— Kronprinzen Palast закрыли. По приказу Руста, — и он со стоном показал на статейку, обведенную красным карандашом.

— Понятно. Из-за Барлаха?

— Из-за того, что они сумасшедшие, вот отчего! Если бы они торговали в бакалее, то от их сумасшествия страдали бы мешки сушеных груш, и все было бы в порядке, но в правительственных креслах — это катастрофа!

Герр Хоффер планировал съездить и посмотреть новенький зал Барлаха и все прочие новинки. Он уже выяснил расписание поездов и договорился с Сабиной — ей хотелось походить по столичным магазинам. Эрнст Барлах был его любимым авангардистом. Как ни крути — скверная новость.

— Шлеммера уже сто лет нет в экспозиции, — продолжал герр Штрейхер, меряя кабинет шагами. — У них был целый зал Бекмана — и от него избавились. Клее остался только один. Герр директор Ханфштангль — двоюродный брат Эрнста Ханфштангля, любимчика фюрера. Но для этих маньяков даже это не аргумент!

— Ну и ну. Подумать только, Кандинский говорил, что грядет "эпоха великой духовности", одна из величайших в истории.

— Мне вчера сообщили по телефону.

— Притом еще в двенадцатом году.

— Генрих, не отвлекайтесь! — И. о. директора хлопнул по стеклянной столешнице; герр Хоффер не удивился бы, если бы она разбилась. — Звонили из Дрездена, но я не поверил, пока не увидел черным по белому. Притом не в партийном издании!

— Герр Штрейхер, по-моему, не стоит повышать голос.

— Наш Ван Гог в опасности, Генрих. Умоляю, присматривайте за этим Бенделем. Не нравится мне это его "уникален".

— Вас там не было. Может, он ничего такого не имел в виду. Многие любят Ван Гога, даже самые уважаемые люди. Его привила на немецкой почве группа "Мост", и теперь Ван Гога любит каждый уважающий себя человек со вкусом. Кстати, я тоже его люблю. И он в самом деле уникален.

— Но, мой дорогой Генрих, не каждый человек со вкусом будет торчать по полчаса у одной картины! — Герр Штрейхер выбил трубку о железное мусорное ведро. От этого звука герр Хоффер вздрогнул. — Это ненормально. Он одержимый. Он положил на него глаз. Разумеется, Черный Карлик в курсе, что наш Ван Гог в двадцать раз уникальнее чего угодно. Единственная картина, где художник изображен за работой!

— Ну, это пока тема для дискуссий...

— Генрих, не разыгрывайте наивного дурачка. Черного Карлика не волнуют ваши споры. Он, между прочим, сам книги пишет.

Герр Хоффер не понял, было ли это очередной странной шуткой, но на всякий случай улыбнулся.

— Бендель обещал не выдавать нашего Ван Гога министру Геббельсу. Они встречаются на следующей неделе.

— Выходит, вы все-таки говорили о Черном Карлике?

— Пожалуйста, герр директор, не повышайте голос!

Откуда-то из тьмы настоящего заговорила Хильде Винкель. Герр Хоффер открыл глаза. Кровь у нее на губе и компрессе засохла, как будто написанная широкой кистью.

— Моя сестра живет в Гисене, — говорила Хильде. — Учится на биолога. В прошлом году в канун Рождества она с двумя подругами зубрила лекции по гистологии, загодя купив себе на обед по две свиные котлеты. Все талоны потратили. Не успели котлеты зажариться, началась тревога. Ее подруги похватали котлеты, чтобы слопать их в подвале, а сестра сказала, что съест свои после налета, как положено, за столом, с ножом и вилкой. Убрала их в кладовую и спустилась в убежище.

— Надеюсь, история не слишком грустная, — перебила фрау Шенкель.

— Не слишком. Когда они поднялись наверх, не было ни дома, ни котлет. Гисен стерли с лица земли.

— И это, по-вашему, не грустно?

— Дайте ей закончить, — проворчал Вернер.

— Она стояла, смотрела на километры и километры развалин и думала: "Боже мой, почему я не съела котлеты?"

Все рассмеялись.

— Хорошо еще, не задохнулась, — сказала фрау Шенкель. — В Гамбурге многие задохнулись прямо в подвалах.

— Из-за пожара. Задохнулись угарным газом, — пояснил Вернер.

— Да какая разница, — огрызнулась фрау Шенкель. — Задохнулись, и все тут.

— Вот поэтому мы и сидим у выхода, — мягко сказал герр Хоффер. — Если что, мы можем быстро выйти.

Вернер фыркнул.

— Представить себе не могу, чтобы эти несчастные не тешились теми же заблуждениями.

— Какие несчастные?

— В Гамбурге.

— Не понимаю, о чем вы говорите, герр Оберст, — пожаловалась фрау Шенкель. — Как бы я хотела, чтобы вы говорили по-немецки, как все мы.

— Давайте сменим тему, — предложила Хильде Винкель.

Новую тему никто не предложил. Герр Хоффер докурил сигарету. Теперь из головы не шли котлеты. Жирные, сочные, с горчичкой. И к черту Бенделя. Прожаренные, проперченные, сервированные на листке салата. Его мама до болезни приправляла котлеты черным перцем и помидорами, а вот горчицей — никогда.

Боже, как хотелось есть. Он мотал головой из стороны в сторону, поражаясь собственному голоду.

Я стану деревом. Все начнется с ног, и постепенно я одеревенею по самую макушку. Когда на голове вырастет последняя ветка, я перестану чувствовать страх или голод. Больше никто меня не сможет заметить, хотя будут проходить совсем рядом, – даже бомбы пролетят мимо. Я вольюсь во вселенную мертвого дерева, которое притворяется живым, притворяется, что оно – лес, скрипящий на ветру. Лес, который не заметили дровосеки. В нем я буду лишь тоненьким деревцем, мимо которого вы пройдете, ничего не заметив.

20

Мертвец тряс головой. Оставь, мол, эту затею.

Слышишь?

Еще бы. Он все понял.

В дрожащем луче фонарика показалась крыса, впившаяся мертвецу в ногу. Стекляшками блеснули два смышленых глаза, скользнул длинный черный хвост — и грызун слился с породившим его мраком.

Труп в круглых очках давно закостенел, жизни в нем не осталось ни на грош. Это крыса, силясь отхватить кусок, заставила его трястись мелкой дрожью с ног до головы.

Он перевел луч на лицо покойника у другой стены, того, который обнимал девушку. И на этом имелись очки — съехали только с носа на рот. Жар покорежил останки, спалил кожу до мяса. Ну здесь и полыхнуло!

Сохранить бы этих мертвецов, а потом устроить выставку дома в какой-нибудь большой галерее, да хоть в том фиолетовом выставочном зале на Хьюз-авеню, который принадлежит богатой племяннице босса, — то-то получилась бы жуткая скульптура, и назвать ее "Четыре смерти" или "Это и есть твой враг?"

Его заячье, перетрусившее сердце забилось ровнее. Ну и месиво вокруг, картину некуда положить. Перри сделал несколько шагов в глубь

подвала, пошарил лучом фонарика в углу. Сотворенная им самолично куча дерьма, присыпанная мусором, рядом старая деревянная статуя, которой Моррисон начисто снес голову, еще дальше труп в синей кофте, около которого наконец свободное пространство. Крысы не теряли времени даром, теперь у мертвеца и вторая щека вырвана до коренных зубов. До чего же поганое место, но выбора у него не было. И покойник вовсе не ухмыляется, скаля зубы, просто ему выели пол-лица чертовски оголодавшие крысы.

У этих парней вроде Босха и Гойи все-таки не все дома.

Жизнь и так полна кошмаров, зачем их еще и живописать? Кто такое повесит у себя на стене? Заснеженные вершины, пастухи и золотые долины — совсем другое дело.

Перри скинул куртку, постелил ее на каменном полу, достал перочинный ножик, легко отколупнул гвозди и извлек картину из позолоченной рамы. Это было нетрудно. Ненужные деревяшки, годные разве что на растопку, отбросил в сторону.

Дело, черт возьми, нехитрое.

К заднику картины, на ощупь жесткому, будто солдатский вещмешок, лет сто назад прилепили ярлычок с инвентарным номером, словно к товару. Глядя на подрамник — четыре обычных деревянных уголка и плашки между ними, — невозможно было поверить, что стоит его перевернуть, и глазам откроется такая красота.

С внешней стороны полотно крепилось к подрамнику сотней старых обойных гвоздиков.

С грехом пополам уместив фонарик на куче строительного мусора, Перри принялся резать полотно. Как ни крепко он придерживал картину, плита под ней ходила ходуном, и пришлось переместиться на пару шагов в сторону. Хотя Перри не спешил, затряслись руки. Уже не в первый раз. В разбомбленном французском городке Фолкемон в конце ноября под моросящим дождиком, когда он впервые прицелился в человека, руки тоже жутко дрожали. А целился он в немецкого солдата в плащ-палатке — немец дернулся и рухнул как подкошенный.

Может, это и не его пуля настигла жертву. Стреляли ведь и другие.

Запомнилось название: Фолкемон.

С порога разбитого магазинчика немец палил в них и что-то орал. Когда они подошли поближе, он уже был мертв. Через него перешагнули и двинулись дальше. Мертвец — он и есть мертвец: рот открыт, из носа кровь. Правда, для Перри было в нем что-то особенное, непривычное. Крысиное личико, под глазами мешки, седая щетина, за сорок, маленького роста. Не похож на солдата вражеской армии. И эта плащ-палатка... она накрыла его с головой, точно саван. Перри стволом винтовки приподнял краешек брезента — посмотреть. Лучше бы он этого не делал. Твой первый убитый — он всегда рядом.

Нож неторопливо прорезал полотно вдоль дощечки подрамника. Руки все еще дрожали, но уже не так сильно. Ему было очень не по себе в этом заваленном хламом подвале с мертвецами и крысами.

Но трофей — вот он.

В воздухе висел густой запах гари: вонь от горелого лака, горелых красок, горелого полотна и позолоты мешалась со смрадом обгоревших человеческих тел и паленых тряпок. Чуть слышно гудел фонарик — не-

понятно, с чего это ему гудеть? — да еще скрипел и шуршал ножик, разрезая толстую ткань. Полоснуть бы по самой кромке картины — в одну сторону, в другую, быстро и ловко, — но как бы не повредить живопись, лучше уж не кромсать по живому, а делать все аккуратно, оставляя по краям запас в пару дюймов. Что куда труднее.

А может, они задохнулись в ядовитом дыму вступивших в реакцию горящих красок, лака и льняного масла и только потом обгорели?

Стоило нажать на нож посильнее, и подрамник начинал трескаться или заминался холст. Дуб, что ли? Или груша, из которой всегда делались палитры. Кто знает? Все вокруг меняется, а палитры по-прежнему вырезают из грушевого дерева. Сам-то он использовал под краски разделочную доску.

Орудовать армейским ножом не слишком удобно, скальпелем было бы куда ловчее. Надо было прихватить что-нибудь в фургоне медслужбы — там был полный набор хирургических инструментов, режь и сшивай хоть сутки напролет. Иногда они так и делали.

Лезвие соскользнуло и зацепило палец. Показалась кровь. Перри сунул палец в рот. Его тень зашевелилась и выросла.

Не хватало еще пятен на картине.

Он попытался было поддеть ржавые обойные гвоздики кончиком ножа — стало рваться полотно, и Перри решил, что лучше не стоит. Тень от собственной руки мешала видеть, но дело двигалось — он сноровисто и бережно пилил ткань рифленой частью лезвия.

В зыбком, пляшущем свете ему жутко ухмылялся мертвый парень.

Ничего, покойник вреда не причинит.

Кто и как его застрелил? Пули вогнали клочки синей ткани между ребер, в сердце и легкие, сам так никогда не попадешь. Две раны. Дырочки аккуратные. И крови совсем немного. Наверное, его здесь, в подвале, и шлепнули. Кто? Да какая разница! Столько мертвецов вокруг, миллионы, наверное. Одним больше, одним меньше — велика важность.

Перри сам понимал: он совершает мелкую пакость. Невеликую перед творящимся вокруг злом... и все же ему было не по себе. Почти эротическое возбуждение прошло. Какая низость, шепотом упрекал он себя. Правда, мир становится все более жестоким, даже в далекой Америке, — идет война на Дальнем Востоке, русские Европой вряд ли ограничатся. Кое-кто уже поговаривает о следующей войне, большой войне между коммунизмом и капитализмом. Дьявол рвется на свободу, и человеку надо быть во всеоружии, как следует подготовиться, иначе сгинешь без следа. А Перри пропадать без следа не хотелось.

Он перепилил последние волокна ткани и извлек проклятущее полотно. Почти невесомое — остались только краски, — оно сохраняло первоначальную форму. Перри нетерпеливо смахнул с тыльной стороны присохшие щепки.

Покрытая лаком картина блестела в луче фонарика — такая уязвимая, беззащитная. Когда свет падал на нее под определенным углом, она серебрилась, переливалась блестками, словно гладкая поверхность океана в штиль — подобную гладь, покрытую легкой рябью и крошечными водоворотами, он видел с палубы военного транспорта. Тоненькие трещинки говорили о почтенном возрасте полотна. В конце концов это всего лишь материал — как железо или резина. Сейчас он ощутил это особенно остро.

Все на свете не более чем материал, подумалось ему.

Картина была прекрасна, он потихоньку привыкал к тому, как она выглядит без рамы, с полосками незакрашенного полотна, слегка отогнутыми назад по периметру. Он постарался аккуратно расправить холст, грунт местами осыпался, кромка красочного слоя оказалась неровной, словно края раны.

Здесь, в двадцати футах под землей, посреди разрушенного городка, ему вспомнился глубокий темный колодец рядом с домом дяди в Вермонте. Мальчишкой он частенько заглядывал в него и видел круг света далеко внизу и крошечное отражение своей головы, казавшееся чем-то вроде метки. Там, в глубине, был другой мир, где, возможно, могли исполниться самые сокровенные желания. *Я на каникулах и иду удить рыбу.*

Глядя на старую картину при свете фонарика, он чувствовал нечто подобное. Это была его живопись. Он стал частью ее истории. Невозможно было даже представить, что картина переживет его, — и, жадно глядя на пейзаж, он погрузился в блаженный покой.

Папа, мама, Лео, Лили, малышка Хенни, бабушка, вы живы, я тоже – мы все еще живы, слава Богу! Но меня здесь нет. Я оптический обман. Я даже не призрак. Я даже не сон ["Traum"]. Каждый день я делаю засечки на бревне. Это бревно длиннее моей жизни.

21

Герр Хоффер внезапно вообразил себя в пассажирском отсеке большого самолета, улетающего прочь от раздираемой войной Европы. Подвал был подходящей формы — вытянутый и со сводчатым потолком (разумеется, он не придавал значения тому, что ровно посередине подвал изгибался), все гремело и вибрировало, совсем как в самолете. Вибрация и шум затихли, но самолет летел дальше. Куда, куда он несет свой драгоценный груз? В прошлое, когда все было хорошо. Было время, когда казалось, что фюрер и есть воплощение юношеских мечтаний герра Хоффера, тот самый герой-художник, которым не стал он. Как неуязвимый Германн, вышел он из дерев к объятым страхом римлянам, как Германн, на чью величественную, обшитую медью статую дивился герр Хоффер еще в одиннадцатом году мальчишкой на экскурсии в Тевтобургский лес. Он рассмеялся про себя, вспоминая, как полез с мальчишками по винтовой лестнице в основании памятника на смотровую площадку, трясти кулаками в сторону границы с римской Францией, дьявольской Францией. Было время Агадирского кризиса[1], Францию ненавидели все и поговаривали о войне. Войны тогда не случилось, но для герра Хоффера все пошло наперекосяк именно тогда, конечно, не когда он залез на памятник, а когда французы вторглись в Марокко. Какой огромной и дерзкой была статуя, стыки пластин, соединенных болтами, казались шрамами, а меч в поднятой руке укрывался в облаках, как у настоящего бога! Как он гордился тем, что родился немцем!

Он снова беззвучно усмехнулся, не сразу заметив, что на него смотрит Хильде Винкель. Отважно улыбнувшись и ей, герр Хоффер оперся

1. Кризис из-за оккупации французами марокканского города Фес в апреле 1911 г.

на стену, сожалея, что нет лишней подушки под спину, положил ногу на ногу и скрестил руки.

Вернер поставил еще одного Мендельсона, с трудом заведя патефон. Это был Гёте — женщина пишет письмо возлюбленному. Поет его. Почему она разлучена со своим народом? Она в изгнании, или ее муж на войне, а она далеко от дома? Последний поцелуй, вот вся ее отрада — один поцелуй, и певица вложила в это страдание всю свою силу. Странная штука — письма. Далекие и в то же время такие близкие. Герр Хоффер ясно представлял себе — женщина пишет, а ее страдающая душа поет.

На слове *Stille*[1] была царапина, как будто герр Штрейхер сделал ее нарочно. Слово повторилось три раза, пока Вернер не переставил иглу. Музыка так же уязвима, как и все остальное. Герру Хофферу нестерпимо хотелось разуться, но он боялся, что, несмотря на тусклый свет, все заметят его штопаные носки. Фрау Хоффер их уже несколько раз штопала. К тому же им, возможно, придется быстро покинуть помещение. Странная штука — бомбы, они срывают с людей обувь. Многих мертвецов находили в одних носках, обувь валялась поблизости. До войны он ни разу не видел трупов, не считая дедушки в гробу в 1908 году, но это было почти понарошку. После налета тела быстро накрывали, а ужасные оторванные части тел собирали добровольцы, за которыми шли люди с метлами и ведрами, так что, когда он ехал на работу, смотреть было особо не на что, если не считать обрушившихся зданий. Странно, что обгоревшие люди не черные, а фиолетовые. И еще странно, что тела никогда не бывают закрыты целиком, всегда торчит то рука, то нога. Страшное зрелище — как будто они хотят сбросить одеяло, встать и вернуться обратно в свои загубленные жизни.

Выжившие рыдали у своих разрушенных домов, издали их плач походил на смех. С другой стороны, когда смеялся Густав Глатц, его смех казался плачем. Он забредал иногда в Музей, бормочущий, фыркающий, хохочущий, и показывал сотрудникам свой покрытый трещинами язык. Передние зубы ему выбили, а остальные так расшатались, что пришлось вставить протезы, которые были ему чуть-чуть великоваты. Он вытаскивал вставные зубы и высовывал язык, который и в самом деле казался покрытым шрамами. Сотрудники пугались, но так как он забредал минимум раз в месяц, к нему привыкли, и их испуг выглядел слегка наигранным. Под правым глазом у него не проходил синяк — это был уже не обычный фингал, а что-то гораздо хуже. Бедный Густав, такая была светлая голова, специалист по барокко. Жаль было его, избитого до полусмерти штурмовиками, и в то же время каждого его появления побаивались. Ни одна картина, ни одна скульптура не могла передать страданий бедного Густава Глатца или материнского горя, не говоря уж о таком ужасе, как быть сваренным заживо, словно креветка, что случалось в убежищах, если взрывался бойлер. Тут и Грюнвальд не помог бы. Теперь ему стало страшно. У Музея очень большой бойлер. До сих пор у "Кайзера Вильгельма" был и свет, и газ, за исключением редких перебоев после налетов. Герр Хоффер даже представить себе не мог, какой это ужас — свариться заживо: карабкаться наверх, подни-

1. Тишина (*нем.*).

мать детей над головой, в то время как кипящая вода поднимается к лодыжкам, коленям...

Он содрогнулся, остальные посмотрели на него с любопытством.

Все в порядке, хотел сказать он, но сглотнул и закрыл глаза. Потом зевнул — зевоту ему сдержать не удалось. Остальные тоже принялись зевать. Такая штука эта зевота. Заразная, как страх.

Страх тоже не может передать ни одна картина.

— Эта тишина невыносима, — произнес Вернер Оберст, который почему-то не зевнул. — Можно подумать, что мы призраки.

— Сонные призраки, — отозвалась Хильде Винкель, прикрывая раненую губу рукой.

— Поставьте еще одну пластинку, — предложила фрау Шенкель.

— Мы не на танцах, — отрезал Вернер. — И пластинок всего пять. Генрих, почему ты принес всего пять штук? Думал, нас завоюют раньше?

Герр Хоффер извинился, и тут Хильде Винкель заплакала. Закрыла лицо руками и зарыдала. Совсем рядом. Он обнял ее за тонкие плечи, ощутив сквозь одежду какую-то неровность, должно быть, бретельки бюстгальтера.

— Спасибо, — сказала она, высморкавшись, — я все думала про котлеты. Сестра простудилась там, на руинах, и умерла в январе.

— Моя сестра любила петь, — ни с того ни с сего произнес Вернер. — Она была на девять лет старше.

— А я говорила, что конец будет печальный, — удовлетворенно заключала фрау Шенкель.

Еще несколько секунд герр Хоффер по-отцовски поглаживал Хильде по спине. В конце концов он и есть глава этой семьи. Уже четыре года, с последнего срыва герра Штрейхера. И не просто глава, а еще и спаситель. Он спас остатки коллекции. Американцы наверняка его наградят.

Тишина становилась все напряженнее, и все же лучше было молчать. Старый брюзга наверху на время задремал. Нет — вот раздался чуть слышный стук, будто камни горстями сыпались в корзину. Выстрелы.

Даже Сабина ничего не знала. Даже этот растреклятый Бендель. Он всех провел.

Герр Хоффер улыбнулся своим мыслям. Между прочим, он проявил редкую изворотливость. Когда приходит время, надо быть готовым. Несколько самых уязвимых картин он убрал еще до того, как по коллекции ураганом прошелся Комитет конфискации дегенеративного искусства. Герр Штрейхер высоко оценил эту превентивную меру борьбы с партийными грабителями.

— Я требую, — сказал он, выбивая трубку в такт словам, — чтобы "Обнаженная" Пуссена спустилась в подвал первая.

— Не статуя Бернини?

— У нас нет никакой статуи Бернини.

— Я пошутил, герр директор. Настало время, когда особенно важно сохранять чувство юмора.

Герр и. о. директора Штрейхер нахмурился и почесал свою всклокоченную седую голову. Он поседел совсем недавно и очень быстро.

— Нет ничего более абсурдного, — ответил герр Штрейхер, — для такого циника, как я, чем наблюдать, как эти кретины-цирюльники пытаются управлять Германией.

Так маленький Пуссен той же ночью спустился во тьму подвала. В последующие несколько лет десятки других картин последовали за ним. Эта, казалось бы, бессистемная камерная операция под руководством герра Хоффера выросла в сложную стратегию, которой он заслуженно гордился.

Когда долг зовет, отлынивать не приходится.

Залог успеха, конечно, был в том, что в течение четырех лет после последнего срыва герра Штрейхера картины убирались постепенно: сначала остатки коллекции, не украденные дегенератами, сократились до символического числа, а потом их в открытую перенесли (скрывать было пока нечего) в небольшую комнатку на первом этаже. Конечно, она была рядом с туалетом и на первом этаже, зато без окон, укрепленная мешками с песком и обшитая стальными пластинами. Их официальное бомбоубежище было оборудовано по всем требованиям властей задолго до войны. "Luftschutzbunker"[1] – гласила красная трафаретная надпись на двери на случай, если кто усомнится.

Но что делают все эти картины в подвале? Какого черта их сюда спустили?

Видите ли, капитан вооруженных сил США Кларк Гейбл, это и есть мой главный маневр, выполненный, кстати, с большим риском для себя. Эти картины я спрятал поглубже. Их тут больше сотни! Мои любимые, а также те, которым особенно угрожала опасность от нацистских недоумков. Вот у меня в кармане инвентарная опись, но в ней перечислены только те работы, которые находятся наверху. И (что самое забавное) она полна ошибок. Я шутливо называю ее моим импрессионистским видением! Гейзенберг, знаете? В общем, самая вопиющая ошибка – это включение в список *Mademoiselle de Guilleroy au Bain*, хотя всем известно, что она висит в штабе СС, в том самом здании, которое используется под склад для жевательной резинки, шоколада и чудесных фруктовых напитков. Так что остальные ошибки списывались, разумеется, на мой очевидный идиотизм. Я всех обвел вокруг пальца.

Спасибо, капитан Гейбл. Но я верю, что искусство обладает наивысшей ценностью. Всем нам пришлось принести свои скромные жертвы...

– Генрих.

– Да, Вернер?

– К чему вдруг такая надменная улыбка?

– Я улыбался?

– Смотреть было противно.

– Ну извини. Я думал о тех бараньих котлетах.

– Свиных, – тихо поправила Хильде. – Ах, если бы она все-таки съела их тогда, прежде чем простудиться.

– Ах, если бы я только пошел через парк и полюбовался, как все цветет, – ответил герр Хоффер. – Там чудесный, ясный денек, если не обращать внимания на дым.

– Генрих, ты случайно не намекаешь на то, что сегодня мы тут все умрем?

– Боже упаси, Вернер. Но все равно жаль, что я не пошел через парк.

Хильде снова заплакала, на этот раз очень тихо.

1. "Бомбоубежище" (*нем.*).

Фрау Шенкель сказала:

— Весь зад отсидела. Не привыкла сидеть на полу.

— Старость, — угрюмо ответил Вернер.

— Сама знаю, что старость. Вставать по утрам становится все тяжелее и тяжелее.

— Думаешь, до нее еще жить да жить, — сказал Вернер, — и вдруг ты уже старик.

— Я считаю, — заявила фрау Шенкель, — что никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Никогда.

— Хотя знаков и предостережений на пути более чем достаточно, — улыбнулся герр Хоффер.

— Вы еще молоды, — заверила фрау Шенкель.

— Вы тоже, — галантно отозвался он.

И покосился на вечного старика Вернера. Тот промолчал.

— Спасибо, герр Хоффер, — произнесла фрау Шенкель, — но внешний вид — это еще не все.

Герр Хоффер слишком устал и изнервничался, чтобы снова повторять разговор, который уже столько раз происходил наверху. Он положил ногу на ногу и скрестил руки на груди. По его подсчетам, фрау Шенкель было под шестьдесят. Когда они впервые познакомились, ей было уже сильно за сорок, впрочем, за фигурой она следила. Хотя и тогда была похожа на тощую цаплю. Если честно, сейчас она напоминала жестокого молодого Медичи с картины Боттичелли из коллекции "Кайзера Фридриха" — эта картина чрезвычайно поразила его в юности, в один из первых приездов в Берлин. Первый портрет, передающий истинную сущность модели, прочитал он, — как взволновала его эта подпись! Он был еще в том возрасте, когда кажется, что истинной сущности ни у кого, кроме тебя, и быть не может. Совсем недавно и так давно. Ах, юность, о ней можно сказать то же самое!

Дымный свет свечи исказил черты секретарши до неправдоподобия. Длинный нос, почти достававший до верхней губы, отбрасывал длинную зыбкую тень, а привычно приподнятая правая бровь делала лицо злым и самодовольным, усугубляя сходство с молодым Медичи.

Иногда он мечтал о молодой привлекательной белозубой секретарше. Вместо фрау Шенкель. До такой степени, что желал ей заболеть и пораньше выйти на пенсию. Прочь из его жизни.

Если бы люди умели читать мысли, жизнь была бы непереносима.

Хильде Винкель высморкалась и, извинившись, вытерла глаза. Никто даже не ответил. Бог создал людей не для того, чтобы мерзнуть в темных сырых подвалах, без еды и воды, пока их дома бомбят фугасами. На самом деле эти внезапные приступы отчаяния были проблеском истинного понимания того, что происходит. Обычно удается сосредоточиться на деталях: как удобнее усесться на каменном полу или видно ли, что у тебя штопаные носки. Однажды герр Хоффер весь налет просидел в бомбоубежище, гадая, почему кофе теряет вкус, если его кипятить в кастрюльке, и в то же время он может быть приготовлен как следует, только если его залить крутым кипятком. То, что настоящего кофе он не нюхал уже два года, вообще не коснулось этих рассуждений, настолько захвативших его, что к ним подключились и обоняние, и вкус. Сабина потом утверждала, что он предавался сексуальным фантазиям, в чем он

не смог ее разубедить, как ни старался. У них над головой ревели пикировщики, совсем как колонна грузовиков, мчащихся по колдобинам, а он все думал и думал про кофе. Все остальные разы его сковывал страх, стоило спуститься в бомбоубежище, хотя шум сверху был гораздо тише. Поэтому он предпочитал оставаться дома в крепости из подушек.

Хильде слезно всхлипнула, и герр Хоффер снова по-отцовски опустил руку ей на плечи. Какой же она была худенькой!

Конечно, Бендель обнимал Сабину точно так же. Но мотивы у него были совсем другие.

Я не могу говорить, как будто у меня нет языка. Но моя голова поет. Совсем как дерево на рассвете весной в глубине Шпреевальда. Один из трех иногда говорит со мной, он говорит какую-то бессмыслицу, иногда рифмованную. Кажется, я понимаю его. Он высовывает язык. Жизнь – это бессмыслица, которая иногда рифмуется.

22

Перри несколько минут глядел на заснеженные вершины и золотую долину. Руки у него перестали трястись. Нездешний мир глубоко проникал в душу — мир чистый и невинный.

Потом принялся скатывать картину — аккуратно и неторопливо.

Скатать картину... оказывается, и такое возможно. В трубочку, словно лист картона. Только не слишком плотно, чтобы краска не начала шелушиться, а то и отваливаться кусками вдоль трещин толщиной с волосок, вокруг пузырей в углу. Сейчас здесь, в подвале, пока он скатывал старую картину Кристиана Фоллердта, ему стало казаться, что его прежняя жизнь обретает некий смысл, что все разрозненные поступки в конце концов сложатся в некое единое целое — и только когда составные части соберутся вместе, станет ясно, что оно означает.

Дома в Вермонте у них был сосед, который из всякой дребедени, собранной по дворам и фермам, из мелкой проволочной сетки и раскрашенного гипса мастерил огромных кукол, и пока краска не ложилась на место, невозможно было догадаться, что получится из кучи никому не нужного хлама. Краска придавала смысл всем предыдущим действиям, как бы стягивала воедино детали — и вот уже кукла-великанша занимает место рядом со своими товарками на поле перед домом. Сосед был никакой не художник — просто сумасшедший, но сейчас Перри осознавал, какой бесформенной грудой мусора может казаться жизнь, пока не нанесен последний мазок.

Он держал в руке толстый рулон грубого холста. Или дерюги. Словно картины и не было вовсе. Ему хотелось плакать, но душа его ликовала.

Мой карандаш почти исписался. [...?] *Рано или поздно наступает момент, когда ты разлучаешься со своей судьбой. Тогда жизнь становится сложной.*

23

Даже Бенделя он провел.

Тот то и дело заскакивал в Музей, но его задабривали допуском в запасники в Luftschutzbunker. Если кто вдруг упоминал про подвалы, герр

Хоффер немедленно заявлял, что там сыро и слишком много крыс. Штурмфюрер СС Бендель направлялся в галерею девятнадцатого века и застревал у Ван Гога.

Когда в конце сорок первого Ван Гога сняли и тоже перенесли в Luftschutzbunker, Бендель попросил показать его.

В Luftschutzbunker герр Хоффер не спускал с него глаз. Он бы с превеликой радостью спустил Ван Гога в подвал, но пока Бендель был в городе, это было рискованно. "Художник в окрестностях Овера" не отпускал его.

— Теперь я понимаю, герр Хоффер.

— Что вы понимаете?

— Главное — это видение художника. Оно превыше чужих жизней, превыше всего.

Герр Хоффер смотрел на картину и чувствовал себя ее хозяином. В Luftschutzbunker был установлен вентилятор, но все равно пахло масляной краской и туалетом.

"Ван Гог предвосхитил экспрессионистов более чем на пятнадцать лет" — вот с чего он начинал, подводя посетителей к этой картине. Теперь герр Хоффер этого не говорил, как не упоминал и про психическое расстройство художника.

— Видение любого великого художника уникально, герр Бендель. Это дар, и художник должен относиться к нему с уважением, так же как к любой поверхности, на которой пишет.

— Удивительно, — ответил Бендель, развернувшись к герру Хоффер у на скрипучих каблуках, — что вы сравниваете видение художника и простой холст.

— Не только холст, — возразил герр Хоффер, слегка задетый его словами. — Это может быть хоть глиняный горшок, хоть газета — что угодно. Хоть старая потрескавшаяся стена.

Бендель по-мальчишески рассмеялся. Как всегда, слишком громко.

— Вы буквалист, — заметил он. — Не уверен, что наш великий художник одобрил бы буквализм.

— В его голове форма и содержание были неразрывно связаны, как, например, в голове древнего китайца. На что мы смотрим — на пшеничное поле на севере Франции или на человеческую душу, отраженную в нервных мазках кисти?

На мгновение штурмфюрер СС Бендель замер.

— Я вижу нечто совсем другое, — сказал наконец он и вышел.

Они никогда не говорили о политике — бродили по храму искусств, будто отгороженные от внешней жизни. Бендель иногда упоминал фюрера, но только чтобы сообщить, как тот относится к какому-нибудь художнику (обычно девятнадцатого века). Про своего начальника, рейхсфюрера СС Гиммлера, он не говорил никогда и в форме появлялся редко. Рассказывал смешные анекдоты про маршала Геринга. Якобы однажды Геринг посетил сталелитейный завод, где забрел под магнит и взлетел в воздух на своих медалях. (Судя по всему, Геринг сам находил подобные анекдоты забавными, что, с одной стороны, слегка успокаивало герра Хоффера, а с другой — портило все удовольствие от анекдота.)

Однажды герр Хоффер назвал его радикальным романтиком.

— Знаете, как Достоевский назвал романтика, герр Хоффер?

— Боюсь, что нет.

— Мудрецом. В "Записках из подполья".

— Ах, да, — ответил герр Хоффер, не читавший Достоевского, — отличная книга, но слишком уж русская.

Бендель опять рассмеялся своим громким, пронзительным смехом. Такой смешок был в моде среди офицеров СС из-за Рейнхарта Гейдриха.

— Как вы правы, герр Хоффер. Действительно слишком русская.

В общем и целом, Клаус Бендель был приятным и интересным молодым человеком, чья подкупающая ребячливость лишь иногда слегка омрачалась каким-нибудь резким заявлением, заставляя герра Хоффера вспоминать собственную юность. Как правило, это было заявление философского толка — какое-нибудь категорическое утверждение, сказанное ни к селу ни к городу, сводившее на нет осторожные попытки вступить с ним в дискуссию. От последних двух тысяч лет цивилизации он отмахивался одной фразой; Бенделя увлекали доисторические времена, в которых он находил "истинную красоту в союзе с природой, инстинктивную правду". Кремниевые орудия и наконечники для стрел из зазубренной китовой кости — вот что он ценил превыше всего. Бендель был представителем СС на многих археологических раскопках, и это перевернуло его отношение к искусству. Он считал, что искусство истинно, только когда оно бессознательно, когда из анонимной простоты рождается костяная стрела — выражение величайших глубин человеческой души. Доисторический охотник не назвал бы это искусством. Искусство — это продукт упадка, болезни, приведшей людей к сидячему городскому образу жизни. Картины — это декадентское искажение главного — многотысячелетней борьбы доисторического человека за объединение практической пользы и утонченной эстетики искусства. Искусство — вечный спутник природы, и наконечник стрелы, и акула соединяют в себе как эстетическое, так и практическое совершенство. Оба прекрасны, ибо совершенны. Мы живем, продолжал Бендель (возбужденно сверкая глазами), в век несовершенства. Мы утратили инстинкт, естественность, принадлежащую нам от природы. Рассудок взял верх, поэтому наши творения неуклюжи и неловки. Посмотрите, как уродливы города! Посмотрите на эту комнату, на этот Музей — сколь нелепыми они покажутся, если взглянуть на них не замутненными цивилизацией глазами! Это наши священные реликвии, наша современная церковь — но не абсурдна ли она, если посмотреть на нее со стороны, как смотрит бессмертный Бог? Не лучше ли горящая в костре страшная маска?

— Лично я, — сказал герр Хоффер в ответ на один из подобных приступов энтузиазма, — предпочел бы горящей маске рисунок Рафаэля.

— Герр Хоффер, вы ничего не поняли. Простите, но иногда вы наивны, как ребенок.

— Я простосердечен, допустим. А знаете ли вы, что Лейбниц, великий подвижник Просвещения, в юности состоял в тайном обществе, которое не гнушалось магии, алхимии и розенкрейцеров? Судя по всему, после Тридцатилетней войны подобным вздором кто только не увлекался.

— К чему вы клоните?

— Сам не знаю.

Повисла пауза. Бендель был в форме — высокий, элегантный, сдержанный. Он резко скрестил руки, и в его безупречной черноте что-то звякнуло и скрипнуло.

– Если вы намекаете, что я не антирационалист, то вспомните, что говорил Лейбниц о примитивной истине факта.

– К сожалению, не помню, герр штурмфюрер.

– Что она – всего лишь сиюминутное внутреннее познание чувства, вызванного происходящим в отдельно взятый момент.

– Правда? Понимаю. Однако если вы утверждаете, что искусство – это всего лишь самолюбование собственными заблуждениями, то голландские натюрмористы опередили вас с этой мыслью на триста лет.

Разумеется, приглашать его домой было ошибкой. Как можно быть таким кретином!

Впрочем, если подумать, то это предложила Сабина. Ей хотелось познакомиться с молодым человеком, о котором герр Хоффер столько рассказывал. Это было в тридцать девятом. В дождливом марте.

– К нам в гости? Исключено.

– На кофе с пирогами. И прекрати метаться по комнате.

– Нет.

– Почему?

– Он из СС.

– Ну и что?

Он молча изобразил, как со стен снимают картины, – никогда не знаешь, вдруг твою квартиру прослушивают. Вошла Элизабет (ей уже семь лет, как быстро они растут!) с маленькой Эрикой и рассмеялась.

– Папа, что ты делаешь?

– Я... я...

Он не знал, что сказать.

Эрика ткнула в него пальцем и подсказала:

– Папа – силач.

– Правильно. Я поднимаю целый дом, малышка. Уфф. А теперь я грузовик. Уфф.

Девочки завизжали от удовольствия. Однажды в Вене герр Хоффер видел настоящего силача в еврейском кафе. Он рассказал об этом девочкам – их рты в изумлении приоткрылись.

– Проказницы, в кухонном буфете есть миндальное печенье. А мы с папой разговариваем.

Девочки убежали.

– Генрих, он тебе нравится.

– Я ему подыгрываю, – ответил он тихо. – Поддерживаю к себе дружелюбное отношение. Это игра. Часть моей работы.

– Вот именно, мой милый. Пусть придет в форме, – заключила Сабина, отметая дальнейшие возражения влажным поцелуем.

И он пришел. В форме. Пахнущий цветочным табаком.

Глаза Сабины сверкали. В Лоэнфельде членство в СС считалось престижным. К тому же Бендель был красив – это любой дурак бы заметил. Он задал Сабине несколько вежливых вопросов и похвалил ее пироги. (Подумать только, шесть лет назад они принимали пироги как должное!) Герру Хофферу, однако, было неспокойно, в его квартире Бендель больше походил на ворона, чем на лакированный столик. Не говоря о том, что он уселся на диван рядом с Сабиной, что было вообще неправильно.

– Вы встречали фюрера, герр Бендель?

– Однажды я провел в его обществе целый день.

— Не может быть!

— В самолете. Мы летели с одного края Германии на другой. За все время герр рейхсканцлер не произнес ни слова.

— А я слышала, что он не умолкает часами.

Герра Хоффера охватил мимолетный страх, но Бендель только улыбнулся.

— Не сомневаюсь, он на это способен. Но согласитесь, о нем часто рассказывают противоречивые вещи. Ожидания редко совпадают с реальностью. Вот вы, фрау Хоффер, совсем не то, что я ожидал.

Сабина покраснела, наверное потому, что они случайно коснулись плечами.

— Хуже или лучше?

— Лучше, гораздо лучше.

— Вы хотите сказать, что составили себе мой портрет по описанию Генриха?

— Ничуть. Просто поддался стереотипу: домохозяйка определенного возраста, замужем за близоруким функционером.

Его игривая улыбка сгладила то, что могло бы показаться оскорблением. Сабина рассмеялась, а герр Хоффер подложил Бенделю еще пирога, скорее с гордостью, чем с обидой.

— Короче говоря, фюрер просто сидел напротив. Ни разу даже не улыбнулся. Вообще не шелохнулся. Не спал, глаза, во всяком случае, были открыты. Не ел, не пил. Никто не курил, разумеется.

— Наверное, вы были разочарованы, — Сабина сделала большие глаза, положив подбородок на руку. — Не в фюрере, разумеется, но вы ведь наверняка мечтали с ним поговорить.

— Нет-нет, фрау Хоффер. Тогда я понял всю его силу. — Голова Бенделя вдруг поползла вверх из коричневого воротника, будто на телескопической шее, глаза заблестели. — Однажды в детстве, фрау Хоффер, я пошел в берлинский зоопарк и долго простоял у клетки со львом. Он лежал, как кошка, положив голову на лапы и прикрыв глаза. Его уши слегка подрагивали, отгоняя мух, в остальном он был неподвижен, как статуя. А я все ждал, когда он пошевелится, потому что был дураком и думал, что сила — в движении. — Он покосился на герра Хоффера и снова повернулся к Сабине. — Настоящая сила в неподвижности, фрау Хоффер. Вы заметили, что я стараюсь не шевелить головой, когда разговариваю? Это придает мне авторитет. Если вертеть головой во время разговора, авторитета не будет. Конечно, мне пришлось воспитывать себя. Фюрер таким родился. Честно говоря, там, в самолете, мне было страшно. Я словно вошел в клетку. А в клетке, знаете ли, последнее, что тебе нужно, это чтобы лев зашевелился. Хотя я сомневаюсь, что фюрер вообще меня заметил. Он перевернул наши жизни и не замечает нас. Мы — продолжения его самого, не более.

— Скорее всего, вы правы, — заметил герр Хоффер. — Точно так же, как все мы — маленькие вертикальные продолжения Германии.

Бендель, расхохотавшись, потянулся за кофе. Сабина тоже захихикала, беззвучно, как совсем молоденькая девочка.

Герр Хоффер решил сменить тему.

— На прошлой неделе у нас с герром штурмфюрером Бенделем был очень интересный разговор, помните?

Бендель рассеянно нахмурился.

— Он считает, что наш восхитительный Якоб Бек, наш Hausandacht, не должен висеть рядом с Иоганном Кристианом Фоллердтом, то есть с Landschaft mit Ruinen.

— Посредственная копия, оригинал в Магдебурге. Это я про Фоллердта.

— Как бы то ни было, если придется воевать, все картины надо будет убрать в убежище.

— Именно об этом мы и спорили, — сказал Бендель. — Мы обсуждали будущее, дорогая фрау Хоффер. Мы с вашим мужем смотрим вперед, не оглядываясь. "Кайзер Вильгельм" засверкает брильянтом в культурном великолепии рейха.

— Герр Бендель считает, что пейзажи и жанровые сценки не должны висеть вместе. Вопрос не в качестве. Ну что ж, пусть мы не всегда во всем согласны, зато у нашего Музея есть посетитель.

— Генрих, пожалуйста, не говори о работе. Очень скучно слушать о том, что не имеет к тебе отношения.

Она со значением улыбнулась Бенделю. Который — чтоб его! — понимающе улыбнулся в ответ! И вот тогда, если герр Хоффер ничего не напутал, Бендель положил руку ей на спину.

— А вы слышали, фрау Хоффер, что мы только что взяли Прагу?

Здесь мое царство. Подданных у меня нет. Тощий очкастый старик принес мне новый карандаш и обнял за плечи. Может быть, я скоро испишу все их карандаши, все карандаши в Германии, в мире.

24

В самом дальнем и темном закоулке подземелья у больших плоских камней Перри опорожнил мочевой пузырь. Эта процедура всегда отнимала у него кучу времени, струя пресекалась и через секунду возобновлялась вновь. Нервы, что ли. Если честно, валявшийся на полу мертвец с выеденными щеками и открытыми глазами внушал ему ужас. Да еще запах — он и сам внес в смрад лепту, — просто кошмар, хотя за войну он уже успел притерпеться к обычному зловонию подвалов: к смешанному запаху оружейной смазки, пота, мокрой штукатурки, вяленого мяса, испражнений в жестянках из-под пайков, коптящих масляных ламп и гнилой картошки.

Этой поганой гнилой картошки!

И еще аромат Голландии (их, еще не обстрелянных, направили в приграничную зону): кипы сохнущих табачных листьев на каждой ферме, как на картинах Де Хоха или Вермеера, если бы не разгром вокруг.

Свет все еще играл на дереве, тканях и стекле в точности как у Де Хоха и Вермеера, настоящий свет вечности, только дерево было расколото, ткани изорваны, стеклянная посуда разбита. Лишь в Голландии и больше нигде, как ему казалось, освещение увековечивает миг бытия.

Может, конечно, он смотрел на Голландию такими глазами только благодаря своим занятиям по истории искусства. Другие-то ничего подобного в Голландии не увидели, ибо ничего не читали, кроме комиксов, "Янки" да "Звезд и полос". Если они их, конечно, читали, а не просто проглядывали картинки. Иногда он чувствовал себя профессором.

Затем их перебросили на юго-запад, в окрашенные кровью бельгийские снега (похоже, в Голландию они вобоще попали по ошибке), что-

бы вместе с остальными дивизиями и с английскими частями двинуться в Северную Германию. Порой он переставал понимать, в какой он стране и в каком времени, во сне происходит дело или наяву.

Возвращаться было еще рано, надо часок-другой выждать, пока все не угомонятся. Не хватало еще, чтобы его задержали как нарушителя дисциплины, любителя дармовой выпивки, яиц, девушек и трофейного барахла, ведь у него в планшете свернутый в трубку залог его будущего. Оказаться в части к рассвету будет в самый раз. Неизвестно, сколько еще они здесь простоят. Может, их передислоцируют завтра, а может, и нет. Даже капитан в разговоре с майором ничего не выяснил. Мембрана у военного телефона в бакалейной лавке, где у части командный пункт, громкая. Когда они доберутся до Берлина, вот где будет пекло. Перри надеялся, что русские не кинутся на них как сибирские волки. Есть ли в Сибири волки?

— Ты знаешь, о чем я, — шептал он сам себе, пока мочился. — А что? Имею право.

Больно уж погано было на душе. А пошепчешься сам с собой — и вроде легче становится.

Интересно, Моррисон успел перекинуться словечком с той женщиной, что выкрикивала чье-то имя, склонившись над дырой в своде? Какое, кстати, это было имя — Герман, Генрих?

У него точно инфекция, все из-за грязного белья. Жжет огнем, когда ссышь. И ворчанием делу не поможешь. Зараза поползет вверх, доберется до пузыря, до почек, может, даже до печени и уморит его. Станут медики обращать внимание на больного с какой-то чепуховой инфекцией. Вот откуда этот постоянный озноб.

Перри подумал о фабрике термометров и галлонах вылившейся ртути, не оставлявшей на земле никакого следа. Прокатиться бы по жизни таким вот шариком жидкого металла, гладким, незапятнанным, ни за что не цепляющимся.

Клочок туалетной бумаги — на что он? Вот разве промокнуть головку члена, чтобы не так щипало. Перри застегнулся и постарался отойти подальше от мертвеца, да и от прочих покойников тоже. Пусть себе лежат за кучами горелого барахла.

Он уже уложил в планшет свернутое в трубку полотно — правда, крышка до конца не закрывалась, и пришлось выкинуть пару замызганных карт, французский разговорник и краткий путеводитель по Парижу и городам Северной Франции. Они ему теперь без надобности. Была когда-то мечта побывать в Париже, подняться на Эйфелеву башню, полюбоваться на стройных красоток в Фоли-Бержер и, может быть, познакомиться с пухлогубой девушкой — ему такие очень нравились.

Придется час или два подождать.

Перри перебросил ремешок планшета через плечо, расчистил себе кусочек пола на изгибе подземелья, постелил рваное одеяло, сел, подумал, не погасить ли фонарик Моррисона, и погасил. Его окутала тревожная тьма.

Демократия на марше.

В потемках.

Я больна. Следовательно, я существую. Следовательно, я реальна, а это опасно.

Внезапно раздался жуткий звон, а потом еще долго звенело в ушах. Стены устояли. Остальные, казалось, не обратили внимания. Бесстрастие души стало в последнее время поводом для гордости, способом выживания. Герр Хоффер втайне радовался, что свечи настолько слабо освещают лица, что молчание не кажется таким мучительным. Как же они все устали. Уже два года никто толком не спал. Ни единой ночи. Даже чтобы добрести из одного мгновения в другое, приходилось прилагать усилия. Нельзя, нельзя думать об этом проклятом Бенделе. Сколько лет от него ни слуху ни духу — может, его уже и на свете нет.

Хильде Винкель перестала рыдать и вытирала глаза платком. Смущенно улыбнувшись, герр Хоффер убрал горячую, вспотевшую ладонь с ее лопаток.

Стены чуть подрагивали. Они как будто в поезде сидят, напротив друг друга. Низкая вибрирующая нота рокочет вокруг. Странное чувство: звуки стали осязаемыми. Судя по нахмуренным лицам, это терзало всех.

Тишину нарушила фрау Шенкель.

— Все-таки я считаю, герр Хоффер, что вам здесь не место.

— Что вы хотите сказать?

— Никак не могу выкинуть это из головы. Не стоило вам покидать семью.

— Разве я их покинул?

— Все-таки сегодня не простой налет. Сегодня наступит конец. Так или иначе. В общем, я не понимаю, почему вы здесь, когда должны быть с женой и детьми. Это ненормально, честное слово. К тому же у кого-то из них скоро день рождения, верно?

Все трое уставились на него. Он недоуменно нахмурился.

— Мой долг. Долг и.о. и.о. директора, фрау Шенкель.

Господи, у Эрики день рождения на следующей неделе! Восемь лет! Она хочет учиться играть на арфе!

— Но в здании Музея ничего нет, — вмешался Вернер. Как будто сговорились. С окровавленным носовым платком на плече он был похож на сумасшедшего официанта. — Это пустая скорлупа. Призрак. Даже герр Лозе не сидит на фабрике термометров.

— Почему тогда вы здесь?

— У нас нет семьи.

— У меня есть, — возразила Хильде.

— В Лоэнфельде — нет.

Герр Хоффер обвел глазами картины, рядами уходившие во тьму. Золоченые рамы старых работ поблескивали в свете свечи. Арфа — очень дорогой и совершенно непрактичный инструмент, особенно учитывая размер их квартиры. Обязательно надо купить Эрике арфу. Когда-нибудь она станет великой арфисткой — это стоит любых жертв.

— Да, — заявила фрау Шенкель, не дожидаясь ответа, — на самом деле картин тут нет, верно?

— Они здесь, — возразил герр Хоффер.

— Их нет в инвентаре, — заметил Вернер, принявший, в виде исключения, сторону фрау Шенкель. Как будто только и ждал этой возможности.

— Ну где-то они точно есть, — невнятно возразил герр Хоффер и внезапно разволновался.

— Только у тебя в голове, — ответил Вернер.

— Все равно я за них отвечаю.

— А что, если бы я укрывал книги так же, как ты картины?

— Ты бы, как и я, перенес их в подвал.

Сердце готово было выскочить из груди.

— Нет. Вывез бы их отсюда безо всякого разрешения, — с угрюмой улыбкой возразил Вернер, складывая руки на груди. Нелегко быть напыщенным ханжой, когда сидишь на каменном полу с окровавленным платком на плече.

— Я считаю, Вернер, что в отсутствие герра Штрейхера и при его полном согласии у меня были все необходимые полномочия.

— Ты уверен?

— Да.

— А правда, что кроме нас об этих картинах никто не знает? — спросила фрау Шенкель.

— Я отправил копию описи в Берлин, вторая копия хранится в нашем банке, — ответил герр Хоффер, пытаясь восстановить свой авторитет и не опуститься до раздражения. Третья копия инвентарной описи — тетрадная страничка разлинованной розоватой бумаги — пыталась прожечь дырку в его кармане. Теперь он, разумеется, жалел, что коньяк остался наверху. Хоть желудок усмирил бы. — Какой подходящий момент для допроса, — добавил он, покосившись на Хильде в надежде на поддержку.

— Этих полотен в твоей описи нет, — сухо заявил Вернер. — Тут почти четверть всего собрания.

— Да, — посмотрел на него герр Хоффер. — И ты отлично знаешь почему.

— Инвентаризация была неполной, — пробубнил Вернер.

— Исключительные времена требуют исключительных мер.

— Я провел полную инвентаризацию библиотеки, перечислил каждый том, и они увезли все, — сказал Вернер, со страдальческим видом почесывая нос, изрезанный мелкими осколками.

— На соляной рудник, — вмешался герр Хоффер, словно это что-то меняло.

— Увезли, — повторил Вернер траурным голосом.

— Так то книги, — сказала вдруг фрау Шенкель.

— И что?

— А мы говорим про картины.

— Это очень хорошо, что книги перевезли на рудник, Вернер, — снова вмешался герр Хоффер, оседлавший любимого конька. — Как вам всем прекрасно известно, минимум раз в месяц я инспектирую хранилище. Условия там идеальные. Четыреста шестьдесят метров под землей, абсолютно сухой воздух — соль впитывает влагу, а грунтовые воды туда попросту не попадают. Книги ничуть не пострадали, даже самые старые, переплетенные в свиную кожу. Я регулярно пролистываю какую-нибудь из них, все страницы совершенно чистые. Здесь, как мы знаем, отнюдь не так сухо. Порой бывает даже сыровато. Что же до крыс...

— Вот именно. Год в подземелье не прошел для картин бесследно. Вон ту раму ведь погрызли.

— Если бы их тоже забрали, они пострадали бы гораздо больше. Можно подумать, вы не видели, как эти болваны из противовоздушной обороны утрамбовывали их в грязные мебельные фургоны!

— И слава Богу, что болваны. Проверь они опись как положено — непременно бы что-нибудь заподозрили. Как тебе такой вариант?

— Никакие они не болваны, — возразила фрау Шенкель. — Эти мальчики всю ночь расчищали развалины сиротского приюта.

— Что ничего не меняет, — не сдавался герр Хоффер. — И ты, Вернер, тоже прекрасно знаешь, что любая инвентаризация — чистейшей воды проформа, поскольку фонды Музея полностью принадлежат рейху. Ты уж прости, но я не понимаю, к чему эти обвинения.

— Это не обвинения, а желание быть в курсе дела. Полагаю, что как главный архивариус и хранитель книг, отвечающий также за историю города, коллекции ископаемых и местные народные промыслы, я имею право знать. Говорить от лица моих погибших коллег, да будет им земля пухом, я не могу.

Герр Хоффер закашлялся. Восемь сотрудников, от смотрителей до практикантов, погибших во время исполнения служебных обязанностей, конечно были упомянуты не без намека на его вину.

— Ты меня ни разу не спросил, Вернер, — возразил он.

— Я предполагал, что ты сам расскажешь.

— Мы обсуждали условия хранения фондов не один раз, на нескольких собраниях. Ты мог поднять этот вопрос тогда или в любое другое время, когда обсуждается "Разное".

— Чтобы ты принялся мне врать? Как сейчас соврал фрау Шенкель.

— "Врать" — это слишком сильно сказано, — вмешалась она. — Герр Оберст, честное слово, сейчас не время...

— Помолчите, фрау Шенкель.

— С какой это стати?

— Послушайте! — воскликнул герр Хоффер, воздев руки, — мы поступили наилучшим, наиразумнейшим образом, и все ради одной священной цели: ради сохранения в безопасности той коллекции, за которую все мы так или иначе несем ответственность. За последние семь-восемь лет она и без того заметно пострадала по не зависящим от нас обстоятельствам. Считайте это неофициальное подвальное хранилище тыловой операцией по охране работ из группы особого риска, проводимой исключительно в интересах будущего Лоэнфельде, ведь когда-нибудь этот кошмар закончится.

— Какой кошмар? — нахмурилась Хильде Винкель.

В тусклом желтом свете герр Хоффер ощутил, как все посмотрели на него. Раненая рука болела. Лицо саднило.

— Война, — коротко отрезал он.

— Неужели сырые подвалы с крысами лучше соляного рудника глубиной в четыреста шестьдесят метров? — хмыкнул Вернер.

— Мы не могли быть уверены, что туда доедут все картины.

— А как же книги?

— Не думаю, что они в такой же опасности.

— Генрих, фюрер собирает книги, — произнес Вернер, снял свои очки-полумесяцы и прикусил дужки. Когда он заговорил снова, то выпус-

тил их изо рта, и очки задрожали. — Тысячами. Для Линца. Десятками тысяч. Он запланировал там величайшую библиотеку в мире.

— И вы бы не обрадовались такой чести, герр Оберст? — поинтересовалась Хильде Винкель.

Герр Хоффер с облегчением почувствовал, что обстановка разрядилась.

— Какой чести?

— Включению некоторых наших томов в библиотеку фюрера.

— Библиотекарь печется обо всех своих книгах без исключения, фрейлейн Винкель, — ответил Вернер. — И в нашей библиотеке абонемента нет.

Хильде изумленно уставилась на архивариуса. Герр Хоффер представил, как фюрер заполняет библиотечную карточку, и нашел эту картину скорее сюрреалистической, чем возмутительной.

— Все дело в том, — продолжал Вернер, поблескивая очками у рта, как сигнальными лампами, — что ты начал снимать картины еще до войны. Под предлогом переноса их в бомбоубежище.

— Да, некоторые работы, относящиеся к группе особого риска, я убрал еще тогда. Мы с герром Штрейхером начали с отдельных полотен, но я разработал...

— Дегенератов попрятали? — перебила Хильде Винкель.

— Пауль Бюрк совсем не дегенерат, — возразила фрау Шенкель. — У него всегда понятно, что нарисовано. Слышно, как листья шуршат.

— Тут есть картина Бюрка?

— Да, фрейлейн Винкель, я убрал ее прежде всего ради фрау Шенкель, — объяснил герр Хоффер. — Равно как и несколько модернистских работ. Чего тут только нет...

— Вот уж не знала, что это ради меня, — просияла фрау Шенкель.

Хильде приготовилась что-то сказать.

— А как насчет Тенирса? — поинтересовался Вернер, сверля его глазами, очки посверкивали, словно отражаясь в зеркале.

— Тенирса? — повторил герр Хоффер, бледнея.

— Это который в кабинете штурмбаннфюрера, — припомнила фрау Шенкель.

— Нет, там Натье, — возразил Вернер, не сводя глаз с герра Хоффера, — Жан-Марк Натье "Мадмуазель де Гийруа, плещущаяся в ванне". А я говорю про Тенирса. Давид Тенирс Младший "Венера купающаяся".

— Вечно вы блох ловите, герр Оберст!

— Блоха блохе рознь, фрау Шенкель, — улыбнулся Вернер. — У этих блох разный стиль, разная национальность, жили они в разное время. Общего между ними только любовь к купающимся женщинам. Одна в ванной, другая в пруду. Одна богиня, другая — французская фрейлина со стройными ножками. Жан-Марк Натье был увезен штурмбаннфюрером, так сказать, в открытую, и когда-нибудь он к нам вернется. Я же говорю о Давиде Тенирсе, Давиде Тенирсе Младшем. О его обнаженной.

— Что так, что эдак, мне все равно, — фыркнула фрау Шенкель.

— "Венера купающаяся", — с драматическим вздохом продолжал Вернер. — Датирована тысяча шестьсот пятьдесят третьим годом нашей эры, второй период его творчества. Характерные для Тенирса непропорциональные руки. Ему привычнее были подвыпившие фламанд-

ские крестьянки. Венера нагая, на ней только ювелирные украшения. Приобретена Музеем в тысяча девятьсот шестом году. Ты знаешь, Генрих, о чем я говорю. В коллекции всего один Тенирс. Бесценный для будущих поколений любителей искусства в Лоэнфельде и далеко за его пределами. Что сталось с нашим Тенирсом, Генрих?

И у герра Хоффера, вот уже несколько месяцев бессонными ночами репетировавшего этот разговор, пересохло во рту так, что он не смог произнести ни единого слова.

Папа, мама, Лео, Лили, малыш Хенни, бабушка. Я жива, вы живы, мы все живы, слава Богу! Или мы все мертвы? Мне нечего сказать. Что тут скажешь? Ничто – это ничто – это ничто. Огромная потолочная балка уходит в темноту, и мне не видно, где она заканчивается. Вот бы сюда какую-нибудь из моих старых кукол. Например, Эмили.

26

Перри старался привыкнуть к темноте. Темнота — это безопасность. Из нее Бог сотворил первый день. Вначале была тьма, потом Слово.

Он сунул руку в левый карман, выудил из пачки сигарету, сделал пару затяжек и, прикрывая огонек рукой, прикурил от первой сигареты вторую.

Когда разворачивал конфету, шорох целлофана, казалось, наполнил весь подвал. Что-то в этом звуке слышалось фальшивое. Он чем-то напомнил ему Арденны. Новые штаны непривычно обтягивали ляжки.

Перри был уверен, что стоит включить фонарик, как сверху его кто-нибудь непременно заметит. Когда в городе нет ни электричества, ни газа, любой проблеск привлекает внимание. А если его засекут в подвале в компании с мертвецами, обязательно заподозрят, что дело нечисто.

Он старался поменьше думать о покойниках и изголодавшихся крысах.

Гаммельнский Крысолов.

Ребенком, много лет назад, он часто думал о хромом мальчике, который не мог ходить и бессильно наблюдал, как земля заглатывает его товарищей в том месте, куда детей, точно крыс, привел Крысолов. Тогда он не понимал, что каждый, кто читал эту сказку, представлял себя на месте калеки, ведь все остальные дети пропали без вести, и никому не хочется исчезнуть без следа, будто тебя никогда и не было. И Фрейд тут ни при чем, просто никто не может вообразить себя несуществующим, частичкой небытия, вечного мрака — вроде того, что вокруг. Только вечный мрак безмолвен, а во тьме подвала постоянно слышались какие-то звуки.

Из угла, где лежал покойник в синей кофте, доносился чуть слышный скрежет. Вжик-вжик. Зубы о кость. Смышленый злобный карлик утоляет голод.

На черном холсте окружающего мрака воображение принялось рисовать картинки: отвратительные, душераздирающие образы войны, лица мертвецов, кучи дерьма, падающие тела, влажные смердящие внутренности — все самое мерзкое, из чего состоит каждый человек, даже младенец. Перед глазами замелькали языки пламени, разбитая техника, растерзанные повозки и дохлые лошади. Бесконечное множество дохлых лошадей. И еще хохочущие люди, поваленные деревья, скованные

льдом реки, похожие на ту, через которую переплывал Данте и которую Перри заставляли рисовать на уроках живописи красной и черной акварелью: *возьми бумагу, Нил, используй свет и сильные контрасты, тайна искусства – в экономии средств, минимум усилий ради максимального эффекта.* И смеющийся Моррисон, который с самой Англии всегда был рядом, черт бы его подрал. И отказывающийся от помощи эсэсовец, истекающий кровью в дзоте под Дорстеном, с оторванными ногами, посылающий всех доброхотов на языке Гейне куда подальше, над которым и смеялся Моррисон – до того раненый смахивал на куклу-перчатку.

Перри было не по себе. В темноте притаилось зло. Он загрустил. Наваливалась усталость.

Моррисон?

Ты устал, Морри?

Еще бы. Мне сильно досталось. Сильно досталось, Нил. Сигареты не найдется?

Сегодня тот, что с большими усами, принес мне зеркало. Но мне нельзя его оставить. Это зеркало – чудесное озеро Кёнигсзее, оно отражает меня с ног до головы.

27

– Тенирс, – сглотнув, ответил герр Хоффер, – на соляном руднике.

– Неправда, к тому времени его в Музее уже не было.

Фрау Шенкель неодобрительно покачала головой.

– Герр Оберст, неужели здесь и сейчас подходящее время и место для подобных разговоров?

С потолка посыпалось крошево штукатурки. Огонек свечи втянулся в тающий воск и вдруг выпрыгнул обратно, превратив очки Вернера Оберста в две сияющие фары. Они будто приближались из темноты, и герр Хоффер смотрел на них зачарованно, как кролик. Вдалеке громыхнуло.

– Вчера утром я ходил к герру крайсляйтеру Фесту в его скромную приемную, – сказал Вернер. – Пытался вернуть в Музей уникальную карту города тысяча семьсот первого года, которую, как вы помните, два года назад позаимствовал из архива некий партийный чин.

– Успешно?

– Это, Генрих, сейчас не имеет значения. Там царил полнейший беспорядок, а Фест сидел в самом центре, как тыква на грядке. Все упаковано по коробкам, кроме телефона. Смешно. Они всё знали задолго до нас. На мне была планка за ранение, так Фест принялся расспрашивать, за что награду выдали. Как будто я уклонист какой-нибудь.

Вернер приподнял правую руку, слушавшуюся его с трудом.

– На Сомме раздробило пулей локтевой сустав, – объяснил он. – Порвало нервы. Ноет не переставая. Вся моя раздражительность из-за этого.

– А-а, – ответила фрау Шенкель, – тогда конечно.

– Вскоре этот фигляр отошел поздороваться с какой-то женщиной в мехах. Короче говоря, кругом коробки, люди снуют туда-сюда, и вдруг за дверью в дальнем конце комнаты я заметил нечто удивительное. Розовую человеческую плоть.

– Меня уже ничем не удивишь, – вздохнула фрау Шенкель. – В наше время не угадаешь, что ждет тебя за углом.

— Я подошел поближе, — продолжал Вернер, — и заглянул внутрь. Там оказался личный кабинет крайсляйтера, пока еще не разобранный. Тут я и увидел Венеру — нарисованная плоть принадлежала ей. Вы, наверное, догадались, чьей кисти. Она висела над камином. Я был потрясен! Мне-то казалось, что "Венера купающаяся" здесь, у нас в хранилище. И тут этот фигляр вернулся. Должен признаться, я не знал, что и думать. "Да-да, прекрасная картина! — заявил он, проводя меня в кабинет. — Полюбуйтесь, какая задница! Сразу видно работу гения. Умели тогда баб рисовать, ничего не скажешь".

Фрау Шенкель захихикала:

— Вас от него прямо не отличишь, герр Оберст!

Еще ни разу за двадцать лет она не была к нему столь милостива, подумал герр Хоффер. Теперь я точно влип.

— Однако, мой дорогой Оберст, сия чудесная картина, как и вся ваша коллекция, принадлежит рейху! Вы ведь это прекрасно знаете. В общем, эту пташку мне даже экспроприировать не пришлось. Это подарок.

— Неужели, крайсляйтер Фест?

— И нечего так дрожать, Оберст! Сегодня же эта пташка будет в безопасности в моем багажнике, под моей личной защитой!

Глаза у Вернера едва не вылезли на лоб. Несмотря на отчаянную худобу, он сделался точной копией крайсляйтера Феста.

— Потрясающе, — с улыбкой закивала фрау Шенкель.

Хильде хмурилась.

— И кем же был наш дорогой крайсляйтер Фест до войны? — взвыл Вернер, снова сделавшись самим собой. — Зеленщиком в белом халате. В Эбсторфе.

— У меня зять был станционным смотрителем в Эбсторфе, — сказала фрау Шенкель. — Железные дороги — это у нас семейное.

— Давайте поставим пластинку? — пробормотал герр Хоффер. — Оффенбаха. "Orphée aux enfers"[1].

— Крайсляйтер Фест тесно сотрудничает с гестапо, — сказала Хильде. — С крайсляйтером Фестом шутки плохи.

— А моя сестра, между прочим, терпеть не могла паровозов, — продолжала фрау Шенкель. — Однажды, ей лет пять было, стояла на платформе, вдруг ух! — все кругом в дыму и пару.

— Генрих! — вскрикнул Вернер Оберст своим довольно высоким, пронзительным голосом. — Зачем ты это сделал?

Бомбардировка приутихла. Мысленным взором они почти что видели артиллеристов, в таком же удивлении, как и они сами, замерших возле своих орудий. На мгновение герр Хоффер закрыл глаза. Всю жизнь ничто и никогда не сходило ему с рук. Бог все видел и принимал меры.

— А что он сделал? — не поняла фрау Шенкель.

— Ты ей скажи, Генрих, ты ей скажи, — произнес Вернер тоном, который в других обстоятельствах и у другого человека можно было бы назвать грустным.

— Он грозился меня убить, — прошептал герр Хоффер.

— Не совсем. Отправить на русский фронт.

1. "Орфей в аду" (*франц.*).

— Вот именно.

Борясь с подступающей тошнотой, герр Хоффер сглотнул слюну.

— Я не мог оставить Музей, — произнес он, не открывая глаз. — Я был необходим здесь.

— Для чего?

— Это случилось в январе прошлого года, до приказа об эвакуации.

— И что?

— Дай договорить, — ответил он и попытался пройтись с матерью по лугу, усыпанному цветами, но смог увидеть только Сабину с Бенделем. Державшихся за руки. Герр Хоффер сделал очень глубокий вдох, который, впрочем, до легких почти не дошел. — Стояли чудовищные холода. Помните, какая была ужасная зима в прошлом году? Фест меня вызвал, и я, разумеется, перенервничал. Наверное, вы все согласитесь, что он не самая приятная личность. В общем, он сразу перешел к делу. По его словам, большевики готовились освободить Ленинград, и там не хватало зрелых, умных людей. Я немедленно сказал, что мое пребывание в Лоэнфельде — вопрос жизненной важности. "Для кого?" — спросил он; и тут я допустил ошибку. Я ответил, что это важно для "Кайзера Вильгельма". "Ага, — сказал он, — но не так уж важно для рейха".

— Вы его не убедили, — заключила фрау Шенкель.

— Если бы я сразу сказал, что это важно для рейха...

— Мы все поняли, — тихо произнес Вернер. — Ты ошибся.

— А он продолжает: "Вы что предпочитаете, герр Хоффер, Ленинград или Дахау?" Дахау — это, конечно, уж слишком. Пустые угрозы. За что меня в Дахау? Что я такого сделал?

Вернер хмыкнул. Остальные отвели глаза.

Герр Хоффер снова зажмурился. Все равно что рассказывать непоседам дочерям о картинах и античных мифах. У него не очень получалось, он не умел говорить на разные голоса. Да и Музей им нравился только потому, что в нем можно было носиться по залам, галдеть и раздражать Вернера.

— Ну? Генрих, мы все внимание.

— Простите. На стенах в его кабинете висели только фотографии скаковых лошадей и несколько открыток с сельскими видами окрестностей Ганновера. И календарь "Сименса". Ты сам видел. Ну и портрет фюрера, разумеется.

Никто не ответил. Златые стебли ив. И мандолина. О ветер западный, как тяжка моя зависть ко влаге твоих крыл!

— Генрих?

— Я ответил, что, являясь и. о. и. о. директора, обязан присутствовать, когда настанет момент переводить фонды Музея на соляной рудник. Тогда он обошел письменный стол и уселся на него с моей стороны, покачивая начищенным сапогом. Сапоги — единственное, что не вызывает в нем отвращения.

— По-моему, Генрих, это мы уже уяснили.

— Я вообще не понимаю, как стол под ним не сломался. Помните, какой он толстый? Я сидел на стуле в центре комнаты, далеко от стола. Было очень тихо.

Герр Хоффер открыл глаза и тут же снова зажмурился — Вернер смотрел на него не моргая. Ему представился бесконечно простирающийся

вдаль сверкающий паркет и уставившийся на него толстый крайсляйтер в шутовских подтяжках и запах пота с одеколоном. Снова он почувствовал себя одиноким маленьким человечком, одним на пустом паркете.

— И что? Генрих!

— Я знал, что он скажет. Нашего крайсляйтера все знают. Он сказал, что мы можем договориться.

— А-а. Ну-ну.

— Я сделал вид, что не понимаю. Он разозлился.

— Мне кажется, вы предпочитаете Ленинград, герр Хоффер. Кажется, вам жарко!

Это показалось всем смешным; герр Хоффер тоже выдавил вялую улыбку.

— Да, если бы только над этим можно было посмеяться. Отправив меня на русский фронт, он бы наложил лапу на всю коллекцию.

— Следовало донести на него начальству. Это уголовное преступление. Ортсгруппенфюрер в Баварии, не помню, где в точности, в общем, его взяли. За растрату.

— А моя семья? — уязвленно спросил герр Хоффер. — Не забывай о политике Партии. Пожалуйста, Вернер, подумай, что стало бы с моей семьей.

— И ты ее отдал.

— Можно и так сказать. Впрочем, именно этого ты и добиваешься.

— И это еще мягко сказано, Генрих.

— Вернер, дай мне хотя бы договорить! Спасибо. Фест пришел в Музей на следующий день. Как всегда навеселе. Настоял на посещении Luftschutzbunker. Мы пошли туда вместе. Он выразил недовольство запахом из туалета. Мы дошли до Тенирсовой "Венеры" и "Клеопатры" фон Бона, и он распустил слюни. Сделал несколько пошлейших замечаний. Я едва не бросился на колени, умоляя, чтобы он не забирал обеих, и, поскольку Фест был пьян, он обнял меня за плечи и великодушно согласился забрать одну. К сожалению, он выбрал не фон Бона.

— Значит, вкус у него все-таки есть, — заключил Вернер. — Как сказал Макс Фридландер: "Художник любит природу, а не искусство. Искусство больше всего любят дилетанты".

— Не понимаю, к чему ты это, Вернер.

Вернер ухмыльнулся. Очередная его шуточка.

— Через две недели я принес Тенирса к нему. К тому времени картина уже была в бомбоубежище, оттуда ее несложно вынести.

— А нам сказал, что спустил ее в подвал.

— Я сделал это ради Музея, — не слишком уверенно ответил герр Хоффер.

— Оставь, — отмахнулся Вернер. — Ты просто спасал свою шкуру. Кстати, по словам нашего толстяка, все было по-другому. Он утверждает, что ты первый предложил сделку.

Герр Хоффер кивнул, не сводя глаз с квадратов камня в потолке и стараясь не кривиться от воспоминаний.

— Но только после того, как мне стало ясно, чего он хочет, пусть даже он и не сказал в открытую. В наше время изворотливость — важнейший навык.

Фрау Шенкель вздернула голову и вперила в герра Хоффера тяжелый взгляд.

— Герр Хоффер, вы хотите сказать, что, желая избежать призыва, подкупили крайсляйтера картиной из музейного фонда?

— Это слишком сильно сказано, фрау Шенкель...

— И сделали меня невольным соучастником?

— О чем вы? Не понимаю.

— А кто, по-вашему, печатал фальшивую опись, герр Хоффер?

— Фрау Шенкель, — вмешался Вернер, — никому нет дела до вашей описи.

— А мне есть!

— Послушайте, — раздался приятный молодой голос Хильде Винкель, — почему мы все время должны ссориться? Варвары у ворот!

— А, вот он — ваш драгоценный реализм, моя дорогая фрейлейн Винкель! — вскричал Вернер Оберст.

— Не реализм, а натурализм. Я предпочитаю термин "натурализм".

— Какая разница? Мне казалось, они взаимозаменяемы.

— До определенного предела, герр Оберст.

— Что ж, может быть, если смотреть с философской точки зрения.

— Приведу пример. Это ляжет в основу моего диплома. Разница, а точнее, различие, — продолжала Хильде, кипя безвредной, хоть и немного агрессивной юношеской энергией, — очевидна при сравнении ранней и поздней древнегреческой скульптуры. В том, как поздняя скульптура путем подражательного натурализма отдаляется от более древних норм идеализма. Особенно интересно влияние обоих периодов на наших современных мастеров, например Брекера, Торака, Альбикера. Видите ли, я убеждена, что в своем творчестве они новаторски сочетают оба периода. К примеру: изображая напряжение, усилие вздувшимися венами, не опускаясь при этом до декадентства подражательного натурализма.

Она часто моргала, словно ей швырнули в лицо горсть песка. Это был истинный интеллектуальный азарт.

— Как это печально, — вздохнула фрау Шенкель.

— И как они этого добиваются? — продолжала Хильде, хотя никто ее не слушал. — Всегда памятуя об идеале сверхчеловека, к которому, следуя заветам Платона, должна стремиться скульптура!

— Мы живем в невеселые времена, фрау Шенкель, — согласился Вернер.

— По крайней мере, я спас "Клеопатру" фон Бона, — сказал герр Хоффер. — Как только Фест ушел, я спустил ее сюда, на случай, если он передумает и вернется. Признаться, не знаю, что бы я ему сказал.

— Да, хоть это ты сделал, Генрих, — медленно закивал Вернер, поджав ногу и обхватив колено костлявыми руками. — По крайней мере, у нас есть "Клеопатра" фон Бона.

Может быть, это вы тянете за веревку.

28

— Генрих? Генрих?

Моррисон говорил с ним. Голос стал высоким, потому что он умер. Призраки не разговаривают басом. Ты вернулся в детство.

Багровые отблески пламени дрожали на сводах. Перри всего трясло, но пламя трепетало само по себе, озноб тут был ни при чем. Ад не разверзся перед ним, ему явился ангел в облике женщины, не Моррисон. Или это все-таки демон, исчадие дремучих германских лесов, о которых ему рассказывали в Англии? Лесов, давших Гитлеру его сатанинскую мощь?

Перри попытался стряхнуть усталость и дрожь, словно они существовали сами по себе, отогнать от себя страх. Ведь большинство людей умирает не от пули, а от болезни.

Сигарета прилипла к губе. Он забыл ее зажечь? Или в подвале так мало воздуха, что сигарета потухла?

Женщина с лампой склонилась над четырьмя трупами у пролома. Когда она громко запричитала, Перри стоило большого труда не подойти к ней. Она убивалась по одному из покойников. Одного из них звали Генрих. Наверное, тот, на котором все еще были гиммлеровские очки, ведь она на него глядела. Да пропади все пропадом!

Это ведь он прижимал к себе крест, вспомнил Перри. Черт с ней. От сгоревшей картины осталась одна крестовина. Как скрещенные ключи или знак чумы на дверях в давние времена, вот хоть в старом Лондоне. Нет, меня там не было. И нечего пятиться. Это все крысы.

Перри похлопал себя по нагрудному карману, где лежали деревянные таблички, и вспомнил: надо попробовать спросить у нее, что значит Waldesraus. Это слово излечит его. Некоторые слова подобны хорошему лекарству, их можно жевать, как сладкий, хорошо пропеченный хлеб с целебными травами. Он ведь на четверть индеец, это кровь апачей играет в нем, кровь бабки, передавшей ему чуть раскосые глаза и смуглую кожу. Перри с усилием стряхнул с себя оцепенение. Женщина дрожала всем телом, и лампа — похоже, керосиновая — дрожала вместе с ней. В подвале ветра нет, подумал он. А наверху есть? Он не мог вспомнить.

Возможно.

Перри пожал плечами. Полагаю, подумал он, если она вконец ослабеет от горя, керосиновая лампа упадет, разобьется и мы поджаримся, став еще одной парой трупов, которую и в расчет-то никто не примет — уж больно много мертвых в этом мировом конфликте.

Именно поэтому надо заставить себя подняться и подойти к ней до того, как она выронит лампу, как поганую фосфорную зажигалку. Собравшись с силами, Перри встал и заковылял к ней. Она увидела его и закричала, и он подумал, что сейчас она все-таки уронит эту сраную лампу.

Перри подошел поближе, и женщина уставилась на него, широко раскрыв глаза и прижав руку ко рту.

Молчала. Лицо грязное, в синяках.

Он забрал у нее лампу и, пошарив у себя в кармане, наткнулся на последнюю конфету из тех, что дал ему Моррисон. Забудь, Моррисон мертв, ему больше никогда не выиграть в безик. Это была не какая-нибудь помадка, а полноценный чистый леденец со вкусом клубники. Ну, почти клубники.

Женщина взяла конфету, развернула, положила в рот дрожащей рукой — все ее тело дрожало, — и тут произошло нечто невообразимое. Перри стоял перед ней с лампой в руке, чувствуя себя совсем слабым и больным, а она неожиданно положила руки ему на грудь, точнее на грязный мундир, и уткнулась в него головой почти у самого ворота. Перри

погладил ее по спутанным прекрасным волосам. Если бы не ее тихие всхлипывания, могло показаться, что она слушает биение его сердца. Ее волосы мягко касались его подбородка, губ, носа, глаз и источали аромат не весны, но осени, дымный, сырой и горьковатый запах подгнившей падалицы, устилавшей землю в садах Нормандии. Это было восхитительно.

Он даже взял прядь в рот и чуть-чуть пожевал.

Мальчишками они верили, что, если съесть девчачий волос, его обладательница воспылает к тебе страстью. Один умник по имени Ларри Спинкс как-то дал ему красивый светлый волос — он чуть не подавился, пока глотал его, — а потом заявил, и хохочущие приятели это подтвердили, что волос срезали с мертвой головы Софи Макконнел, которую на прошлой неделе задавила машина, и теперь она явится к нему ночью прямо в спальню с горящими глазами и изуродованным в аварии лицом.

Он два года не мог спать без света. Наверное, поэтому он был такой рохля с девчонками, пока не повстречал теплую, нежную Морин.

Живые головы источают тепло.

Что-то сверкнуло совсем близко — это свет отразился в очках мертвеца. Мертвец не шевелился. Это лампа раскачивалась у Перри в руке.

Он осторожно поставил лампу на пол и прижал женщину к себе — будто без нее ему было не устоять на ногах. Крепко обнял, словно боясь, что вернется озноб. Слишком много в нем всего накопилось.

Если бы ты целовала меня перед сном, как обычно, было бы легче. Когда-нибудь поцелуи будут значить для меня что-то другое. Тридцать шесть пуговиц. Я целую все по очереди. Одну за другой, за [*третьей*].

29

Герр Хоффер прекрасно понимал, почему Вернер злится, почему затаился в ожидании подходящего момента, чтобы побольнее его уязвить.

Господи, все из-за того аукциона в Мюнхене в начале войны! Там Вернер Оберст чуть не заполучил второе издание "Teatrium Pictorium" в отличном состоянии; согласно одной версии, Тенирсова "Венера купающаяся", датированная 1653 годом, была копией кисти неизвестного итальянского художника из коллекции эрцгерцога Вильгельма. Вне всякого сомнения одна из гравюр в книге была сделана с (другого) Тенирса. Бедняга Густав Глатц написал об этом в 1931 году статью, переведенную позже парижской "Газетт де боз'ар"; это невероятное открытие принесло ему гонорар, которого хватило на обед вдвоем в самой дрянной забегаловке Лоэнфельде (без пива). По крайней мере так он утверждал.

Вернера переиграл Фридрих Вольфхардт, ответственный за комплектацию библиотеки фюрера в Линце. Вольфхардт в тот день скупил практически все — в основном первые издания XVII и XVIII веков.

Вернер был в бешенстве, что неудивительно, учитывая возможную связь книги с их собственным Тенирсом, а также то, что, будучи частью конфискованной личной библиотеки Натана Гутеймера, она предлагалась по сравнительно низкой цене. Он поклялся, что если этот Вольфхардт, этот дьявол во плоти, попытается во имя Линца разграбить его безупречную коллекцию книг и рукописей, то он, Вернер Оберст, глав-

ный архивариус и хранитель книг, вооружится пистолетом и будет защищать библиотеку до последней капли крови. Об этом он не преминул известить и. о. директора и его заместителя, напомнив, что на предыдущей войне считался отличным стрелком. По его словам, пули неизменно летели именно туда, куда целился, даже если он не целился. И. о. директора с помощником его план не отвергли, но и не одобрили.

Это произошло задолго до прошлой осени, когда Вернера мобилизовали в фольксштурм, тем самым, по его мнению, лишив права сопротивляться. К счастью для всех, жадно рыскавший по рейху Вольфхардт так и не заехал в Лоэнфельде. Вернеру нравилось воображать, будто он знает, в чем дело, что было, конечно, полнейшей ерундой. Им повезло, вот и все. Рейх большой.

В общем, герр Хоффер понимал, почему Тенирс значил для Вернера так много, почему архивариус впал в такую ярость. Других причин быть не могло; так или иначе у них "конфисковали" как минимум половину коллекции, что же до Жан-Марка Натье, то штурмбаннфюрер попросту снял его со стены — это уж никак не назовешь "займом"! Пышная Венера Давида Тенирса Младшего — всего лишь еще одна капля в море. Всего лишь картина! Не человек! Не человека же он убил!

Кстати, достаточно вспомнить гейдельбергские беспутства — многие его товарищи-школяры были уверены, что после такой чудовищной войны и при таком количестве социальных проблем картины писать вообще невозможно. А если уж писать, то писать на стенах или пивных кружках — лишь бы ничего не досталось торговцам искусством и богатым евреям-коллекционерам. Тогда герр Хоффер посмеивался, но сейчас был готов с ними согласиться. Лучше бы искусство исчезло, да хоть на сто лет, зато тогда не пришлось бы терпеть обласканных партийных бездарей вроде Зиглера, Трооста или Градля. Ему захотелось так и сказать, но он, конечно, не решился. Понятно, отчего Вернер его презирает.

Вернера ему было жаль — ответного презрения он не испытывал. У того не было ни жены, ни семьи; его окружали лишь книги, кости ископаемых да война. Теперь и книг его лишили — свезли на соляной рудник; больше он не может подержать их в руках. А у него, герра Хоффера, есть жена, чудесная, любящая жена, и две прелестные дочки.

Внезапно внутри все сжалось. Почему он не с ними? Что толку во всех этих картинах (кстати, он первый признавал, что большая их часть не такие уж шедевры) по сравнению с Сабиной, Эрикой и Элизабет?

Промелькнула шальная мысль о том, что они, быть может, уже мертвы.

Нет, это невозможно.

Господи, я отдам тебе все эти картины, только пощади мою жену и дочек.

Опять взятка. Опять сделка. Вот уже много лет — сделка за сделкой. Он спас как минимум тридцать современных работ, и все равно самые любимые — Кандинский, Шмидт-Ротлуф, фотоколлаж Хаусманна — просочились у него между пальцами. Но Винсента он спас. Спас Ван Гога. Кроме него никто не знал, где он спрятан. Даже герр Штрейхер. Даже всезнайка Вернер Оберст, который все-таки знал не все на свете.

Герр Хоффер все сделал сам.

За это надо сказать спасибо штурмфюреру СС Бенделю. Если бы Бендель не демонстрировал нездоровый интерес к картине, герр Хоф-

фер не решился бы на такие меры. Ван Гог — его главная победа. Картина была обречена — а он ее спас. Сокровище Музея. В неподобающей тьме. Без света нет и славы.

Умбра. Чистейшая умбра.

Только зачем же три слоя грунта?

Теперь пулеметы. Время от времени взрыгивал не то миномет, не то полевая пушка. Не иначе недоумок-крайсляйтер оказывал сопротивление. Или войска СС остались одни. Победить было невозможно, но они не сдадутся, пока Лоэнфельде не будет стерт с лица земли, а вконец разозлившиеся американцы не начнут стрелять во все, что движется.

Капитан Кларк Гейбл, меня зовут Хоффер, Генрих Хоффер. Пожалуйста, не верьте тому, что вам могли про меня наговорить. Я поступил так, как считал правильным. Большинство из нас, в особенности я, каждый день молились о вашем приходе. Вот только бы хоть немного поспать.

Он не открывал глаза, кожей как горячее, кисловатое дыхание чувствуя, *что* другие о нем думают. Ему вспомнился — и неудивительно — тот день в 1910-м, когда он украл грушу с фруктового лотка на рынке, за что отец отходил его тростью. Груша была большая, круглая, блестящая и очень сладкая. Наверняка сладкая, хотя ему так и не довелось ее попробовать. Хозяин лотка его заметил. Он и сам не знал, зачем ее украл. Он был хорошим, богобоязненным мальчиком, минимум дважды в неделю ходил с семьей в бедную белую, пропахшую воском церковь. Но грушу украл. И отец избил его до полусмерти. Отец даже и жестоким-то не был, просто считал, что, если зло задавить в зародыше, позже будет меньше проблем. Так он это объяснял. И Генрих Хоффер вырос честным и воспитанным, легко вписался во взрослую жизнь близ руин гейдельбергского замка, обретя там и славу, и шрамы. Но так и не попробованная груша терзала его по сей день.

Всю жизнь герра Хоффера преследовало чувство — всегда, даже в объятиях пышнотелой Сабины, — что истинное счастье от него ускользает, что он так ни разу и не сумел впиться зубами в самую сладость.

— Герр Хоффер?

— Да, фрейлейн Винкель?

— Зовите меня просто Хильде. Я считаю, вы поступили правильно, герр Хоффер. С Фестом.

— Спасибо, Хильде.

Со стороны Вернера донесся презрительный смешок. Герр Хоффер так и не открыл глаз. Как будто задремал в поезде.

— Сейчас тяжелые времена, — добавил он.

— Хотя, конечно, фюрер ни в чем не виноват, — торопливо заметила Хильде.

Он промолчал. Все промолчали. Как Хильде ни была мила и наивна в своей любви к родине, она вполне могла быть доносчицей. Вдруг наступление захлебнется. Неугодные карались до сих пор. Без промедления. Их даже в лагеря не утруждались отправлять. Слишком много возни. Слишком мало времени. Выпибали мозги или вешали прямо на месте, часто даже не сняв ботинок и пиджака. До самого конца. Особенно во время конца. Спектакль не окончен, пока занавес не упал на подмостки.

Чтобы чем-то занять себя, он, щурясь от света свечи, посмотрел на часы. Стрелки казались совершенно одинаковыми. Было либо без пят-

надцати одиннадцать, либо без пяти девять. Не сразу удалось вспомнить, какое сейчас время суток. Во тьме подвала не менялись ни температура, ни влажность, зимой здесь можно было жить, не умирая от холода, летом — прятаться от жары. Ночь ничем не отличалась от дня.

Без пяти минут девять утра, разумеется.

Поднеся часы к уху, он прислушался к их ходу. Едва слышное тиканье успокаивало. Прекрасные часы, подарок Сабины на день рождения. У Вернера, разумеется, были карманные, которые он и продемонстрировал.

— Без двух минут девять, — сказал он. — Вряд ли мы тут услышим колокола.

— Как говорила моя дорогая мама, "у нас есть целый день, чтобы прийти в завтра", — проговорила фрау Шенкель, известная всем своей неумолимой пунктуальностью, из-за которой Хоффер всегда старался поспеть на самый ранний трамвай. Однажды, опоздав на пять минут — малышка Эрика всю ночь кашляла, — он поймал на себе ее взгляд, который неопровержимо свидетельствовал: необратимое моральное разложение уже началось. Даже когда он, отдышавшись, объяснился, она, кажется, не очень-то поверила. Главное, конечно, не думать о том, кем его считает фрау Шенкель или кто угодно другой.

И все же он думал, не мог не думать! Три слоя грунта! Бессмыслица!

Все на всякий случай замолчали, ожидая колоколов. На Отто-фон-Герике-штрассе подпрыгнул на выбоине десяток грузовиков, груженных гайками. По крайней мере так казалось на слух. Потом хлопки и глухие удары. В воздухе стояла дымная горечь, которая была страшнее шума. Это с улицы несет, решил герр Хоффер, которому сделалось душно. Наверняка где-то тут должен быть вентиляционный люк.

Черт, как же ему хотелось в туалет; мочевой пузырь чуть не лопался. Все из-за нервов.

Нечестно, что Вернер заводит в такой момент подобные разговоры. В высшей степени нечестно. Настоящий садизм. Все из-за желчности натуры.

— Вот что я думаю, — сказал герр Хоффер, поправляя нарукавную повязку, то и дело сползавшую на локоть, — раз я состою в вооруженных силах, то должен отправиться на разведку, не так ли?

— Что вы имеете в виду? — спросила фрау Шенкель.

— Что мне нужно оценить обстановку наверху. В Музее, не на улице.

— Вы только что спустились, — возразила она.

— Возможно, герру Вольмеру нужна помощь, — вяло возразил он.

Он не мог признаться, что хочет в туалет. Некоторые брали с собой в убежище судно и пользовались им прямо тут же, попросив кого-нибудь из родственников заслонить их. По его мнению, это был один из главных ужасов бомбоубежища.

— Не ходите по стеклу, — сказала Хильде.

— Лучше вообще не ходи, — проворчал Вернер. — А то еще раздумаешь вернуться.

— Лучше бы вы остались с семьей, — заявила фрау Шенкель, почесывая костлявую шею.

— Разумеется, я вернусь, Вернер, — отозвался герр Хоффер, раздраженный его словами.

Засидевшаяся на одном месте Хильде вытянула руки и со вздохом потянулась; судя по всему, она была спортсменкой и тренировала не только дух, но и тело. Соединив руки в замок, она вывернула их ладонями вперед, как гимнастка.

Герр Хоффер вдруг уловил запах пота, резкий почти до умопомрачения. Запах Хильде.

На него вдруг накатило животное желание.

Желание, как бы источаемое каждой порой ее тела, врывалось в него со звериной силой, минуя разум. В запахе ее пота не было ничего привлекательного, он мало чем отличался от мужского. Но возбуждал сам факт, что прелестная Хильде могла пахнуть так сильно. Нет, эта мысль пришла позже, его разум нагнал тело. За вытянутыми руками лица Хильде было не видно, но ее запах — запах он выпил бы до последней капли.

Сделав вздох, она опустила руки на колени и снова подняла голову.

Герр Хоффер с трудом поднялся, смущенный и в то же время радостный. В этом притяжении была прямо-таки духовная сила. Подумать только — а ведь он ненавидел спертый воздух гимнастических залов!

Ему, вообще-то, совсем не нравился человеческий запах, а нехватка мыла — настоящего, которое пенилось, а не плавало бестолковым куском в ванне — означала, что в последние годы люди стали пахнуть гораздо сильнее, чем прежде. Откровение, пришедшее с запахом Хильде, заставило его снова повернуться лицом к человечеству.

Это было главное, чем он утешался, когда несколько минут спустя проходил по голым залам. В дымном воздухе стояла горечь, и паркет хрустел под ногами, как песок, хотя герр Вольмер пытался подметать — даже теперь. Какое он все-таки чудо! Музейная пустота, кстати, приглушала звук бомбардировки, а может, обстреливали уже другой район; он представил, как снаряды падают на Герман-Геринг-штрассе, где стоял его дом.

Когда он вышел из подвала, его охватило невероятное облегчение.

Впрочем, герр Хоффер так и не привык к пустоте Музея, пустоте огромных залов. Казалось, она лишает его всякого права на существование, эта пустота. Если он сейчас откроет рот, то непременно закричит. Вопль о тщетности своих усилий. Как же хотелось кричать!

Вместо этого он закашлялся. Герру Хофферу и в самом деле срочно надо было в туалет.

Он заторопился, его шаги эхом разнеслись по залам на фоне грохота, проникавшего снаружи — из другой жизни. На мгновение почудилось, в одном из залов есть кто-то еще — точнее, кто-то вышел из зала буквально секунду назад; но, разумеется, это было всего лишь эхо его собственных шагов. В зале XVII века в углу, рядом с которым когда-то висел прелестный натюрморт Марелла с цветами, притаился крупный черный паук, чья паутина потемнела от дыма и пыли. Главное, думал герр Хоффер, не терять веру. Картины поднимутся наверх и снова будут висеть на своих местах. Немецкая культура будет восстановлена. Ее сущность в духовности и глубине, ее нельзя ни разбомбить, ни замарать руками кретинов вроде Феста. Расчетливые французы поймут это сразу. Даже британцы в час победы все поймут, почувствуют своим торгашеским инстинктом. Вот в американцах он не был уверен. Их он почему-то представлял как волну, которая нахлынет и отхлынет, оставив на берегу подарки. Жвачку, кока-колу и шоколадки.

Наверное, он сошел с ума. Сейчас они ровняли с землей его родной город. Такое слабой волной не назовешь.

Он остановился у мраморного истукана, "Дерзкого", охранявшего вход в библиотеку; изваял его не кто иной, как сам Вилли Меллером. Про себя герр Хоффер называл истукана Троцким. Несколько раз он заставал здесь Хильде, делающую наброски его стоп, бицепсов, гротескно натянутых жил. Надо признать, ее присутствие в этот последний год заметно прибавило бодрости его походке по утрам, когда он отправлялся на работу. Впрочем, герр Хоффер даже и не думал волочиться за ней. Просто восхищался ею, вот и все. В ней соединились красота и юношеский интеллектуальный пыл. Что она могла видеть в этом уродце, было выше его понимания. Партия владела всеми ее помыслами, как какой-то демон-инкуб.

Доступная исключительно ученым библиотека, в которой хранились старинные тома вплоть до выпуска 1850 года, стояла, как амбар без единого зернышка — только полки оставались на месте. Но пахло здесь как прежде — кожей и воском. Выставочные залы были пусты, как голова, лишенная мыслей, в библиотеке же до сих пор ощущалась концентрированная, как крепко стиснутые зубы, напряженность тишины.

Вот только фюрер смотрел сердито. Огромная фотография висела над столом Вернера, хмуро глядя на длинные пустые столы, отчего герр Хоффер чувствовал себя самым ничтожным ученым в мире. Раскусить Вернера Оберста — на чьей тот все-таки стороне? — ему так и не удалось. Да и сторон уже не осталось, только одна, последняя, как тюремный застенок.

Бомбардировка приутихла. Герр Хоффер непроизвольно сжался в ожидании внезапного мощного взрыва. Затишье страшнее бомб.

По своему обыкновению, он воспользовался библиотечным туалетом. В его служебном слишком тонкие стены, туда доносилось, как фрау Шенкель стучит на машинке, как будто она сидит рядом. "Только для сотрудников библиотеки". Маленькая комнатушка позволила ему вздохнуть свободно сама по себе, еще до того, как он последовал зову природы, да и геморрой сегодня скорее напоминал о себе, чем мучил. Как хорошо побыть одному и расслабиться. Ходит ли Гитлер в сортир? Представить не получилось.

Даже надписи на стенах были учеными — на латыни, греческом, английском или французском.

Quas dederis solas semper habebis opes[1].

Марциал.

J'en ai trop prolongé la coupable durée[2].

Расин.

Что-то из Талейрана, зачеркнутое.

Бумаги не оказалось. Он проверил, какого цвета испражнения (черные), и дернул за цепочку. Воды тоже не было, даже в кране. Герр Хоффер удивился, глядя на себя в зеркале: редеющие волосы торчали в разные стороны. Пена для бритья у него кончилась, и Сабина просто подстригала ему щетину тупыми ножницами. Сняв очки, он сжал лицо руками, разглаживая фиолетовые мешки под глазами, складки у носа, морщины вокруг

1. Зд.: "Что посеешь, то и пожнешь" (*лат.*).
2. "Нет, жизнь греховная и так уж слишком длится". (*франц.*). Федра. Акт I, явление III. Перевод М. Донского.

губ. Ранки от крошечных осколков покрывали все пунктиром черных точек; когда дотронулся до лица, стало больно. Постоянный голод сделал его похожим одновременно на мальчишку и старика. Он вернул очки на место и замер на мгновение, словно позируя для портрета.

Портрет мужчины, 1945
Масло, дерево, 25,6 × 30,4
Из частной коллекции.

Свет падал на лицо с одной стороны, разделяя его, как в географическом атласе, на две части по контуру носа. Художник выхватил лицо быстрыми, крупными мазками, нет, тонкой, методичной кистью старого фламандского мастера. Дамы и господа, обратите внимание, как удалось виртуозно владевшему кистью портретисту передать живой блеск глаз изображенного мужчины, открывая нам глубокий мир его души.

Герр Хоффер улыбнулся уставившемуся на него живому портрету. Когда закончится война, он будет рисовать! Он посвятит себя искусству, даже если его назначат директором! Карандаш, мел и акварель — его любимое сочетание. Ах, если бы в юности он и в самом деле погрузился в истинно богемную жизнь, если бы он чистил картошку на ужин где-нибудь на чердаке в Берлине, мылся в металлической ванне и сушил рубашку на крыше!

В этом маленьком туалете он чувствовал себя в безопасности. Бомбежка утихла. И вдруг по спине пробежал холодок. Вернер расскажет американцам про Тенирса. Венера восстанет из воды мокрая и голая — и возьмет за руки Вернера Оберста. Вернер, обладатель безупречной во всех отношениях репутации, опишет все подробности сговора и. о. и. о. директора и жирного партийного чиновника, фигляра Феста.

Послушают ли они его? Могут. Из лагерей вернется достаточно людей, способных заменить и. о. и. о. директора. Евреи, например. Американцы будут из кожи вон лезть, только бы возместить нанесенные евреям обиды. Сам факт, что благодаря чудесам изворотливости он остался на своем посту, может сыграть против него. Глубоко в душе они будут завидовать его ловкости, его отваге и попытаются уничтожить его, обвинив в сговоре и предательстве. Его волновали только Музей и его фонды, как капитана корабля волнуют только корабль, команда, пассажиры и груз. Но хватит ли этого, чтобы противостоять лицемерным изгоям, их сокамерникам и мстительным евреям — тем, кто либо сбежал, спасая свою шкуру, либо по неосмотрительности подвернулся под руку партии?

Из зеркала на него смотрело болезненное, отчаявшееся лицо. Запах нечистот перебивал даже его собственный запах; наверное, прорвало трубу. Он смотрел, как отражение одними губами произносит слова, как в немом фильме: красота — это все, что я хотел от жизни. Неужели в красоте нет нравственной силы? Кант, например, считал, что есть.

Теперь он стал похож на клоуна, страшного клоуна из кабаре с белым лицом и черными губами. Кант не придал лицу ни капли достоинства. Внезапно оно дернулось в удивлении: в окошке матового, ребристого стекла мелькнула тень чего-то огромного.

В удивлении он замешкался, наконец с трудом распахнул ставни и увидел край огромного, закрывавшего стену полотнища, хлопавшего на ветру.

Это была красная растяжка со свастикой, выходящая на Конт-фон-Мольтке-штрассе. Часть креплений сорвало ветром. Когда он попытался поймать ее за край, ветер хлестнул его тканью по лицу, угодив в глаз. На длинной улице никого не было, обшарпанные дома — в основном склады — стояли совсем неповрежденные. Наверное, все попрятались под землю.

Он закрыл окно и потер заслезившийся глаз. Растяжку необходимо снять, иначе американцы могут расценить ее как вызов. Но кто сейчас возьмется за такое дело? От этой мысли засосало под ложечкой. Разрыв минометной мины неподалеку объявил о возобновлении бомбардировки. У мин словно был разум — они вели себя как людоед, пожирающий добычу.

Выйдя из туалета, он миновал мозаику Тома и двинулся к лестнице. Можно исполнить свой долг и проверить верхние этажи, раз уж он здесь. Работа отвлекала от мрачных мыслей. Он прошел мимо великолепной глазированной аллехской доярки в нише-раковине на полпути вверх — подарок самого рейхсфюрера СС Гиммлера через оберштурмбаннфюрера профессора Дибича, ведавшего фарфором из Дахау. Ожидалось, что в качестве ответного дара музей выставит один из его чудовищных пасторальных пейзажей, что и было сделано. Во время эвакуации герр Хоффер оставил доярку в музее и даже подвинул ее к краю; с каждым сотрясением она оказывалась к нему все ближе. И ближе.

Милая маленькая доярка упадет и разобьется. И обретет свободу.

Внезапно закружилась голова. Герр Хоффер добрался до верхнего пролета и присел на мягкой лавочке рядом с мраморной "Зарей". Тяжело дыша, пощупал пульс. Неровный. Значит, не сердце, а приступ тревоги. Герр Хоффер сделал несколько дыхательных упражнений, которым Сабина научилась в гимнастическом зале. Умереть рядом с "Зарей" было бы чудовищно. Этот образчик халтуры сотворил Томас Ротман, ученик Климша, из молодых, да ранний. Соски-пули нависали над тонкой талией, начищенные руками посетителей, как дверные ручки. Другой эротической партийной скульптуры герр Хоффер не знал, за что ненавидел эту еще больше.

Он опустил руку ей на плечо. Естественно, холодное.

Ах, Сабина, моя нежнейшая возлюбленная. Ты никогда не бываешь холодной.

Мама, папа – вы позабыли меня? Пожалуйста, не забывайте. Я больна. Вы еще не пожелали мне спокойной ночи. Кто-то идет сюда, как в дурном сне. Может, он опять покажет мне язык, и язык распустится как цветок или вытянется в жало, чтобы меня ужалить. Когда я смотрю в зеркало, озеро очень глубокое. Вот почему мне нельзя оставить зеркало.

30

От женщины шло тепло.

Она была в шоке и конечно же сама этого не сознавала. Шок — штука коварная. Будь ты хоть капрал армии Соединенных Штатов, ни за что не догадаешься, что ты в шоке.

Перри вытащил ее из глубины отчаяния на поверхность. Сядь, успокойся, вот на этой деревянной балке, что лежит почти горизонтально, тебе будет удобно. Но женщина стояла, вцепившись в него мертвой

хваткой, и все повторяла свое имя — Frau Hoffer, Frau Hoffer; и в конце концов он уселся первым, потянув ее за собой.

Планшет со свернутым полотном был при нем, Перри сдвинул его на грудь, крепко прижал, планшет представлялся ему комком мышц, вторым сердцем. Надо бы завернуть картину, а то как бы не изгваздалась, планшет-то до конца не застегнут. Нужна оберточная бумага или газета. Точно. Завернуть в газету. Вот хоть в ту, что валяется на улице рядом с трупом эсэсовца неподалеку от входа в подвал, шелестя страницами, будто ветер только что сдул ее с мертвого лица. Но она его никак не отпускала! Перри ничего не стоило, ведь он уже не зеленый юнец, грубо отпихнуть ее — да рука не поднималась. Капрал попробовал оторвать несчастную от себя, но пальцы женщины судорожно впились ему в куртку. Она не переставая всхлипывала.

Обычное дело, подумал он и чуть не засмеялся.

Как во Франции, а потом в Бельгии. Они прибыли в Нормандию в конце лета, и в каждом городке в армейские грузовики, заваленные цветами и фруктами, набивались девушки. Солдаты, словно древнеримские императоры, катались с ними по устланному раздавленными фруктами днищу кузова, пока машина носилась по деревне или городку, а потом напивались до изумления, заворачивались в трехцветные флаги, подставляли теплому ветерку перемазанные помадой лица; тогда им казалось, что война — дело веселое, очень веселое, несмотря на выгоревшие палисадники, и танки, и прочее дерьмо, не убранное до сих пор; хотя с начала операции прошло уже шестьдесят дней, казалось, что все так и будет продолжаться.

А месяц спустя после первого же дневного патрулирования, когда они, нарушив все до единого пункты устава, чтоб ему провалиться, все-таки остались живы, попав под шквал минометного огня, открытого первым встреченным ими живым, не взятым в плен немцем (он затаился среди кустов живой изгороди, а потом кинулся бежать сломя голову), их сначала трясло, а потом одного за другим вывернуло наизнанку, как щенков.

Никудышный ты солдат![1]

Он кое-как прикрыл одеялом торчащую из груды щебня балку, опершись о нее спиной и слегка поерзал, устраиваясь поудобнее. Немка припала к Перри всем телом.

Вряд ли кому придет в голову лезть в темный подвал, подумалось ему.

И секс тут ни при чем. У нее горе, а горе надо уважать. Он гладил ее по волосам. Так полагалось. Она была совсем не красивая.

Над ними на фоне ночного неба чернел рваный фронтон Музея с зацепившимися неизвестно за что квадратиками стеклянной крыши, крошечное бледное пятно обозначало нишу, где чудом устояла статуэтка Девы Марии. Они были внутри Музея, но теперь никакого внутри не было, только снаружи. Слышались поющие голоса, но не слишком близко. С улиц, со звериных троп, их не было видно.

— Можем сыграть в безик, — пробормотал Перри. — Морри всегда у меня выигрывал в безик.

Он посветил женщине прямо в залитое слезами лицо, пусть хоть немного придет в себя. Невозможно было понять, что она бормочет, по-

1. Название первого хита Лины Хорн "Good For Nothin' Joe".

жалуй, даже немец ничего не разобрал бы в потоке слов, прерываемых вздохами, всхлипами и шмыганьем носом.

Но он забрал картину. Это главное. Полотно у меня, подумал он. А все остальное не важно.

Вот он, планшет, висит на плече. Женщина немного успокоилась, еще раз назвала свое имя, Frau Hoffer, прижала руку к груди и снова разрыдалась.

Он сказал, что его зовут Перри, капрал Перри, но она не слушала.

Зачем он сообщил ей свое звание? Да и своих настоящих имен они в подобных случаях не называли. Что еще он мог ей сказать, чтобы она поняла? Schlafen, schlafen? Убитой горем только что овдовевшей женщине? Но и лезть в планшет за разговорником и спрашивать у нее, где ближайшая укрепленная точка, предлагать бросить оружие и уверять, что он пришел с миром, Перри не собирался.

В голову приходило только: Ich verstehe Sie — я вас понимаю (эти слова были на обложке разговорника) и Berlin ist eine Reise wert (игрушечный автобус с этой надписью привез ему из дальних странствий дядя Роберт).

— Берлин стоит посетить, правда? — прошептал он. — Berlin ist eine Reise wert.

Она удивленно поглядела на него и затараторила по-немецки, прижав руку к его нагрудному карману, где, чтобы отразить шальную пулю, как учили бывалые солдаты, надо держать металлические вилку-ложку, портсигар и запасную обойму. А у него там только две таблички от картин. Словно ему самому не терпелось на тот свет.

Капрал затряс головой и пожал плечами. Он даже своих соболезнований ей выразить не мог. Впрочем, оно, может, и к лучшему: может, ее муж в круглых очках какой-нибудь особо выдающийся нацист, из которого надо было бы душу вытрясти, будь он жив?

— Зря ты решила, что я говорю по-немецки, — сказал он.

Она смолкла. Фонарь высветил полосы от слез на грязном лице, спутанные волосы. Он перевел луч ниже, целиком осветив лежащую рядом с ним женщину. На ней было платье сплошь в желтых и оранжевых цветочках — настоящий луг, в глазах рябит, и сверху тонкая голубая кофточка или свитер, Перри был не силен в названиях предметов женской одежды. В волокнах ткани застряли кусочки штукатурки, локти белые от пыли. Платье кое-где порвано, внутренняя часть обнажившихся рук поцарапана; видны были темные полосы запекшейся крови. Туфли были в ужасном состоянии. Расстегнутый ворот платья приоткрывал круглую грудь. Губы слишком тонкие, на лице застыло горестное, недоуменное выражение. Стараясь утешить, он ласково гладил ее по волосам и больше не чувствовал смущения. Тело у нее было мягкое и теплое. Лет тридцать пять — сорок, подумал он. В Кларксберге прямо над ним жила дамочка за сорок, каждый день она принимала ванну, и душный воздух заднего двора наполнялся запахом земляничных кристаллов, а Перри стоял у открытого окна и вдыхал густой земляничный аромат, невероятно возбуждавший его.

Что-то у меня дыхание перехватывает, подумал он. Когда убиваешь человека, чувствуешь то же самое.

Они могли бы провести тут всю ночь, спина немного мерзнет, а так ничего. Перри хотелось курить, но в горле саднило, да и портсигар был в кармане брюк с той стороны, где она к нему привалилась. Не хо-

телось ее беспокоить. Чернота развалин постепенно переходила в различные оттенки серого; глаза привыкали к темноте, как когда-то, когда они с дядей Робертом выходили во двор с ярко освещенной веранды посмотреть на звезды; звезды росли, их делалось все больше, они собирались в созвездия, и дядя Роберт говорил: "Черт, это и вправду земля индейцев".

Такое ощущение, будто ты попал в какое-то пустынное дикое место, а вокруг высокие скалы и обрывистые склоны. Какая-нибудь пустыня, может, в Нью-Мексико. Аламогордо. Трут-оф-Консекуэнсес[1].

Он чувствовал ее дыхание.

Я с боями вошел в этот город. На мне — ответственность за последствия.

Ему нравилась темнота без единого проблеска электрического света. Время от времени вспыхивали фары грузовиков, что-то разгружавших возле призрачного утеса, и снова опускалась чернота. Где-то далеко меж двух скал дрожало пламя, кто-то готовил пищу, догадался Перри, сидят парни вокруг костра и жуют курицу, впервые за несколько дней поняв, как же они голодны. Хотя чувствовал он себя неважно, но есть все-таки хотелось.

Заморить бы червячка.

Близость скорбящей женщины, которую ему выпало обнимать, успокоила его; он сидел тут во мраке подвала и трясся — и пришел другой человек, явился точно ангел-хранитель, и он осознал всю значимость простого объятия. Особенно если этот человек — женщина. Живая, дышащая, а не тронутое тлением бесчувственное бревно, не обуглившееся мертвое тело. Он понимал — у нее горе, и она нуждается в утешении. Враг всегда с другой стороны, за чертой, а пересек черту, и нет больше врагов. Никакой черты вообще быть не должно.

А ведь в Англии их об этом предупреждали. Сохраняйте бдительность. Миллионы вдов, изголодавшихся по мужикам, варварские земли, где сифилис — заболевание эндемическое, берегитесь! Воздержитесь, мать вашу! Подальше от баб!

Им это сотни раз повторяли.

А получилось все не так. Девчонки, цветы, фрукты накрыли их точно волна. Потом, когда начались настоящие бои и засвистели пули, девчонки как-то поблекли, стали серьезнее. Они даже не были вдовами. Большинство отдавалось за еду, за сигареты, за газировку.

Эта была его первая вдова, первая настоящая вдова, и двух дней, наверное, еще не прошло, как она потеряла мужа. Совсем свеженькая вдова. Сейчас она перестала дрожать и всхлипывать, затихла подле него.

Осталось только дыхание — равномерно подымающаяся и тихо опускающаяся грудь.

Вот бы у меня всегда было зеркало, как у Эммы Бовари. Как и Эммы Бовари, меня не существует. И никогда не существовало. Нет никаких следов моего существования. Надо продолжать в том же духе. Я стану невидимкой, если смогу себя в этом убедить. Все упирается в силу воли.

1. Местечко на юге штата Нью-Мексико.

Достаточно одного снаряда, пробившего потолок с причудливой лепниной над "Зарей", – и ему конец.

Он так устал, а теперь еще и Вернер расстроил, унизил его. Если бы не Сабина и девочки, он о бомбежке и не думал бы. Сейчас он не мог и пальцем пошевелить.

Мало того, Вернер еще и расколол восхитительного Мендельсона. Какой все-таки мрачный, неприятный тип. А ведь он в штате всего лишь с 34-го, подумать только! Когда-то и он был зеленым юнцом!

Я старше его, сказал себе герр Хоффер, если считать по выслуге лет. На три года. Как-то это забылось.

Нет, он не будет думать о бомбах и будет жить, чтобы творить добро. Когда бабушка умерла, дедушка, с которым она прожила в браке 61 год, сказал: "Ну что ж, хорошо было, пока не кончилось". Вот так и надо жить, решил герр Хоффер, сидя здесь, высоко над землей.

Мрачное, неподходящее для размышлений место.

Именно здесь он увидел, как Бендель целовал Сабину в ухо. Или, может, что-то нашептывал.

Это случилось прямо перед войной на приеме, который им пришлось устроить в честь покровителей Музея, "Друзей рейхсфюрера". По наущению... по инициативе герра Лозе, управляющего фабрикой термометров и местного председателя "Друзей".

Ах, как он ненавидел приемы и банкеты! Но как-то же их надо было отблагодарить! Как бы он к ним ни относился, это был цвет деловой элиты Лоэнфельде. Война была им на руку, и в умах царило оживление. Без них Музей никогда не смог бы... и так далее. И Бендель, конечно, присутствовал, в полном облачении, чуть высокомерно поглядывая вокруг.

Да, именно здесь он увидел их вместе рядом с холодной мраморной "Зарей". Тогда он и заподозрил, что что-то не так. Кит-убийца рядом с нежным дельфином. Вот как он представлял себе это позже, ворочаясь рядом с ней в постели.

– Что с тобой, Генрих?

– Не могу уснуть.

– Почему?

– Волнуюсь.

– Прекрати.

– Не могу.

– Что бы там ни было, сейчас ты ничего сделать не можешь. Пожалуйста, дай мне поспать. Я слишком много выпила. Очень устала, кокетничая с твоими гостями.

– Да, милая. Я так и подумал.

Он понимал, почему ее тянуло к Бенделю. Бендель был не такой. Не такой, как, например, его долговязый начальник, которого он притащил с собой на прием.

– Герр Хоффер, позвольте представить вам нашего почетного гостя, бригадефюрера СС Айхлера из Берлина. Он близкий друг герра министра Геббельса и добрый знакомый герра министра Бормана. В Лоэнфельде всего на две недели.

— Польщен нашим знакомством, герр бригадефюрер. Хотя, конечно, все здесь собравшиеся — наши почетные гости.

— Покажите мне Музей, — приказал Айхлер.

— С удовольствием.

И почему он согласился? Потому что не было выбора. К импровизированной экскурсии присоединились Сабина и еще несколько человек. Сабина ни разу не была на проводимых мужем экскурсиях. Герр Хоффер, заливаясь соловьем, вел публику по залам, строго придерживаясь хронологии. Чем ближе они приближались к разграбленному XX веку, занимавшему просторный Длинный зал, тем тревожнее ему становилось. Там на стенах как упрек зияли пустые места — даже Бендель однажды не преминул высказаться по этому поводу. И хотя со времен чисток прошло два года, совесть до сих пор терзала герра Хоффера, особенно с тех пор, как городские власти вынудили его выставить несколько образчиков мюнхенского китча — Градля, Пинера и им подобных. Их чудовищные работы он развесил между четырьмя мраморными воинами из мастерской Климша, так, чтобы они смотрелись максимально неуместно.

В горле встал ком, и голос начал срываться на визг. Пришлось несколько раз прерваться, чтобы протереть очки и прокашляться.

— Вы не простыли, герр Хоффер? — поинтересовался Бендель.

— Нет-нет, благодарю вас.

Бригадефюрер помалкивал, но, казалось, получал удовольствие от сокращенной версии стандартной экскурсии. А когда наконец заговорил, в его голосе явственно проступил акцент, возможно норвежский. На норвежца он был вполне похож. Или на датчанина. Когда они остановились у картины Лукаса Кранаха, бригадефюрер высказал довольно странное предположение, что Кранах был евреем. И Бендель, и Хоффер принялись возражать, остальные смущенно молчали. Герр Хоффер дошел в своих возражениях до того, что практически машинально (а все от нервов!) произнес: "Неужели вы полагаете, что он висел бы здесь, будь он евреем?"

Все рассмеялись. Герру Хофферу нестерпимо хотелось спросить у бригадефюрера, нравится ли тому стопроцентный скандинав Эдвард Мунк, и от усилия, с которым он подавил в себе этот самоубийственный порыв, на лбу и. о. и. о. директора выступили капельки пота.

В зале XVIII века бригадефюреру, конечно, больше всего понравились обнаженные. Он продолжал помалкивать, выражение его лица не менялось, но судя по тому, как скользил его взгляд с одного полотна на другое, неповторимая скульптурность живописных форм от него не ускользнула. В зал XIX века вошли молча, как в церковь. Откуда-то снизу доносился голос секретаря, бригадефюрер посвистывал носом... Сзади неожиданно захихикала Сабина, шедший с ней рядом Бендель имел вид завзятого остряка. Оба не слушали. Обоим захотелось поставить по двойке.

— Этот, — сказал бригадефюрер, ткнув пальцем в Ханса Рихарда фон Фолькмана, — умер в тысяча девятьсот двадцать седьмом.

— По духу он принадлежит девятнадцатому веку, — объяснил герр Хоффер.

— Почему?

— Другая школа, другой стиль.

— Хотите сказать, он был хорошим художником? — спросил бригадефюрер.

Все засмеялись.

Их маленькая флотилия переместилась к Ловису Коринту.

— Еще один хороший художник?

— Я прямо-таки чувствую запах апельсиновой корки, — заявила фрау Лозе в огромной шляпе.

Этот момент запомнился герру Хофферу как один из самых неловких в его жизни.

— Коринт — очень интересный художник, — произнес он. — Он также представлен и в зале XX века, за этой дверью.

— Что же, был хорошим и вдруг стал плохим?

— В тысяча девятьсот одиннадцатом году он перенес удар.

Все снова рассмеялись, что было больно слушать. Поздние работы Коринта, яростные и дикие, нравились герру Хофферу гораздо больше классического натурализма, предшествовавшего удару. Комитет конфискации забрал из современной экспозиции две его картины, чтобы все немцы могли всласть повизжать и потыкать в них пальцами.

— Эти картины временно сняты с экспозиции, — добавил он.

— Я так и думал.

Судя по всему, бригадефюрер Айхлер считался непревзойденным остряком. Впрочем, вполне возможно, остальные уже захмелели от бесплатной выпивки. Бендель вел себя с Сабиной весьма галантно и даже поддерживал ее под локоток. бригадефюрер полюбовался Вильгемом Либлем и прекраснейшим Курбе, заинтересовался "Трубадуром" Августа Хольмберга (средневековая театрализованная вакханалия в обеденной зале) и одобрительно кивнул, увидев пейзаж Фолькмана, на котором холмы Айфеля напоминали американский Запад.

— Я словно перенесся туда, — сказал он, — и вдыхаю неповторимый айфельский воздух. Вот это мастерство.

Все дружно согласились. Герр Хоффер только что осознал, что число экскурсантов выросло. За исключением Бенделя и Айхлера к группе присоединилось еще как минимум пять офицеров СС. В воздухе стоял сладкий запах вина и сигарет. Герр Хоффер тоже чувствовал себя слегка навеселе.

Наконец они подошли к Ван Гогу. Бригадефюрер Айхлер встал рядом с жемчужиной коллекции "Кайзера Вильгельма" и сказал, постучав пальцем по раме:

— Расскажите мне об этом.

Его рука в черной перчатке принялась поглаживать свисавшую с ножен серебряную кисть с шишечкой в виде желудя. Распространенная эсэсовская привычка. Даже герр Хоффер признавал, что и ему пошла бы черная форма, длинная сабля и высокие сапоги с пряжками. Неудивительно, что мальчишки вступали в СС толпами. Он покосился на Бенделя — может, он сам хочет залиться соловьем насчет предмета своей одержимости. Но фуражка Бенделя покачивалась над русой головкой Сабины — он рассказывал ей очередной анекдот.

— Итак?

— Это картина Винсента Ван Гога.

— И что?

Экскурсанты не были уверены, смеяться им или пока не стоит. С трудом сохраняя самообладание, герр Хоффер рассказал о борьбе Ван Гога с искусством, его безгрешной нищете, о гении, который привел его писать картины на раскаленное солнцем поле. О безумии и самоубийстве герр Хоффер умолчал. Собравшиеся благодарно зашушукались. бригадефюрер равнодушно кивнул и наклонился вперед.

— А где художник? Здесь написано "Художник в окрестностях Овера".

Бендель, до того лихорадочно пытавшийся из-за спин других офицеров подать какой-то знак герру Хофферу, подошел поближе.

— Это очень интересный вопрос, — начал герр и. о. и. о. директора.

— Это название — обман, — вмешался Бендель.

— Обман?

Экскурсанты зашептались.

— Позвольте объяснить, — начал герр Хоффер. — Хотя, казалось бы, эти резкие мазки в водовороте пшеницы можно принять за человека за мольбертом, у нас нет уверенности в происхождении этого названия. Табличку прикрепили к раме примерно тогда же, когда картина попала в Музей, то есть около тысяча девятьсот двадцать третьего года.

— Почему вы не сменили название?

— Видите ли, некоторые ученые трактуют вот эту фигурку как крестьянина в большой соломенной шляпе, но другие с этим не согласны. Наши собственные исследования показали наличие в застывшей краске шелухи пшеницы, семян и даже мух. Значит, картина, как это часто бывало у Винсента, написана на пленэре. Поэтому, скорее всего, он просто изобразил то, что видел перед собой.

— Но сам себя он видеть не мог.

— Не мог, вот именно.

— Кстати, что он тут делает с граблями, если сено не скошено?

— Не думаю, что нам следует...

— Или, может, Ван Гог пририсовал его позже, — перебил Айхлер, тыча в герра Хоффера пальцем, будто вывел его на чистую воду. — У себя дома. Перед тем, как застрелиться!

Все воззрились на и. о. и. о. директора, которому внезапно сделалось жарко и как-то обморочно.

— Исключено, герр бригадефюрер, — возразил Бендель, выйдя вперед. Теперь все не сводили с него глаз. — Если даже оставить без внимания, что Ван Гог следовал скорее за Леонардо, чем за Рубенсом, и переходил от темных тонов к светлым. Если как следует вглядеться в мазки, то видно, что фигурка местами закрыта более бледными колосьями пшеницы. Ультрамарин крестьянской рубахи смешался с этими светло-желтыми мазками...

— Какая небрежность, — перебил Айхлер. — Надо было дать краске просохнуть. Нельзя торопить совершенство. — Все, кроме явно уязвленного Бенделя, закивали.

— Жаль, что картина не соответствует названию. Правда, "Крестьянин в окрестностях Овера" звучит хоть и не так эгоцентрично, зато менее, гм, привлекательно. Без сомнения, именно поэтому вы и не сменили название.

Герр Хоффер судорожно сглотнул, остальные рассмеялись.

— Возможно, — ответил он.

— Это не небрежность, — резко произнес Бендель.

Айхлер посмотрел на него.

— Что же это тогда?

— Жизнь, — ответил Бендель, глядя на картину налитыми кровью глазами. — Чистейшая энергия природы.

— Разумеется, герр штурмфюрер, — огрызнулся Айхлер. — Это все знают. Но в жизни таких красок не бывает, не так ли?

— Ну что ж, — торопливо вмешался герр Хоффер, — мы не должны забывать, что в голландском языке "цвет" обозначается двумя словами, "verf" и "kleur"...

Голос был напряженный, задыхающийся, но он не умолкал. Бендель вернулся к Сабине, как будто она в нем нуждалась — или, наоборот, он в ней. Айхель снова принялся поглаживать похожую на желудь шишечку на ножнах большим и указательным пальцами, как ребенок лапку плюшевой зверушки. Остальные эсэсовцы не стесняясь зевали. Фрау Лозе поправила огромную шляпу. Сабина отпила из своего бокала и закашлялась, Бендель, похоже, гладил ее по спине. Опасность, пожалуй, миновала.

Наступила тишина. Герр Хоффер рассказал все, что знал. Может, теперь они отвлекутся от Ван Гога.

Бригадефюрер Айхлер с улыбкой кивнул и спросил:

— Он ведь был придурком, правда?

— Кто, Ван Гог?

— Все знают, что он был придурком. Поэтому и рисовал как ребенок. Хотел рисовать как все, но не мог. Оттого и рехнулся.

А потом прикоснулся к картине и провел по шероховатому холсту тем же пальцем, которым теребил кисть. Герр Хоффер судорожно вздохнул. В зале было тихо, если не считать угрожающего скрипа высоких эсэсовских сапог со шпорами. бригадефюрер Айхлер, склонившись над картиной, гладил застывшие комки и сгустки краски — хромовую желтизну пшеницы, берлинскую лазурь неба. Бендель в ужасе разинул рот; герр Хоффер испугался, что тот вот-вот набросится на вышестоящего офицера. Из окон столбами сияющей пыли струился свет, отражаясь на паркете, крошечных вышитых орлах и черепахах. Палец следовал по длинному желобку тени дерева, по иронии судьбы, такой же чернильно-черной, как и касавшаяся ее перчатка.

Все равно как если бы кто-то расцарапывал свежую рану.

— Очень густые мазки, — сказал бригадефюрер, наконец убрав палец, будто проверял, нет ли на холсте пыли, и остался доволен. — Совсем как ребенок. Не будь он таким знаменитым, был бы никем. И знаменитым-то он стал только потому, что рехнулся — потому что все знали, что придурок.

Айхлер хмыкнул, словно восхитившись собственным умозаключением. Остальные заулыбались и двинулись в Длинный зал. Сабина сжала ладонь Бенделя, и его лицо смягчилось. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы она не взяла его за руку.

Это было мучительно. Кроме прекрасной "Обнаженной" Эрбсло, березовой рощи Пауля Бюрка и безучастного мрамора нагих Климшевых воинов, современная коллекция состояла из пары импрессионистских морских сценок Людвига фон Хофмана, пейзажа Дибича, как буд-

то с конфетной обертки, и любимчиков фюрера вроде Градля или бесцветного Кригеля, ну и местного таланта Клауса Нердингера, специализировавшегося на собаках.

Пустые белые стены стали немыми свидетелями ярости и тоски герра Хоффера. Он достал носовой платок и вытер пот со лба. Главное – не упасть в обморок. Не смотреть на зыбкую, дрожащую белизну, подхватившую его, точно течением.

Бригадефюрер, однако, кивнул с явным одобрением, завидев белоснежные пустоты. Затем поинтересовался, почему Музей не счел нужным заполнить их, например, прекрасными портретами простых членов Партии кисти Вольфганга Вилльриха.

– Знакомы с его работами? Вольфгангом Вилльрихом можно заполнить все пустые стены.

Он хлопнул по голой стене рукой в черной кожаной перчатке.

Ну, разве что его кишки тут развесить, подумал герр Хоффер, придя в себя после упоминания Вилльриха.

– Да, бригадефюрер, я о нем слышал.

Герр Хоффер предпочел не говорить, что считает портреты Вилльриха бездарной мазней, пробормотав что-то насчет недостатка средств. Бригадефюрер помрачнел, посмотрел на часы, объявил, что очень жаль, но ему пора, и поинтересовался у герра Хоффера месторасположением туалета. Уходя, он задержался на лестничном пролете рядом с "Завоевателем" Вампера, медным, с рукой, вытянутой вперед, как у римского императора. По случаю приема фрау Блюмен специально начистила этого урода, так что теперь лицо герра Хоффера отразилось на его огромном бедре.

– Как будто проверяет, не пошел ли дождь, – сказал эсэсовец. Ему-то дозволено было говорить такое. Даже без улыбки.

Герр Хоффер на наживку не клюнул. Это вполне могло быть ловушкой. На языке вертелся анекдот еврейского юмориста, которого он видел сто лет назад в Берлине; тот вскидывал руку в гитлеровском салюте и говорил: "Вот как глубоко мы в дерьме увязли!" Но герр Хоффер ничего не сказал и с улыбкой последовал за эсэсовцем по лестнице.

Пока бригадефюрер Айхлер облегчался, штурмфюрер Бендель поздравил герра Хоффера с превосходной работой. Они были в кабинете одни; в приемном зале было слишком шумно: дельцы гоготали, их жены взвизгивали, а эхо разносило шум. Бендель, казалось, был пьян.

– Вы и вообразить себе не можете, какой это влиятельный человек, герр Хоффер. К нему сам вождь прислушивается. К тому же старый приятель Бормана. Оба из крестьян. Не удивлюсь, если они срут в раковину.

– Главное чтобы не начал всем рассказывать, какая тут прекрасная коллекция, – ответил герр Хоффер.

– Ну, "Заря" ему определенно понравилась.

– Ее пусть забирает.

– Надеюсь, вы оценили мою блистательную историческую справку?

– О Хираме Пауэрсе?

– Я собственными глазами видел в Вашингтоне эту киску. Эротическая мечта любого мальчишки.

– Это не доказано, – отозвался герр Хоффер, которого покоробила грубость Бенделя. – В гораздо большей степени Ротман подражал "За-

ре" Микеланджело в Сан-Лоренцо. Вот только у Микеланджело "Заря" пробуждается с печальным лицом, словно реальная жизнь хуже сна. Не мне ее винить.

Все-таки Бендель был пьян.

— Может быть, она просыпается от кошмара, — хмуро возразил он.

— Может, и мы когда-нибудь тоже проснемся, — сказал герр Хоффер.

Бендель фыркнул.

— Я не собираюсь сдаваться! — заявил он, взмахнув руками в перчатках. — И у Пауэрса, и у Ротмана скульптуры выполнены в белом мраморе, у них похожие прически, и у "Зари" цепочка на руке. У ротманновской "Зари". Вот вам и схожесть.

— Это браслет.

— Вы даже не слышали ничего про Пауэрса.

— Не уверен, что он того стоит, — вяло ответил герр Хоффер.

Одно из стекол в очках затуманилось, но ему было не до этого. Его вконец измучили сначала экскурсия, а теперь еще и Бендель, по привычке втягивавший его в словесную искусствоведческую дуэль. Телефонный шнур, тянувшийся прямо из центра потолка на стол, резал лицо Бенделя пополам.

— И что за беда, если он начнет рассказывать, какая тут прекрасная коллекция? — поинтересовался Бендель.

— Я просто надеюсь, — выбирая слова, заметил герр Хоффер, — что не привлек слишком много внимания к отдельным особенно прекрасным ее вещам. Кажется, это был ваш совет. Помнится, вы назвали это "тайной".

Бендель издал свой слишком громкий, слишком пронзительный смешок. За стеной стоял такой гвалт, что он не потрудился даже приглушить голос. Его глаза налились кровью.

— Этот человек — полнейший невежа, — заговорил он. С каждым словом презрение в его голосе становилось все отчетливее. — Украинец, кажется, с дедом немцем. Бабка наверняка была шлюхой. Знаете что-нибудь про украинцев? Хотите верьте, хотите нет, но они в большинстве своем дикари. Как и все славяне, впрочем. Немногим лучше русских, которых тоже не затронула эволюция. Девяносто девять процентов населения — тупые крестьяне. Ван Гог для него — неразрешимая загадка. У него такие связи только потому, что он богат. Что не мешает ему быть совершеннейшим чурбаном. И позером. Заставил целую толпу евреев встать на колени и стричь газон зубами — чудовищная пошлость. Пошлость — это так омерзительно.

— Какой ужас, — сказал герр Хоффер. — Если бы я только знал...

— Слышали, что он сказал о нашем Винсенте? О нашем удивительном неповторимом Винсенте? *Он был придурком, правда?*

Пародистом он был хорошим. Открылась дверь, и они обернулись. На пороге, слегка покачиваясь, стояла фрау Шенкель; ее прическа растрепалась, из нее выбилось несколько прядей.

— Бригадефюрер ждет вас в зале, господа, — сказала она. Только что реверанс не сделала. Тоже слишком много выпила. — По-моему, вечер прошел замечательно, — продолжала она, ухватившись за дверь. — Мой муж говорит, такое стоит устраивать каждую неделю в его выходной.

– Вот видите, вы зря волнуетесь! – воскликнул Бендель, хлопнув герра Хоффера по плечу и подмигнув. – Вы превосходно справились, старик. Вы были неподражаемо, несравненно нудны. Наша реликвия не покинет свой храм. В любом случае только через мой труп.

– Я полагал, вам нравятся не затронутые цивилизацией культуры, – слегка расстроенно заметил герр Хоффер. – Исконная чистота и все такое. Как тому доктору, который написал "Дядю Ваню".

– Нецивилизованные крестьяне не имеют никакого отношения к чистоте, – только что не огрызнулся Бендель. – При чем здесь они? Да сельское хозяйство и стало источником заразы! А Чехов – русский. Русских мы не любим.

– Тогда Жан-Жак Руссо.

– Французский ублюдок. Это еще хуже. Французов мы ненавидим.

Позже, когда герр Хоффер застал Бенделя с Сабиной на этом самом месте, перед "Зарей", в подозрительной близости, он не смог произнести ни слова. Он был потрясен.

– Я как раз рассказываю вашей прелестной жене о Хираме Пауэрсе, – сказал Бендель, чуть покачиваясь в своем черном одеянии, фуражка у него съехала набекрень. – "Греческая рабыня". По сравнению с ней эта потаскушка выглядит фригидной.

– Надеюсь, вы говорите не обо мне, – рассмеялась Сабина.

– Ну что вы! – ответил Бендель и, не сводя с нее глаз, положил руку ей на плечо.

– Когда застрелили наследника австрийского престола, – добавил он, не убирая руки, – мои отец с матерью были в Мюрцштеге. У них был медовый месяц. Они занимались любовью.

– Средь бела дня?

– Ах, я не знаю подробностей. Они в первый раз были вместе. Больше я ничего не знаю.

– Оно и к лучшему, – захихикала раскрасневшаяся Сабина – щеки ее стали как вишни.

– Мама, естественно, забеременела. Так и родился маленький Клаус.

– Как романтично, – вздохнула Сабина.

– В тот самый день, – добавил Бендель, рукой в перчатке поглаживая ее шею.

Хотя фуражка сбилась набок, волос видно не было. Только аккуратные уголки над висками. Герру Хофферу захотелось вцепиться в эту гладкую шею. Но все были пьяны. А пьяные не соображают, что делают.

К тому же шла война.

Озеро очень глубокое. Кто-то тянет за веревку. Моя голова снова набухает, как почка. Но, слава богу, я знаю, что вы все еще живы. Я вижу знаки: если паук перебежит через мою ладонь к лучу света, вы живы, вы все живы. Когда-нибудь я буду стоять на цветущем лугу, и вы все будете бежать ко мне, ко мне, в мои объятья. Придется вам встать в очередь, чтобы можно было обняться с каждым. О ветер западный, как тяжка моя зависть к влаге твоих крыл! Как жаль, что я не помню всего Гёте наизусть!

Окончание в следующем номере

Тамар Радцинер

Стихи

Перевод с немецкого и вступление Игоря Померанцева

Тамар Радцинер (1932—1991) — австрийская поэтесса. Родилась в Лодзи, умерла в Вене. Пережила Освенцим. Принимала участие в польском Сопротивлении. Ее родители (отец — фабрикант, мать — пианистка) и почти все близкие погибли в нацистских лагерях и гетто.

В своих немецких стихах Тамар Радцинер путала винительный падеж и родительный. Стихи она отдавала на правку редактору, который был под рукой, — старшей дочери Асе (Йоанне). Впоследствии Ася стала известным в Австрии журналистом-международником. Ася правила стихи, но мать пренебрегала правкой. Она хотела, чтобы стихи нарушали грамматические нормы и не стеснялась польского акцента в своей лирике. До эмиграции в Австрию (1959) она писала стихи по-польски. У Аси до сих пор хранится тетрадь матери с так и не изданными польскими стихами. Впрочем, немецкая лирика поэтессы при ее жизни тоже почти не публиковалась, ну разве что в антологиях. Тамар Радцинер относилась к сочинительству как к психоанализу ("Так я экономлю деньги на сеансах психоанализа"). Роль психоаналитика играли немецкая грамматика и синтаксис.

Во время Второй мировой войны Тамар Радцинер выжила чудом. В коммунистическую Польшу поверила всей душой: слово "интернационализм" было для нее святым. XX съезд КПСС и антисемитская кампания в Польше поставили крест на ее убеждениях. Вместе с мужем, депутатом сейма, и двумя дочерьми она эмигрировала в Австрию. Там она сменила язык и — как поэт — обрела вторую родину. Стоя в очереди в венской парикмахерской, Тамар Радцинер прочла газетное объявление о том, что столичный театр-кабаре знаменитого музыканта, артиста и драматурга Георга Крайслера ищет тексты для песен. Она послала стихи, и ее пригласили в кабаре. Это был самый счастливый период в ее жизни. Она писала песни, рисовала эскизы декораций, переводила с польского, русского, иврита, идиша. Звездным часом ее поэтической карьеры стало заседание австрийского парламента, на котором были прочитаны вслух три стихотворения из поэтической антологии австрийских поэтов-евреев. Одно из этих стихотворений принадлежало Тамар Радцинер. Две книги поэтессы увидели свет уже после ее смерти. Я прочел стихи Тамар благодаря знакомству в Праге с Асей, варшавским корреспондентом австрийского радио и телевидения. Мы подружились. Стихи Тамар меня глубоко тронули: эмигранты разных стран часто чувствуют родство. Так иногда случается с переводчиками: они находят что-то для себя близкое.

© Yohanna Radzyner, 1999
© Игорь Померанцев. Перевод, вступление, 2009
Редакция благодарит правообладателя за любезно предоставленную возможность безвозмездной публикации стихов Тамар Радцинер на страницах журнала.

Поэзия Тамар Радцинер — это стихи человека, пережившего смерть и описавшего процесс выживания. Если угодно, они — документ, но документ бесценный, к тому же оставленный человеком поэтически одаренным. Стихи из книги "Meine wahre Heimat" ("Моя настоящая родина") публикуются с любезного разрешения дочери Тамар Радцинер — Аси (Йоанны) Радцинер.

Было

Дама разрыдалась,
потому что разбилась
ее детская чашка.

Какая жалость,
сказала я.
Какая жалость.

Молодой чиновник
из муниципалитета
настаивал:
"Ну хоть какой-то
документ в Освенциме
у вас был?"

Господи,
сказала я.
Господи.

Дама вздохнула:
мы тоже, бывало, голодали,
и не в чем было пойти в театр...

Ничего не поделаешь,
была война,
сказала я.
Война.
Когда меня спрашивают,
что же это было,
я не знаю, что ответить.

Снова

Я снова рожаю,
как будто не знаю,
как легко
размозжить
детский череп.

Я снова строю дом,
как будто не знаю,
как можно задохнуться
под его развалинами.

Я снова схожусь с людьми,
как будто не знаю,
как легко
рвутся связи.

Я ничему не научилась.
Я сберегаю надежду
под обломками времени.

Эмигранты

Вечно в бегах, впопыхах,
задыхаясь,
мы приходим,
чтобы хоть на минуту опустить
черные чемоданы
и почувствовать себя людьми.
Но нам суют в руки глобус,
яркий блестящий глобус
из пластмассы
и с лампочкой внутри.
Нас спрашивают:
— Куда вы хотите? Выбирайте.
Вы прибыли из желтой зоны.
В зеленой зоне идет война.
А в розовую вас не зовут...
Других зон у глобуса нет.
— А нет ли у вас другого глобуса,
где нашлось бы крохотное место
перевести дух,

выкурить трубку,
пожмуриться на солнце?
— Да вы просто шутники, —
хохочет чиновник. —
Чего захотели! Другой глобус!
Он похлопывает нас по плечу —
и закрывается на обед.

Муравьи

Маленькие, черные, непоседливые,
они вечно чего-то ищут, гонимые
странным безусловным инстинктом.
Вот они тут.
Мерзкие-премерзкие.

Лично мне они ничего не сделали.
Не причинили зла.
Не вставали на моем пути:
они существуют в других мирах,
в чужих галактиках,
чем-то даже любопытные,
но мерзкие-премерзкие.

Я достаю баллончик с газом
и распыляю смерть,
истребляю, уничтожаю,
искореняю.
Маленькие черные тельца
бьются в судороге,
извиваются и скукоживаются.
На земле царит паника,
кто-то безуспешно спасается бегством,
кто-то героически оттаскивает трупы в сторону.
На неслышимых частотах
звучат стоны и вопли.

Я шагаю
по безжизненным скелетам
и кажусь себе в тысячу раз больше,
потому что у меня в руке смерть.
Я спокоен, я мудр.
Мне немного мерзко.
Я —
Бог муравьев.

Жилище

Я живу на дне
песочных часов.
Здесь мягко,
сонно,
сумрачно.
Песок льется,
моросят крохотные круглые
частицы времени.
Когда я тону в песке с головой,
часы переворачивают.
Воздух оглушает меня,
свет слепит глаза,
жажда жить и отчаяние
на мгновение
разрывают душу.
А после
я возвращаюсь на свое место
на дно песочных часов.

Джонатан Литтелл

Благоволительницы

Фрагменты романа

Перевод с французского А. Лешневской, И. Мельниковой

Посвящается всем погибшим

Токката

ЛЮДИ-БРАТЬЯ[1], позвольте рассказать вам, как это случилось. "Мы вам не братья, – возразите вы, – и знать об этом не хотим". Что ж, вы правы, история, которую я собираюсь рассказать, печальная, но полезная для души – самая настоящая нравоучительная повесть, уверяю вас. Возможно, выйдет длинновато, ведь произошло много событий, но если вы не слишком торопитесь, то, с Божьей помощью, время у вас найдется. К тому же история эта имеет к вам прямое отношение: сами увидите, насколько она касается вас. Только не подумайте, что я пытаюсь убедить вас в чем бы то ни было. В конце концов мнение – личное дело каждого. Если я вознамерился писать, когда прошло уже столько лет, то вовсе не для вас, а чтобы самому во всем этом разобраться. Всю жизнь мы ползаем по земле, как гусеницы, и ждем превращения в ту великолепную, полупрозрачную бабочку, которая живет в каждом из нас. И что же? Время идет, а мы, так и не сделавшись куколкой, остаемся червями. Прискорбный факт, а какой выход? Самоубийство, разуме-

© 2006 by Jonathan Littell
© А. Лешневская. Перевод, 2009 (Гл. "Токката")
© И. Мельникова. Перевод, 2009 (Гл. "Аллеманды I и II")
Полностью роман выйдет в издательстве "Ad Marginem".
1. С этого обращения начинается "Баллада о повешенных" Франсуа Вийона: "Терпимей будьте, братья люди, к нам // Что раньше вас прошли земным путем". Перевод Ю. Б. Корнеева. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. переводчиков.*)

ется. Как вариант. Но лично меня суицид не особенно прельщает. Само собой, я обдумывал различные способы; если бы пришлось наложить на себя руки, я поступил бы следующим образом: прижал гранату к самому сердцу и простился с жизнью под радостный звук мощного взрыва. Маленькую круглую гранату, из которой я сначала аккуратно выдернул бы чеку, а затем отпустил бы спусковую скобу, улыбаясь едва различимому металлическому звону пружины — последнему звуку, который я услышу, не считая пульсации в висках. А после — долгожданное счастье или, на худой конец, покой, и лохмотья, красиво развешанные по стенам кабинета. Прислуга уберет — в конце концов ей за это платят. Однако, как я уже сказал, суицид не особенно меня прельщает. Даже не знаю почему. Наверное, устаревшие морально-философские установки подсказывают мне, что мы здесь не забавы ради. Зачем же тогда? Понятия не имею. Вероятно, чтобы как-то провести отпущенное нам время, чтобы убить его, прежде чем оно убьет нас. Если это так, то не имеет никакого значения, чем занимать досужие часы, — писать или не писать. Не сказал бы, что этих досужих часов у меня особенно много: я занятой человек, обремененный, что называется, семьей и работой, то есть ответственностью. Все это требует времени, так что на воспроизведение прошлого его почти не остается. Хотя воспоминания у меня имеются, и даже в огромном количестве. Я их вырабатываю, как настоящий заводской станок. Я мог бы всю жизнь производить воспоминания, хотя сейчас мне платят все-таки не за это, а за изготовление кружев. Но если начистоту, то с тем же успехом я мог бы вообще ничего не писать. В конце концов это не входит в мои обязанности. Война научила меня сдержанности; слава богу, мне не пришлось сочинять мемуары, как иным моим сослуживцам, ни для того, чтобы доказать свою невиновность — ибо мне не в чем оправдываться, ни из корыстных соображений — я и без того зарабатываю достаточно. Как-то раз я ездил по делам в Германию, где встречался с директором крупного предприятия по производству нижнего белья: хотел поставлять ему кружево. Меня рекомендовали старинные друзья, поэтому нам удалось договориться без лишних вопросов, мы оба знали, какой линии придерживаться. Когда наша беседа, протекавшая, впрочем, весьма конструктивно, подошла к концу, директор предприятия снял с полки книгу и подарил ее мне. Это были мемуары Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, изданные посмертно и озаглавленные "На эшафоте". "Я получил письмо от вдовы Ганса Франка, — объяснил мне собеседник. — Она занималась изданием текста, который ее муж написал после суда, и сама оплатила все типографские издержки. А теперь продает эту книгу, чтобы прокормить детей. Представляете, как бывает? А ведь вдова генерал-губернатора! Я заказал двадцать экземпляров на подарки и предложил всем руководителям отделов на моем предприятии приобрести по книге. Она так трогательно поблагодарила меня в письме. Кстати, вы были с ним знакомы?" Я заверил его, что генерал-губернатора не знал, но книгу прочту с интересом. Коль скоро окажется, что на самом деле Ганса Франка я знал, то чуть позже я непременно расскажу вам об этом, если только хватит смелости и терпения. Но говорить о нем прямо сейчас было бы совершенно бессмысленно. К тому же мемуары оказались на редкость неудачными: бессвязными, плаксивыми и насквозь пропитанными какой-то странной деланой набожностью. Конечно,

мои заметки тоже могут выйти скверными и нескладными, но я постараюсь выражаться четко и ясно; по крайней мере от покаянных тирад вас непременно избавлю. Мне не о чем сожалеть: я делал свою работу, вот и все. Мои семейные перипетии, о которых я, вероятно, тоже вам поведаю, касаются только меня; да, и еще ближе к концу текста я, бесспорно, перегнул палку, но там я уже был слегка не в себе, сознание помутилось, да и мир вокруг зашатался, не один я потерял рассудок, согласитесь. Далее: я в отличие от других не для того пишу, чтобы прокормить мою вдову и детей, отнюдь нет — я и без этого вполне способен удовлетворить их нужды. Если я, наконец, решился писать, то только с одной целью — занять свой досуг, а также — не исключаю такой возможности — чтобы прояснить для вас и для себя самого некоторые темные места. Кроме того, я очень надеюсь, что ведение записей пойдет мне на пользу. Настроение у меня и в самом деле мрачноватое. Во всем виноват, конечно же, запор. Досадное и весьма неприятное затруднение. При этом совершенно мне непривычное. Прежде мне приходилось наведываться в уборную три или четыре раза в день, а теперь я был бы счастлив, если бы мог посещать ее раз в неделю. Пришлось прибегнуть к клизмам. Процедура омерзительная до невозможности, однако эффективная. Простите, что делюсь с вами физиологическими подробностями, но у меня есть право изредка жаловаться. Впрочем, если вы не переносите подобного, лучше вам здесь и остановиться. Я не Ганс Франк — манерности не выношу. Я стремлюсь к точности, в меру своих возможностей. Несмотря на жизненные потрясения, а у меня их было много, я по-прежнему считаю, что человеку для поддержания жизни достаточно дышать, пить, есть, испражняться и искать истину. Остальное необязательно.

Недавно жена принесла в дом черного кота, желая меня порадовать. Моим мнением она, разумеется, предварительно не поинтересовалась. Боялась, наверное, что я откажу наотрез, и решила для верности поставить меня перед фактом. А стоит коту попасть в дом, от него уже не избавиться: дети станут плакать и все такое прочее. Кот между тем оказался на редкость противным. Когда я, желая проявить радушие, пытался его погладить, он удирал на подоконник, откуда таращил на меня свои желтые глаза. Если же я хотел взять его на руки, он выпускал когти. Ночью все было наоборот: он забирался ко мне на грудь, сворачивался клубком и давил меня своей тяжестью. Мне снилось, что я задыхаюсь под грудой камней. Нечто подобное происходит и с моими воспоминаниями. Когда я впервые решил изложить их в письменном виде, я взял отпуск. Вероятно, делать этого не следовало. Впрочем, все шло хорошо: я купил и прочел множество книг по теме, чтобы освежить в памяти происшедшее, начертил схемы состава и структуры вооруженных сил, детально восстановил хронологию событий и т. д. Но из-за этого отпуска у меня вдруг появилось свободное время, и я начал думать. А тут еще осень, мерзкий серый дождь, голые деревья — все это мало-помалу нагоняло тоску. Я понял, что думать вредно.

Да, раньше я в этом сомневался. Коллеги считают меня спокойным, уравновешенным и рассудительным человеком. Разумеется, я спокоен; но незаметно для других голова моя то и дело накаляется, будто кремационная печь. Я говорю, рассуждаю, принимаю решения, как все нормальные люди, но, когда я сижу за барной стойкой и пью любимый коньяк,

мне чудится, что вот-вот у входа появится человек с ружьем и начнет расстреливать посетителей; когда я в театре или в кино, мне мерещится, как граната без чеки катится от одного ряда кресел к другому; а на городской площади в праздничный день я вижу, как вспыхивает начиненный взрывчаткой грузовик, всеобщее послеобеденное веселье превращается в бойню, кровь струится по мостовым, куски мяса повисают на стенах или долетают до перекрестков и приземляются прямо в воскресный суп, я слышу крики и стоны людей с оторванными конечностями, они похожи на насекомых, которым любопытный маленький мальчик отщипнул лапки; выжившие тупеют от растерянности, неестественная тишина налипает на барабанные перепонки, в душах надолго поселяется страх. Спокоен? Еще бы, я спокоен всегда, что бы ни произошло, я не подаю вида, остаюсь невозмутимым, безучастным, как безмолвные фасады зданий в разрушенном городе, как старики на скамейках в парке с их палками и медалями, как лица всплывших утопленников, которых никогда не найдут. Этот страшный покой я не в силах нарушить, даже если очень захочу. Я не из тех, кто скандалит по пустякам, я умею сдерживаться. Но эта невозмутимость удручает даже меня самого. Причем ужаснее всего не те картины, которые я только что нарисовал: подобные фантазии поселились в моем мозгу давным-давно, с самого детства, то есть задолго до того, как в живодерне очутился я сам. В этом смысле война лишь подтвердила, что подобное возможно наяву, и я привык к этим коротеньким сценариям, воспринимаю их как вполне уместный комментарий к бессмысленности бытия. Но дело не в фантазиях. Вредоносным, удручающим оказалось само это занятие — думать. Вы когда-нибудь пытались осмыслить, о чем вы думаете в течение дня? Предметов для размышлений на самом деле не так уж много. Ваши повседневные мысли можно запросто систематизировать: мысли практические или почти неосознаваемые, планирование действий и времени (например: воду для кофе вскипятить до того, как пойти чистить зубы, а бутерброды поставить в духовку — после, потому что они будут готовы быстрее), рабочие проблемы, денежные хлопоты, домашние заботы, сексуальные фантазии. От деталей я вас избавлю. За ужином вы разглядываете стареющее лицо жены, в привлекательности она сильно уступает вашей любовнице, но в остальном вполне вас устраивает — что поделаешь, такова жизнь, поэтому вы обсуждаете последний правительственный кризис. На самом деле на этот кризис вы оба плевать хотели, но о чем же тогда говорить? Отсейте мысли такого рода, и, согласитесь, останется не так уж много. Разумеется, порой вы задумываетесь о другом: пока шла реклама стирального порошка, вы вдруг вспомнили какое-нибудь довоенное танго, скажем "Виолетта", и вот уже вновь плещется река, призывно поблескивают вывески питейных заведений, чувствуется легкий запах пота хохочущей женщины; у входа в парк улыбающееся личико ребенка напоминает вам собственного сына в ту пору, когда он еще не умел ходить; на улице луч света прорвался сквозь облака и осветил крупные листья и белесый ствол платана: и вдруг вы вспомнили, как сами были ребенком, как на перемене играли в школьном дворе в войну, визжа от страха и от счастья одновременно. Вас посетила человеческая мысль. Но подобное случается крайне редко.

Если же взять отпуск, перестать заниматься привычными делами, приостановить ежедневную суету и со всей серьезностью отдаться ка-

кой-то одной мысли, то результат выйдет совершенно иной. Постепенно воспоминания накатывают, словно огромные черные волны. Ночью беспорядочно роятся сны, становясь все разнообразнее и длиннее и оставляя наутро ощущение какой-то липкой горечи. Поймите меня правильно: дело не в угрызениях совести, не в чувстве вины. Они, несомненно, тоже присутствуют, не стану отрицать, но, думаю, в данном случае сложность в другом. Даже тот, кто никогда на войне не был, кому не приходилось убивать, испытывает то, о чем я говорю. Ему на память приходят всевозможные нехорошие поступки: трусость, ложь, мелочность, — в которых повинен любой человек. Неудивительно, что люди придумали работу, алкоголь, пустую болтовню. Неудивительно, что такую популярность приобрело телевидение. Одним словом, со злополучным отпуском я быстро покончил — от греха подальше; а бумагомарательством занимался в обеденное время и вечером, когда уходили секретари, — этого было вполне достаточно.

Я делал перерыв, чтобы прочистить желудок, и сразу же возвращался к своему занятию. Очередная моя беда: время от времени все, что я съел за обедом, подступает к горлу — непосредственно после приема пищи или спустя некоторое время. Просто так, без видимой причины. Я давно этим мучаюсь — с войны; точнее, с осени 1941-го. Все началось, кажется, в Киеве или в Житомире. Об этом я тоже обязательно расскажу. В каком-то смысле я уже привык: чищу зубы, выпиваю рюмочку водки и за работу. Но вернемся к моим записям: я приобрел несколько школьных тетрадей большого формата, но в мелкую клеточку. Храню их в столе, в ящике, который запираю на ключ. Раньше я писал карандашом на карточках из плотной бумаги — тоже в мелкую клеточку. А теперь решил изложить все воспоминания разом. Ума не приложу, зачем я все это делаю. Определенно не в назидание потомкам. Если я внезапно умру, скажем от сердечного приступа или от инсульта, а мои секретари возьмут ключ и откроют этот ящик, как же они, бедняги, будут шокированы! Да и жена: ей-то хватит и моих карточек. Во избежание скандала надо срочно все сжечь. Впрочем, мне все равно — я же умру. В конечном счете пусть я к вам обращаюсь, но пишу я не для вас.

Мой кабинет — просторный, скромно обставленный, спокойный — располагает к писательству. Белые голые стены, шкафчик со стеклянными дверцами для образцов кружева и огромное окно в глубине, из которого виден главный заводской цех: даже двойная рама не спасает от непрерывного стука станков "Ливерс". Когда я хочу о чем-нибудь поразмышлять, я встаю из-за стола, подхожу к окну и сверху разглядываю стройные ряды машин, наблюдаю за уверенными и точными движениями мастеров. Меня это завораживает. Порой я спускаюсь и брожу по цеху. В нем темно, грязные окна выкрашены в синий: нежное кружево боится света. Синеватые отблески успокаивают разум. Мне нравится растворяться в заполняющем собой все пространство монотонном, синкопированном стуке станков, металлическом двухтактном, навязчивом ритме. Эти зеленые чугунные машины, весом в десять тонн каждая, всегда впечатляли меня. Некоторые уже очень старые — станки "Ливерс" перестали производить довольно давно; запасные детали изготовляют специально по моему заказу. После войны паровые приводы заменили на электрические, но сам механизм остался нетронутым. Близко

не подхожу, чтобы не испачкаться: такое количество непрерывно двигающихся железных элементов нуждается в смазке, но масло привело бы кружево в негодность, поэтому используют графит. Измельченный графит кладут в обычный носок, и станочник, размахивая этим носком, как кадилом, опыляет рабочие части машины. Кружево становится черным, а графит оседает повсюду: на стенах, на полу, на машинах и на управляющих ими людях. Я нечасто притрагиваюсь к станкам, но очень хорошо знаю, как они устроены. Первые тюлевые станки, конструкция которых хранилась в секрете, попали во Францию контрабандным путем сразу после наполеоновских войн. Их привезли английские мастера, не желавшие платить таможенные сборы. А уже после один лионец — Жаккард — приспособил тюлевый станок для производства кружев, установив в него ряд перфорированных картонок, отверстия которых определяют узор кружева. В самом низу машины расположены длинные цилиндры — на них намотаны нити, из которых производится кружево; *душа* станка — двадцать пять тысяч бобин, умещающихся в подвижную каретку; *кэтч-бар* (во французском языке сохранились отдельные английские термины) раскачивает эту каретку вперед-назад с завораживающим пощелкиванием. Нити в буквальном смысле слова ведомые медными *чесалками*, припаянными на свинец, переплетаются в узелки в соответствии со сложным хореографическим рисунком, выбитым на пяти или шести тысячах жаккардовых картонок; *прижимная скоба* поднимает чесалку. Наконец, появляется тонкое, как паутина, перепачканное графитом кружево и медленно наматывается на барабан, установленный на самом верху станка "Ливерс".

Производство строго разделено по половому признаку: мужчины создают узоры, прокалывают картонки, натягивают нити основы кружева, наблюдают за работой станков и управляют механизмами, снабжающими станки нитью; их жены и дочери и сегодня по-прежнему именуются мотальщицами, штопальщицами, щипальщицами, деграфитажницами, складальщицами. Традиции сильны. Во Франции те, кто работает с кружевами, составляют, так сказать, аристократическую прослойку пролетариата. Учиться приходится долго, да и работа тонкая; в прошлом веке тюльщики из Кале приезжали на завод в каретах и, приподнимая цилиндр, обращались к начальнику на "ты". Времена изменились. В период оккупации несколько фабрик работали на Германию, но все же война разорила кружевное производство. Нужно было все начинать с нуля. Сегодня на севере Франции остались не более трехсот станков, причем на тех заводах, где до войны их насчитывалось около четырех тысяч. Тем не менее, когда в стране поднимали экономику, владельцы кружевных фабрик обзаводились автомобилями раньше других предпринимателей. Впрочем, мои работники на "ты" ко мне не обращаются. Не думаю, чтобы я им нравился. Ничего страшного: я и не прошу их любить меня. Я сам их не люблю. Мы вместе работаем, вот и все. Если работник старательный и ответственно относится к делу, а кружево на его станке редко требует дополнительной обработки, в конце года я выписываю ему премию; ну а того, кто приходит на работу с опозданием или в нетрезвом виде, я наказываю. На таких условиях мы отлично ладим друг с другом.

Сдается мне, вы хотите узнать, как я оказался на кружевной фабрике. Что ж, должен заметить, я не обнаруживал наклонностей к предпри-

нимательству. Образование я получил юридическое, окончил факультет политической экономии, стал доктором права. В Германии к моему имени на законных основаниях приписывают "Dr. jur."[1]. Однако на исходе 1945-го некоторые обстоятельства помешали мне работать по специальности. Ну а если вы и в самом деле хотите знать все, то скажу, что к юриспруденции я расположен не более, чем к предпринимательству: в молодости мне больше всего хотелось изучать литературу и философию. Но мне не позволили — еще один печальный эпизод из моего *семейного романа*, к которому я, может быть, еще вернусь. Тем не менее придется признать, что в кружевном деле юридическая грамотность куда полезнее литературы. Вот примерно так обстояли дела. Когда же война наконец завершилась, мне удалось перебраться во Францию и выдать себя за француза; это было не так уж трудно: в то время здесь царил самый настоящий хаос. Я прибыл вместе с другими французами, которые по разным причинам были высланы из страны во время войны, поэтому мне задавали мало вопросов. Французским я владел в совершенстве — моя мать была француженкой, да и детство мое прошло во Франции, мы жили здесь десять лет: я ходил в школу, в лицей, готовился к поступлению в университет и даже два года отучился в парижской Свободной школе политических наук[2]. Вырос я на юге Франции и мог запросто говорить с легким средиземноморским акцентом — да только в творившемся на Кэ д'Орсэ[3] бардаке никто не обращал на меня внимания; прием мне оказали отнюдь не ласковый, даже всячески оскорбляли: дело в том, что я выдавал себя не просто за высланного из страны, а за отправленного отбывать трудовую повинность[4]. Такие им, голлистам, не нравились особенно, так что мне сделали строгий выговор, да и другим бедолагам досталось. Потом нас отпустили, лишив "Лютеции"[5], но предоставив полную свободу. В Париже я не остался: там было слишком много знакомых, причем как раз таких, с кем дело иметь не следовало, так что я поселился в глуши и перебивался мелкими заработками. Вскоре стало поспокойней. Сначала кончили расстреливать, затем им надоело и сажать за решетку. Тогда я навел справки и нашел одного знакомого; он неплохо устроился, без затруднений переходил из одной администрации в другую. Будучи человеком предусмотрительным, он тщательно скрывал, что оказывает нам определенные услуги. Первое время он не хотел меня принимать, но, когда наконец понял, кто я, сразу же уяснил, что выбора у него фактически нет. Наш разговор я не назвал бы приятным: мой собеседник определенно чувствовал себя неловко и держался принужденно. Все же он сознавал, что интересы у нас общие: мне нужно было найти работу, ему — не потерять свою. Он отправил меня на север страны к своему родственнику, престарелому ко-

1. Доктор права (*нем.*).
2. Высшее учебное заведение, основанное в 1872 г., на базе которого был создан современный Парижский институт политических наук.
3. Набережная в Париже, где находится МИД Франции.
4. Имеется в виду "обязательная трудовая повинность" (STO — service du travail obligatoire) — насильственная мобилизация французских специалистов для работы на Германию, установленная в 1942 г. правительством Виши.
5. "Лютеция" — отель класса люкс на бульваре Распай в Париже. В период оккупации здесь располагался штаб германской военной разведки и контрразведки, а после войны номера отеля были предоставлены возвращающимся в страну французам.

миссионеру, который пытался возобновить производство на небольшой кружевной фабрике с тремя станками "Ливерс", доставшимися ему от одной разорившейся вдовы. Этот человек принял меня на работу. Я должен был ездить по стране и искать покупателей на его кружева. Такая беготня раздражала меня чрезвычайно; в конце концов мне удалось убедить его, что я мог бы принести больше пользы как организатор. У меня в самом деле имелся ценнейший опыт в этой области, пусть и толку от него было не больше, чем от докторской степени. Фабрика расширилась, особенно в начале 50-х, когда через моих знакомых в ФРГ нам удалось выйти на немецкий рынок. Тогда я мог беспрепятственно вернуться в Германию: большинство моих бывших коллег жили и работали там совершенно спокойно, иные отбыли небольшие сроки наказания, в отношении других даже не проводилось следствие. С моим образованием мне бы не составило труда восстановить имя, докторскую степень; как участник войны, частично утративший трудоспособность, я подал бы запрос на пенсию и быстро нашел бы работу — никто бы даже внимания не обратил. "Но какой мне интерес?" — рассуждал я. В сущности, право привлекало меня не больше торговли, к тому же я только вошел во вкус: меня восхищало кружево — это изящное творение рук человеческих. Когда мы выкупили достаточное количество станков, начальник решил открыть второй завод, руководить которым поручил мне. С тех пор я и занимаю эту должность, дожидаясь пенсии. Тем временем я успел жениться, не без некоторого отвращения, не скрою, но здесь, на севере, брак — скорее необходимость: своеобразный способ упрочить положение в обществе. Я выбрал женщину из хорошей семьи, благовоспитанную, недурную собой и безотлагательно сделал ей ребенка, чтобы поскорее чем-нибудь ее занять. К несчастью, у нее родилась двойня, — дурная наследственность, наверное (я имею в виду наследственность по моей линии), — тогда как я предпочел бы ограничиться одним отпрыском. Начальник ссудил мне денег, и я купил комфортабельный дом у моря. Так я пополнил стройные ряды буржуазии. Во всяком случае этот путь был лучшим. После всех потрясений я особенно нуждался в покое и стабильности. Колесо жизни перемололо мои детские мечты, а мои страхи пожрали сами себя, пока оно катилось из одного конца немецкой Европы в другой. Война опустошила меня, только горечь и глубокий стыд скрежетали на зубах, словно песок. Вот почему мне понадобилось привести жизнь в соответствие со всеми социальными условностями — я хотел создать уютную оболочку, несмотря на всю иронию, а подчас и ненависть, с которой я к ней относился. Ведя такой образ жизни, я надеюсь когда-нибудь обрести душевный покой, как Херонимо Надаль[1], и *иметь один-единственный предмет привязанности – ничто.* Так я порой выражаюсь по-книжному — один из моих недостатков. Увы, со святостью придется подождать: я еще не все потребности удовлетворил. Время от времени, дабы гарантировать мир в семье, я добросовестно исполняю супружеский долг. Не скажу, чтобы это доставляло мне удовольствие, но и отвращения не вызывает. Изредка в командировках я даю волю моим прежним наклонностям; но теперь в большей степе-

1. Херонимо Надаль (1507–1580) — один из первых десяти иезуитов; проиллюстрировал Евангелие.

ни, так сказать, из гигиенических соображений. Интерес ко всему подобному в значительной степени иссяк, и сейчас, когда я смотрю на красивое мужское тело или на какую-нибудь статую Микеланджело, дыхание не перехватывает. Как будто после долгой болезни я перестал ощущать вкус пищи; посему нет никакой разницы, что́ есть: курицу или говядину. Нужно питаться — и точка. Признаться, мало к чему я отношусь с прежним интересом. Разве что к литературе, хотя читаю скорее по привычке. А воспоминания эти пишу затем, чтобы разбередить старые раны и проверить, способен ли я еще хоть что-нибудь чувствовать, хоть немного страдать. Забавное упражнение.

И все же мне следовало бы признать, что я страдал. Каждый европеец моего поколения прошел через войну, но без ложной скромности заявлю: я насмотрелся больше многих. Вдобавок изо дня в день я все больше убеждаюсь в том, как коротка человеческая память. Даже те, кто там были, говорят об этом избитыми фразами, высказывают готовые, чужие мысли. Достаточно обратиться к плаксивой прозе немецких авторов, пишущих о военных действиях на Восточном фронте: загнивший сентиментализм, мертвый, отвратительный язык. К примеру, пользующиеся в последнее время популярностью сочинения господина Пауля Каррелла[1], с которым, как оказалось, я даже успел познакомиться. Случилось это в Венгрии, когда его еще звали Пауль Карл Шмидт и когда он с благословения Риббентропа писал то, что в действительности думал, выражаясь энергичными и эффектными фразами: "Еврейский вопрос не имеет отношения ни к гуманизму, ни к религии, а только и исключительно — к политической гигиене". На сегодняшний день достопочтенному господину Карреллу-Шмидту удалось совершить выдающийся подвиг: выпустить в свет четыре скучнейших тома о войне в Советском Союзе, ни разу не употребив слова "еврей". Знаю точно, потому как прочел все четыре: было трудно, но я упертый. Наши французские авторы, все эти Мабиры[2] и прочие подобного толка, ничуть не лучше. Да и коммунистические сочинения написаны в той же манере, только с противоположной точки зрения. Куда же подевались те, кто пел: "Ребята, точите ножи о бордюры"? Они молчат или умерли. А мы болтаем, жеманничаем, вязнем в пресном торфе перегнивших слов: *слава, честь, героизм* — это так утомительно, что все молчат. Возможно, я ошибаюсь, но, смею надеяться, вы меня понимаете. Телевидение обрушивает на нас цифры (и цифры впечатляющие), выстраивая в линию нули. Но кто из вас хоть однажды задумывался по-настоящему об этих цифрах? Кто из вас хоть раз попытался сосчитать всех тех, с кем познакомился за свою жизнь, и сравнить эту смехотворную цифру с доносящимися из телевизора, набившими оскомину *шестью* или *двадцатью миллионами*. Давайте посчитаем. Математика — полезная штука: позволяет по-иному взглянуть на ситуацию и упорядочивает мысли. Из подобных упражнений можно извлечь весьма ценные сведения. Ну, запасайтесь терпением и будьте внимательны. Я коснусь только двух театров воен-

1. Пауль Каррелл, урожденный Пауль Карл Шмидт (1911–1997) — секретарь Риббентропа. После Второй мировой войны стал успешным писателем.
2. Жан Мабир (1927–2006) — французский писатель и журналист, придерживавшийся крайне правых взглядов. Много писал на темы военной истории, в частности о деятельности СС.

ных действий, где мне довелось сыграть роль, пусть даже самую незначительную: война с Советским Союзом и программа уничтожения; в официальных документах обозначенная как "Окончательное решение еврейского вопроса" — *Endlösung der Judenfrage* (чтобы процитировать этот прекрасный эвфемизм). На Западных фронтах, как ни крути, потери остаются относительно небольшими. Мои исходные цифры будут спорными, но у меня нет выбора: единого мнения на этот счет до сих пор не выработали. Касательно совокупных потерь советской стороны, я придерживаюсь традиционной цифры, объявленной Хрущевым в 1956 году: двадцать миллионов, — не забывая при этом, что известный английский ученый Рейтлингер[1] сводит потери советской стороны к двенадцати миллионам; а не менее (если не более) известный шотландский ученый Эриксон пишет, что погибло как минимум двадцать шесть миллионов. Таким образом, официальные данные Советского Союза можно считать приемлемым компромиссом (с погрешностью в миллион) между двумя цифрами европейских ученых. Относительно немецкой стороны: если учитывать потери только на территории СССР, то можно воспользоваться еще более официальными и по-немецки точными данными: 6 172 373 погибших солдата на Восточном фронте с 22 июня 1941 года по 31 марта 1945-го, — именно такие сведения содержатся во внутреннем отчете ОКН[2], найденном после войны. Однако в это число входят и погибшие (больше миллиона), и раненые (более четырех миллионов), и пропавшие без вести (погибшие плюс пленные плюс умершие в плену — примерно 1 288 000 человек). Для краткости остановимся на двух миллионах погибших — раненые в данном случае нас не интересуют — и прибавим к ним примерно пятьдесят тысяч человек, умерших с 1 апреля по 8 мая 1945 года, главным образом в Берлине, к чему нужно присовокупить еще миллион — потери среди гражданского населения во время наступления на Восточную Германию и последовавших за ним перемещений этого населения. Итого, скажем, три миллиона. Что до евреев, тут у нас есть выбор: согласно общепринятым данным — хоть и мало кто знает, откуда эта цифра взялась, — погибло шесть миллионов евреев (во время Нюрнбергского процесса Хёттль сообщил, что эту цифру назвал Эйхман; однако Вислицени[3], в свою очередь, заявил, что коллегам Эйхман говорил о пяти миллионах; сам же Эйхман, когда евреи наконец смогли спросить его об этом лично, ответил, что число погибших больше пяти и меньше шести миллионов, то есть пять миллионов точно). Д-р Корхер[4], составлявший статистические отчеты для рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, на 31 декабря 1943 года насчитал менее двух миллионов погибших, однако, когда мне в 1943 году удалось обсудить с ним эти данные, признал, что его предварительные рас-

1. Джеральд Рейтлингер (1900—1978) — английский ученый, специалист по Холокосту.
2. ОКН (Oberkommando des Heeres) — Главное командование сухопутных войск (*нем.*).
3. Вильгельм Хёттль (1915—1999) родился в Австрии, был офицером СС, служил в нацистской внешней разведке, о чем написал серию книг. Адольф Эйхман (1906—1962) заведовал отделом гестапо IV-B-4, отвечавшим за "окончательное решение еврейского вопроса". Дитер Вислицени (1912—1948) — штурмбаннфюрер СС, работал под руководством Адольфа Эйхмана в Центральном имперском управлении по делам еврейской эмиграции. Занимался в Венгрии, Словакии и Греции поиском выгодных сделок в обмен на освобождение евреев. Был повешен в Братиславе.
4. Рихард Корхер (1903—?) — инспектор по статистике в ведомстве Гиммлера, составивший для него в 1943 г. доклад "Об окончательном решении еврейского вопроса".

четы мало соответствовали действительности. Наконец, весьма уважаемый профессор Хильберг[1], специалист по Холокосту, которого трудно заподозрить в предвзятости (по крайней мере, в сочувствии Германии), сжато изложив свои доводы на девятнадцати страницах, называет цифру 5 100 000, что в целом соответствует мнению покойного оберштурмбаннфюрера Эйхмана. Что ж, тогда остановимся на результате профессора Хильберга и подведем итог:

Потери советской стороны	20 миллионов
Потери немецкой стороны	3 миллиона
Всего (война на Восточном фронте)	23 миллиона
Endlösung	5,1 миллиона
Итого	26,6 миллиона, учитывая, что 1,5 миллиона евреев названы погибшими гражданами Советского Союза ("Советские люди, убитые немецко-фашистскими оккупантами"[2], как сдержанно сообщает надпись на замечательном монументе в Киеве).

Теперь займемся математикой. Военный конфликт с Советским Союзом начался 22 июня 1941 года в три часа утра и закончился (официально) 8 мая 1945 года в 23 часа 01 минуту, что составляет три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту, то есть — для ровного счета — 46,5 месяца, 202,42 недели, 1 417 дней, 34 004 часа, или 2 040 241 минуту (учитывая дополнительную минуту). Так называемая программа "Окончательного решения" укладывается в эти же сроки: ранее никаких специальных решений не принималось, убийства не носили системного характера, то есть потери еврейской стороны были случайными. Ну а теперь поиграем полученными цифрами. Итак, потери немецкой стороны составили 64 516 человек в месяц, то есть 14 821 человек в неделю, 88 человек в час, 1,47 человека в минуту — столько людей в среднем погибало каждую минуту каждого часа каждого дня каждой недели каждого месяца каждого года на протяжении трех лет, десяти месяцев, шестнадцати дней, двадцати часов и одной минуты. Потери среди евреев, в том числе граждан Советского Союза, составили в среднем 109 677 человек в месяц, 25 195 человек в неделю, 3 599 человек в день, 150 человек в час, 2,5 человека в минуту за тот же период. Наконец, потери советской стороны: здесь у нас погибало около 430 108 человек в месяц, 98 804 человека в неделю, 14 114 человек в день, 588 человек в час или же 9,8 человека в минуту — период тот же. Средние показатели для рассматриваемых мной групп в сумме дадут следующие цифры: 572 043 смерти в месяц, 131 410 смертей в неделю, 18 772 смерти в день, 782

1. Рауль Хильберг (1926–2007) — американский историк, виднейший историограф Холокоста.
2. В действительности надпись на памятнике (открыт 2 июля 1976) гласит: "Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру".

смерти в час и 13,04 смерти в минуту — каждую минуту каждого часа каждого дня каждой недели каждого месяца каждого года на протяжении рассматриваемого периода, длившегося — напоминаю — три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту. И пусть те, кого смешила та самая дополнительная минута, которую я и в самом деле учел из педантизма, примут во внимание, что речь идет о 13,04 погибших (и это усредненный показатель), пусть представят себе, если смогут, как тринадцать близких им людей погибают разом за одну минуту. Кроме того, можно вычислить временной интервал между каждой смертью. Тогда получится, что один немец погибал каждые 40,8 секунды, один еврей — каждые 24 секунды, один большевик (в том числе еврей, являющийся гражданином Советского Союза) — каждые 6,12 секунды. Если суммировать эти показатели, окажется, что в течение всего обозначенного выше периода каждые 4,6 секунды погибал один человек. Теперь, опираясь на эти цифры, вы легко можете пустить в ход воображение. Вооружитесь для наглядности часами и отсчитывайте одну, две, три смерти и т. д. каждые 4,6 секунды (или каждые 6,12 секунды, или каждые 24 секунды, или каждые 40,8 секунды, если у вас есть определенные предпочтения). Постарайтесь представить себе, как они падают рядами у ваших ног — первый, второй, третий убитый. Кстати, отличное упражнение для медитации, вот увидите. Или выберите любую другую впечатлившую вас катастрофу, из недавних, и проведите сравнительный анализ. Например, если вы француз, поразмышляйте о жалкой алжирской авантюре, обернувшейся трагедией для ваших соотечественников. В Алжире вы потеряли 25 000 человек за семь лет, в том числе из-за несчастных случаев. То есть чуть меньше, чем погибало в течение одного дня и тринадцати часов на Восточном фронте, или примерно столько же, сколько евреев — за семь часов. По понятным причинам я не учитываю потери алжирцев: ни в книгах, ни в телепередачах вы, позволю себе заметить, никогда не заводите о них разговора, следовательно, эти люди значат для вас немного. Между тем за одного погибшего француза вы убивали десять алжирцев. Славно потрудились, даже с нами не сравнить. На этом я заканчиваю, продолжать можно было бы долго, но предлагаю вам сделать это самостоятельно и не останавливаться до тех пор, пока земля не уйдет из-под ног. Я в подобных упражнениях не нуждаюсь: с давних пор мысль о смерти мне *ближе, чем вена на шее*, если воспользоваться замечательным выражением из Корана. Заставьте меня плакать, и мои слезы прольются серной кислотой на ваши лица.

Вывод из всего этого, если вы позволите мне еще одну — последнюю, обещаю вам! — цитату, будет, выражаясь прекрасными словами Софокла, следующий: "Не родиться совсем — удел лучший"[1]. Да и Шопенгауэр писал, пожалуй, о том же: "Лучше, чтобы не было ничего. В силу того, что на земле больше страдания, чем удовольствий, всякое счастье преходяще, оно лишь пробуждает новые желания, и агония пожираемой твари грандиознее удовольствия пожирателя". Да, знаю, это уже две цитаты, но идея одна: на самом деле, мы живем в худшем из миров. Конечно, война кончилась. Урок мы усвоили, такое больше не повторится. Но разве вы и впрямь твер-

1. Софокл. Эдип в Колоне, 1270. Перевод С. Шервинского.

до верите, что урок усвоен? Разве точно знаете, что такое не повторится? И даже не сомневаетесь, что война закончилась? В некотором смысле война не кончается никогда. Ведь прекратится она только тогда, когда последний ребенок, родившийся в последний день ее сражений, благополучно окончит свои дни, но и тогда война продолжится — в его детях, в детях их детей — до тех пор, пока хоть немного не растратится полученное от предыдущих эпох наследство, не сотрутся воспоминания, не утихнет боль, пусть даже к тому моменту все будет напрочь забыто и отнесено к разряду преданий старины глубокой, которыми не испугаешь детей, а уж тем более детей погибших или тех, кто хотел бы ими — погибшими то есть — стать.

Догадываюсь, о чем вы думаете: "Вот нехороший человек, — говорите вы себе, — злодей, и вообще отвратительный во всех отношениях тип, которому следовало бы гнить в тюрьме, вместо того чтобы изливать на наши головы путаные философствования частично раскаявшегося фашиста". Относительно фашиста — попрошу не смешивать понятия; касательно уголовной ответственности — не стоит судить заранее: я еще не рассказал мою историю; а вот по поводу моральной ответственности позвольте поделиться некоторыми соображениями. Политические философы часто указывали на то, что во время войны гражданин (лицо мужского пола, по крайней мере) теряет одно их самых естественных своих прав — право на жизнь, так повелось со времен Великой французской революции и повсеместного внедрения переписи населения, и теперь эту точку зрения разделяют во всем мире, или почти во всем. Однако те же философы крайне редко обращали внимание на то, что этот гражданин одновременно теряет и другое право, столь же естественное и для него, возможно, еще более важное, ибо касается его представлений о себе как о цивилизованном человеке, — право не убивать. Ведь никто не спрашивает, как относитесь к этому лично вы. Человек, стоящий с ружьем у расстрельного рва, в большинстве случаев оказался там столь же случайно, как и тот, что умер — или умирает — на дне этого самого рва. Вы возразите: мол, убить на войне другого солдата не то же самое, что убить безоружного гражданского; законы войны и нравственности позволяют первое, но не второе. Для абстрактных рассуждений ваш аргумент, конечно, хорош, но он никак не удовлетворяет тем условиям, в которых проходил рассматриваемый конфликт. Совершенно произвольное различие, установленное после войны между, с одной стороны, "военными операциями", как в любом другом военном конфликте, и с другой — "зверствами", которые вершили садисты и маньяки, является не чем иным — и я намерен доказать это впоследствии, — как выдумкой, которой успокаивали себя победители, причем победители западные, хотел бы я уточнить, ибо в Советском Союзе, несмотря на господствовавшую там риторику, всегда прекрасно понимали, что происходит: после мая 1945-го и всех приличествующих случаю жестов в сторону союзников Сталин вовсю потешался над иллюзорной "справедливостью", он хотел жестких мер, конкретных действий, рабов и расходного материала, чтобы восстанавливать и строить заново, без каких-либо угрызений совести и жалоб, так как знал не хуже нас, что, во-первых, покойники не слышат рыданий, а во-вторых, из угрызений совести суп не сваришь. Я не намерен ссылаться на Befehlsnotstand — поправку на "крайнюю необходимость подчиняться приказу", которую столь умело используют наши находчивые немецкие адвокаты. Все, что я сделал, я делал осознан-

но, думая, что выполняю свой долг, что моя работа важна и нужна, какой бы отвратительной и презренной она ни казалась. Для тотальной войны характерно еще и то, что понятие "гражданский" перестает существовать, разница между брошенным в газовую камеру или расстрелянным еврейским ребенком и немецким ребенком, погибшим под зажигательными бомбами, только в средствах, которыми они уничтожены; две эти смерти одинаково напрасны, ни одна из двух не сократила войну даже на секунду, но в обоих случаях человек или люди, убившие этих детей, верили, что это справедливо и нужно; если они ошиблись, кого винить? Вышесказанное верно, даже если мы искусственно отделим войну от того, что еврейский адвокат Лемпкин окрестил геноцидом, не забывая при этом, что по крайней мере в наш век геноцид имел место только во время войны, что вне войны геноцида не существует и что, как и война, геноцид — феномен коллективный. Современный геноцид — это процесс, затрагивающий народ, организованный народом и происходящий в интересах народа. Кроме того, в рассматриваемом нами случае этот процесс поделен на сегменты за счет применения индустриальных методов. Так же как у Маркса, работник отчужден от продукта собственного труда, в геноциде или в тотальной войне в ее современной форме исполнитель отчужден от продукта своей деятельности. Отчуждение происходит даже в том случае, когда человек приставляет ружье к голове другого человека и спускает курок. По той причине, что жертву привели сюда другие люди, третьи люди решили, что жертва должна умереть, и человек, держащий ружье, знает, что он всего лишь последнее звено очень длинной цепи и что он должен задавать себе не больше вопросов, чем солдат какого-нибудь расстрельного подразделения, которое в обычной гражданской жизни приводит в исполнение приговоры, вынесенные в полном соответствии с законом. Человек с ружьем знает, что ему совершенно случайно выпало стрелять, а его товарищу — держать веревку, а третьему — сидеть за рулем грузовика. Самое большее, что можно было бы попытаться сделать, — поменяться местами с охранником или с шофером. Другой пример — уже не из личного опыта, а из обширной исторической литературы — немецкая программа экстерминации людей с тяжелыми физическими и психическими болезнями, так называемая программа "Эвтаназия" или "Т-4"[1], приведенная в исполнение за два года до программы "Окончательного решения". В полном соответствии с официальным постановлением профессиональные медсестры на законных основаниях отбирали больных и отправляли в специальное здание, где их регистрировали и раздевали; врачи этих больных осматривали и препровождали в камеру; рабочий подавал газ; кто-то еще очищал помещение; полицейский выписывал свидетельство о смерти. Когда после войны медсестру, врача и рабочего допрашивали, каждый из них недоумевал: "В чем я виноват?" Медсестра никого не убивала, она только раздевала и успокаивала больных, то есть выполняла свои непосредственные профессиональные обязанности. Врач тоже не убивал, он только подтвердил диагноз, соответствующий тем критериям, которые установили в других

1. Кодовое наименование нацистского Национального координационного совета по терапевтическим и медицинским учреждениям, который находился в Берлине на Тиргартенштрассе, 4. Только за 1939–1941 гг. более 50 000 заключенных были умерщвлены в газовых камерах или с помощью смертельных инъекций.

инстанциях. Работник, открывший кран подачи газа, — тот, кто находился ближе всего к убийству во времени и в пространстве, — осуществлял техническую функцию под контролем начальства и врачей. Уборщики, освобождавшие камеру, выполняли важное (и к тому же весьма неприятное) задание — производили санацию помещения. Полицейский занимался своим делом — регистрировал смерть и отмечал, что при ее наступлении не имело места нарушение действующих законов. Кто же тогда виноват? Все или никто? Почему рабочий, приставленный к газовому крану, виноват больше, нежели работник, приписанный к котельной, почему больше, чем садовник или шофер? То же самое относится к каждой операции этой масштабной кампании. Например, стрелочник на железнодорожных путях, виноват ли он в смерти евреев, которых он направил в лагерь? Этот рабочий — государственный служащий, он двадцать лет занимается одним и тем же: задает направление поездам, как указано в плане, — и он не обязан знать, что́ перевозят в вагонах. Не его вина, если этих евреев из пункта А транспортируют через его стрелку в пункт Б, где их убивают. Тем не менее этот железнодорожный диспетчер сыграл решающую роль в истреблении евреев: без него поезд с евреями не достиг бы пункта Б. То же относится к служащему, в чьи обязанности входило изымать принадлежащие частным лицам квартиры, чтобы разместить в них людей, пострадавших от бомбардировок, к наборщику, печатавшему уведомления о депортации, к поставщику, продававшему СС бетон и колючую проволоку, к унтер-офицеру интендантской службы, снабжавшему бензином оперативные группы, а также к Всевышнему, который допустил все это. Разумеется, не составит труда с относительной точностью определить уровни уголовной ответственности, которые позволили бы одним — понести наказание, другим — самим разбираться с собственной совестью, по крайней мере тем немногим, у кого она есть. Провести подобное ранжирование тем легче, что законы мы пишем постфактум, как в Нюрнберге. Но даже там происходило черт знает что. Почему Штрейхера, этого жалкого крестьянина, повесили, а злодея фон дем Бах-Целевски — нет? Почему моего начальника Рудольфа Брандта повесили, а его начальника Вольфа — нет? Почему министра Фрика повесили, а его подчиненного Штукарта[1], который, собственно, всю работу и делал, — нет? Повезло этому Штукарту, он пачкал руки исключительно чернилами, кровью так и не довелось. Еще раз для ясности: я не пытаюсь снять с себя вину за содеянное. Я виноват, вы — нет, прекрасно. Но все же у вас должна быть возможность сказать себе, что на моем месте вы сделали бы то же самое. Возможно, вы прилагали бы меньше усилий, но при этом не вели бы себя столь отчаянно, — так или иначе вы сделали бы то же, что и я. Думаю, позволительно

1. Юлиус Штрейхер (1885–1946) — гауляйтер Франконии, главный редактор антисемитской газеты "Штурмовик" (Der Stürmer), идеолог расизма. Казнен по приговору Нюрнбергского трибунала за антисемитскую пропаганду и призывы к геноциду. Эрих фон Бах (1899–1972) — обергруппенфюрер СС и генерал войск СС и полиции. Рудольф Брандт (1909–1948) — офицер СС, юрист, личный консультант Гиммлера по юридическим вопросам. Карл Фридрих Отто Вольф (1900–1984) — руководил перевозкой евреев из Варшавы в Треблинку в 1942 г., всего по его приказу уничтожено 300 тыс. человек, ближайший соратник Гиммлера. Доктор Вильгельм Фрик (1877–1946) — деятель нацистского режима, юрист, кадровый полицейский, министр внутренних дел в 1933–1943 гг. Вильгельм Штукарт (1902–1953) — член нацистской партии, статс-секретарь Министерства внутренних дел нацистской Германии.

считать фактом, установленным современной историей, что под давлением конкретных обстоятельств каждый (или почти каждый) делает то, что ему говорят; и, к сожалению, маловероятно, что вы станете исключением — так же, как и я. Если вы родились в такой стране и в то время, когда никто не только не придет и не убьет вашу жену, ваших детей, но и не потребует от вас убить жен и детей ваших соседей, благословите Бога и ступайте с миром. Но никогда не забывайте о том, что, будучи — возможно — удачливей, вы ничем не лучше меня. Ибо как только вы возымеете дерзость думать иначе, ждите беды. Все мы не без удовольствия противопоставляем государство (тоталитарное или нетоталитарное) обычному человеку (клопу или тростнику). Правда, при этом мы забываем, что государство состоит из людей в большей или меньшей степени заурядных и у каждого своя жизнь, своя история, свой набор случайностей, вследствие которых этот человек держит ружье или составляет бумаги, а его соседи оказываются под дулом этого ружья или их участь зависит от составленной бумаги. В подобных случаях очень редко удается повлиять на ход событий, а значит, рассуждать о каких-то там наклонностях бесполезно. В подавляющем большинстве случаев жертва умирает не потому, что она добрая, а палач убивает не потому, что он злой. Было бы наивно так думать, и для того чтобы в этом убедиться, достаточно столкнуться с бюрократией где угодно, даже в Красном Кресте. Впрочем, Сталин потрудился предоставить нам нагляднейший пример той идеи, которую я продвигаю, каждое поколение палачей превращая в жертв следующего и при этом никогда не испытывая недостатка в палачах. Иначе говоря, государственная машина состоит из того же песка, который она — крупинку за крупинкой — перемалывает. Государство существует потому, что его существование одобряют все, даже — и нередко вплоть до последней минуты — его жертвы. Без таких, как Гёсс, Эйхман, Гоглидзе[1], Вышинский, но и без стрелочников на железнодорожных путях, производителей бетона и бухгалтеров в министерствах какой-нибудь Сталин или Гитлер — лишь раздутые от ненависти и бессильного страха бурдюки. Теперь уже ни для кого не секрет, что подавляющее большинство руководителей процесса экстерминации были нормальными людьми и не имели садистских наклонностей. Нет, разумеется, как и на любой войне, здесь тоже встречались садисты и помешанные, и они совершали зверства, которым нет названия. Это правда. Как правда и то, что в СС могли бы усилить контроль за своими людьми, кстати, для этого там делали больше, чем принято считать; а контролировать солдат не так уж просто — спросите французских генералов; думаете, в Алжире пьяницы, насильники и убийцы офицеров доставляли им мало хлопот? Однако дело не в ненормальных, они есть везде и всегда. Наши тихие пригороды кишат педофилами и психопатами, наши ночлежные дома — одержимыми манией величия; иные и в самом деле представляют собой проблему: они убивают одного, двоих, троих, порой пятьдесят человек, а потом то самое государство, которое во время какой-нибудь войны без малейших колебаний воспользовалось бы ими, давит их, словно напившихся крови комаров. Но эти больные люди — сущая без-

1. Рудольф Франц Фердинанд Гёсс (1900–1947) — комендант Освенцима в 1940–1943 гг., оберштурмбаннфюрер СС. Серго Гоглидзе (1901–1953) — грузинский чекист, один из организаторов массовых репрессий.

делица по сравнению с обычными людьми, из которых состоит государство и которые по-настоящему опасны, что становится особенно очевидным в нестабильные времена. На самом деле человечеству угрожаем я и вы. И если вы все еще сомневаетесь в этом, дальше читать бесполезно. Вы ничего не поймете и только разозлитесь, а пользы не будет ни вам, ни мне.

Как большинство людей, я никогда не хотел стать убийцей. Была бы возможность, я, как уже говорил, занялся бы литературой. Будь я достаточно талантлив, стал бы писателем, в противном случае преподавал бы; сделал бы все что угодно, только бы спокойно жить среди красоты, среди лучших творений человеческой воли. Кто, кроме какого-нибудь ненормального, сознательно встанет на путь преступления? И потом, я хотел бы играть на фортепиано. Как-то раз, на концерте, одна пожилая женщина наклонилась ко мне и спросила: "Вы случайно не пианист?" С болью в сердце я вынужден был ответить: "Увы, мадам". То, что я не играю на фортепиано и никогда не буду на нем играть, даже сегодня терзает меня больше, чем все ужасы моего прошлого, слившиеся в черную реку, которая несет меня сквозь года. Все никак не смирюсь. Когда я был маленьким, мама купила мне пианино. Кажется, это был подарок на мой девятый день рождения. Или на восьмой. Во всяком случае до того, как мы переехали во Францию с этим Моро. Я очень долго ее упрашивал. Я мечтал быть знаменитым пианистом: чтобы звуки вылетали из-под пальцев легко, устремляясь в небо, словно шпили готических соборов. Но у нас не было денег. Не так давно отец ушел от нас, его счета (о чем я узнал много позже) заблокировали, маме пришлось выкручиваться самостоятельно. Однако в тот раз она нашла необходимую сумму, не знаю, как ей удалось, возможно, она что-то откладывала или взяла в долг; а может быть, даже занялась проституцией — какая разница? Она наверняка строила амбициозные планы на мой счет, решила развивать мои способности. Как бы там ни было, в день моего рождения нам привезли прекрасное, самое настоящее пианино. Не новое, но, несомненно, очень дорогое. Поначалу радости моей не было предела. Я аккуратно посещал преподавателя, но продвигался вперед так медленно, что вскоре забросил занятия. Гаммы в мои фантазии не входили, я был таким же ребенком, как все. Мама никогда не упрекала меня ни в легкомыслии, ни в лени; но я прекрасно понимаю, что мысль о напрасно потраченных деньгах должна была ее терзать. Пианино так и стояло без дела, покрывалось пылью; сестра проявляла к нему не больший интерес, чем я; а я перестал грезить об инструменте и даже не заметил, когда мама, наконец, его продала, разумеется, себе в убыток. Я никогда не любил маму по-настоящему, даже ненавидел ее, но этот случай с фортепиано вызывает во мне жалость к ней. Впрочем, она тоже немножко виновата. Сумей она настоять, будь она жесткой, когда требовалось, я научился бы играть на пианино, и это стало бы моей величайшей радостью, моим спасением. Просто играть дома, играть для себя, и я был бы счастлив. Разумеется, я слушаю музыку и получаю огромное удовольствие, но это не совсем то, это замещение. Равно как и моя любовь к мужчинам: правда в том — говорю не краснея, — что я предпочел бы быть женщиной. Не обязательно женщиной, так сказать, живущей и действующей по правилам этого мира, не женой, не матерью; нет, но женщиной голой, лежащей на спине с раздвинутыми ногами, задыхаю-

щейся под тяжестью мужского тела, вцепившейся в него и им пронзаемой, тонущей в нем, становящейся бескрайним морем, в котором тонет он сам, удовольствием без конца и без начала тоже. Но все сложилось иначе. Я оказался юристом, работающим в службе безопасности, офицером СС, затем директором кружевной фабрики. Грустно, но это так.

То, что я только что написал, правда, но правда и то, что я любил одну женщину. Одну-единственную и больше всего на свете. А как раз эту женщину любить мне было запрещено. Вполне возможно, что, мечтая быть женщиной, иметь женское тело, я по-прежнему подсознательно стремился к ней, хотел быть как можно ближе, быть как она, быть ею. Скорее всего, так оно и есть, даже если это ничего не меняет. Я никогда не любил тех, с кем спал, ни одного мужчину, просто пользовался ими, их телами, вот и все. Этой женщины, ее любви, хватило бы мне на всю жизнь. Не смейтесь: любовь к ней — лучшее, что я сделал. Все это — наверняка думаете вы — может показаться несколько странным для офицера Shutzstaffel[1]. С другой стороны, по какой причине у оберштурмбаннфюрера[2] СС не могло быть своей внутренней жизни, желаний, страстей, как у всякого человека? Тех из нас, кого вы по-прежнему считаете преступниками, насчитывалось сотни тысяч: среди них, как среди обычных людей, были, конечно же, люди посредственные, однако встречались и личности неординарные, художественные натуры, интеллектуалы, невротики, гомосексуалисты и влюбленные в собственную мать — да кто угодно, а почему нет? Любая другая профессия представлена такими же человеческими типами. Бывают бизнесмены, которые любят хорошее вино и сигары, бизнесмены, помешанные на деньгах, а также бизнесмены, которые, прежде чем направиться в офис, разминают анальное отверстие фаллоимитаторами, а под костюмом-тройкой прячут непристойные татуировки — этим уже мало кого удивишь, и отчего в СС или в вермахте делам не обстоять так же? Наши военные врачи, разрезая одежду на раненых солдатах, обнаруживали женское белье гораздо чаще, чем можно было предположить. Заявлять, что я не такой, как все, бессмысленно. Я жил, у меня было свое прошлое, трудное и печальное, но такое случается, и я пытался по-своему с этим справиться. Потом началась война, я служил и оказался среди жестокости и зверств. А я не изменился, я остался тем же самым человеком с нерешенными проблемами, хотя война подкинула мне новых проблем и после всех ее ужасов мне никогда не оправиться. Встречаются люди, для которых война или даже убийства являются решением, выходом, но я к ним не отношусь, для меня, как и для большинства людей, война и убийства — это вопрос, вопрос без ответа, потому что, когда мы кричим во сне, никто не отвечает. Так одно событие влечет за собой другое: начинал я обычным служащим, затем волей обстоятельств поднялся по служебной лестнице; но все это связано между собой тесно и глубоко: невозможно утверждать, что, если бы войны не было, я дошел бы до подобных крайностей. Такое могло произойти, а могло и не произойти, возможно, я нашел бы другой вы-

1. Букв.: охранный отряд (*нем.*), то есть СС.
2. Оберштурмбаннфюрер — звание, соответствовавшее подполковнику.

ход. Нам не дано знать. Экхарт[1] писал: "Даже в Аду ангел парит на своем райском облачке". Я всегда помнил о том, что и обратное тоже верно: в Раю демон тоже парил бы на своем адском облачке. Но вряд ли я демон. За каждым моим поступком стоят мотивы, хорошие они или плохие, не знаю, но мотивы эти — безусловно человеческие. Те, кто убивает, такие же люди, как те, кого убивают, — вот что страшно. Вы не можете сказать: "Не убью" — это невозможно. Вы можете сказать лишь: "Надеюсь не убить". Я тоже на это надеялся, тоже хотел прожить жизнь добродетельную и полезную, быть человеком среди людей, равным среди равных, тоже хотел внести свою лепту в общее дело. Но надежды мои не оправдались, а мою добросовестность использовали, чтобы совершить дело, которое оказалось скверным и пагубным, и *я прошел страшный путь*, и все это зло вошло в мою собственную жизнь, и уже ничего не поправить, никогда. В словах тоже нет толку, они исчезают, как вода в песке, и этот песок забивает мне рот. Я живу, делаю, что могу, и так происходит со всеми, я такой же человек, как остальные, такой же, как вы. Такой же, как вы! Уж поверьте на слово.

Аллеманды I *и* II

Через реку Буг у границы был наведен понтонный мост. Рядом из серой, мутной воды торчали покореженные стальные сваи прежнего моста, взорванного советскими солдатами. Нашим саперам понадобилась всего одна ночь работы, по крайней мере так говорили вокруг, и теперь фельджандармы[2], поблескивая на солнце полукруглыми бляхами, с невозмутимой уверенностью, словно у себя дома, регулировали движение. Вермахт имел преимущество; нам приказали ждать. Я то любовался широкой ленивой рекой и тихими рощицами на другом берегу, то разглядывал сутолоку на переправе. Потом подошла наша очередь. Сразу после моста начиналась аллея из остовов русских военных машин, опрокинутых, сожженных грузовиков, танков, напоминающих вспоротые консервные банки, артиллерийских пушек, переломанных, как спички; нескончаемый проход между грудами развороченного, продырявленного снарядами, обугленного металла. За ними в щедром знойном воздухе лета переливались зеленью леса. Проселочную дорогу успели расчистить, но повсюду оставались следы взрывов, расплывшиеся масляные пятна, какие-то осколки. Показались первые дома Сокаля. В центре города на пепелищах еще потрескивали угли; покрытые пылью и пеплом трупы, в основном в гражданской одежде, валявшиеся среди щебня, мусора, каких-то обломков, загораживали часть улицы, а напротив в тени парка, прямо под деревьями выстроились в ряд белые кресты. Два немецких солдата краской писали на них имена. Каждый крест был укрыт чем-то наподобие маленькой крыши. Там мы и ждали, пока Блобель в сопровождении Штрелке, нашего интенданта, отправился в штаб-квартиру. Сладковатый, тошнотворный запах смешивался с горе-

1. Мейстер Экхарт, известный так же как Иоганн Экхарт (ок. 1260 — ок. 1328) — знаменитый средневековый немецкий теолог и философ, один из крупнейших христианских мистиков.
2. Полевые жандармы (Feldgendarmes). Полевая жандармерия выполняла охранные функции в армии.

чью дыма и гари. Вскоре Блобель вернулся: "Все в порядке. Расселением занимается Штрелке. Следуйте за мной".

АОК[1] разместил нас в школе. "Мне очень жаль, — извинялся какой-то мелкий чиновник вермахта в мятой серо-зеленой форме. — Мы как раз занимаемся организационными вопросами. Скоро вам выдадут паек". Помощник командующего фон Радецки, элегантный прибалт, махнул рукой, обтянутой перчаткой, и улыбнулся: "Ничего страшного. Мы надолго не задержимся". Кроватей не было, но одеяла принесли; мы расселись на низких скамейках за партами. Всего, наверное, человек семьдесят. Вечером дали почти совсем уже остывшего супу с капустой и картошкой, сырой лук, буханку черного липкого хлеба, высыхавшего сразу после нарезки. Мне хотелось есть, я макал хлеб в суп и закусывал луковицей. Радецки выставил охрану. Ночь прошла спокойно.

На следующее утро наш командир, штандартенфюрер Блобель созвал начальников служб (Leiter'ов) в штаб-квартиру. Мой непосредственный начальник — Leiter III — печатал отчет и приказал мне явиться вместо него. Штаб 6-й армии — АОК-6, — к которому мы были приписаны, расположился в просторном здании австро-венгерской эпохи, с нарядным оштукатуренным оранжевым фасадом, украшенным колоннами и лепниной, а теперь изрешеченным осколками пуль. Нас встретил какой-то полковник, видимо коротко знакомый с Блобелем: "Генерал-фельдмаршал работает на улице. Идемте". Он привел нас в огромный парк, спускавшийся от дома до излучины Буга. Возле одиноко растущего дерева вышагивал взад-вперед человек в купальном костюме, окруженный гудящим роем офицеров, взмокших от пота в своей форме. Он повернулся к нам: "А, Блобель! Здравствуйте, господа". Мы отдали честь: это был генерал-фельдмаршал фон Райхенау, главнокомандующий армией. От его выпяченной волосатой груди веяло здоровьем и силой; сложен он был атлетически, но лицо заплыло жиром, который сгладил прусскую тонкость черт; знаменитый монокль, до смешного нелепый, сверкал в солнечных лучах. Не переставая отдавать точные, подробные указания, он делал несколько широких шагов вперед, потом круто разворачивался, все, конечно, следовали за ним, что создавало некую суету, я несколько раз столкнулся с каким-то майором и из сказанного ничего толком не понял. Наконец командующий остановился, чтобы отпустить нас. "Ах, да! Еще одно дело. Касательно евреев, пять винтовок — многовато, а людей у вас мало. Две винтовки на осужденного достаточно. Подумаем, сколько понадобится на большевиков. Вы можете задействовать целое подразделение, если речь идет о женщинах". Блобель взял под козырек: "Zu Befehl[2], господин генерал-фельдмаршал". Фон Райхенау щелкнул голыми пятками и вскинул руку: "Heil Hitler!" — "Heil Hitler!" — крикнули все в ответ хором.

Штурмбаннфюрер д-р Кериг, мой начальник, с мрачным видом выслушал от меня рапорт. "Это все?" — "Я не все расслышал, господин штурмбаннфюрер". Он скривился, принялся рассеянно перекладывать бумаги. "Я не понимаю. Кто в конце концов будет нами командовать?

1. АОК (Armeeoberkommando) — штаб армии.
2. Слушаюсь (*нем.*).

Райхенау или Йекельн? А бригадефюрер Раш? Он где?" – "Я не знаю, господин штурмбаннфюрер". – "Да, прямо скажем, не слишком много вы знаете, оберштурмфюрер. Идите".

Назавтра Блобель созвал всех офицеров. Рано утром человек двадцать уехали с Калсеном. "Я отправил его с Vorkommando[1] в Луцк. Все подразделение соединится с ними через один-два дня. Там пока разместится наш генеральный штаб. АОК также будет переведен в Луцк. Наши дивизионы быстро продвигаются вперед, пора браться за работу. Я жду инструкций обергруппенфюрера Йекельна". Сорокашестилетний Йекельн, ветеран Партии, являлся Höhere SS-und Polizeiführer[2] юга России; то есть все формирования СС, действующие на этой территории, включая наше, так или иначе находились в его ведении. Кериг все пытался выяснить, кому мы подчиняемся. "Итак, мы выступаем под командованием обергруппенфюрера?" – "В административных вопросах нами руководит шестая армия, а нашу тактику определяют приказы HSSPF и RSHA, переданные через Gruppenstab[3]. Теперь понятно?" Кериг покачал головой и вздохнул: "Не совсем, но я надеюсь, что детали постепенно прояснятся". Блобель побагровел: "Вам все доходчиво объяснили еще в Претче, черт возьми!" Кериг сохранял спокойствие. "В Претче, господин штандартенфюрер, нам совершенно ничего не объяснили. Нас потчевали речами и устраивали спортивные тренировки. Не более того. Я вам напоминаю, что на собрание с группенфюрером Гейдрихом на прошлой неделе представители СД[4] приглашены не были. Уверен, для этого нашлись веские основания, но факт остается фактом: я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, что вменяется мне в обязанности кроме составления рапортов о настроениях и поведении солдат вермахта. – Он повернулся к Фогту (Leiter IV): – Вы же присутствовали на том собрании. Как только наши задачи будут определены, мы начнем их выполнять". Фогт, явно смущенный, постукивал ручкой по столу. Блобель, мрачно уставившись в одну точку на стене, втягивал щеки и жевал их. "Ладно, – рявкнул он. – В любом случае, сегодня вечером сюда прибывает обергруппенфюрер. Завтра и обсудим".

Это довольно бестолковое совещание состоялось 27 июня, сомнений быть не может, потому что на следующий день перед нами с речью выступил обергруппенфюрер Йекельн, и в моих записях стоит 28 число. Видимо, Йекельн и Блобель решили провести работу среди людей Sonderkommando[5], указать им правильный курс и обосновать мотивы; ближе к полудню команда в полном составе выстроилась на школьном дворе, чтобы выслушать ХССПФ. Йекельн говорил четко. Наша цель – выявить и уничтожить любой элемент, представляющий угрозу германским войскам. Большевик, народный комиссар, еврей и цыган может в любой момент взорвать наши казармы, убить наших людей, пустить под откос наши поезда или передать врагу жизненно важные секретные све-

1. Передовая группа (*нем.*).
2. Командующий частями СС и полиции, сокращенно HSSPF (*нем.*).
3. RSHA (Reichssicherheitshauptamt) – Главное управление безопасности рейха (*нем.*). Gruppenstab – штаб группы (*нем.*).
4. СД (SD – Sicherheitsdienst) – служба безопасности в нацистской Германии.
5. Команда особого назначения (*нем.*).

дения. Наш долг — не дожидаться, пока он начнет действовать и тогда наказать его, а помешать ему действовать. Учитывая, как быстро продвигается вперед наша армия, у нас не остается времени создавать лагеря для содержания подозреваемых: любого из них надо сразу расстрелять. Он обратился к находившимся среди нас юристам и напомнил, что СССР отказался подписывать Гаагские соглашения. Таким образом, международное право, регулирующее наши действия на Западе, здесь теряет силу. Конечно, всех ошибок не избежать, конечно, не обойдется без невинных жертв, но, увы, это война; при бомбардировке города мирные жители тоже ведь погибают. Время от времени нам будет тяжело, кое-что будет причинять страдания нам, немцам, с нашей врожденной чувствительностью и человечностью, он прекрасно это понимает; но мы должны превозмочь самих себя; и ему остается лишь передать нам слова фюрера, которые он слышал непосредственно из его уст: *офицеры должны пожертвовать для Германии своими сомнениями.* Спасибо, и Heil Hitler! Прямота Йекельна сама по себе заслуживала похвалы. В Претче как Мюллер, так и Шрекенбах разглагольствовали о необходимости быть несгибаемыми и беспощадными и не сообщили ничего конкретного, кроме того, что нас действительно ждет наступление на Россию. Возможно, Гейдриху в Дюбене на параде перед отправкой войск и удалось бы внести бóльшую определенность; но едва он начал говорить, как хлынул страшный ливень: Гейдрих прервался на полуслове и уехал в Берлин. Вот почему наше замешательство вполне оправданно, к тому же лишь немногие из нас имели хоть какой-то практический опыт; я сам с момента вступления в СД только составлял юридические документы, и я не был исключением. Например, Керигу занимался конституциональными вопросами; даже Фогт, Leiter IV, раньше работал в регистратуре. Что касается штандартенфюрера Блобеля, его вытащили из Staatspolizei[1] Дюссельдорфа, где он отлавливал деклассированных личностей, гомиков и иногда, если повезет, коммунистов. В Претче ходили слухи, что он бывший архитектор, но с карьерой у него явно не заладилось. Человеком приятным Блобеля назвать было сложно. В отношениях с коллегами он был агрессивен, почти груб. Плоский подбородок, круглая голова с оттопыренными ушами, словно насаженная на тонкую шею с форменным воротником, напоминала лысую башку грифа; большой, похожий на клюв нос особо подчеркивал сходство. Проходя мимо него, я всякий раз чувствовал запах перегара; Гефнер утверждал, что он так лечит дизентерию. Лично я был рад, что у меня нет необходимости с ним часто общаться, а д-ру Керигу в этом смысле не повезло, и он, кажется, порядочно мучился. Похоже, Кериг чувствовал себя здесь не совсем на своем месте. В Претче Томас объяснил мне, что в основном офицеров вербовали в конторах, где они никакой пользы не приносили, и раздавали им звания СС в соответствии с положением по службе (так я, например, оказался в ранге оберштурмфюрера СС, что-то вроде вашего лейтенанта). Керига, всего месяц занимавшего должность государственного советника, благодаря высокому чину в бюрократическом аппарате, произвели в штурмбаннфюреры. Теперь он с трудом привы-

1. Государственная полиция (*нем.*).

кал и к новым погонам, и к новым обязанностям. Большинство унтерофицеров и солдат происходили из нижней прослойки среднего класса: лавочники, бухгалтеры, секретари канцелярий — эти люди, надеясь найти потом другую работу, нанимались в СА[1] во время кризиса, но уже никогда не покидали их рядов. Определенную часть составляли Volksdeutshen из Прибалтики или Рутении[2], угрюмые, безликие, неловкие и нелепые в военной форме; ценилось, собственно, только их знание русского, а по-немецки некоторые и слова толком сказать не умели. Признаться, фон Радецки разительно от них отличался: он хвастался, что прекрасно владеет и жаргоном проституток Москвы, его родного города, и Берлина, и всегда имел вид человека, знающего, что он делает, даже если и не делал ничего. Он немного знал украинский, вероятно, раньше работал где-нибудь в импорте-экспорте, он, как и я, был из службы безопасности СС. Распределение на юг крайне его угнетало; он мечтал оказаться в центре, победителем войти в Москву, *потоптать своими сапогами кремлевские ковры.* Фогт утешал его, уверял, что и в Киеве есть чем развлечься, но фон Радецки кривился: "Да, признаю, *Лавра* великолепна. Но больше и смотреть не на что, дыра". Вечером после выступления Йекельна мы получили приказ собирать вещи и завтра выступать, Калсен уже готов был нас принять.

Когда мы вошли, Луцк еще горел. Нас встретил посыльный, чтобы сопроводить к пункту расквартирования; нам следовало обогнуть старый город и крепость, дорога была утомительной. Куно Калсен занял музыкальную школу, располагавшуюся на широкой площади у подножия замка, — прекрасное строгое здание XVII столетия, бывший монастырь, успевший на протяжении последнего века послужить тюрьмой. Калсен и еще несколько человек ждали нас на крыльце. "Очень удобное место, — рассказывал он, пока выгружали техническое оборудование и наши вещи. — В погребе даже сохранились камеры, нужно только врезать замки, я уже отдал распоряжение". Камерам я предпочел библиотеку, но все книги были на русском или украинском. Фон Радецки тоже влез туда своим носом-луковицей и шарил взглядом по полкам, выискивая дорогие переплеты; он остановился возле меня, я поделился с ним недоумением по поводу того, что не нашел ни одной польской книги: "Удивительно, ведь совсем недавно здесь была Польша". Фон Радецки пожал плечами: "Представьте себе, сталинисты все выгребли подчистую". — "За два года?" — "Двух лет предостаточно. Тем более для музыкальной школы".

Vorkommando завалили работой. Вермахт задержал сотни евреев и мародеров, с которыми нам предстояло разобраться. Пожары продолжали полыхать — видимо, саботажники старались. Отдельную проблему представляла старая крепость. Кериг, разбирая бумаги, нашел свой бедекер и протянул его мне поверх вскрытых ящиков, ткнув пальцем в короткую справку: "Замок Любарт. Построен литовским князем, достопримечательность". Центральный двор замка был завален трупами — по слухам, НКВД накануне отступления расстрелял заключенных. Кериг

1. СА (SA — Sturmabteilung) — штурмовые отряды, полувоенные соединения национал-социалистской партии в Германии.
2. Рутения (Ruthenia) — старое немецкое название Украины.

предложил пройтись посмотреть. Замок окружали огромные стены из грубого кирпича, возведенные на земляных насыпях, с тремя башнями по бокам; часовые вермахта охраняли вход; чтобы пройти, мне потребовалось вмешательство офицера абвера[1]. "Извините. Генерал-фельдмаршал приказал обеспечить безопасность". — "Конечно, я понимаю". Они открыли ворота, и волна отвратительной вони ударила мне в лицо. Я забыл платок и прижал к носу перчатку, иначе дышать было невозможно. "Возьмите, — офицер протянул мне смоченную тряпку, — немного помогает". Действительно, немного помогало, но не слишком; я старался вдыхать и выдыхать через рот, но сладковатый, тяжелый, тошнотворный запах все равно заполнял ноздри. Я судорожно сглотнул, отчаянно сдерживая рвоту. "Первый раз? — тихо спросил офицер. Я кивнул. — Привыкнете, — продолжил он, — хотя полностью, наверное, никогда. — Сам он побледнел, но нос не прикрывал. Мы миновали длинный сводчатый коридор, потом маленький двор. — Вам туда".

Трупы сгребли в кучи, беспорядочно громоздившиеся теперь на большом мощеном дворе. Непрекращающееся монотонное жужжание сотрясало воздух: тучи жирных синих мух кружили над ними, над лужами крови и испражнениями. Мои сапоги приклеились к брусчатке. Тела мертвецов уже вздувались, я разглядывал их зеленоватую или пожелтевшую кожу, бесформенные, отекшие, как от побоев, лица. Воняло ужасно, но это был запах — я узнал его — начала и конца всего, запах, обозначающий самую суть нашего существования. От таких мыслей меня опять замутило. Группки солдат вермахта в противогазах пытались разобрать безобразную свалку и уложить тела рядами; один из них дернул посильнее, оторвал руку, устало отбросил ее на соседнюю кучу. "Их больше тысячи, — тихо, почти шепотом, сообщил мне офицер абвера. — Украинцы и поляки, которых после вторжения большевики держали в тюрьме. Тут и женщины, и даже дети". Я хотел закрыть глаза или загородиться рукой, и в то же время хотел смотреть, насмотреться вдоволь, впитать взглядом открывшуюся передо мной непостижимую картину и, может быть, таким образом ухватить нечто ускользающее от человеческого понимания. В полной прострации я спросил офицера абвера: "Вы читали Платона?" Он озадаченно взглянул на меня: "Что?" — "Нет, ничего". Я повернулся и ушел. В глубине первого дворика слева я заметил дверь, толкнул ее, там оказались ступени. Я наугад бродил по этажам и пустым коридорам, потом в одной из башен нашел винтовую лестницу; на самом верху между стенами закрепили деревянные балки, мостик, с которого открывался вид на город. Оттуда тянуло дымом пожарищ — это как-никак было приятнее, и я глубоко вздохнул, потом достал из портсигара сигарету и закурил. Запах разлагающихся останков, казалось, застрял в носоглотке, я старался избавиться от него, выпуская дым из ноздрей, но зашелся в кашле. Я огляделся вокруг. Внизу, внутри крепости, — сад, огороды и фруктовые деревья; за стеной — город и излучина Стыра; дымовую завесу разогнал ветер, и земля купалась в солнечном свете. Я спокойно докурил, потом спустился и вернулся на большой двор. Офицер абвера все еще находился там. Он смотрел на меня с

1. Абвер (Abwehr) — в нацистской Германии служба контрразведки.

любопытством, но без насмешки: "Вам лучше?" — "Да, спасибо". Я заставил себя взять официальный тон: "Вы выполнили точный подсчет? Мне нужны данные для рапорта". — "Еще нет. Завтра, я думаю, закончим". — "Установили национальности?" — "Я вам уже говорил, в основном украинцы и поляки. Трудно сказать наверняка, кто есть кто, у большинства отсутствовали документы. Их расстреливали группами, торопились". — "А евреи?" Он удивился: "Конечно, нет. Ведь это евреи и устроили". Я поморщился: "А, ну да". Он обернулся в сторону трупов, помолчал с минуту, потом пробормотал: "Какая мерзость". Я отдал честь. На улице толпились украинские мальчишки: один прокричал мне что-то, но я не понял вопроса, прошел мимо и отправился в музыкальную школу отчитываться перед Керигом.

На следующий день Sonderkommando по-настоящему приступила к работе. Взвод под командованием Калсена и Курта Ганса расстрелял в садах крепости триста евреев и двадцать мародеров. Я вместе с д-ром Керигом и штурмбаннфюрером Фогтом целый день вел переговоры с уполномоченным военным осведомителем 6-й армии Нимейером и его коллегами, в том числе гауптманом Луле, с которым накануне познакомился в крепости, он оказался из отдела по борьбе со шпионажем. Блобель настаивал, что ему недостает людей, и просил вермахт помочь; но Нимейер был непреклонен: такие вопросы должны решаться генерал-фельдмаршалом и командующим генеральным штабом, оберстом Хаймом. Во время послеполуденного собрания Луле сообщил срывающимся голосом, что среди расстрелянных в замке обнаружены десять немецких солдат, страшно изуродованных: "Их связали, потом отрезали нос, уши, язык и гениталии". Фогт поднялся с ним в крепость и вернулся мертвенно бледный: "Да, это правда, ужасно, что за чудовища!" Новость вызвала сильное волнение. Блобель выбежал в коридор, изрыгая проклятья, потом вернулся обсудить событие с Хаймом. Вечером он объявил: "Генерал-фельдмаршал хочет провести карательную операцию. Ответить мощным ударом, раздавить мерзавцев". Калсен отчитался о проведенных днем казнях. Все прошло гладко, но метод, утвержденный фон Райхенау, две винтовки на одного приговоренного, требует корректировки: для надежности следует целиться в голову, а не в грудь, но от такого выстрела череп лопается, и нашим солдатам в лицо летят кровь и мозги, люди жалуются. Завязалась бурная дискуссия. Гефнер вставил свое слово: "Увидите, кончится Genickschuss[1], как у большевиков". Блобель покраснел и хлопнул по столу рукой: "Meine Herren! Подобные высказывания недопустимы! Мы — не большевики!.. Мы — солдаты немецкой армии. Служим нашему великому *народу* и фюреру! Черт побери! — Он развернулся к Калсену: — Если ваши люди такие чувствительные, пусть тогда шнапс подают. — Потом к Гефнеру: — Пуля в затылок не годится, надо что-то другое. Я не желаю, чтобы у людей возникало чувство личной ответственности. Пусть дальше расстреливают быстро, по-военному, и точка!"

Все следующее утро я оставался в АОК: после взятия города надлежало разобрать целые ящики бумаг, нам с переводчиком поручили просмотреть папки с делами, в частности документы НКВД, и решить, ка-

1. Выстрел в голову (*нем.*).

кие из них следует отослать в Sonderkommando для более тщательного анализа. Нас особенно интересовали списки членов коммунистической партии, НКВД и других органов власти: некоторые их этих людей наверняка остались в городе, чтобы вести разведывательную и подрывную деятельность, и смешались с гражданским населением, предстояло срочно установить их личности и обезвредить.

Около полудня я зашел в здание музыкальной школы проконсультироваться с Керигом. На первом этаже царило странное волнение: группы людей топтались по углам, возбужденно перешептывались. Я схватил за рукав шарфюрера[1]: "Что здесь происходит?" — "Не знаю, господин оберштурмфюрер. Вроде что-то случилось со штандартенфюрером". — "А где офицеры?" — Он показал на этаж, где мы расквартировались. На лестнице я столкнулся с Керигом; он спускался, бормоча себе под нос: "Бардак, просто бардак какой-то". — "Что происходит?" — спросил я. Он мрачно ответил: "И как прикажете работать в подобных условиях?" — и пошел дальше. Я поднялся еще на несколько ступеней и услышал выстрел, звон разбитого стекла, крики. На площадке, перед открытой дверью комнаты Блобеля, в нерешительности переминались с ноги на ногу два офицера вермахта и Курт Ганс. "Что происходит?" — спросил я у Ганса. Он, скрестив руки за спиной, лишь кивнул подбородком в сторону комнаты. Я вошел.

Блобель сидел на кровати в сапогах, но без кителя и размахивал пистолетом; Калсен стоял рядом с ним и пытался направить пистолет в стену, не применяя силу и не хватая своего начальника за руку; окно разлетелось вдребезги; на полу я заметил бутылку шнапса. Блобель, белый как полотно, ревел и брызгал слюной. Гефнер вошел за мной. "Что происходит?" — "Я не знаю, похоже, Блобелю плохо". — "Да он просто свихнулся". Калсен увидел меня: "А, оберштурмфюрер. Передайте наши извинения солдатам вермахта и попросите их явиться позже, пожалуйста. — Я отступил на шаг и столкнулся с Гансом, который решился наконец войти. — Август отправился за врачом", — сообщил Калсен Гефнеру. Блобель продолжал орать: "Это невероятно, невероятно, они больны, я их убью!" В коридоре стояли навытяжку два бледных офицера вермахта. "Господа..." — начал я. Гефнер отпихнул меня и понесся через ступеньку по лестнице. Гауптман пронзительно заверещал: "Ваш комендант сошел с ума! Он хотел нас убить!" Я не знал, как реагировать. За моей спиной возник Ганс: "Господа, просим нас извинить. У штандартенфюрера серьезный приступ, мы вызвали врача. Мы вынуждены прервать беседу, поговорим позже". Из комнаты доносились вопли Блобеля: "Я убью этих гадов, пустите меня!" Гауптман пожал плечами: "Если все офицеры СС таковы... нам лучше отказаться от сотрудничества. — Потом, разведя руками, бросил другому офицеру: — Непостижимо, их, наверное, понабрали в психушках". Курт Ганс изменился в лице: "Господа! Вы оскорбляете честь СС..." Он горячился. Я вмешался, перебив его на полуслове. "Послушайте, мне еще точно неизвестно, что произошло, но очевидно, речь идет о проблеме медицинского характера. Ганс, не стоит терять хладнокровия. Господа, как вам сообщил мой коллега, правильнее будет, если вы нас

1. Шарфюрер — унтер-офицер войск СС.

сейчас оставите, простите". Гауптман смерил меня взглядом: "Вас, кажется, зовут доктор Ауэ? Ладно, пойдем, – сказал он напарнику. На лестнице им встретился доктор из Sonderkommando Шперат и Гефнер: – Вы доктор?" – "Да". – "Будьте осторожны. Он может вас пристрелить". Я пропустил вперед Шперата и Гефнера и вошел следом. Блобель положил пистолет на ночной столик и отрывисто стал объяснять Калсену: "Вы сами знаете, что нельзя расстрелять такое количество евреев. Нам нужен плуг, плуг, мы их тогда – в землю, в землю!" Калсен обернулся к нам: "Август, позаботься о штандартенфюрере, я сейчас". Он взял Шперата под руку, отвел в сторону и принялся что-то быстро шептать. "Черт!" – рявкнул Гефнер. Он еле удерживал Блобеля, пытавшегося снова схватить пистолет. "Господин штандартенфюрер, господин штандартенфюрер, успокойтесь, я прошу вас", – закричал я. Калсен был уже рядом с Блобелем и заговорил с ним спокойным тоном. Шперат тоже подошел, взял пульс. Блобель дернулся было к пистолету, но Калсен его отвлек. Теперь Блобеля увещевал Шперат: "Пауль, у вас переутомление. Надо сделать укол". – "Нет! Никаких уколов!" – Блобель резко взмахнул рукой и заехал Калсену по лицу. Гефнер подобрал с пола бутылку, показал мне, покачав головой: она была почти пуста. Курт Ганс молча стоял в дверях. Блобель выкрикивал бессвязные реплики: "Отребья вермахта расстрелять, вот кого! Всех!" У него начался бред. "Август, оберштурмфюрер, помогите мне", – приказал Калсен. Втроем за руки, за ноги мы подняли Блобеля и уложили на кровать. Он не сопротивлялся. Калсен свернул китель и подсунул ему вместо подушки; Шперат задрал Блобелю рукав и сделал укол. Блобель затих. Шперат отозвал Калсена и Гефнера к двери посовещаться, я остался с Блобелем. В уголках губ у него выступила пена, он таращился в потолок и бормотал: "Под плуг, под плуг евреев". Я незаметно спрятал пистолет в ящик: никто об этом даже не подумал. Блобель задремал. Калсен подошел к кровати: "Его отвезут в Люблин". – "Почему в Люблин?" – "Там в больнице занимаются такими случаями", – пояснил Шперат. "Сумасшедший дом там, вот что", – грубо добавил Гефнер. "Август, замолчи", – одернул его Калсен. На пороге возник фон Радецки: "Что за цирк?" Курт Ганс принялся рассказывать: "Генерал-фельдмаршал отдал приказ, а штандартенфюрер заболел, перенапрягся. Хотел стрелять в офицеров вермахта". – "Его еще утром лихорадило", – вставил Калсен. Он кратко обрисовал фон Радецки ситуацию, сказал о предложении Шперата. "Хорошо, – отрезал фон Радецки, – поступим, как советует врач. Я сам отвезу его. – Он слега побледнел. – Вы начали уже подготовку к выполнению приказа генерал-фельдмаршала?" – "Нет, ничего не сделано", – ответил Курт Ганс. "Итак, Калсен, действуйте. Гефнер, вы едете со мной". – "Почему я?" – нахмурился Гефнер. "Потому! – отрезал фон Радецки. – Идите, проверьте 'опель' штандартенфюрера. На всякий случай возьмите еще канистры с бензином". Гефнер не отступал: "Может быть, поедет Янсен?" – "Нет, Янсен поможет Калсену и Гансу. Гауптштурмфюрер, – он выразительно взглянул на Калсена, – вы согласны?" Тот задумчиво кивнул: "Не лучше ли вам остаться, а я сопровожу Блобеля, господин штурмбаннфюрер. В данных обстоятельствах вы должны принять командование". Фон Радецки, не соглашаясь, замотал головой: "Напротив, я как раз думаю, что мне лучше ехать с ним". Калсен сомневался: "Вы увере-

ны?" — "Вам не следует так беспокоиться: обергруппенфюрер Йекельн скоро будет здесь со своим генеральным штабом. Многие уже добрались, мне доложили. Он все возьмет в свои руки". — "Да. Потому что я... вы понимаете, Aktion[1] такого масштаба..." На губах фон Радецки заиграла тонкая улыбка: "Не волнуйтесь. Посоветуйтесь с обергруппенфюрером, обеспечьте необходимое, и все пройдет отлично, я вам гарантирую".

Часом позже офицеры собрались в большом зале. Фон Радецки и Гефнер уже уехали с Блобелем; когда они садились в "опель", тот начал брыкаться, и Шперат вынужден был сделать ему еще один укол, в то время как Гефнер его держал. Первым взял слово Калсен: "Я полагаю, что все вы в той или иной степени в курсе положения дел". Фогт перебил его: "Нельзя ли еще раз изложить суть?" — "Как пожелаете. Узнав о том, что во дворе крепости найдено десять изуродованных немецких солдат, генерал-фельдмаршал сегодня утром отдал распоряжение о проведении карательной операции. За каждого убитого большевиками он приказал расстрелять сотню евреев, то есть всего тысячу. Штандартенфюрер получил его приказ, что, по-видимому, и спровоцировало нервный срыв..." — "Отчасти тут есть и вина военных, — вмешался Курт Ганс. — Прислали бы кого-нибудь поделикатнее, чем тот гауптман. Кстати, передавать приказ такой важности через гауптмана — почти оскорбление". — "Однако заметьте, что подобная история бросает тень и на СС", — парировал Фогт. "Послушайте, — резко вмешался Шперат, — речь сейчас не об этом. Я могу подтвердить, что штандартенфюрер заболел еще утром, у него была высокая температура. Я подозреваю брюшной тиф, и наверняка кризис спровоцировал именно он". — "Конечно, но ведь он еще и напился", — добавил Кериг. "Действительно, — отважился я, — в комнате валялась пустая бутылка". — "Он страдал кишечной инфекцией, — возразил Шперат, — и считал, что алкоголь дезинфицирует". — "Как бы то ни было, — заключил Фогт, — мы лишились командира, а заодно и его заместителя. А раз так, я предлагаю, чтобы до возвращения штурмбаннфюрера фон Радецки его обязанности в Sonderkommando исполнял гауптштурмфюрер Калсен". — "Но по званию, — запротестовал Калсен, — по рангу я ниже, чем вы или штурмбаннфюрер Кериг". — "Верно, но мы не боевые офицеры. А среди командиров Teilkommandos[2] вы — старший". — "Я — за", — сказал Кериг. У Калсена вытянулось лицо, он переводил взгляд с одного офицера на другого, посмотрел на Янсена, но тот отвернулся и тоже кивнул головой в знак согласия. "Я считаю, — с нажимом проговорил Курт Ганс, — что вам надо принимать командование". Калсен помолчал, потом пожал плечами: "Хорошо, воля ваша". — "У меня вопрос к доктору Шперату, — сказал Штрельке, наш Leiter II. — Каково все-таки, по-вашему, состояние штандартенфюрера? Можно ли рассчитывать на его скорейшее возвращение или нет?" Шперат поморщился: "Не знаю. Трудно прогнозировать. Очевидно, что подобное расстройство не только нервного, но и соматического происхождения. Очень важно, каково будет его самочувствие после снижения температуры". — "Если я вас правильно понял, — кашлянул Фогт, — скоро он не вернется". — "Да, маловероятно. По крайней мере в ближайшие дни —

1. Акция, операция (*нем.*).
2. Подразделений (*нем.*).

нет". — "Тогда, видимо, он не вернется вообще", — подытожил Кериг. В зале воцарилась тишина. Всех одновременно посетила одна и та же мысль, хотя никто не облек ее в слова: случись так, потеря была бы невелика. Еще месяц назад мы и понятия не имели, кто такой Блобель, лишь неделю находились в его подчинении, но уже успели понять, что работать с ним трудно, а порой просто невыносимо. Калсен нарушил молчание: "Не забывайте, у нас это не единственный вопрос, на повестке дня еще планирование операции". — "Да, — подхватил с горячностью Кериг, — но это абсолютно бессмысленная затея, просто абсурдная". — "Что именно абсурдно?" — поинтересовался Фогт. "Репрессии, конечно! Можно подумать, мы живем во времена Тридцатилетней войны! И потом, как вы собираетесь опознать тысячу евреев? За одну ночь? — Он ткнул себя пальцем в нос: — По внешности? По носам? Измерять их станете?" — "Да, — согласился Янсен, до сих пор не проронивший ни слова. — Нелегкое дело". — "У Гефнера есть идея, — холодно сказал Курт Ганс. — Просто предложим им снять штаны". Кериг вдруг взорвался: "Смешно! Вы рассудка лишились?!.. Калсен, скажите им!" Калсен хмурился, но сохранял спокойствие: "Послушайте, штурмбаннфюрер, не волнуйтесь! Мы обязательно найдем выход, я сейчас же свяжусь с обергруппенфюрером. Что до сути дела, мне все это нравится не больше, чем вам. Но приказ есть приказ". Кериг кусал губы, изо всех сил стараясь сдержаться. "А каково мнение бригадефюрера Раша? — выдавил он. — В конце концов он возглавляет наши дивизионы". — "А это еще одна проблема. Я пробовал с ним соединиться, но Gruppenstab еще в дороге. Я даже намереваюсь послать в Лемберг[1] кого-нибудь из офицеров, чтобы передать сообщение и получить инструкции". — "Кого?" — "Думаю, оберштурмфюрера Ауэ. Обойдетесь без него день-два?" Кериг повернулся ко мне: "Как продвигается ваша работа с документами, оберштурмфюрер?" — "Я уже систематизировал бóльшую часть. Чтобы закончить, мне нужно несколько часов". Калсен взглянул на часы: "В любом случае, сегодня уже поздно, до ночи вам не добраться". — "Ладно, — разрешил Кериг, — завершайте дела и отправляйтесь на рассвете". — "Так точно! Господин гауптштурмфюрер, — обратился я к Калсену, — что от меня требуется?" — "Проинформируйте бригадефюрера о ситуации и случившемся с командующим Блобелем. Аргументируйте наши решения и скажите, что мы ждем его дальнейших распоряжений". — "Пока будете в Лемберге, — прибавил Кериг, — постарайтесь разобраться в тамошней ситуации. Она, похоже, весьма запутанная, а я хотел бы понять, что там происходит". — "Zu Befehl!"

Вечером я вызвал четырех человек, чтобы поднять в кабинеты СД рассортированные архивы. Кериг пребывал в отвратительном расположении духа. "Что это значит, оберштурмфюрер, — заорал он, увидев мои ящики. — Я, кажется, просил вас навести порядок!" — "Вы не знаете, сколько хлама я оставил внизу, господин штурмбаннфюрер". — "Ну ладно. Придется нанять еще нескольких переводчиков. Хорошо. Ваша машина во дворе, спросите Гёфлера. Отправляйтесь пораньше. Зайдите сейчас к Калсену". В коридоре я пересекся с унтерштурмфюрером Цорном, млад-

1. Лемберг — немецкое название Львова.

шим офицером, постоянным помощником Гефнера. "А, доктор Ауэ. Вам очень повезло". — "Почему?" — "Потому что вы уезжаете, а нас ждет грязное дело". Я кивнул: "Да уж. Все готово?" — "Не знаю. Я отвечаю только за оцепление". — "Цорн постоянно ноет", — проворчал присоединившийся к нам Янсен. "Вы решили проблему?" — спросил я. "Какую?" — "Где взять евреев". Он хохотнул: "Ах, это! Очень просто. АОК распечатал объявления: всех евреев просят явиться завтра утром на главную площадь для обязательных работ. Тех, кто придет, схватят". — "Вы надеетесь, что наберется нужное количество?" — "Обергруппенфюрер считает, что да, этот прием срабатывал неоднократно. В противном случае, если их будет мало, арестуют евреев-активистов и пригрозят расстрелом". — "Понимаю". — "Что за мерзость, — простонал Цорн. — Какое счастье, я отвечаю только за оцепление". — "Но вы хоть не сбежали, — буркнул Янсен. — Не то что эта свинья Гефнер". — "Так получилось, это не его вина, — заспорил я. — Он хотел остаться. Но штурмбаннфюрер настоял, чтобы Гефнер сопровождал его". — "Да, конечно. А сам он, собственно, где? — Янсен злобно взглянул на меня. — Я бы тоже предпочел отправиться на прогулку в Люблин или Лемберг". Я пожал плечами и пошел искать Калсена. Он вместе с Фогтом и Куртом Гансом изучал план города. "Да, оберштурмфюрер?" — "Вы вызывали меня?" Калсен уже успокоился после собрания и теперь вполне владел собой. "Сообщите бригадефюреру доктору Рашу, что обергруппенфюрер Йекельн ознакомлен с приказами армейского командования и лично проконтролирует Aktion". Взгляд его был безмятежен; вероятно, решение Йекельна снимало с него тяжкий груз. "Он утвердит меня в качестве временного командующего до возвращения штурмбаннфюрера фон Радецки, — продолжил Калсен, — если только бригадефюрер не захочет видеть на этом посту кого-то другого. Наконец, для Aktion он выделяет нам украинских пособников и роту девятого резервного полицейского батальона. Вот так". Я отсалютовал и, не сказав ни слова, вышел. Ночью я почти не спал, думал о евреях, которые придут завтра. Метод, взятый нами на вооружение, я находил порочным. Ведь будут казнены те, кто придут по доброй воле, доверившиеся немецкому рейху, а другие — трусы, предатели, большевики — попрячутся, и их не найдут. Как сказал бы Цорн, порядочная мерзость. Я и радовался отъезду в Лемберг, ведь путешествие обещало быть интересным, и в то же время досадовал, что пропускаю операцию; я считал, что подобные вещи создают для каждого тяжелейшую проблему, которую тем не менее следует осознать и решить — прежде всего для себя самого, а не пытаться от нее уйти. Калсен, Цорн и другие пытались все переложить на чужие плечи, уйти от ответственности: такая позиция казалась мне неверной. Если мы совершали нечто несправедливое, следовало задуматься и понять, было ли это необходимо и неизбежно или являлось следствием безрассудства, лени, легкомыслия. Вопрос требовал прямого ответа. Я знал, что распоряжение принято на высшем уровне; однако мы все-таки не автоматы, важно не только подчиняться установленному порядку, но и определить в нем свое место; сомнения одолевали и мучили меня. В конце концов, почитав немного, я уснул и проспал несколько часов.

В четыре утра я уже оделся. Гёфлер, шофер, ждал меня в офицерской столовой с плохим кофе. "У меня есть еще хлеб и сыр, если пожелаете, господин оберштурмфюрер". — "Нет, я не голоден". Я молча пил

кофе, Гёфлер дремал. На улице стояла тишина. Попп, солдат, который должен был сопровождать меня, уселся за наш столик и теперь ел, громко чавкая. Я встал и вышел во двор покурить. Небо прояснилось, звезды поблескивали над высокими стенами старого монастыря, казавшимися в бледном мягком свете еще более холодными и неприступными. Луна скрылась. Гёфлер вышел и окликнул меня: "Все готово, господин оберштурмфюрер". — "Канистры с бензином взял?" — "Так точно. Три". Попп с ружьем стоял рядом с дверцей "адмирала", неуклюжий и гордый. Я указал ему на заднее сиденье. "Обычно, господин оберштурмфюрер, сопровождающий садится впереди". — "Да, но я бы предпочел, чтобы ты сел сзади".

Переехав Стыр, Гёфлер свернул на трассу южного направления. Вдоль дороги шла разметка, судя по карте, до места добираться несколько часов. Утро понедельника выдалось прекрасным, спокойным, умиротворяющим. Война пока не тронула спящие деревни, контрольные посты пропускали нас без всяких трудностей. Слева небо посветлело, чуть позже еще красноватое солнце проглянуло сквозь деревья. По земле стелился легкий клочковатый туман; везде, куда ни кинь глаз, тянулись бескрайние ровные поля, изредка перемежающиеся деревнями, рощицами, невысокими, густо поросшими холмами. Небо медленно окрашивалось синевой. "Здесь, наверное, хорошая земля", — обронил Попп. Я не ответил, и он смолк. Мы остановились в Радзихове передохнуть и поесть. Снова обломки бронетранспортеров громоздились по краям дорог и оврагов, сожженные дома обезобразили деревни. Постепенно движение становилось оживленным, мы обгоняли длинные колонны грузовиков с солдатами или продовольствием. У самого Лемберга путь перегородили, машины сбились в кучу, пропуская танки. Дорога дрожала, змейки черной пыли извивались по лобовому стеклу, забивались в щели. Гёфлер угостил нас с Поппом сигаретами. Его самого перекосило от первой затяжки: "Ну и дрянь же эти 'спортникс'". — "Да вроде ничего, — отозвался я, — не привередничай". Танки прошли, к нам направился фельджандарм, знаками показывая, что двигаться нельзя. "Идет следующая колонна", — кричал он. Я докурил и выкинул окурок в окно. "Попп прав, — внезапно заговорил Гёфлер. — Славные места. Неплохо бы здесь обосноваться после войны". — "Ты бы остался?" — засмеялся я. Он пожал плечами: "Не от меня это зависит". — "А от кого?" — "От бюрократов. Если все здесь так же, как у нас, то не стоит и рыпаться". — "Чем бы ты тут занялся?" — "Если бы мог, господин оберштурмфюрер? Я бы торговал, как у себя в деревне. Прикинул бы: хорошая табачная лавка, наверное, с прилавком фруктов и овощей". — "И тебе бы тут было лучше, чем дома?" Он резко стукнул ладонью по рулю: "У себя я все закрыл. Еще в тридцать восьмом". — "Почему?" — "Да из-за свиней картельщиков из 'Реемтсма'[1]. Им вздумалось брать с меня ренту в пять тысяч немецких рейхсмарок в год, чтобы самим оставаться в выгоде. В моей деревне живет от силы семей шестьдесят, ну и как я наторгую сигарет на пять тысяч... А картельщиков не обойдешь, кроме них никто табак не поставлял. И я на всю округу один торговал, наш староста меня поддержал, пи-

1. Крупная табачная фабрика в Германии.

сал письма гауляйтеру[1], чего мы только не перепробовали, но все напрасно. Кончилось судом, я проиграл, пришлось закрывать. Овощами много не наторгуешь. А потом меня призвали". — "И в твоей деревне теперь табаком не торгуют?" — раздался хрипловатый голос Поппа. "Как видишь, нет". — "А у нас никогда и не торговали". Приближалась вторая колонна танков, все затряслось. Одно из боковых окон "адмирала" расшаталось и теперь жутко дребезжало. Я указал на это Гёфлеру, он кивнул. Танки следовали друг за другом, нескончаемой колонной: фронт быстро продвигался вперед. Наконец фельджандарм дал отмашку — дорога свободна.

В Лемберге царил хаос. Солдаты, которых мы расспрашивали на контрольных постах, не имели понятия, где находится комендатура СС и СД; хотя город взяли еще два дня назад, никто не позаботился об установке указателей. Мы выбрали наугад широкую улицу; она переходила в бульвар, пастельные фасады домов, высившихся по обеим его сторонам, были кокетливо декорированы белой лепниной, а посередине ровной разделяющей полосой росли деревья. Повсюду толпился народ. Между немецкими военными машинами циркулировали украшенные транспарантами и желто-голубыми флагами автомобили и открытые грузовики, туда битком набились люди, в основном в штатском, редко в форме, орали, распевали во все горло песни, палили в воздух из винтовок и пистолетов. На тротуарах и под деревьями народ, кто с оружием, кто без, громко приветствовал их, протискиваясь между немецкими солдатами с бесстрастными лицами. Лейтенант люфтваффе[2] показал нам дорогу до комендатуры, оттуда нас отослали в АОК-17. Офицеры бегали вверх-вниз по лестницам, заходили и выходили из кабинетов, хлопали дверями; в коридорах под ногами, мешая проходу, валялись ворохи документов из советских архивов. В холле теснились вооруженные люди в пиджаках с желто-голубыми повязками; они возбужденно переговаривались на украинском или польском — не разберешь — с солдатами в немецкой форме. У некоторых на рукаве я заметил нашивку в виде соловья. Потеряв терпение, я поймал за руку молодого майора абвера: "Einsatzgruppe[3] B? Они приехали вчера, сидят в кабинетах НКВД". — "И где именно?" Уставший взгляд: "Не представляю даже". Кончилось тем, что он все-таки дал мне в сопровождение своего подчиненного, уже успевшего там побывать.

По бульвару медленно, хоть пешком иди, тащились машины, потом движение и вовсе застопорилось. Я вылез из "опеля" посмотреть, что происходит. Люди орали, бешено аплодировали, вытаскивали из кафе стулья и ящики и вскарабкивались на них, чтобы лучше было видно, сажали на плечи детей. Я с трудом прокладывал себе дорогу. В центре толпы образовался круг, там, как на сцене, щеголяли мужчины в несуразных костюмах, вероятно украденных из театров и музеев: регентский парик и гусарский мундир 1812 года, магистерская мантия, оторочен-

1. Должностное лицо в нацистской Германии, осуществлявшее всю полноту власти на вверенной ему административно-территориальной единице.
2. Люфтваффе (Luftwaffe) — военно-воздушные силы.
3. Боевое подразделение, оперативная группа (*нем.*).

ная горностаем, монгольские кинжалы и шотландская юбка; горжетки и опереточные наряды, римские тоги вперемежку с костюмами эпохи Ренессанса. Человек, напяливший кавалерийскую буденновскую форму, цилиндр и меховой воротник, размахивал длинным маузером; остальные несли дубинки и винтовки. Перед ряженых, время от времени получая удар ногой или прикладом, ползали на коленях люди и лизали мостовую; большинство из них истекали кровью; толпа ликовала. За моей спиной кто-то бойко заиграл на аккордеоне; тут же десятки голосов подхватили знакомый веселый мотив, человек в шотландской юбке неизвестно откуда вытащил скрипку без смычка и принялся дергать ее струны, как на гитаре. Один из зрителей потянул меня за рукав и закричал, выпучив глаза: "Жид, жид, капут!" Мне и без него давно уже это было понятно. Я резко отдернул руку и стал пробираться сквозь толпу; Гёфлер между тем уже объехал бульвар и ждал меня. "Я думаю, нам сюда", — наш провожатый указал поперечную улицу. Очень скоро мы заблудились. Гёфлеру вдруг пришла идея спросить у прохожего: "НКВД?" — "НКВД капут!" — радостно заорал тот. Потом жестами объяснил, как найти бывшее здание комитета, оказавшееся всего в двухстах метрах от АОК, — мы ошиблись с направлением. Я отпустил офицера и пошел наверх представляться. Мне доложили, что Раш в данный момент совещается с Leiter'ами всех подразделений и офицерами АОК; неизвестно, когда он сможет меня принять. Один гауптштурмфюрер поспешил мне на помощь: "Вы из Луцка? Мы в курсе, бригадефюрер разговаривал по телефону с обергруппенфюрером Йекельном. Я уверен, что ваш рапорт его заинтересует". — "Хорошо, я подожду". — "Раньше чем через два часа он не освободится. Вы пока лучше пройдитесь по городу. Старый город стоит посмотреть". — "На улицах неспокойно". — "Да, вы правы. НКВД, перед тем как убраться, расстрелял три тысячи тюремных заключенных. А после все украинские и галицкие националисты вышли из лесов, бог его знает, где уж они там прятались, но теперь они несколько возбуждены. Евреи сейчас переживают не лучшие минуты своей жизни". — "Вермахт не вмешивается?" Он отвел глаза: "Приказ свыше, оберштурмфюрер. Население мстит предателям и коллаборационистам, это не наше дело. Внутренний конфликт. Ладно, до скорой встречи". Он скрылся в кабинете, я вышел. Со стороны центра доносились выстрелы, напоминавшие хлопки петард на ярмарке. Я оставил Гёфлера и Поппа в "опеле" и вернулся на центральный бульвар. Под колоннадой царило веселье, двери и окна кафе были распахнуты настежь, люди пили, кричали; несколько раз по пути мне пожали руку; какой-то человек, явно навеселе, угостил шампанским, я залпом осушил бокал, хотел его вернуть, но человек уже исчез. В толпе, как на карнавале, продолжали выплясывать те самые, в театральных костюмах, на некоторых мелькали клоунские, безобразные, гротескные маски.

Я пересек парк, за ним начинался старый город, разительно отличавшийся от бульвара с его австро-венгерским стилем: здесь стояли высокие, узкие дома в духе позднего Ренессанса, с остроконечными крышами, полинявшими фасадами разных цветов, отделанными барочным орнаментом из камня. Прохожие на улицах встречались гораздо реже.

В витрине неработающего магазина висел устрашающий плакат: увеличенная фотография трупов и подпись на кириллице, я разобрал

только слова "Украина" и "жиды", евреи. Потом набрел на огромную прекрасную церковь, скорее всего католическую, она была заперта, я стучал, но никто не открыл. Ниже по улице сквозь распахнутую дверь слышался звон падающей посуды, грохот, крики; немного поодаль мертвый еврей уткнулся носом в сточную канаву. Небольшие группы вооруженных людей с желто-голубыми повязками беседовали со штатскими; заходили в дома, и вскоре оттуда доносился шум, иногда выстрелы.

Вдруг с верхнего этажа вместе с оконной рамой вылетел человек и в дожде битого стекла рухнул мне под ноги, я отпрянул, чтобы не пораниться осколками; отчетливо уловил глухой удар его затылка о мостовую. Мужчина в рубашке и с фуражкой на голове высунулся из пустого проема; увидев меня, радостно завопил на ломаном немецком: "Господин дойчен официр, извините! Я вас не заметил". Меня все больше охватывал страх и тревога, я обогнул труп и молча зашагал прочь. Чуть дальше из дверей старой колокольни выскочил человек с бородой в сутане священника и бросился ко мне: "Господин офицер! господин офицер! Сюда, сюда, я вас прошу". По-немецки он изъяснялся гораздо лучше, чем взломщик окон, но с каким-то странным акцентом. Он почти силой повлек меня к воротам. Я услышал плач, стоны, дикий вой; во дворе церкви группа мужчин дубинками и металлическими прутьями жестоко избивала распластанных на земле евреев. Многие тела лежали неподвижно, другие еще вздрагивали под ударами. "Господин офицер, — умолял священник, — сделайте что-нибудь! Здесь же храм!" Я в нерешительности остановился в воротах; священник продолжал тянуть меня за рукав. Не знаю, о чем я думал. Потом меня заметил украинец и что-то сказал остальным, мотнув головой в мою сторону; те сначала колебались, но потом все же прекратили избиение; священник обрушился на них с упреками, я ничего не понимал. Он обернулся ко мне: "Я сказал, что вы приказали прекратить это. Я сказал, что церкви священны и что они свиньи, а церкви находятся под защитой вермахта, и если они не уйдут добровольно, то их арестуют". — "Но я же тут один", — ответил я. "Не имеет значения", — возразил он и возмущенно выкрикнул еще несколько фраз по-украински. Мужчины неохотно опустили дубинки, среди них нашелся оратор, адресовавший мне страстную тираду, я разобрал только "Сталин", "Галиция", "жиды". Его товарищ плюнул на трупы. Повисла довольно долгая пауза, украинцы медлили; священник снова прикрикнул на них, тогда они оставили евреев, строем поднялись вверх по улице и исчезли, не проронив ни слова. "Спасибо, — поблагодарил священник, — спасибо". Он подбежал к евреям и начал торопливо их осматривать. Двор имел небольшой уклон, в нижней его части к церкви примыкала красивая колоннада под малахитового цвета крышей, отбрасывавшая густую тень. "Помогите мне, — сказал священник, — вон тот еще жив". Он ухватил его под мышки, я взялся за ноги; это был юноша с едва начавшей пробиваться щетиной. Голова его запрокинулась, по кудрявым волосам струилась кровь, крупные блестящие капли падали на каменные плиты. Сердце мое бешено колотилось: я еще никогда не прикасался к умирающему. Нужно было обойти церковь, священник пятился задом, ворча по-немецки: "Сначала большевики, теперь дураки-украинцы. Почему ваша армия ничего не предпринимает?" В глубине за огромной аркой открывался двор и вход в церковь.

Я помог священнику внести еврея внутрь и устроить его на скамье. Он что-то крикнул; из глубины нефа появились двое таких же бородатых мужчин, но в обычных костюмах. Священник обратился к ним на языке, не похожем ни на украинский, ни на русский, ни на польский. Все трое направились во двор к воротам; двое повернули к евреям, третий пошел по аллее. "Я послал его за доктором", — сказал священник. "А что это за церковь?" — спросил я. Он остановился, внимательно посмотрел на меня: "Армянский собор". — "Разве в Лемберге есть армяне?" — удивился я. Он пожал плечами: "Армяне поселились здесь гораздо раньше немцев или австрийцев". Священник и его друг принесли в церковь еще одного тихо постанывающего еврея. Кровь евреев медленно стекала по наклонным плитам двора вниз к колоннаде. Под арками я разглядел замурованные в стены и в пол надгробия, сплошь покрытые причудливой вязью — без сомнения, армянскими надписями. Я приблизился: кровь заполняла буквы, высеченные на плоских камнях. Я быстро отвернулся: меня мутило и стало тяжело дышать. Я зажег сигарету.

Под колоннадой было прохладно. Во дворе в лужах свежей крови, на известняке, на отяжелевших телах евреев, на их черных или коричневых грубых драповых костюмах, пропитавшихся кровью, блестело солнце. Мухи кружили над головами трупов и садились на раны. Священник вернулся: "А мертвые? — приступил он ко мне. — Нельзя оставлять мертвых здесь". Но у меня не возникало ни малейшего желания ему помогать; меня ужасала сама мысль, что придется дотронуться до какого-нибудь из этих безжизненных тел. Я двинулся к воротам мимо трупов и вышел на улицу. Там было безлюдно, я наугад повернул налево. Через несколько метров улица заканчивалась тупиком; но справа я обнаружил площадь, в центре которой высилась величественная барочная церковь, украшенная в стиле рококо высоким портиком с колоннами и увенчанная медным куполом. Я поднялся по ступеням и вошел.

Огромный, но словно невесомый свод нефа покоился на тонких витых колоннах, сквозь витражи лились потоки дневного света, мягкими отблесками ложившиеся на деревянные позолоченные скульптуры; ряды темных отполированных скамей, сейчас пустовавших, уходили вглубь, к алтарю. Сбоку маленького, беленого тамбура я заметил низкую дверь старого дерева, обитую железом, и толкнул ее; каменные ступени спускались в широкий низкий коридор, куда лучи проникали через крохотные окошки. Противоположную стену занимали застекленные шкафы, в которых хранились предметы культа; среди них, как мне показалось, попадались старинные, на редкость тонкой работы. К моему удивлению, в одной витрине были выставлены и предметы иудаики: свитки на иврите, молитвенные покрывала, гравюры, изображавшие евреев в синагоге. Книги на иврите имели оттиски немецких типографий: Lwow, 1884; Lublin, 1853, bei Schmuel Berstein[1]. Послышались шаги, я поднял голову: ко мне направлялся монах с тонзурой, в белом одеянии доминиканца. Поравнявшись со мной, он остановился и сказал по-немецки: "Здравствуйте, чем могу служить?" — "А что это такое?" — "Вы в монастыре". Я повернулся к шкафам: "Нет, я имею в виду вот эти

1. Львов, 1884; Люблин, 1853, [издано] у Шмуэля Берштейна (*нем.*).

вещи". — "Наш музей религий. Все это предметы для разных богослужений. Смотрите, если хотите. Обычно мы просим о небольшом пожертвовании, но сегодня посещение бесплатное". Он продолжил свой путь и тихо скрылся за дверью с железными скобами.

Там, откуда он появился, коридор поворачивал направо; я оказался во внутренней монастырской галерее, закрытой вставленными между колоннами окнами и окруженной невысокой стеной. Мое внимание привлекла длинная узкая витрина. Лампа, закрепленная на стене, освещала ее изнутри; я наклонился: два скелета лежали обнявшись, наполовину присыпанные сухой землей. Тот, что побольше, без сомнения принадлежавший мужчине, хотя рядом с черепом и остались крупные медные серьги, — на спине; другой, видимо женский, — на боку, свернувшись клубком в его объятьях и положив на его ногу свои. Потрясающая картина, ничего подобного я еще не видел. Мне не удалось прочитать табличку. Сколько веков покоились они, вот так прижавшись друг к другу? Захоронение, по-видимому, относилось еще к доисторической эпохе; женщину, очевидно, принесли в жертву и закопали в могиле с умершим повелителем; я знал, что в древние времена существовал такой обычай. Но логические умозаключения отступали при виде этой позы — позы людей, утомленных любовью, страстной, полной волнующей нежности. Я вспомнил сестру, у меня сдавило горло; она бы зарыдала, увидев подобное.

Я покинул монастырь, никого не встретив, и двинулся на другой конец площади. Моему взору открылась еще одна обширная площадь, в середине ее находилось пристроенное к башне вытянутое здание в обрамлении деревьев. Вокруг теснились домики, украшенные каждый на свой лад и похожие на сказочные. За центральным зданием собралась возмущенная толпа, я постарался пройти мимо, взял левее, обогнул кафедральный собор, осененный каменным крестом, который бережно поддерживали ангел, рядом — печальный Моисей с его скрижалями и какой-то задумчивый святой в лохмотьях; крест возвышался над черепом со скрещенными костями; почти такие же красовались на эмблеме моей пилотки. Еще дальше в переулочке выставили столы и стулья. Мне было жарко, я устал, в пивнушке не оказалось ни души, я присел, тут же подошла девушка и обратилась ко мне по-украински. "У вас есть пиво? Пиво?" — по-немецки спросил я. Она покачала головой: "Пива нету". Это я понял. "А кофе? Кава?" — "Да". — "Вода?" — "Да". Она вернулась за стойку и принесла стакан воды, я выпил его залпом. Потом подала кофе, уже с сахаром. Сладкий я не пью. Я зажег сигарету. Девушка снова оказалась возле меня, взглянула на кофе, уточнила насколько позволял ее немецкий: "Кофе? Не хорошо?" — "Сахар. Нет". — "А!" Она улыбнулась, забрала чашку, принесла другую. Кофе был крепкий, без сахара, я пил его и курил.

Расположенная у подножья собора справа от меня часовня, опоясанная черной лентой барельефов, загораживала вид. Человек в немецкой военной форме огибал ее, изучая вереницу переплетенных скульптур. Он заметил меня и устремился к кафе, я разглядел его погоны, быстро встал и отсалютовал. Он тоже отдал честь. "Добрый день! Так вы — немец?" — "Да, господин гауптман". Он вынул платок, промокнул лоб. "Тем лучше, позвольте, я присяду?" — "Конечно, господин гаупт-

ман". Девушка появилась опять. "Вы предпочитаете кофе с сахаром или без? Это все, что у них есть". — "С сахаром, пожалуйста". Я растолковал девушке, чтобы она принесла еще два кофе и сахар на блюдце, потом сел на место. Он протянул мне руку: "Ганс Кох. Я из абвера". Я тоже представился. "О, так вы из СД? Действительно, я не обратил внимания на вашу нашивку. Тем лучше, тем лучше". Гауптман производил впечатление человека весьма симпатичного: ему перевалило за пятьдесят, он носил круглые очки и слегка оброс жирком. Я различил у него австрийский, но не венский, акцент. "Вы — австриец, я предполагаю, господин гауптман?" — "Да, из Штирии. А вы?" — "Мой отец родился в Померании, а я в Эльзасе, мы жили то там, то сям". — "Конечно, понятно, понятно. Вы прогуливаетесь?" — "В некотором роде, да". Он кивнул: "А я здесь по случаю собрания. Уже скоро. Тут совсем недалеко". — "Собрания, господин гауптман?" — "Знаете, нас приглашали на культурное мероприятие, но мне кажется, это будет политическое собрание. — Он наклонился ко мне, словно собираясь сделать признание: — Меня направили как эксперта в украинских национальных вопросах". — "А вы — эксперт?" — "Вовсе нет! Я профессор теологии. Я немного разбираюсь в проблеме униатской церкви, и только. Вероятно, меня назначили, потому что я воевал в кайзеровской армии в чине лейтенанта во время Мировой войны[1], понимаете, они, должно быть, решили, что я специалист по национальному вопросу; но я служил тогда на итальянском фронте и к тому же в администрации. Правда, общался с коллегами хорватами..." — "Вы знаете украинский?" — "Ни единого словечка. Но у меня есть переводчик. Он сейчас на площади, выпивает с типами из ОУН[2]". — "ОУН?" — "Да. Вы разве не знаете, что сегодня утром они захватили власть? Кстати, и радио тоже. И зачитали призыв к восстановлению Украинского государства, если я правильно понял. Вот почему меня обязали идти на собрание. Митрополит, как мне передали, благословит новое государство. Кажется, наши его просили, я точно не знаю". — "Какой митрополит?" — "Униат, кто же еще. Православные нас ненавидят. Они и Сталина ненавидят, но нас сильнее". Я хотел расспросить его подробнее, но не успел: женщина в грязи, почти голая, в разодранных чулках, выскочила с воем из-за церкви; она ринулась в нашу сторону, споткнулась, перевернула один из столиков и с пронзительным визгом упала к нашим ногам. Ее белую кожу покрывали синяки, но кровь почти не текла. За ней спокойно вошли два бравых молодца с повязками на рукаве. Один извинился на плохом немецком: "Простите, Offizieren. Kein Problem[3]". Другой приподнял женщину за волосы и ударил ее кулаком в живот. Она икнула и затихла, на ее губах выступила пена. Первый залепил ей ногой под зад, и она снова побежала. Они, смеясь, затрусили следом и исчезли за часовней. Кох снял пилотку, в очередной раз вытер лоб, я водрузил на место опрокинутый стол. "Они просто дикари", — сказал я. "О да, я с вами совершенно согласен. Но я полагал, что ваше ведомство одобряет их действия?" — "Меня бы это

1. В описываемое время Мировой (или Великой) войной называли Первую мировую войну. (*Прим. автора.*)
2. ОУН — Организация украинских националистов.
3. ... офицеры. Нет проблем (*нем.*).

крайне удивило, господин гауптман. Однако я только что приехал, у меня нет последних данных". Кох продолжал: "В АОК, насколько мне известно, уверены, что СД приказала отпечатать плакаты и всячески разжигать национальную рознь. Они развернули так называемую *Операцию Петлюра*. Слышали о таком украинском лидере? Насколько я помню, его убил еврей. В двадцать шестом или двадцать седьмом". — "И все-таки вы — знаток". — "Я всего лишь прочитал несколько рапортов". Из пивнушки выглянула девушка. Улыбаясь, она знаком показала, что кофе готов. Местными деньгами я пока не обзавелся. Я покосился на часы: "Извините, господин гауптман. Я должен идти". — "Да, конечно. — Он потряс мою руку: — Счастливо!"

Я выбрал самую короткую дорогу, ведущую из старого города, и с трудом пробился через торжествующую толпу. В Gruppenstab царило оживление. Меня приветствовал тот же офицер: "А, опять вы". Наконец, бригадефюрер д-р Раш меня принял. Он встретил меня сердечным рукопожатием, но его лицо оставалось суровым. "Садитесь. Что произошло со штандартенфюрером Блобелем?" Он не надевал фуражки, и его большой выпуклый лоб блестел в свете лампы. Я кратко рассказал про нервное истощение Блобеля: "По мнению врача, кризис спровоцирован лихорадкой и усталостью". Раш скривил толстые губы. "Мне поступила письменная жалоба на него. Он угрожал офицерам вермахта?" — "Это преувеличение, господин бригадефюрер, правда, что Блобель бредил, вел себя неадекватно. Но это не касалось никого лично и явилось следствием болезни". — "Хорошо". Он уточнил еще некоторые детали, потом дал понять, что беседа закончена. "Штурмбаннфюрер фон Радецки уже возвращается в Луцк, он будет замещать штандартенфюрера, пока тот не поправится. Мы подготовим приказы и другие бумаги. По поводу ночлега обратитесь в администрацию к Гартлю, он вас разместит где-нибудь". Я вышел и отправился на поиски кабинета, где находился Leiter I; его помощник выдал мне деньги. Потом я спустился, чтобы найти Гёфлера и Поппа. И в холле столкнулся с Томасом. "Макс!" Он потрепал меня по плечу, мне стало так радостно. "До чего я рад тебя видеть! Какими судьбами?" Я объяснил. "Ты остаешься до завтра? Прекрасно. Я ужинаю с людьми из абвера в маленьком ресторанчике, надеюсь неплохом. Составишь компанию? Тебе выделили кровать. Не роскошно, но по меньшей мере чистые простыни обеспечены. Тебе повезло, что ты приехал сегодня. Вчера творился такой кавардак. Красные, отступая, унесли все, что смогли, а украинцы еще до нашего прибытия подгребли остатки. Мы для уборки пригнали евреев, но понадобился не один час, чтобы навести тут порядок, до рассвета не спали". Прежде чем уйти, я предложил встретиться в саду за домом. Попп храпел в "опеле", Гёфлер резался в карты с полицейскими; я коротко их проинформировал и отправился в сад покурить, ожидая Томаса.

Томас — мой близкий приятель, и я по-настоящему обрадовался, увидев его. Мы подружились несколько лет назад; в Берлине часто обедали вместе; иногда он звал меня в ночные кабаки, иногда на концерт. Он любил пожить на широкую ногу и всегда держал нос по ветру. В России я оказался главным образом из-за него; во всяком случае по его совету. Хотя на самом деле история началась чуть раньше. Весной 1939-го я защитил диссертацию и вступил в СД, тогда много говорили о войне.

После Богемии и Моравии фюрер сосредоточился на Данциге[1]; проблема заключалась в том, чтобы правильно оценить реакцию французов и англичан. Большинство считало, что Франция и Великобритания не рискнут ввязываться в войну за Данциг, как сделали это из-за Праги; но обе страны гарантировали Польше безопасность западных границ и теперь спешно вооружались. Мы подолгу обсуждали сложившуюся обстановку с доктором Бестом, моим научным руководителем и в некотором роде наставником в СД. Теоретически, утверждал он, нам нечего бояться войны; война — это логическое завершение Weltanshauung[2]. Цитируя Гегеля и Юнгера, он аргументированно доказывал, что государство способно достичь пика абсолютного единства только во время и посредством войны: "Если индивидуум сам по себе есть отрицание государства, то война — отрицание этого отрицания. Война — событие, как никакое другое, формирует основы коллективного существования народа, Volk". Но в высших кругах решались проблемы куда более прозаические. В министерстве Риббентропа, в абвере, в нашем департаменте у каждого имелась своя точка зрения на ситуацию.

Однажды меня вызвали к *шефу*, Рейнхарду Гейдриху[3]. Это произошло впервые, и я входил в его кабинет со смешанным чувством радостного возбуждения и страха. Он сосредоточенно работал над целой стопкой документов, и я несколько минут стоял навытяжку, пока он не указал мне на стул. Мне вполне хватило времени разглядеть его. До тогдашней встречи я, конечно, его уже неоднократно видел на служебных переговорах или в коридорах Дворца принца Альбрехта; но, если на расстоянии Рейнхард мне казался идеальным воплощением Übermensch[4] нордического типа, вблизи он производил странное впечатление, черты его как будто расплывались. Я подумал, что дело здесь в пропорциях: под необычайно высоким и выпуклым лбом рот выглядел слишком большим, а губы для узкого лица были слишком толстые; нервные длинные пальцы напоминали шевелящиеся водоросли, приросшие к ладоням. Когда он посмотрел на меня, я заметил, что его близко посаженные глаза бегают; а когда, наконец, заговорил, голос его зазвучал неестественно тонко для мужчины столь крупного телосложения. Меня приводила в замешательство женственность, сквозившая в его облике и делавшая его еще более зловещим. Он говорил быстро и кратко, почти никогда не заканчивая предложений, смысл которых оставался тем не менее ясным и понятным. "У меня к вам поручение, доктор Ауэ". Рейхсфюрер был недоволен рапортами о намерениях западных держав. Он желал получить иную оценку происходящего, не зависимую от мнения внешнего департамента. Ни для кого не было секретом, что в этих странах существует достаточно мощное пацифистское движение, даже в недрах националистических и пронацистских кругов; однако степень их влияния на правящие партии определить было трудно. "Вы отлично ориентируетесь в Париже, я думаю. Из вашего досье мне известно, что вы вхожи в круги, близ-

1. Данциг — немецкое название польского города Гданьска.
2. Мировоззрение (*нем.*).
3. Рейнхард Гейдрих (1904—1942) — шеф Главного управления имперской безопасности (РСХА), заместитель имперского протектора Богемии и Моравии, один из главных инициаторов создания сети концлагерей.
4. Сверхчеловек (*нем.*).

кие к Французской операции. Между тем эти люди приобрели значительный авторитет. — Я попытался вставить слово, но Гейдрих меня перебил: — Речь идет вот о чем". Он хотел отправить меня в Париж, чтобы там я возобновил все свои старые связи и постарался понять, какой реальный политический вес имеют пацифисты. Я должен всех предупредить, что после учебы уезжаю на каникулы. Разумеется, мне надлежит убеждать всех, кто интересуется данной проблемой, что в отношении Франции национал-социалистская Германия имеет мирные намерения. "Доктор Гаузер поедет с вами. Но рапорты вы будете писать самостоятельно. Штандартенфюрер Тауберт выдаст вам деньги и необходимые документы. Вам все ясно?" На самом деле я находился в полном замешательстве, и он застал меня врасплох: "Zu Befehl, господин группенфюрер", — все, что я смог ответить. "Отлично. Возвращайтесь в конце июля. Вы свободны, идите".

Я пошел к Томасу. Я радовался, что мы едем вместе: студентом он провел несколько лет во Франции и превосходно знал французский. "Слушай! Ты слишком переживаешь, — начал он сразу, увидев меня. — Радуйся! Тебе поручили задание, миссию, а это что-то да значит. — Я внезапно осознал, что и вправду для меня все обернулась удачно. — Вот увидишь, если все получится, то многие двери распахнутся перед нами. Скоро все забурлит, и тот, кто сумеет воспользоваться моментом, сможет неплохо устроиться". Он уже успел посетить Шелленберга, главного советника Гейдриха по иностранным делам; Шелленберг подробно объяснил, что от нас требуется. "Чтобы узнать, кто хочет войны, кто — нет, достаточно читать газеты. Гораздо труднее определить влияние и тех и других. И прежде всего влияние евреев. Фюрер, кажется, совершенно убежден, что они хотят втянуть Германию в новый конфликт; но допустит ли подобное Франция? Вот в чем вопрос. — Томас весело рассмеялся: — И потом, в Париже вкусно кормят! И девушки красивые". Наша командировка протекала гладко. Я встретился с друзьями — Робером Бразильяком[1] (он собирался в фургоне путешествовать по Испании с сестрой и Бардешем, ее мужем), Блондом, Ребате и другими — менее известными — старыми приятелями из начальной школы и Свободной школы политических наук. Ночью полупьяный Ребате тащил меня в Латинский квартал и с ученым видом комментировал намалеванные на стенах Сорбонны граффити: MENE THECEL PHARES[2]; иногда днем — к невероятно прославившемуся Селину, недавно опубликовавшему второй и очень едкий памфлет; в метро Пулен, друг Бразильяка, цитировал мне целые куски: *Между Францией и Германией не существует никакой лютой, непреодолимой ненависти. А вот что существует, так это неустанные, безжалостные происки еврейско-британских разжигателей войны, из кожи вон лезущих, чтобы помешать Европе еще раз, как до восемьсот сорок третьего года, выступать единым блоком, образовав франко-германское единство. Весь хитроумный план еврейско-британской коалиции имеет целью усугубить конфликт, стравить нас друг с другом, устроить бойню, из которой мы, конечно, всегда выбираемся, но каждый раз в ужасающем состоянии, так что и французы, и нем-*

1. Робер Бразильяк (1909–1945) — французский писатель и публицист профашистского толка.
2. Исчислено, взвешено, разделено (Дан. 5:25–28).

цы, обескровленные, оказываются целиком и полностью во власти евреев из Сити. Гаксотт и Робер, по версии "Юманите" заключенные в тюрьму, утверждали, что французская политика строится на астрологических прогнозах Трарьё д'Эгмона, предсказавшего точную дату Мюнхенского соглашения. Плохим знаком стало решение французского правительства выдворить из страны официальных немецких представителей. Когда спрашивали мое мнение, я говорил: "С тех пор, как Версаль очутился на задворках истории, французский вопрос перестал для нас существовать. Никто в Германии не претендует на Эльзас или Лотарингию. Но с Польшей ничего не урегулировано. Мы не понимаем, что заставляет Францию вмешиваться". А французское правительство действительно не желало оставаться в стороне. Те, что не внимали доводам об опасности, исходящей от евреев, ругали Англию: "Они хотят сохранить свою Империю. Со времен Наполеона основная линия их политики — не допустить появления на континенте единой силы". Остальные, наоборот, считали, что Англия скорее старается уклониться от вмешательства, а французский генеральный штаб жаждет альянса с русскими, чтобы напасть на Германию, *пока не поздно.* Несмотря на общее воодушевление, мои друзья были настроены пессимистично: "Французские правые плюют против ветра, — поделился со мной как-то вечером Ребате. — Из порядочности". Все мрачно признавали, что рано или поздно война все-таки начнется. Правые проклинали левых и евреев; левые и евреи, конечно же, Германию. Томаса я видел редко. Один раз я привел его в бистро, где встречался с сотрудниками газеты "Я повсюду"[1], и представил как университетского друга. "Твой Пилад?" — с издевкой по-гречески спросил Бразильяк. "Именно, — парировал Томас тоже на греческом, смягченном венским акцентом. — А он — мой Орест. Остерегайся крепкой дружбы воинов". Томас завязывал контакты в основном в деловых кругах; пока я довольствовался вином и паштетами в мансардах, набитых разгоряченными молодыми людьми, он дегустировал фуагра в лучших ресторанах города. "Тауберт платит, — смеялся он. — Стоит ли отказываться?"

По возвращении в Берлин я отпечатал свой доклад. Мои выводы были пессимистичны, но обоснованны: французские правые силы решительно против войны, но почти не имеют политического веса. Правительство, находящееся под влиянием евреев и британских плутократов, придерживается мнения, что немецкая экспансия, даже оставаясь на своей *естественной* Grossraum[2], угрожает жизненным интересам Франции; правительство вступит в войну не из-за Польши, а защищая собственные гарантии, данные Польше. Я передал донесение Гейдриху и по его просьбе отослал копию Вернеру Бесту. "Вы, безусловно, правы, — сказал мне Бест, — но от вас ждали совсем другого". Я не стал обсуждать свой доклад с Томасом; когда я делился с ним основными выводами, он недовольно скривился: "Ты, правда, так ничего и не понял. Можно подумать, ты явился из французской глубинки". Томас изложил прямо противоположную позицию: французские промышленники про-

1. "Я повсюду" ("Je suis partout") — французская газета, основанная в 1930 г. Ж. Файяром.
2. Территории (*нем.*).

тивятся войне из-за своих интересов в области экспорта, французские вооруженные силы тоже против; таким образом, французскому правительству остается только смириться с этим. "Но ты же знаешь, что все пойдет иначе", – возразил я. "А кого заботит, что будет дальше? Какое отношение это имеет к тебе или ко мне? Рейхсфюрер хочет одного: уверить фюрера, что можно беспрепятственно, как ему и докладывают, наступать на Польшу. С тем, что произойдет потом, потом и разберутся. – Он покачал головой: – Твой рапорт рейхсфюрер во внимание не примет".

Томас оказался прав. Гейдрих никак не отреагировал на мое сообщение. Когда месяц спустя армия вермахта захватила Польшу и Франция с Великобританией объявили нам войну, Томас получил назначение в новую, элитарную Einsatzgruppe под командованием Гейдриха, а я остался прозябать в Берлине. Вскоре я понял свою ошибку: я безнадежно запутался в бесконечных *цирковых играх национал-социалистов*, неверно истолковал неоднозначные намеки руководства и не смог предугадать желание фюрера. Я составил точные заключения, Томас – неправильные; он получил завидное назначение и возможность дальнейшего повышения по службе, меня же выкинули за борт. В течение следующих месяцев я по определенным признакам выявил, что внутри реорганизованной РСХА, с момента неофициального слияния СП и СД, влияние Беста, несмотря на то что он возглавил два департамента, иссякло; звезда Шелленберга, наоборот, поднималась все выше и выше. Томас, словно бы случайно, с начала года начал посещать именно Шелленберга; у моего друга был особенный талант безошибочно оказываться в нужном месте не в нужный час, а чуть раньше; таким образом, создавалось впечатление, что он всегда там и находился, а смена бюрократической власти только его догоняла. Имей я чуть больше наблюдательности, давно бы это понял. Теперь же я опасался, что мое имя всегда будут связывать с именем Беста и приклеят ярлык *бюрократ, узколобый юрист*, недостаточно *активный*, недостаточно *твердых убеждений*. Мне поручат составлять юридические отчеты, для такой работы постоянно требуются люди, и только. Действительно, через год в июне Вернер Бест подал в отставку и покинул ведомство РСХА, созданию которого содействовал больше, чем кто-либо. В то время я усиленно добивался, чтобы меня отправили во Францию, но получил ответ, что мои услуги больше пригодятся в министерстве юстиции. Бест, хитрый как лиса, повсюду имел друзей и защитников. Постепенно тематика его статей изменилась: если несколько лет назад он занимался уголовным и конституционным правом, то сейчас его интересовали вопросы международного права и теория Grossraum, которую он, отмежевавшись от Карла Шмитта, развивал вместе с моим бывшим преподавателем, профессором Рейнхардом Хёном и еще несколькими интеллектуалами. Ловко разыграв свои карты, он получил высокий пост в военной администрации во Франции. А меня даже не публиковали.

Томас, приехав в увольнительную, подтвердил диагноз: "Я говорил, что ты совершил глупость. Все, кто чего-то стоят, отправились в Польшу". Сейчас он мне ничем особенно помочь не может, добавил он. Шелленберг – звезда, протеже Гейдриха, и Шелленберг меня не любит и считает ограниченным. Олендорф – другая моя опора, но его положе-

ние слишком шаткое, чтобы думать еще и обо мне. Возможно, не помешало бы встретиться с бывшими сотрудниками моего отца. Хотя теперь все немного заняты.

В конце концов именно благодаря стараниям Томаса мои дела сдвинулись с мертвой точки. После Польши он уехал в Югославию, потом в Грецию, несколько раз его награждали, и вернулся он уже гауптштурмфюрером. Он носил только военную форму, сшитую так же элегантно, как его прежние костюмы. В мае 1941-го он пригласил меня на обед в "Хорхер", знаменитый ресторан на Лютерштрассе. "Я угощаю, — сказал он, лучезарно улыбаясь, заказал шампанского, мы выпили за победу: — Sieg Heil! За прошлые и будущие победы, — прибавил Томас. — Знаешь ли про Россию?" — "Слухи ходят, — отозвался я, — больше ничего". Он опять улыбнулся: "Мы атакуем. В следующем месяце". Подождал, пока новость произведет должный эффект. "Бог мой", — вырвалось у меня. "Бога нет. Есть Адольф Гитлер, наш фюрер и непобедимая мощь немецкого рейха. Мы соберем самую многочисленную за всю историю человечества армию и раздавим их за несколько недель". Мы выпили. "Послушай, — произнес он наконец. — *Шеф* формирует подразделения для сопровождения штурмовиков вермахта. Спецподразделения, как в Польше. У меня есть основания полагать, что он положительно воспримет инициативу молодого, талантливого офицера СС добровольно вступить в такую Einsatzgruppe". — "Я уже проявлял инициативу. Насчет Франции. Но мне отказали". — "В этот раз не откажут". — "А ты поедешь туда?" Он легонько поболтал шампанское в бокале. "Конечно. Я получил назначение в один из штабов. Каждый штаб руководит несколькими Kommando. Я уверен, что и тебя удастся пристроить в какой-нибудь Kommandostab". — "А для чего, собственно, нужны эти штабы?" Он усмехнулся: "Я же тебе сказал: специальные операции. Работа СП и СД, безопасность армии в тылу, сбор информации, осведомление и все в таком роде. Держать под прицелом солдат вермахта. Взгляды их немного устарели, в Польше возникали кое-какие сложности, никто не хочет, чтобы подобное повторялось. Не желаешь поразмыслить?" Вас удивит, наверное, что я согласился без колебаний? То, что предлагал Томас, казалось таким разумным и таким интересным. Поставьте себя на мое место. Кто бы в здравом уме вообразил, что юристов вербуют для убийства людей без суда и следствия? Все мне было ясно и понятно, и я, почти не задумываясь, ответил: "Что зря время терять? Я смертельно скучаю в Берлине. Если ты за меня похлопочешь, я с удовольствием поеду". Он снова одарил меня улыбкой: "Я всегда знал, что ты прекрасный парень и на тебя можно положиться. Подожди, мы еще здорово развлечемся". Я радостно засмеялся, мы пили шампанское. Вот так, и никак не иначе, дьявол ловит в свои сети.

Но в Лемберге я еще всего этого не осознавал. Наступали сумерки, когда Томас отвлек меня от размышлений. Со стороны бульвара до сих пор доносились отдельные выстрелы, но в целом стало гораздо спокойнее. "Ты идешь? Или останешься здесь ворон считать?" — "В чем суть *Операции Петлюра*?" — спросил я его. "В том, что ты видишь на улице. А откуда такая осведомленность?" Я пропустил его вопрос мимо ушей: "Это вы спровоцировали погром?" — "Мы просто не мешали, скажем так. Отпечатали плакаты. Не думаю, что украинцы нуждались в отмашке с нашей сто-

роны. Ты, кстати, видел объявления ОУН? *Вы встречали Сталина цветами, а мы Гитлеру в знак приветствия подарим ваши головы.* Они сами это придумали". – "Понимаю. Пойдем пешком?" – "Да, тут совсем недалеко". Ресторан находился на улочке за центральным бульваром. Дверь была закрыта, Томас постучал, дверь приоткрыли, потом распахнули настежь, мы увидели темный зал, освещенный свечами. "Только для немцев", – весело сказал Томас. "А, профессор, добрый вечер". Два офицера абвера уже пришли, кроме них не было ни одного посетителя. Я сразу узнал более внушительного, с которым поздоровался Томас; элегантный, с хорошими манерами, довольно молодой, маленькие черные глазки поблескивали на гладком, круглом, как луна, лице. Волосы у него были несколько длинноваты и с одной стороны взбиты в легкомысленный, не слишком подходящий военному кок. Я тоже пожал ему руку: "Профессор Оберлендер. Приятно встретиться с вами вновь". Он вопросительно посмотрел на меня: "Мы знакомы?" – "Нас представляли друг другу несколько лет назад, после ваших лекций в берлинском университете. Доктор Рейнхард Хён мой учитель". – "А, так вы – ученик доктора Хёна! Чудесно!" – "Мой друг доктор Ауэ – восходящая звезда СД", – ловко ввернул Томас. "Я не удивлен, он же – ученик доктора Хёна. Порой кажется, что вся СД прошла через его руки. – Он повернулся к своему спутнику: – Однако я вас еще не познакомил с гауптманом Вебером, моим заместителем". Оба, как я отметил, носили нашивку с соловьем, которую я уже видел днем на рукавах некоторых солдат. "Извините мою непросвещенность, – сказал я, пока все рассаживались, – что означает этот знак?" – "Это эмблема 'Nachtigall'[1], – ответил Вебер, – специального батальона абвера, набранного из украинских националистов западной Галиции". – "Профессор Оберлендер командует 'Nachtigall'. Выходит, что мы с ним конкуренты", – вмешался Томас. "Вы преувеличиваете, гауптштурмфюрер". – "Не слишком. Вы поставили на Бандеру, мы – на Мельника[2] и Берлинский комитет". Дискуссия тотчас оживилась. Нам подали вина. "Бандера может быть нам полезен", – подтвердил Оберлендер. "Чем же? – возразил Томас. – Эти типы совершенно лишились тормозов, повсюду разбрасывают прокламации, ни с чем не считаясь. – Он воздел к потолку руки: – *Независимость!* Просто смешно". – "А вы полагаете, с Мельником лучше?" – "Мельник – разумный человек. Он ищет поддержки в Европе, террор его не интересует. Он – политик и готов на долгосрочное сотрудничество, которое и для нас бы открыло широкие перспективы". – "Возможно, но народ его не слушает". – "Взбесившиеся скоты! Если они не угомонятся, нам придется принять меры". Мы выпили. Вино было хорошее, хотя немного терпкое. "Откуда оно?" – постучал ногтем по своему стакану Вебер. "Наверное, Карпаты", – ответил Томас. "Вам известно, – Оберлендер не хотел уступать и возобновил разговор, – что ОУН два года успешно сопротивлялась советской власти? Не так-то просто их уничтожить. Правильнее установить над ними свой контроль и направить их энергию в нужное русло. По крайней мере Бандеру они послушаются. Он сегодня встречался со Стецко, и все прошло отлично". – "Кто

1. "Nachtigall" – соловей (*нем.*).
2. Григорий Мельник – украинский националист, служивший в батальоне "Нахтигаль".

такой Стецко?" – спросил я. Томас ответил, не скрывая иронии: "Ярослав Стецко – новый премьер-министр так называемой независимой Украины, которую мы не признаем". – "Если мы верно разыграем партию, – продолжал Оберлендер, – то быстро собьем с них спесь". Томас взвился: "С кого? С Бандеры? Он – террорист, террористом и останется. У него душа террориста. Именно поэтому все сумасшедшие фанатики его обожают. – Он повернулся ко мне: – Ты представляешь, где абвер откопал Бандеру? В тюрьме!" – "В Варшаве, – с улыбкой уточнил Оберлендер. – Он отбывал наказание за убийство польского министра в тридцать четвертом. Но я ничего плохого здесь не вижу". Томас повернулся к Оберлендеру: "Я просто говорю, что Бандера неуправляем. Вы скоро в этом убедитесь. Он сам фанатик, грезит о Великой Украине от Карпат до Дона. Выдает себя за новое воплощение Дмитрия Донского. Мельник хотя бы реалист. Его многие поддерживают. Все, на кого можно положиться, на его стороне". – "Да, конечно, но только не молодые. И потом, согласитесь, еврейский вопрос его не слишком занимает". Томас пожал плечами: "Здесь можно обойтись и без него. На самом деле исторически ОУН никогда не являлась антисемитской организацией. Лишь благодаря Сталину они изменились в этом отношении". – "Возможно, вы правы, – мягко вступил Вебер. – Но есть и другая причина, кроящаяся в тесной связи евреев и крупных польских землевладельцев". Принесли горячее: жареную утку с яблоками, пюре с тушеной свеклой. Томас разложил всем еду по тарелкам. "Очень вкусно", – воскликнул Вебер. "Да, превосходно", – вторил ему Оберлендер. "Национальная кухня?" – "Да, – принялся объяснять Томас, проглотив очередной кусок. – Утку приготовили с майораном и натерли чесноком. Обычно сначала подают суп из утиной крови, но сегодня они не решились". – "Простите, – вмешался в беседу и я, – а как ваш батальон 'Nachtigall' вписывается в эту картину?" Оберлендер прекратил жевать и вытер губы, прежде чем ответить: "С ними дело обстоит несколько иначе. Речь здесь о русинском духе, если хотите. Идеологически – а самые старые и по духу – они относятся к национальному военному сословию императорской армии, называвшемуся Ukrainski Sichovi Strilci[1], что-то вроде казаков. После войны они осели здесь и многие из них воевали с Петлюрой против красных, а в восемнадцатом году и против нас, ОУН их не слишком любит. Они скорее за автономию, чем за полную независимость". – "Как, впрочем, и бульбовисты", – добавил Вебер. Он взглянул на меня: "Разве в Луцке они еще не показывались?" – "При мне нет. Они тоже украинцы?" – "Волыняне, – уточнил Оберлендер, – сами защищали свою территорию, сначала от поляков. С тридцать девятого боролись против советской власти, и в наших интересах поладить с ними. Но мне кажется, они сейчас окопались где-то вблизи Ровно и дальше у припятских болот". Все принялись за еду. "Мне неясно, – снова заговорил Оберландер и повел вилкой в нашу сторону, – почему большевики прижимали поляков, а не евреев. С последними, как заметил Вебер, они всегда были заодно". – "Я полагаю, ответ очевиден, – сказал Томас. – В сталинском аппарате решающее слово

1. Украинские сечевые стрельцы – украинские военные формирования, первоначально – подразделения армии Австро-Венгерской империи, сформированные по национальному признаку во время Первой мировой войны.

имеют евреи. Когда большевики оккупировали Украину, то заняли место польских *панов* и прибегли к уже отработанным приемам, то есть заручились поддержкой евреев, чтобы и дальше угнетать украинское крестьянство, породив тем самым справедливый народный гнев, всплеск которого мы сейчас наблюдаем". Вебер прыснул в стакан; Оберлендер гоготнул: "*Справедливый народный гнев.* Я вас умоляю, гауптштурмфюрер". Он глубже уселся в кресло и постукивал ножом по краешку стола. "Для публики сгодится. Для наших союзников и для американцев. Но вы-то знаете не хуже меня, как этот справедливый гнев организован". Томас любезно улыбнулся: "Однако, профессор, есть один положительный момент: население психологически вовлекается в процесс. После они с благодарностью примут вводимые нами меры". – "Надо признать, здесь вы правы". Официантка убирала со стола. "Кофе?" – осведомился Томас. "С удовольствием. Но побыстрее, вечером нас еще ждет работа". Пока несли кофе, Томас предложил нам сигареты. "Что бы там ни случилось, – рассуждал Оберлендер, наклоняясь к зажигалке, протянутой Томасом, – мне очень любопытно, что нас ждет после переправы через Збруч". – "А что?" – поинтересовался Томас, зажигая сигарету Веберу. "Вы читали мою книгу? О перенаселении сельской местности в Польше". – "К сожалению, нет". Оберлендер повернулся ко мне: "А вам доктор Хён, надеюсь, ее рекомендовал". – "Разумеется". – "Хорошо. Итак, если моя теория верна, то в самом центре Украины мы встретим богатое крестьянство". – "Почему?" – спросил Томас. "Как раз благодаря политике Сталина. За двенадцать лет двадцать пять миллионов семейных ферм превратились в двести пятьдесят тысяч крупных сельскохозяйственных предприятий. По моему мнению, раскулачивание и особенно спланированный голодомор тридцать второго представляли собой попытки найти точку равновесия между посевными площадями, предназначенными для производства продуктов потребления, и населением, эту продукцию потребляющим. У меня есть основания верить, что их план удался". – "А если они просчитались?" – "Тогда у нас получится". Вебер сделал знак, и его спутник торопливо допил кофе. "Meine Herren, – произнес он, поднявшись и щелкнув каблуками, – спасибо за вечер. Сколько мы вам должны?" – "Оставьте, – Томас тоже встал, – вы – наши гости". – "Хорошо, при условии, что в следующий раз приглашаем мы". – "Отлично. В Киеве или в Москве?" Все засмеялись и обменялись рукопожатиями. "Передайте привет доктору Рашу, – попросил Оберлендер. – Мы с ним часто виделись в Кёнигсберге. Надеюсь, у него найдется время присоединиться к нам как-нибудь вечером". Они ушли, Томас сел: "Хочешь коньяку? Платит подразделение". – "С удовольствием". Томас заказал. "Ты хорошо говоришь по-украински", – заметил я. "О, в Польше я немного выучил польский, а это почти одно и то же". На столе появился коньяк, мы выпили. "Что он там имел в виду насчет погромов?" Томас помолчал, прежде чем ответить. Наконец он решился, но предупредил: "Это останется между нами. Ты уже знаешь, что в Польше у нас возникли трения с армейскими. В частности, по поводу наших специальных операций. Наши методы противоречили моральным принципам этих господ. Они вообразили, что омлет можно приготовить не разбив яйца. Сейчас приняты меры, чтобы избежать недоразумений: *шеф* и Шелленберг вели переговоры и заключили четкое соглашение с вермахтом; вам все объяснили в Претче. – Я утвердитель-

но кивнул, и он продолжил: — Мы позаботимся, чтобы они не переменили своего мнения. В погромах имеется огромная польза: вермахт воочию убеждается, какой в тылу воцаряется хаос, если связать руки СС и Sicherheitspolizei. И если и существует для солдата что-то ужаснее *бесчестия*, как они выражаются, так это беспорядок. Еще три дня, и они придут умолять нас выполнить нашу работу: чисто, незаметно, эффективно и без лишнего шума". — "Оберлендер обо всем догадывается?" — "Его это вообще не волнует. Он просто хочет быть уверенным, что ему и дальше не помешают выстраивать мелкие политические интриги. Но, — добавил он со смешком, — придет время, и его тоже прижмут к ногтю".

"Все-таки странный малый", — подумал я, укладываясь спать. Его цинизм действовал на меня отрезвляюще, но при этом коробил, хотя я понимал, что нельзя судить его лишь по его словам. Я ему полностью доверял: в СД он всегда оставался мне верной поддержкой без всяких просьб с моей стороны, хотя я не мог ничем отплатить ему за помощь. Однажды я заговорил с ним об этом напрямую, и он расхохотался: "Какого ответа ты ждешь? Что я держу тебя про запас для хитрого долгосрочного плана? Ты мне нравишься, вот и все".

Его признание тронуло меня до глубины души, а он поторопился добавить: "И зная твою неповоротливость, я по крайней мере уверен, что ты для меня неопасен. Что уже хорошо".

В моем вступлении в СД он сыграл немаловажную роль; собственно, так мы и познакомились; правда, произошло это при обстоятельствах весьма необычных; но не всегда же у нас есть выбор. К тому времени я уже несколько лет входил в сеть тайных агентов СД, работавших в Германии во всех сферах жизни: промышленности, сельском хозяйстве, бюрократическом аппарате, университетах. В 1934-м я приехал в Киль почти без денег и по совету одного из бывших сотрудников отца, д-ра Мандельброда, записался в СС, что позволило мне не платить за вступительные экзамены в университет; благодаря ее содействию меня тут же приняли. Два года спустя я присутствовал на необычайно любопытной лекции Отто Олендорфа об отклонениях от курса национал-социализма; после лекции меня представил ему мой, а несколькими годами раньше и его, руководитель, профессор экономики д-р Йессен. Оказалось, что Олендорф уже слышал обо мне от своего друга д-ра Мандельброда. Он вполне открыто хвалил СД и тут же, не сходя с места, завербовал меня в ее агенты. Работа предстояла нетрудная: от меня требовалось составлять отчеты о том, что говорилось вокруг, о слухах, шутках, отношении людей к распространению национал-социализма. В Берлине, как мне объяснил Олендорф, тысячи таких рапортов сопоставляли, обобщали, и потом СД рассылала полученные данные в разные отделения Партии, чтобы помочь правильно оценить настроения народа и в соответствии с этим формировать свою политическую линию. В некотором роде такой подход заменял выборы; Олендорф являлся одним из создателей этой системы, которой чрезвычайно гордился. Вначале я действительно загорелся, речь Олендорфа произвела на меня сильное впечатление, и я ликовал при мысли, что вношу личный вклад в строительство национал-социализма. Но в Берлине Хён, мой профессор, весьма умело охладил мой пыл. Прежде в СД его называли духовным отцом Олендорфа и многих других; но потом он поссорился с

рейхсфюрером и оставил службу. За короткое время ему удалось убедить меня, что работать на осведомительные или разведывательные службы — романтика чистой воды, и я приносил бы государству гораздо больше пользы на каком-нибудь другом поприще. Я сохранил с Олендорфом нормальные отношения, но больше по поводу СД он со мной не откровенничал; как я узнал позже, у него тоже возникли трения с рейхсфюрером. Я продолжал платить взносы в СС и посещать семинары, но рапорты свои забросил и вскоре перестал даже думать о них. Я сосредоточился на своей диссертации, довольно трудоемкой и скучной; кроме того я страстно увлекся Кантом, добросовестно изучал Гегеля и философию идеализма; воодушевляемый д-ром Хёном, я рассчитывал добиться места в министерстве. Но признаюсь, что меня сдерживало еще кое-что, глубоко личное. Однажды вечером, перечитывая Плутарха, я подчеркнул его слова об Алкивиаде:

В Лакедемоне можно было, например, сказать о нем судя по его наружности:

Не сын Ахилла это; это — сам Ахилл,
воспитанный Ликургом;

на основании же его подлинных склонностей и действий надо было бы сказать:

все та же это женщина[1].

Вы усмехнулись или вас перекосило от отвращения — мне безразлично. В то время в Берлине, вопреки усилиям гестапо, при надобности можно было найти все, что пожелаешь. Пользовавшиеся определенной славой кабаки, например "Клейст-казино" или "Силуэт", по-прежнему были открыты, облавы там происходили редко, видимо, они кому-то платили. Кроме того, подобные места существовали в районе Тиргартена, у Нойер-зее перед зоопарком, ночью полицейские туда соваться не осмеливались; за деревьями выжидали "ночные мотыльки" или молодые мускулистые рабочие из Веддинга. В университете я пару раз находил себе дружков, но такие связи приходилось скрывать, и долго они не длились; а вообще я предпочитал любовников из пролетариев: не за разговорами я к ним обращался.

Несмотря на все предосторожности, неприятности у меня все-таки возникли. Следовало быть еще осмотрительнее, да и поводы насторожиться у меня были. Так, Хён с невинным видом предложил мне отрецензировать книгу адвоката Рудольфа Кларе "Гомосексуальность и уголовное право". Этот человек, кстати прекрасно информированный, установил типологию гомосексуальных практик и уже на ее основе предлагал классификацию мер наказания. Он начинал с *абстрактного коитуса, или созерцания* (уровень 1), переходил к *прижатию обнаженного пениса к разным частям тела партнера* (уровень 5) и *ритмическому трению пениса между коленями, ногами*

1. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Алкивиад. XXIII. Перевод Е. Озерецкой.

или подмышками партнера (уровень 6) и заканчивал *прикосновениями языка к пенису, пенисом во рту и пенисом в анусе* (уровни 7, 8, 9). Каждому уровню соответствовало наказание, и строгость его с каждым уровнем возрастала. Кларе, очевидно, когда-то был воспитанником интерната; но Хён утверждал, что министерство внутренних дел и Sipo воспринимали его идеи всерьез. Я же не нашел в них ничего, кроме повода для смеха. Однажды весенним вечером — в 1937-м — я решил прогуляться к Нойер-зее. Я всматривался в сумрак деревьев, пока не пересекся взглядом с молодым парнем; потом достал сигарету, попросил прикурить, вместо того, чтобы наклониться к зажигалке, отодвинул его руку, выкинул сигарету, положил ладонь ему на затылок и поцеловал в губы, наслаждаясь его дыханием. Я следовал за ним, укрываясь в тени деревьев, мы отдалились от дорожек парка, сердце мое, как всегда в таких случаях, бешено колотилось в горле и висках; я дышал словно сквозь душную, сухую завесу. Потом я расстегнул ему брюки и уткнулся лицом в его тело, ощущая едкий запах пота, мужского тела, мочи и одеколона, я потерся щекой о его кожу, густые курчавившиеся волосы, член, лизнул его, обхватил губами; не в силах терпеть, я прижал парня к дереву, повернулся, не выпуская его члена из рук, и вводил в себя, пока не перестал чувствовать время и боль. Когда все закончилось, он быстро ушел, не произнеся ни слова. Все еще ощущая блаженство, я прислонился к дереву, привел себя в порядок, закурил и попытался унять дрожь. Как только я опять смог передвигать ноги, я направился к Ландверканалу с тем, чтобы пройтись и вернуться к остановке трамвая у зоопарка. Я летел, как на крыльях. На мосту Лихтенштейн, облокотившись о перила, стоял человек: я его узнал, у нас были общие знакомые, звали его Ганс П. Он был бледный, растерянный, без галстука; лицо его, казавшееся зеленоватым в тусклом свете уличных фонарей, блестело от пота. Моя эйфория сразу испарилась.

"Что вы здесь делаете?" — не слишком дружелюбно подступил я к нему. "А, Ауэ, вы... — В его смехе зазвучали истерические нотки. — Вам надо это знать? — Наша встреча принимала необычный оборот; я замер от удивления, потом кивнул: — Я хотел спрыгнуть, — объяснял он, кусая верхнюю губу, — но не решился. Я даже, — продолжал он, распахнув пиджак и показывая рукоятку пистолета, — я даже прихватил с собой это". — "Черт, где вы его нашли?" — спросил я тихо. "У меня отец — офицер. Я у него украл. Пистолет заряжен. — Он с беспокойством посмотрел на меня. — Вы бы не согласились мне помочь?" Я огляделся: вдоль канала, на всем его протяжении, никого не было. Я медленно протянул руку и вытащил пистолет у него из-за пояса. П., как завороженный, следил за мной. Я проверил обойму: полная — и с сухим щелчком вставил ее обратно. Потом левой рукой грубо обхватил П. за шею, толкнул к перилам и прижал дуло к его губам. "Открывай! — рявкнул я. — Открой свой рот! — Сердце мое бешено билось, я думал, что кричу, хотя очень старался не повышать голос. — Открывай! — Он разжал зубы, я засунул ему пушку в рот. — Ты так хотел? Соси!"

Ганс П. обмирал от ужаса; я вдруг почувствовал резкий запах мочи, опустил глаза: его брюки намокли. Бешенство, внезапно непостижимым образом овладевшее мной, схлынуло в один миг. Я заткнул ему пистолет за пояс, потрепал по щеке.

"Все образуется. Иди домой". Я оставил его, перешел мост и свернул направо. Через несколько метров передо мной словно из-под земли выросли трое полицейских. "Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Документы!" —

"Я студент. Гуляю". — "Знаем мы эти прогулочки. А тот, на мосту? Наверное, твоя подружка?" Я пожал плечами: "Мы не знакомы. Он сумасшедший, пытался мне угрожать".

Они обменялись взглядами, двое потрусили к мосту; я попытался скрыться, но третий схватил меня за руку. На мосту завязалась возня, послышались крики, выстрелы. Полицейские вернулись, один смертельно бледный, держался за плечо, между пальцами у него текла кровь. "Скотина. Ранил меня. Но от нас не уйдешь!" Его приятель злобно уставился на меня: "А ты, ты отправишься с нами".

Меня доставили в Polizeirevier[1] на углу Дерффлингерштрассе и Курфюрстенштрассе; сонный полицейский забрал мои документы, задал пару вопросов, записал ответы на бланке; потом мне велели сидеть на скамье и ждать. Через два часа меня перевезли в центральный комиссариат Тиргартена. Меня ввели в комнату, где за столом восседал человек, плохо выбритый, но в тщательно отглаженном костюме. Он был из криминальной полиции. "Вы по уши в дерьме, юноша. Некто стрелял в полицейского, потом в себя. И кто же он? Вы знакомы? Вас видели с ним на мосту. Что вы там делали?"

В участке у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить, я выбрал самую простую версию: аспирант, люблю гулять по ночам, обдумывая диссертацию; шел от своего дома на Пренцлауэр-Берг, побродил по улице Унтер-ден-Линден, потом через Тиргартен хотел пройти к трамваю и вернуться к себе; переходил мост, и этот парень направился ко мне, что-то пробормотал, я не разобрал, его странный вид напугал меня, я решил, что он мне угрожает, и поспешил уйти, потом я встретил полицейских, вот, собственно, и все. Он мне задал тот же вопрос, что и полицейские: "Всем известно, что в этих местах происходят встречи определенного характера. Вы уверены, что парень — не ваш дружок? Ссора между любовниками? Полицейские утверждают, что вы разговаривали".

Я отрицал, повторил свою историю: аспирант, ну и так далее. Допрос продолжался довольно долго, инспектор напирал, тон его менялся, становился резким и грубым; неоднократно он пытался меня спровоцировать, но я не поддавался, решив, что правильнее всего сохранять спокойствие. Затем мне страшно захотелось в туалет, и, помаявшись некоторое время, я все-таки сказал об этом. Он усмехнулся: "Нет. Сначала разберемся, — и принялся по новой. Потом махнул рукой: — Хорошо, господин адвокат. Присядьте в коридоре. Продолжим позже".

Я вышел из кабинета и уселся у входа. Рядом с двумя полицейскими и пьяным, спавшим на банкетке. Лампочка на потолке мигала. Вокруг было тихо и чисто. Я ждал.

Прошло еще несколько часов, наверное, я задремал; окно в коридоре посветлело, занималось утро, вошел человек. Одетый со вкусом, в хорошо сшитом костюме, с накрахмаленным воротничком и в жемчужно-сером шерстяном галстуке; на лацкане пиджака значок Партии, под мышкой портфель из черной кожи. Его густые, черные как смоль волосы были прямо зачесаны назад и блестели от бриллиантина, он увидел меня, лицо его осталось непроницаемым, но глаза смеялись. Он что-то

1. Полицейский участок (*нем.*).

шепотом сказал охранникам; один из них пошел вперед по коридору, показывая дорогу, потом они скрылись за дверью. Вскоре полицейский вернулся и ткнул в меня толстым пальцем: "Ты! Давай сюда". Я встал, потянулся, последовал за ним, еле сдерживая нужду. Полицейский опять привел меня в комнату для допросов. Инспектор криминального отдела уже исчез. На его месте сидел изящный молодой человек; одна рука в крахмальном манжете покоилась на столе, другую он небрежно перебросил через спинку стула; черный портфель лежал у его локтя. "Входите, — вежливо, но твердо сказал он; указал мне на стул перед столом: — Садитесь, пожалуйста".

Полицейский закрыл дверь, и я сел. Из коридора донесся стук подбитых гвоздями сапог удаляющегося охранника. Элегантный молодой человек говорил с мягкими интонациями, однако я уловил в них и язвительные нотки. "Мой коллега из криминальной полиции Гальбей инкриминирует вам статью сто семьдесят пять. Вы подходите под статью сто семьдесят пять?" Вопрос мне показался вполне закономерным, и я честно ответил: "Нет". — "Я так и думал, — сказал он. Посмотрел на меня и протянул руку через стол: — Меня зовут Томас Гаузер. Рад знакомству". Я наклонился, чтобы пожать ее. Крепкие пальцы, сухая, гладкая кожа, безупречно ухоженные ногти. "Ауэ. Максимилиан Ауэ". — "Да, я в курсе. Вам повезло, господин Ауэ. Комиссар Гальбей уже направил предварительный рапорт об этом несчастном случае в Staatspolizei[1], указав вашу предполагаемую причастность к делу. Копию он адресовал Мейзингеру. Знаете ли вы, кто такой Мейзингер?" — "Нет, не знаю". — "Kriminalrat[2] Мейзингер возглавляет центральный департамент рейха по борьбе с гомосексуализмом и абортами. Занимается стосемидесятипятыми. Неприятный тип. Баварец. — Он выдержал паузу: — К счастью для вас, рапорт комиссара Гальбея попал ко мне. Той ночью я дежурил. Я не отправил копию для Мейзингера". — "Очень любезно с вашей стороны". — "Да, именно. Наш друг инспектор криминального отдела Гальбей поставил вас под подозрение. Но Мейзингеру подозрения не нужны, его интересуют факты. Существуют методы, позволяющие эти факты получить, их не слишком одобряют в Staatspolizei, хотя по большей части они очень эффективны". Я замотал головой: "Послушайте... Я не очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Здесь какое-то недоразумение". Томас слегка прищелкнул языком: "Да, возможно, вы правы, речь пока идет о недоразумении или скорее о злополучном совпадении, если пожелаете, наскоро истолкованном ревностным служакой комиссаром Гальбеем". Я придвинулся к столу, развел руками: "Это просто идиотизм. Я студент, член Партии, СС..." Он перебил: "Я знаю, что вы — член Партии и СС. Я близко знаком с профессором Хёном. Я прекрасно знаю, кто вы". Тут я понял: "А, так вы из СД". Томас дружелюбно улыбнулся: "В некотором смысле, да. Вообще-то я работаю с доктором Зиксом, заместителем вашего профессора Хёна. Но в настоящий момент я прикреплен к Staatspolizei, как ассистент доктора Беста, помощника *шефа* в разработке правовой базы СП". Уже тогда я обратил внимание, что он сделал особое

1. Городская полиция (*нем.*).
2. Советник уголовной полиции (*нем.*).

ударение на слове *шеф*. "Вы в СД все имеете степень доктора?" – спросил я. Он снова улыбнулся, широко и открыто: "Почти". – "Значит, вы тоже – доктор?" Он кивнул: "Юридических наук". – "Ясно". – "У *шефа*, наоборот, степени нет. Но он значительно умнее нас всех, вместе взятых. Он использует наши способности для достижения своих целей". – "Каковы же его цели?" Томас нахмурил брови: "Что вы изучали у доктора Хёна? Защиту государства, надо полагать?" Он замолчал. Я тоже притих, мы смотрели друг на друга. Казалось, он чего-то ждал. Он наклонился, оперся подбородком на руку, пальцами другой – с идеальным маникюром – он постукивал по поверхности стола. Потом со скучающим видом задал вопрос: "Вас разве не интересует безопасность государства, господин Ауэ?" Я колебался: "Я не защитил диссертацию..." – "Защита не за горами". Опять на несколько секунд повисло молчание. "Я никак не могу сообразить, к чему вы ведете?" – выдавил я. "Ни к чему, разве только к тому, как вам избежать ненужных неприятностей. Знаете, рапорты, которые вы некогда составляли для СД, не остались незамеченными. Отлично написаны и отражают Weltanschauung, вы концентрировались на главном, образцовая точность ваших отчетов не подлежит сомнению. Жаль, что вы не продолжили, но, впрочем, это ваше дело. Однако, когда я прочитал донесение инспектора криминальной полиции Гальбея, я подумал, что для национал-социализма вы стали бы серьезной потерей. Я позвонил доктору Бесту, разбудил его среди ночи, он согласился со мной и направил сюда, чтобы уговорить инспектора Гальбея не наделать в спешке глупостей. Вы должны осознать, что открыто уголовное дело, как всегда в случаях смерти человека. К тому же ранение полицейского. Вы предстанете перед судом, по меньшей мере как свидетель. Поскольку преступление, согласно рапорту, произошло в общеизвестном месте встреч гомосексуалистов, даже если я уговорю комиссара Гальбея умерить свой пыл, рано или поздно дело автоматически передадут на рассмотрение служб Мейзингера. С этого момента он заинтересуется вами и станет рыть, как свойственно тем противным животным, к коим он принадлежит. Каковы бы ни были результаты, в вашем личном деле останутся несмываемые пятна. И не секрет, что рейхсфюрер СС преследует гомосексуализм с особой одержимостью. Гомосексуалисты пугают его, он их ненавидит. Считает, что человек с наследственной гомосексуальной предрасположенностью в состоянии заразить своей болезнью десятки молодых людей, и все они потом будут потеряны для расы. Он полагает, что извращенцы – врожденные лгуны, верящие в собственную ложь, следствием чего является психическая распущенность, делающая их неспособными к верности и чрезмерно болтливыми и, возможно, ведущая к предательству. Таким образом, потенциальная опасность, которую представляет гомосексуалист, из медицинской проблемы, поддающейся терапии, превращается для государства в проблему политическую, излечимую только методами СД. Недавно он пришел в восторг от предложения одного из наших лучших историков права, профессора и унтер-штурмфюрера СС Экхардта – вы наверняка его знаете – вернуться к старому германскому обычаю – топить 'женоподобных' в торфяниках. Я первый готов признать, что подобная точка зрения – некая крайность, и, даже если ход его размышлений трудно оспорить, никто не станет относиться к делу столь категорично. К тому же самого фюрера не

особо волнует этот вопрос. Но в то же время отсутствие интереса с его стороны дает рейхсфюреру с его неадекватными идеями полную свободу действий. Таким образом, если у Мейзингера сформируется неблагоприятное мнение о вас и даже если он не добьется меры наказания по статьям сто семьдесят пять и сто семьдесят пять-а Уголовного кодекса, на вас обрушатся разного рода неприятности. Я не исключаю, что Kriminalrat Мейзингер потребует вашего предварительного заключения. Я буду очень огорчен, и доктор Бест тоже". Я слушал его вполуха: мочи не было терпеть, но все-таки я среагировал: "Я не понимаю, куда вы клоните? У вас есть ко мне предложение?" — "Предложение? — Томас приподнял брови. — Да за кого вы нас принимаете? Вы вообразили, что СД прибегает к шантажу для вербовки? Глубоко ошибаетесь. Нет, — дружески улыбнулся он, — я просто пришел помочь вам, как один национал-социалист другому, из духа товарищеской солидарности. Конечно, — продолжил он насмешливо, — мы подозреваем, что профессор Хён настраивает своих студентов против СД, очевидно, он предостерегал и вас, очень жаль. А знаете, ведь именно Хён меня и завербовал. Но он оказался неблагодарным. Хорошо бы вам перестать относиться к нам предвзято. И если однажды наша работа заинтересует вас, доктор Бест будет рад обсудить детали. Приглашаю вас подумать. Но к моему сегодняшнему демаршу это никакого отношения не имеет".

Должен признаться, мне импонировала его манера поведения, открытая и непосредственная. Меня впечатляли честность, энергия, спокойная убедительность, которую излучал Томас. Все это совершенно не вязалось со сформировавшимся у меня образом агента СД. Но он уже вставал: "Вы покинете участок со мной. Препятствий не возникнет. Я проинформирую Гальбея, что вы находились в том месте по поручению СД, дело приостановят. В назначенное время вы дадите соответствующие показания. Все уладится как надо".

Я мечтал только об одном — попасть в туалет; мы прервали беседу, Томас терпеливо ждал в коридоре, пока я облегчался. Я даже успел подумать и вышел уже с четкими намерениями.

На улице день был в разгаре. Томас попрощался со мной на Курфюрстенштрассе и горячо жал мне руку: "Я уверен, что мы скоро увидимся. Пока!" Вот так, с задницей, еще полной спермы, я принял решение вступить в Sicherheitsdienst.

Уильям Т. Воллманн

Последний фельдмаршал

Фрагменты романа "Европа-узловая"

Перевод с английского и вступление А. Нестерова

От переводчика

Уильям Т. Воллманн — один из интереснейших писателей, работающих сейчас в США: и о нем все чаще говорят, как о претенденте на Нобелевскую премию. У Воллманна множество опубликованных книг. Его семитомный opus magnum — "Восхождение к и нисхождение в: Ряд мыслей о насилии, свободе и неотложных мерах", повествующий об отношениях индейцев и колонистов, насчитывает 3 352 страницы! Фактура, манера письма, сам объем этого романа могут навести на мысль, что он интересен только очень высоколобым интеллектуалам. Но — к этому роману, например, отсылает диск популярнейшей хип-хоповой команды из Филадельфии "The Roots", названный, вслед за Воллманном, "Rising Down", а члены группы в своих интервью рассказывают, как сильно Воллманн повлиял на их картину мира.

Одна из главных тем Воллманна — насилие в современном мире. К ней он возвращается вновь и вновь, пишет ли в романе "Королевская семейка" о жизни сан-францисских улиц, или о моджахедах в полудокументальном повествовании "Афганский комикс, или Как я спас мир".

Насилию и политике — причем политике особого рода, политике смерти — посвящен и роман Воллманна "Европа-узловая". Английское название этой книги "Europe Central" обыгрывает топоним "Центральная Европа", однако правильнее перевести его как "Европа-узловая", "Европа — Центральный вокзал". Это — европейская Центральная станция, перекрестье железных дорог и клубок телефонных линий, перепутье европейской истории XX века, трагической и жестокой: в романе Крупская разговаривает в тюрьме с актрисой, изображающей по приказу Берии Фан-

© 2005 by William T. Vollmann
© А. Нестеров. Перевод, вступление, 2009

ни Каплан, Шостакович тушит зажигалки в блокадном Ленинграде, фельдмаршал Паулюс пишет письма из Сталинграда, от которого остались лишь занесенные снегом руины...

"Европа-узловая" выстроена как ряд переплетающихся между собой историй, а главным героем книги является Дмитрий Шостакович. Воллманн пытается показать, как сцеплены судьбы людей: так, в главе о фельдмаршале Паулюсе Шостакович почти не упоминается, но... Паулюс был разработчиком операции вермахта, результатом которой стала блокада Ленинграда — а в осажденном городе Шостакович написал свою Седьмую, "Ленинградскую", симфонию. В конце главы Паулюс, выпущенный из советского плена и поселившийся в Дрездене, услышит музыку Шостаковича — и она ему не понравится.

Главы романа объединены попарно, по принципу контрапункта: немецкому эпизоду соответствует эпизод советский; лишь изредка действие "параллельных" историй разворачивается в одной и той же стране. Темой-контрапунтом главы о Паулюсе служит глава о генерале Власове — талантливом полководце, сумевшем обеспечить эффективность контрнаступления под Москвой в конце 1941 года, потом едва не прорвавшем блокаду Ленинграда, — но, как и Паулюс, брошенном своим командованием и, как и Паулюс, попавшем в плен...

Истории рассказываются от первого лица — это всегда взгляд изнутри событий. Хотя в выборе такой оптики повествования важно и иное: как признается один из героев романа, "мы предпочитаем наши личные трагедии, потому что все мы — трусы и ублюдки". Перед читателем разворачиваются истории Фанни Каплан и Крупской, режиссера-документалиста Романа Кармена и Ахматовой...

Поясняя, почему главным героем его книги стал Шостакович, писатель говорит: "Я представил человека, пожираемого страхом и раскаянием, человека, который <...> делал то немногое, что было в его силах, хоть какую-то толику добра — отстаивал свободу творчества и пытался помочь другим в их бедах. Но терпел поражение за поражением, и ему все труднее было отвергнуть зло, сказав 'нет', — собственно, именно эта черта позволила ему выжить при Сталине. Несмотря на то что ближе к концу он вступил в партию, он остается для меня героем — трагическим героем, конечно..."

Эпиграфом к роману взяты слова Шостаковича: "Большинство моих симфоний — это надгробия..." В одном из интервью российским журналистам по поводу своего романа Воллманн заметил: "Когда я был моложе, мне очень нравилась идея коммунизма. Она и сейчас мне нравится, жаль, что попытка воплотить ее в жизнь обычно приводит к убийству людей. Я думаю, что Шостакович сначала искренне верил в сталинские лозунги вроде 'Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее'. Но когда случилась эта беда с 'Леди Макбет' и началась травля, он вдруг понял, в какой опасности находится. Тогда жизнь его изменилась. Новый поворот наступил после нападения фашистов, когда Шостакович, видимо, решил, что должен на время забыть о сталинском режиме и быть вместе со своей страной. Но после войны его иллюзии стали таять еще быстрее. Он пытался сохранить остатки внутренней целостности в своем искусстве, но при этом сдавал все остальное — по мере того как старел. Я все время представляю себя на его месте: что стал бы делать я, будь я Шостаковичем. Я бы сдался. А Шостакович остался честен в своей музыке. Когда я слушаю, например, опус 110 или Восьмую симфонию, то чувствую, что это величайшие произведения искусства, которые не просто разговаривают со мной — они кричат мне. Шостакович пережил ужасные времена и обвиняет их. Так что Шостакович для меня герой" (Остап Кармоди. Американская Европа // Ведомости 19.01.2007).

И еще одно — Воллманн очень скрупулезен в работе с фактурой. Достаточно сказать, что около 50 страниц в конце "Европы-узловой" занимают авторские примечания, отсылающие те или иные эпизоды, диалоги и т. п. к архивным документам, воспоминаниям, реальным письмам исторических персонажей. И при этом автор подчеркивает, что его текст — художественное, а не документальное произведение — он даже оговаривает в тех же примечаниях, что некоторые из описанных в книге эпизодов в реальности произойти не могли, и объясняет почему.

В 2005 году роман был удостоен Национальной книжной премии США.

> Он должен был пустить себе пулю в лоб... Горше всего, что я ведь дал ему звание фельдмаршала: хотел оказать последнюю честь. Покуда идет эта война, я никого больше не сделаю фельдмаршалом.
>
> Адольф Гитлер (1943)

СПЕРВА пластинка — Бетховен, потом — оперативные планы для Шестой армии; сперва поцеловать Коку в ее белоснежную щечку, потом обсудить военные планы с фон Райхенау; сперва Польша, потом — Франция; сперва Россия, потом — весь мир. В панегирике, который произнесет после войны его коллега Гудериан, мы услышим: *Он был идеальным воплощением офицера Генштаба: среди нас не было человека умнее, порядочней, оригинальней и талантливее, чем он, – и это не говоря о его преданности работе; нельзя также ни минуты сомневаться, что он был патриотом в самом высоком смысле – и при том никогда не отрывался от реальности.* Война с Россией должна была продлиться шесть недель. Сперва лето, потом зима. Снова зазвонил телефон. Сперва операция "Волшебный огонь"[1], затем план "Отто"[2] и планы "Зеленый", "Белый" и "Желтый"[3] — историческая справедливость восстановлена, черный дым поднимается над островами сожженных деревень, немецкий солдат улыбается в готическом окне польского замка; сперва операция "Морской лев"[4] (увы, положенная под сукно из-за того, что противник покуда имеет численное превосходство), потом операция "Марита"[5], продолженная и завершен-

1. Акция по поддержке франкистов в Испании силами немецкой авиации и отдельных армейских частей (1936–1939). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. План вторжения в Австрию (1939).
3. "Зеленый" – план захвата Чехословакии в 1938 г.; "Белый" – план нападения на Польшу (1939); "Желтый" – план наступления на западе и оккупации Нидерландов (1939).
4. "Морской лев" – кодовое название планировавшейся Гитлером операции по высадке десанта на Британские острова (июнь 1940): немецкие войска в составе 25 дивизий должны были высадиться между Дувром и Портсмутом и начать наступление на Лондон. Реализация плана раз за разом переносилась, а после того как Битва за Британию была проиграна, 9 января 1941 г. план был отменен Гитлером.
5. Оперативный план "Марита" охватывал Балканский театр военных действий в целом и предусматривал захват Югославии и Греции. Немецкое наступление против Греции и Югославии началось 6 апреля 1941 г.; 23 апреля, несмотря на ожесточенное сопротивление, Греция была вынуждена подписать капитуляцию, а к 29 апреля из Греции был эвакуирован отступавший с тяжелыми арьергардными боями английский экспедиционный корпус.

ная операцией "Меркурий"[1], и, наконец, эта иссиня-темная обложка папки, перечеркнутая жирным белым косым крестом: **X**. Он зажег еще одну сигарету. Черная тьма, и в верхней левой четверти ее, ровно посередине между углом папки и центром косого креста, сиял белизной треугольник с надписью готическим шрифтом — шрифт этот обрел пристанище в тайных документах, разрабатываемых представителями офицерского корпуса, подобно тому, как привидение обретает пристанище в фамильном замке. Надпись гласила: Kriegsgliederung "**BARBAROSSA**"[2]; в нижнем правом углу темного листа сиял треугольник поменьше, а в нем слова — **B-Tag**[3]. Тьма провозглашала: "**Geheime Kommandosache**" — военная тайна, и еще в нижнем правом углу стоял штамп: "Совершенно секретно! Только для командования!"

Двадцать второе июня сорок первого года: первые десять тысяч снарядов, выпущенные в ходе операции "Барбаросса", нашли свои цели, расцветая золотом взрывов — золотых, как богиня победы на Триумфальной колонне[4] в Берлине, чья рука с венком указывает на статую генерала Мольтке[5]. И вот группы армий, дивизии и батальоны, сосредоточившиеся на серой границе белой карты в кабинете Гитлера, начинают очередную молниеносную войну, белизна — под ударом, отступает под натиском вымпелов, флажков, кружков, полукружий, составляющих широкую в основании, сужающуюся к концу стрелку, что указывает на восток...

Генерал-лейтенанту Фридриху Паулюсу исполнился пятьдесят один год. Тридцать один из них он служил в армии и потому естественно был членом организации "Старых бойцов"[6]. Как наш фюрер, храбро сражался в прошлую мировую войну, удостоился Железного креста, причем и первой, и второй степени. Восхищался тем, как быстро фюреру удалось вернуть территории, отторгнутые у Германии по окончании боевых действий. Он был одним из тех видных генералов, на которых всегда есть спрос: чего стоили одни только усы — острые, как немецкий штык. Да, конечно, слегка запятнан космополитическими наклонностями (Кока была родом из Румынии), но при всем том никто не мог поставить под сомнение его образ мыслей — и он получал чрезвычайно важные назначения: начальник штаба командования танковых войск, потом, в Польскую кампанию, — начальник штаба Четвертой армии (на белой карте путь этой армии странным образом напоминал те грубые наконечники копий, которые господа профессора раскапывали, изучая польское средневековье); во время кампании во Франции — начальник штаба Шестой армии. Той самой Шестой армии, что вскоре двинется на Сталин-

1. Операция по уничтожению британского гарнизона на Крите и установлению контроля над островом и морскими коммуникациями в Средиземном море (20–31 мая 1941).
2. Оперативный план "Барбаросса" (*нем.*).
3. День "Б" (*нем.*).
4. 70-метровая Триумфальная колонна в Берлине, увенчанная золотой статуей богини победы, была создана в честь военных побед Пруссии над Данией в 1864 г., Австрией в 1866 г. и Францией в 1871 г., положивших начало Германской империи, и установлена в 1873 г. на Королевской площади (ныне площадь Республики) Берлина; в 1939 г. перенесена на площадь Большой Звезды в парке Тиргартен.
5. Хельмут Карл Бернгард фон Мольтке (1800–1891) — прусский граф, генерал-фельдмаршал, основной автор планов войны против Австрии и Франции.
6. "Старые бойцы, Соратники" — принятое в Третьем рейхе наименование тех, кто стоял у истоков нацистского движения.

град. В качестве первого обер-квартирмейстера генштаба, в обстановке чрезвычайной секретности, разработал план "Барбаросса". Железнодорожный вокзал в Гёрлице. Потом — ряд контрольно-пропускных пунктов, и вот уже два эсэсовца доставляют его в "Волчье логово": колючая проволока по периметру, в центре — бросающийся в глаза параллелограмм. Между бункерами, крыши которых замаскированы искусственным мхом, высажено множество деревьев и проложены тунелли-обманки, скрывающие ветку, по которой ходит специальный поезд; здесь, в "Волчьем логове", все сделано для обеспечения безопасности. Большинство лучших операций Паулюс разработал именно здесь. *Наша основная задача,* — инструктировал нас Гитлер, которого мы слушали, затаив дыхание, — *создание заградительного барьера по линии Волга–Архангельск, призванного отрезать азиатскую Россию.* Для этого требуется: глицерин для производства бездымного пороха, каменноугольный газ для производства взрывчатых веществ, бокситы для авиапромышленности... Медленно и верно, как шелкопряд, Паулюс плел сеть, выстраивая схемы и диспозиции. Как сказал генерал Кесселринг: *Своим здравомыслием и трезвой оценкой грядущего столкновения сил он произвел на меня крайне благоприятное впечатление.* Кока, конечно, огорчилась. Она ведь так до конца и не преодолела левацкие симпатии. Подобно большинству своих соотечественников, она была склонна переоценивать русскую армию. Паулюс, желая сгладить ее тревогу — что толку понапрасну себя изводить, — поддерживал жену в убеждении, что марш на Восток остановится на линии Молотова–Риббентропа; но ей даже это было нестерпимо; план "Белый" она считала откровенным вероломством. Благодаря ему мы нейтрализовали польскую угрозу; как бы то ни было, с планом "Белый" покончено. Но наш долг — быть готовыми к тому, что это не конец: ждать, возможно, придется до следующего десятилетия, однако рано или поздно Франция и англичане вступят в войну. Что, как не это говорил Верховный командующий. В свете общеевропейского конфликта, который неизбежно перерастет в мировую войну, линия Молотова–Риббентропа теряет свое значение. (В доверительной беседе фюрер пояснил, что план "Барбаросса" должен быть начат не позже весны 1941 года.) Но Кока узнала про эту тайну.

Часто он брал работу домой — приносил карты и бумаги в портфеле. Что делать — ведь иначе он бы месяцами не появлялся дома. Причиной неприятностей стал внук: Кока настояла, чтобы сын Ольги пожил у них недели три, покуда его родители закончат дела в Париже. Мальчик неуловимо напоминал ему сына Эрнста — тому сейчас было двадцать три года, и он был рядовым в Шестой армии; Фридрих — второй из их близнецов — тоже служил Германии, но в другой части. Что именно напомнило ему об Эрнсте? Если жестко — только это чересчур жестко, — пришлось бы признать, что оба мальчишки — слабы и уязвимы, причем постоянная меланхолия отнюдь не одаривает их тайными сокровищами. В нашей армии часто случается, что самые мрачные солдаты — самые храбрые, может, просто потому, что в смерти они видят избавление — та, наконец, излечит их от самих себя. К счастью, к тому времени, когда призовут сына Ольги, война уже закончится; он смышлен не по годам, но — слишком уж нежен. Расстроенный какой-то там стычкой с товарищами из гитлерюгенд (в конце концов тоже что-то вроде армии), мальчик ворвался к

нему в кабинет — а ведь ему говорилось, что к дедушке ни в коем случае нельзя входить без спросу, но Роберт едва сдерживал слезы, и сердце Паулюса смягчилось. Он слишком хорошо помнил, каково было в школе ему самому. К несчастью, на столе лежали четыре последних фотоснимка, сделанных самолетами-разведчиками. На них было видно, что Красная армия концентрируется на границе, — он как раз разложил их во весь стол, пристроив увесистую, удивительно резкую шнайдеровскую[1] лупу на Минске так, что шнурок ее протянулся через пол-Белоруссии; для гражданского все аэроснимки похожи — особенно, если на них запечатлен равнинный рельеф, а советские дивизии были обозначены только римскими цифрами, но, к несчастью, каждая фотография, была снабжена штампом: "Abteilung fremde Luftwaffe Ost". "*Ост!* — выдохнул не по годам развитый мальчик. — Восток? Дедушка, нам что, грозит опасность с Востока?!" Ответом была мягкая укоризненная улыбка: о таких вещах не кричат. "Ты ведь знаешь, Роберт, есть темы, которых не надо касаться, — и знаешь почему. Правда? Ответь мне, почему об этом не надо говорить?" — "Потому что... потому что повсюду враги, — выдохнул мальчик. — Да, дедушка? Правильно?" — "Правильно. Скажи, я слышал, будто Хайнц и Пауль оторвали у тебя пуговицу на форме? Ты чуть не плакал..." Он склонен был доверять мальчику и полагал, что Роберт не проболтается бабушке, которую обожал: за мальчиком болтливости не замечалось, а кроме того, сколько раз и до, и после он приносил домой крупномасштабные карты западной части России. Как бы то ни было, Кока выведала тайну. Обычно Кока не входила в кабинет без разрешения. Когда он приносил секретные документы домой — если он не работал с ними, — они лежали под замком в портфеле, убранном в сейф. Кока молчала, покуда Ольга не приехала забирать Роберта. Запыхавшаяся, вечно куда-то спешащая Ольга подарила им ящик его любимого шампанского, "Вдова Клико", — отдарок за то, что они присматривали за Робертом. Пожалуй, это был перебор, но он поблагодарил ее — так любезно, как только мог. Глядя отцу в глаза, Ольга объявила, что французская дама, у которой она покупала вино, взяла за него весьма умеренно; что ж, спасибо маме, которая ее учила французскому... "Ничего удивительного", — с улыбкой кивнул отец. Чуть иронично приподняв бровь, она поделилась наблюдением: "В Париже теперь чувствуешь себя как дома, даже слишком — германизация дает о себе знать. Папа слывет там героем — он ведь сыграл в этой кампании не последнюю роль. — Кока грустно кивнула; ей хотелось, чтобы Ольга побыстрей уехала — тогда можно будет затеять ссору; он прекрасно это понимал, Ольга же, к счастью — нет. — Ну конечно, некоторые магазины закрыты, а статую Виктора Гюго пустили на переплавку, не из чего было делать гильзы для патронов! Представляешь, как жалко, мама? — Мама вполне себе представляла. — Было жарко — жара совсем не такая, как в Берлине, и баронесса Хойнинген-Хьюн — она, в отличие от нашей мамы, с каждым годом стареет, — жаловалась, как сложно открывать окна в замке". Кстати, Ольга чуть было не купила папе копию настоящей франкской секиры — удержалась в самый последний момент, — может, не надо было сдерживаться? Посещения Ольги их всегда

1. Фирма "Шнайдер" — известный производитель оптики.

забавляли — не в последнюю очередь потому, что дочь старалась показаться чуть более избалованной, чем она есть. А отец — видит Бог, ему ничего сейчас не было нужно так, как толика забавы, — уголки его рта поднимались в улыбке, как только она начинала: на рю де Риволи ей встретился граф Зубов — совершенно случайно; судя по всему, ее новое платье произвело на него ошеломительное впечатление — просто ошеломительное! Паулюс вполне мог себе представить беднягу графа, мягчайшего, воспитаннейшего аристократа, понимающего: платье Ольги — очень дорогое платье — ему придется хвалить ad infinitum[1] — по крайней мере до тех пор, покуда хозяйка платья не будет вполне удовлетворена...

— Полагаю, он настаивал на том, чтобы исследовать каждую пуговицу, нет?

— Ну, папа! — вскричала любимая дочь, слегка надувая губки.

— Нет, оно прекрасно на тебе сидит, правда.

Только Роберт с отчаяньем глядел на Коку, а Кока, казалось, едва сдерживала слезы. Он попытался убедить себя, будто все дело в том, что мальчик вот-вот уедет. Когда с миниатюрными пирожными, которые напекла Кока, было покончено, он поднялся из-за стола, чтобы отнести в машину чемодан Роберта, хотя Ольга и протестовала: "Ты слишком важная шишка, знаменитость, нельзя себя этим утруждать". Барон Кутцшенбах — Паулюс всегда чувствовал себя с ним несколько скованно, не то что Кока, — купил Ольге прекрасную машину: "мерседес" самой последней модели. (А где же сам барон? Ольга ничего не сказала, почему его нет.) На капоте сияла новехонькая свастика: черная на малиновом фоне. Он стоял, любуясь автомобилем и испытывая некоторую неловкость. Наконец Ольга и мальчик вышли из дома. "Интересно, как мужу удается с ней управляться?" — спросил он себя. Беспокоиться за Ольгу — теперь, собственно, это не его дело, но он ведь отец, а значит, так или иначе всегда будет чувствовать за нее ответственность. Он обнял дочь, пожал руку Роберту; Кока обоих расцеловала — и вот они уже уехали, поворачивают за угол — на его взгляд, слишком быстро, хотя Ольга прекрасно водит машину. А потом... Он ведь достаточно хорошо знал жену: если она чувствовала себя несчастной или сердилась на что-то, не в ее привычках было это скрывать; пытаться же вызвать ее на выяснение отношений раньше, чем она выговорится, — значило только загнать себя в ловушку. Добрые отношения с Кокой были ему очень дороги — не только потому, что он ненавидел любые конфликты; он искренне любил жену, и все, что ее задевало, приводило его в отчаянье. Так логика и привязанность к жене побудили его отвечать ей, а не отчитывать, и он упрямо твердил: "Кока, это политическое решение. Правда, тут есть и военные основания..."

— Но что будет со всеми нами?

— О чем ты?

— Скажи, кто из нас доживет до конца войны, чтобы увидеть, чем все кончится?!

— Ну, знаешь ли, есть шанс, что мы еще в этом году добьемся победы.

1. До бесконечности (*лат.*).

Лично он считал, что ближневосточный театр боевых действий гораздо важнее для достижения окончательной и безоговорочной победы Германии. Только на Ближнем Востоке можно было нанести англичанам сокрушительное поражение.

Натянув свежие белые перчатки, он склонился над столом, погрузившись в изучение белоснежного листа с нанесенными на него символами: Lage 4 6 41 abds mit Feindbild — оперативная карта с диспозицией противника. Летом в Берлине клены, дубы и липы похожи на ведьм, плывущих по воздуху.

<...>

Скоро ему будет разрешено начать операцию "Зимняя гроза"[1], а за ней последует операция "Удар грома"[2]. (На самом последнем совещании в ставке — где же оно проходило, в "Волчьем логове" или то был "Вервольф"? — он ни о чем ином просто не мог думать — только о праве самостоятельно отдавать приказы и начинать операции; он желал этого так сильно, что готов был бухнуться на колени, воздеть руки к фюреру и возопить: "Без вас, мой Фюрер, нам не на что надеяться!") Его триумф под Харьковом — сейчас ему казалось, что весной там все получилось только благодаря его настойчивости и упорству: он сказал 28-й советской армии[3] "нет!" — и 28-й армии не стало. Это тогда он ввел свои танки в кровоточащую рану противника под Балаклеей — так врач вводит пациенту иглу шприца. Почему его не сделали фельдмаршалом за ту операцию? ("Высшая воля, — поучал его в свое время фельдмаршал фон Райхенау, — эффективна, как пистолет, приставленный к виску красной партизанки!") А теперь — теперь враг осуществил операцию "Сатурн"[4] в направлении Ростов—Миллерово.

Сперва карты, потом — сигарета, потом — Кока. Он написал ей письмо — как редко она получала от него письма! — где признался: *Сейчас передо мной по-настоящему трудная проблема, но надеюсь, вскоре мне удастся ее решить.*

1. Планировавшаяся вермахтом операция по освобождению 6-й армии Паулюса, попавшей в котел под Сталинградом: войска 4-й армии под командованием Манштейна должны были пробить брешь во внешнем фронте окружения "котла", через которую в Сталинград направлялся "караван" с боеприпасами и продовольствием для войск под командованием Паулюса. 12 декабря 1942 г. Манштейн начал наступление, но был остановлен частями 51-й армии под командованием генерала Н. И. Труфанова, неделю удерживавшей рубеж обороны против превосходящих сил противника, пока на соединение с ними не прибыла спешно переброшенная форсированным маршем 2-я гвардейская армия Р. Я. Малиновского, что позволило советским войскам перейти в наступление 24 декабря.
2. Операция "Удар грома" развивала замысел операции "Зимняя гроза" и предполагала постепенный отвод 6-й армии от Сталинграда. Манштейн оставил за собой выбор момента для подачи сигнала к отступлению, желая, как он особо отмечает, снять с командования окруженной армии ответственность за неизбежный риск и за неповиновение категорическому приказу Гитлера удерживать Сталинград любой ценой.
3. Включенная в состав Юго-Западного фронта, в мае—июле 1942 г. после неудавшегося наступления в ходе Харьковского сражения (12—29 мая) и ожесточенных оборонительных боев в ходе Воронежско-Ворошиловградской стратегической операции (28 июня — 24 июля) 28-я армия понесла значительные потери; 12 июля 1942 г. армия была переподчинена Южному фронту, 17 июля вошла в состав Сталинградского фронта; 31 июля 1942 г. расформирована.
4. Первоначально план этой операции предполагал развитие наступления под Сталинградом из района Калача в направлении на Ростов—Таганрог и отсечение от основных коммуникаций большей части групп немецких армий. Однако немцам удалось подтянуть резервы и поэтому операция была видоизменена в "Малый Сатурн", значительно менее масштабный: главный удар был направлен не на юг, а на юго-восток, с тем чтобы взять в клещи группу противника, пройти по ее тылам и ликвидировать ее одновременным ударом с востока.

Тут он услышал музыку. Посреди обледеневшей улицы, на рояле, который кто-то выкатил из разрушенного дома, солдат играл Бетховена[1]. Играл очень неплохо: Пятый фортепьянный концерт[2], старый добрый "Император". Человек сто, все — солдаты, столпилось вокруг пианиста. Спасаясь от леденящего холода, с головой укутались в одеяла. Вот они, его парни: с девичьими лицами, шинели перетянуты ремнями из кожи, на таком морозе ремни не скрипят, а намертво примерзли к форме. Некоторые даже улыбаются. Аккорды отдаются эхом, наподобие выстрелов, и уплывают прочь, к снежно-меловым развалинам Сталинграда. Пока они плывут в воздухе — это даже лучше, чем многоцветные фейерверки вражеских ракет. Ему очень хотелось пойти туда и затеряться в толпе, но он боялся своим появлением испортить им удовольствие. Полевой телефон шелестел как украинские поля под порывом ветерка — видно, там, в юго-западной части периметра обороны, случился прорыв.

Теперь он прежде всего рассчитывал на фельдмаршала фон Манштейна, чей чрезвычайный штаб развернут в Новочеркасске. Под его командованием генерал Хольт с остатками румынских формирований отражал атаки русских. Он слышал, говорят, будто Манштейн — один из тех немногих, кто имеет влияние на фюрера. Как и Паулюсу, Манштейну приходилось сталкиваться с трудностями, но в конце концов он их всегда преодолевал. Ему удалось захватить "Форт 'Сталин'" в Севастополе и взломать оборону города — за это фюрер произвел его в фельдмаршалы. Тогда, в душевой "Волчьего логова", он прошептал: "У всех бывают невезучие дни". По оценке Гелена, Манштейн был *одним из лучших солдат этого века*. Вот почему операция "Удар грома" не может не быть успешной. А пока нужно просто делать все, что зависит лично от тебя.

Его офицеры единогласно (если не считать демонстративно воздержавшегося Шмидта) умоляли его просить у фюрера разрешения на отход; он обратился с запросом: отходить предстояло на юго-запад, а это означало ослабление северного фланга, пока будет идти подготовка к операции. Если они выберутся отсюда, там, на заснеженных равнинах, их будут ждать многократно превосходящие силы противника. Он направил предложения фюреру — не преуменьшая риска, который влечет за собой этот план, — и конечно же, прорыв был запрещен. Паулюс чувствовал себя так, будто его обвенчали со Сталинградом.

Позиции Четвертого корпуса Четвертой танковой армии были непригодны для обороны — готовясь к операции "Удар грома", Паулюс осуществил перегруппировку и расположил корпус вдоль южного фланга. Сперва оборона, потом — контратака, он перейдет в контратаку, как только люфтваффе наладит снабжение его армии боеприпасами, горючим и продовольствием. И еще он ждал прихода конвоя — с ним должны были прибыть овечьи шкуры, переносные обогреватели, а главное, главное — керосин; сперва укрепить линию обороны танками — пусть даже остовами подбитых машин, замаскировав их снегом, а потом...

1. Автор указывает, что это реальный случай, описанный в одном из писем немецкого солдата домой, и ссылается на: F. Schneider. Last Letters from Stalingrad. — N. Y., 1962.
2. Фортепьянный концерт № 5, си-бемоль мажор, ор. 73 ("Император", 1809).

Из отдела радиоразведки сообщили: Красные не затрудняют себя использованием даже примитивного двухразрядного шифра — настолько они уверены, что наше положение безнадежно. Блокированы по меньшей мере двадцать четыре подразделения. К концу ноября командование группы армий "Дон" предупреждало его, что в зоне находится сто двадцать три войсковых соединения. Фельдмаршал Манштейн негодовал в присланном телетайпном сообщении: самый благоприятный шанс для независимого прорыва безвозвратно упущен.

<...>

То был его звездный час, триумф — Кока так хотела, чтобы этот час настал. Она привыкла довольствоваться малым: в конце концов любая солдатская жена знает — ее доля не сильно отличается от вдовьей, даже если мужу повезло и его не убили. Она любила его, помогала ему, безропотно сносила его долгие отлучки. Жизнь их уже повернула к старости — а сколько за тридцать один год, прошедший со свадьбы, было ночей, когда она спала рядом с ним? Она одного только хотела в награду за свою верность — увидеть, что его оценили по заслугам, что ему оказывают публичные почести, которыми она могла бы гордиться. По сути, все, что он делал здесь, в России, он делал ради нее. Оно бы и хорошо — остаться дома, но разве этого она от него ждала? Натягивая свежие белые перчатки, закуривая сигарету и склоняясь над картой — вот когда он мог дать ей лучшее, что у него есть; и то, что он от нее далеко, не отменяет его величайшей любви к ней. Интересно, ей уже сообщили? Он мог мысленно увидеть ее: как она сидит в гостиной перед камином, глядя на каминную полку — теперь на ней будет лежать его маршальский жезл. <...>

Он представил себе, как выслушивает глухое поздравительное бормотание подчиненных — раненых, в бинтах, обмороженных. И в сознание его закралась (пробралась этакой прихрамывающей, уродской походкой) мысль — только мысль? — все вокруг лишь об этом и говорили: *Еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен*[1].

Неужели такова цена его триумфа: он должен стать одним из этих трупов — трупов, чьи лица белее белого, как стены бараков Хемница?!

Натягивая свежие белые перчатки, он думал: надо быть профессионалом до конца.

В немецком сложносоставное слово, обозначающее самоубийство, можно разложить на два: "свободная смерть".

Если теперь его возьмут в плен, это станет великим разочарованием для рейха.

И для Коки, само собой...

<...>

1. В радиограмме, отправленной 30 января 1943 г. Гитлером Паулюсу в связи с присвоением ему звания фельдмаршала, говорилось, что "еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен" — тем самым Верховный командующий настоятельно рекомендовал Паулюсу совершить самоубийство, предполагая потом использовать этот факт в пропаганде.

29.01.43 в Берлин ушла радиограмма: *Фюрер! Солдаты Шестой армии поздравляют своего фюрера с годовщиной Вашего прихода к власти! Свастика все еще реет над Сталинградом. Heil mein Führer! PAULUS*

Доклад от 30.01.43: **6 Армия, группа армий "Дон": русские несколько раз атаковали фронт на севере и на юге. Огнем артиллерии поражены 3 вражеских танка.**

Согласно официальной советской версии, Паулюс был взят в плен частями 64-й армии под командованием генерала М. С. Шумилова. Он сдался 31.01.43 — прошел лишь день после того, как фюрер назначил его фельдмаршалом. (По свидетельству генерала Пфайффера, Паулюс позволил себе высказывание, достойное предателя: *Я не намерен пускать себе пулю в лоб из-за того, что этого хочется какому-то ефрейтору из Богемии.*) Покуда подчиненные обсуждали условия сдачи в плен, Паулюс удалился к себе. Когда с формальностями было покончено, он спустился по ступенькам, конвоируемый двумя ухмыляющимися парнями в белых маскхалатах. Свидетель-немец писал: *На лице его, сером, как пепел, застыли тоска и скорбь.* На улице Паулюса поджидала пресса — журналисты союзников принялись щелкать камерами, снимая фельдмаршала, с трудом пробирающегося через сугробы в своей длиннополой шинели. Генерал-майор Шмидт шепнул ему на ухо: "Не забывайте: вы — фельдмаршал немецкой армии!" Далеко идти не пришлось: конвоиры подвели Паулюса к его же штабной машине, которая довезла их до ставки, после чего "мерседес" — точно такой же, как у Ольги, — именем народа был конфискован. На позадках сухо, будто хлопки шампанского, звучали выстрелы: расстреливали обслугу, набранную из местного населения. В домиках пионерлагеря уже сжигали раненых.

Что ж, теперь Паулюс стал никем: тощее ничтожество в надвинутой на глаза фуражке, скрывающей короткий ежик седоватых волос.

Его привели в какую-то избу. Внутри было жарко натоплено. Пока он, щелкая каблуками, кланялся вражеским генералам, те рассматривали его с самодовольным любопытством, мысленно себя поздравляя. В дверях стоял здоровенный русский и снимал фельдмаршала на переносную кинокамеру. Его засаленный бушлат был заляпан пятнами мазута. Почему-то это показалось Паулюсу ужасным. С другой стороны — ведь его перчатки сейчас тоже не блистали белизной. Он отвел глаза и стал смотреть в стену.

Для начала они потребовали ответа: почему Гитлер не эвакуировал его по воздуху. Никого из *них* не оставили бы на милость врагу.

— Полагаю, вы забыли про генерала Власова, — ответил он. — Власов с июля сотрудничает с нами.

— Эта вошь-то!

— Что ж, вы знакомы с ним лучше, чем я, — заметил он.

— И все-таки вы не объяснили: почему этот ваш так называемый фюрер вас бросил?

— В нашей армии есть традиция — командующий разделяет судьбу своих солдат.

— Мы примем к сведению этот полезный урок, господин фельдмаршал! Вы, знаете ли, заслуживаете нашу особую благодарность: здесь, на берегах Волги, мы приобрели бесценный — поистине бесценный —

опыт ведения оборонительных боев; и все благодаря вам! Будьте уверены — мы этим опытом воспользуемся!

Понимая, что они насмехаются (всё, как он и ожидал), он промолчал.

Теперь он должен отдать остаткам своей армии приказ о сдаче в плен, потребовали они.

Спокойно и холодно он ответил:

— Это было бы недостойно солдата!

Они только засмеялись — этим своим наглым русским смехом, а один из них, особенно неприятный — казалось, он готов ударить Паулюса по лицу, — ухмыльнулся (зубы его были желты и грязны, как труп еврея) и спросил:

— Как это: забота о спасении жизни ваших подчиненных недостойна солдата, когда сами вы сдались?

— Я не сдался, — уточнил Паулюс, — я был захвачен врасплох.

— Верно, верно. И все же речь идет об акте человеколюбия.

— Даже если я подпишу такой приказ, они откажутся его выполнять: находясь в плену, я перестал быть их командиром.

— Железная логика, господин генерал-фельдмаршал!

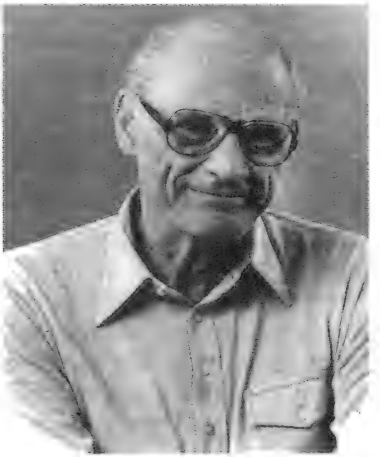
Они были именно таковы, какими являлись ему в ночных кошмарах: высокомерные, наглые, наводящие страх, глухие к любым доводам. (*Мы найдем к нему ключик*, сказал товарищ Сталин.) Один из них казался ему странно знакомым — будто этого невысокого печального человека он видел во сне. Германские черты лица тоньше и выразительнее славянских, и Паулюсу не удавалось скрыть свои переживания: по нему все было видно — и снедавшее его внутреннее напряжение, и это отчаянное желание сохранить достоинство. Ему уже стало понятно: отныне он должен навсегда затаить свою боль — если хочет сохранить остатки самоуважения; вместо белых перчаток надеть равнодушный, окаменелый взгляд; пусть все внутри заледенеет; он должен стать тверд, как скала, и ничего им не показывать. Оставалось только жалеть, что он не повел себя так, как того ждал от него фюрер.

— Я вынужден повторить свой отказ.

— В свою очередь, я вынужден информировать вас, господин генерал-фельдмаршал: отказываясь спасти жизни своих солдат, вы берете на себя всю полноту ответственности — ответственности перед немецким народом и будущим Германии.

Отвернувшись к стене, он погрузился в молчание, окаменев, как труп, повисший на электрической проволоке.

Артур Миллер



Представление

Рассказ

Перевод с английского Олеси Качановой

КОГДА мы познакомились, Гарольду Мею было лет тридцать пять. Белокурыми волосами с пробором точно посередине, очками в роговой оправе и поразительно круглыми, по-ребячьи любопытными глазами он напоминал Гарольда Ллойда[1], знаменитого очкастого комика с удивленным взглядом. При воспоминании о Мее мне представляется розовощекий человек в сером костюме в тонкую белую полоску, с сине-красным полосатым галстуком-бабочкой — стройный, ладно скроенный танцор, легконогий и, как большинство танцовщиков, погруженный в свое искусство, даже, можно сказать, в нем замурованный. По крайней мере таковым он казался на первый взгляд. Мы сидели в одной из тех аптек в оживленной части Манхэттена, где тогда, в сороковые, стояли столики и можно было в обеденный перерыв выпить содовой и поесть сливочного мороженого. Мей хотел рассказать мне какую-то длинную и запутанную историю; поначалу я недоумевал, почему ему это так важно, но потом понял: он надеется, что я напишу о нем статью. Его привел мой старинный друг Ральф Бартон (урожденный Берковиц), который, хоть и знал, что я к тому времени ушел из журналистики и, сделавшись довольно известным писателем, уже не мог спокойно сидеть в аптеках и барах — там, как и на улицах, меня одолевали незнакомцы, — полагал, что эта необычная история мо-

© The Arthur Miller 2004 Literary and Dramatic Property Trust, 2007. Опубликовано с разрешения The Wylie Agency (UK) Ltd., London
© Олеся Качанова. Перевод, 2009

1. Гарольд Клейтон Ллойд (1893–1971) — американский актер и кинорежиссер немого кино. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

жет мне пригодиться. Дело, кажется, происходило весной, всего через два года после окончания войны.

Как рассказал мне в тот день Гарольд Мей, в середине тридцатых работа у него появлялась от случая к случаю; он сделал номер с чечеткой и дважды выступил с ним в "Пэлас". Несмотря на почти неизменно восторженные отзывы в "Верайети"[1], ему так и не удавалось расширить верный, но малочисленный круг своих поклонников в местечках вроде Куинса, Толедо, штат Огайо, Эри или Тонавонда, штат Нью-Йорк.

— Чечетку любят те, кто умеет прилаживать детали друг к другу, — говорил он.

Ему было приятно, что его танец по вкусу сталелитейщикам, механикам, стеклодувам — практически всем, кто уважает отточенное мастерство. К тридцати шести годам Гарольд убедился, что достиг потолка своей карьеры, и, спасаясь от депрессии, ухватился за предложение поработать в Венгрии, смутно представляя себе, где она находится. Вскоре он уяснил, что так называемый гастрольный круг охватывает Будапешт, Бухарест, Афины и полдюжины других восточноевропейских городов, а также очень престижную Вену — стало быть, известность ему обеспечена. Однажды представив публике номер, можно будет исполнять его круглый год, снова и снова возвращаясь в те же клубы.

— Зритель любит, когда ничего особенно не меняется, — сказал он.

Степ, впрочем, был совершенной новостью: неизвестный в Европе, чисто американский танец, придуманный неграми с Юга, пленил немало европейцев, которые сочли его забавным проявлением оптимистичной американской натуры.

Гарольд, как он объяснил, сидя напротив меня за белым мраморным столиком, катался по "кругу" месяцев шесть или восемь.

— Работа была стабильная, деньги достойные, и кое-где, например в Болгарии, мы считались почти звездами. Пару раз нас приглашали отужинать в замках, там подавали отличное вино и не было отбоя от женщин. Меня просто распирало от счастья, — сказал он.

Его маленькая труппа: он сам, двое мужчин, одна женщина плюс случайный аккомпаниатор или иногда скромный оркестрик — была легка на подъем и успешно концертировала. Молодой, неженатый, он всю короткую прежнюю жизнь был зациклен на своих ногах, туфлях и упорных мечтах о славе, а теперь с удивлением обнаружил в себе интерес к городским достопримечательностям "круга" и по возможности собирал сведения об истории и искусстве Европы. Окончил он только среднюю школу "Ивандер чайлдс" и, в вечной спешке, не загадывал дальше следующего выхода на сцену, так что Европа открыла ему глаза на прошлое, о существовании которого он и не подозревал.

Однажды вечером, в Будапеште, когда Гарольд после удачного представления снимал грим в старенькой уборной клуба "Ла Бабалу", в дверном проеме возник высокий, хорошо одетый джентльмен; слегка поклонившись всем корпусом, он представился по-английски с немецким акцентом и церемонно спросил, не уделит ли ему Мей несколько минут

1. Еженедельная нью-йоркская газета-таблоид (выходит с 1905 г.), посвященная театру, кино, телевидению и радио.

своего драгоценного времени. Гарольд пригласил его присесть в кресло, обитое драным розовым атласом.

Выглядел гость лет на сорок пять, у него были блестящие, красиво уложенные седые волосы, превосходный костюм из тяжелой зеленоватой ткани и высокие черные ботинки. Звали его Дамиан Фуглер, и пришел он сюда как официальное лицо — культурный атташе посольства Германии в Будапеште. Несмотря на акцент, его английский был безупречно правилен.

— Я имел удовольствие побывать на трех ваших представлениях, — сказал Фуглер раскатистым баритоном, — и прежде всего хочу засвидетельствовать вам свое уважение как замечательному артисту.

Еще никто не называл Гарольда артистом.

— Хм, спасибо, — выдавил он. — Весьма польщен.

Я представил, как раздулся от гордости этот розовощекий юнец из Бериа, штат Огайо, получив похвалу от такого элегантного европейца в высоких ботинках.

— Сам я выступал в Штутгартской опере, правда, не как певец, а как у нас это называлось — "мальчик из миманса". Это было довольно много лет назад, по молодости. — Фуглер позволил себе снисходительно улыбнуться юношеским проказам. — Однако к делу: я уполномочен пригласить вас, мистер Мей, выступить в Берлине. Мое ведомство оплатит транспортные издержки, а также расходы на проживание.

Умопомрачительная мысль, что правительству — все равно какому — может быть интересна чечетка, Гарольду, естественно, и в голову не приходила, поэтому он не сразу сумел ее переварить или хотя бы поверить услышанному.

— Хм, не знаю, что и сказать. А выступить-то где, в клубе или нет?

— В клубе "Кик". Вы, возможно, о нем слышали?

Гарольд слышал, что "Кик" — один из самых модных берлинских клубов. У него заколотилось сердце. Однако опыт финансовых сделок подсказывал не соглашаться сразу.

— На какой срок вы меня ангажируете? — спросил он.

— Вероятнее всего, на одно выступление.

— Одно?

— Нам потребуется лишь одно, но вы вольны заключить и другой договор, разумеется, при условии, что администрация клуба согласится. Мы готовы заплатить вам две тысячи долларов, если эта сумма вас устроит.

Две тысячи за один вечер! Почти целый годовой улов! У Гарольда закружилась голова. Надо бы еще что-нибудь спросить, но что?

— А вы?.. Простите, не запомнил вашего имени.

Фуглер вынул из нагрудного кармана красивую черную кожаную визитницу и протянул свою карточку; Гарольд, ухватив взглядом четко вытисненного орла со свастикой, никак не мог на ней сфокусироваться — увиденное занозой засело в мозгу.

— Можно подумать до завтра? — начал он, но его тут же заглушил сочный фуглеровский баритон.

— Боюсь, завтра уже нужно будет ехать. Я договорился со здешним клубом, они освободят вас от контракта, если вы дадите свое согласие.

Освободят от контракта!

— У меня возникло ощущение, — стакан Гарольда с шоколадной содовой был наполовину пуст, — что без моего ведома обо мне говорят в высоких кабинетах. Это пугало, но и придавало мне веса в собственных глазах, — он засмеялся, как проказливый подросток.

— Можно узнать, почему такая спешка? — спросил он у Фуглера.

— Боюсь, не в моей власти сообщить более того, что после четверга у моего начальства несколько недель, а то и месяцев не будет возможности посмотреть ваше выступление. — Внезапно он наклонился над Гарольдовыми коленями и, чуть не уткнувшись носом в его руку, перешел на шепот: — Это может изменить вашу жизнь, мистер Мей. Соглашайтесь.

Перед мысленным взором маячили две тысячи долларов, и Гарольд услышал свой голос, говорящий: "Согласен". Однако вся ситуация была настолько невероятной, что он тут же попытался дать задний ход и попросить немного времени на раздумье, но немец уже ушел. В руке у Гарольда осталась пятисотдолларовая банкнота, в ушах — смутный отзвук баритона, с акцентом произносящего: "Это задаток. Итак, в Берлин! Auf Wiedersehen".

— Он так и не предложил подписать контракт, — рассказывал Гарольд. — Просто оставил деньги.

Той ночью он почти не спал, занимался самобичеванием.

— Приятно думать, что ты сам себе хозяин, но этот Фуглер налетел, как ураган.

Особенно, по его словам, он грыз себя за то, что согласился на одно-единственное выступление. И вообще, что бы это могло значить?

— За последние месяцы я совершенно отвык вникать в то, что происходит вокруг, — ведь я ни слова не знал по-венгерски, румынски, болгарски или немецки. Но всего один концерт? Я терялся в догадках.

И почему такая безумная спешка?

— Я был сбит с толку, — сказал он. — О господи, зачем только я взял деньги?! Но в то же время меня разбирало любопытство.

На душе у него полегчало, когда он увидел реакцию труппы: узнав о возможности уехать с Балкан и получив часть задатка, танцоры пришли в восторг; в поезде все веселились и радовались этому абсурдному приключению. Перспектива выступить в Берлине — европейской столице, уступающей разве что Парижу, — была равносильна приглашению на званый вечер. Заказав шампанское и бифштексы, Гарольд пытался расслабиться в кругу коллег и утихомирить свои страхи. Под лязганье поезда, катившего на север, он сравнивал нынешние удачные обстоятельства с тем, что с ним было бы, останься он в Нью-Йорке с его очередями безработных и железными тисками американского экономического кризиса.

Когда поезд остановился на германской границе, в купе — Гарольд делил его с Бенни Уортом, ветераном труппы, и двумя румынами, которые почти все время спали, изредка просыпаясь и снова, с легкой улыбкой, погружаясь в сон, — вошел пограничник. И, заглянув в паспорт Гарольда, нахмурился. В Европе теперь пограничники вообще неизменно мрачнели при виде его паспорта, но хмурый взгляд этого немца пробрал Гарольда до костей. И не потому, что он вспомнил о своей еврейской национальности: с этим никогда не бывало проблем — во многом

благодаря белокурым волосам, голубым глазам и обходительному нраву Гарольду удавалось избегать обычной для той поры реакции на евреев. Вплоть до этой самой минуты он и не вспоминал о газетных статьях примерно годичной давности: молодое немецкое правительство постепенно начинает притеснять евреев — выгоняет их из бизнеса, вводит запрет на некоторые профессии, закрывает синагоги, вынуждает эмигрировать. С другой стороны, Бенни Уорт, считавший себя коммунистом и владевший информацией, которую не найти было в периодической печати типа "Нью-Йорк таймс", утверждал, что в нынешнем году нацисты поумерили антисемитский пыл, дабы не отпугивать собравшихся на Олимпиаду туристов. В любом случае лично Гарольда это не касалось.

— Еще я слышал нехорошие слухи об инцидентах в Румынии, но сам ничего не видел и потому голову этим не забивал, — объяснил он.

Оно и понятно; в конце концов, он был лишен вербального общения с публикой, не мог читать местные газеты и потому был весьма далек от того, что творилось в городах, в которых выступал.

Единственное на тот момент отчетливое его впечатление от Гитлера — кадры увиденной несколько месяцев назад кинохроники: фюрер уходит со стадиона "Олимпия", потому что на пьедестал за четвертой золотой медалью поднимается чернокожий бегун Джесси Оуэнз.

— Он поступил не по-олимпийски, — сказал Гарольд, — но давайте смотреть правде в глаза: подобное много где еще могло бы случиться.

Правда же заключалась в том, что у Гарольда совершенно не оставалось времени следить за политикой. Он жил чечеткой, отстукивал концерты, заботился о том, чтобы на столе была сносная еда, чтобы труппа не распалась и не пришлось возиться с новичками. И, конечно же, с американским паспортом в кармане он в любую минуту мог собраться, бросить все и уехать обратно на Балканы или даже домой — если станет совсем худо.

Во вторник вечером, когда они прибыли в Берлин, их прямо у поезда встретили двое мужчин: один в таком же, как у Фуглера, костюме, только не зеленоватом, а синем, другой — в черном мундире с белым кантом на лацканах.

— Господин Фуглер ждет вас, — сказал тот, что в мундире.

Гарольд, который при этих словах преисполнился ощущением собственной значимости, с трудом поборол волнение; обычно их компания сходила с поезда, навьюченная тяжелыми чемоданами, потом, ломая язык, на идиотском иностранном наречии давала указания носильщикам и подзывала такси — и все это, как правило, под дождем. А тут их проводили к "мерседесу", который чинно направился в отель "Адлон", лучший в Берлине, а может, и Европе. В одиночестве расправившись в номере с обедом из устриц, оссобуко[1], картофельных оладьев и рислинга, Гарольд похоронил свои сомнения в мечтах о том, как распорядится свалившимися на него деньгами, и почувствовал себя готовым к выходу на сцену.

1. Рулька с мозговой костью и рисом в томатном соусе (*франц.*).

Фуглер появился на следующее утро — на несколько минут зашел к Мею в номер, когда тот завтракал. Выступление в полночь, сказал он, репетировать можно в клубе до восьми, пока не начнется вечернее представление. Выглядел взволнованным; как сказал Гарольд, "чуть ли не кидался ко мне с объятиями".

— Видя его расположение, — продолжал Гарольд, — я решил выведать, для кого же нам предстоит танцевать. Но он лишь улыбнулся и отговорился соображениями безопасности ("Надеюсь, вы меня поймете"). Вообще-то, мы подозревали, что это будет герцог Виндзорский[1], дружок Гитлера: от Бенни Уорта мы знали, что он сейчас в Берлине.

После завтрака их отвезли в клуб, познакомили с местным секстетом, в котором моложе пятидесяти был только пианист-сириец Мохаммед, язвительный малый с фантастически длинными смуглыми пальцами в кольцах; он немного знал английский и переводил реплики Гарольда своим коллегам. Мохаммед был в восторге от новых полномочий и принялся мстить оркестрантам, сплошь немцам, которые за долгие месяцы так и не выучились держать темп. Они знали "Реку Суони" и по просьбе Гарольда попробовали ему подыграть, но выходило безнадежно медленно; пришлось, со всей возможной дипломатичностью, убрать скрипача и аккордеониста и поработать с барабанами и пианино — получилось более-менее сносно. В полдень стали появляться официанты и кухонная прислуга; вскоре все они выстроились вокруг и, полируя серебро, с изумлением наблюдали за прогоном. Танцевать перед аплодирующими официантами труппе еще не доводилось, и настроение мгновенно взлетело. В роскошном зале им подали жареную форель с дорогим вином и свежевыпеченными твердыми булочками и шоколадный торт с восхитительным кофе; к половине третьего все, хотя и крепко держались на ногах, стали клевать носом. Автомобиль доставил их обратно в "Адлон" для отдыха. Ужин предполагался в клубе — бесплатный, разумеется.

В шестифутовой мраморной ванне Гарольд долго лежал без движения, по привычке перед концертом нежась в горячей воде.

— Краны были золоченые, полотенца — бесконечной длины.

Беспрецедентное, чуть ли не благоговейное отношение официантов к нему и его товарищам наводило на мысль, что танцевать им вечером придется перед высокопоставленными нацистскими политиками. Гитлер? Только бы не он! Какой же я дурак, злился Гарольд, надо было не отступать и сперва все выяснить. Разрешить этот вопрос сразу же, едва Фуглер заикнулся про единственный концерт. Он проклинал свою робость, терзавшую его — как я понял — всю жизнь. И погрузился в воду с головой, решив, по собственным словам, утопиться, но в конечном счете передумал. А если они узнают, что он еврей? Из запертого чуланчика в укромном уголке памяти вырвались фотоснимки — картины гонений на евреев, мелькавшие в том году на страницах газет. Но *американцу*, скорее всего, не смогут ничего сделать. Благословляя судьбу за свой паспорт, он выбрался из ванны и, как был мокрый, дрожащий от

1. Титул, который британский король Эдуард VIII (1894–1972) получил после своего отречения от престола в 1936 г.; Эдуард был известен своими симпатиями к гитлеровскому режиму.

страха, полез проверять, не исчез ли паспорт из пиджачного кармана. Чем ближе был правительственный концерт, тем сильнее Гарольда охватывало не радостное предвкушение, а беспокойство, и обернутое вокруг тела шикарное полотенце странным образом усиливало ощущение абсурдности ситуации. Стоя у высокого, задрапированного атласом окна и завязывая бабочку, он смотрел вниз на оживленную улицу, на чрезвычайно современный город с красиво одетыми людьми, которые останавливались у витрин, приветствовали друг друга, слегка касаясь шляп, ждали зеленого света на переходе, — и чувствовал себя очень глупо: так от почудившейся опасности перепуганный кот взлетает на дерево, а оказывается, это всего лишь тент хлопнул на ветру.

— Вдобавок я вспомнил слова Бенни Уорта о том, что дни нацистов сочтены: недалек тот час, когда рабочие вышвырнут их вон, — и подумал: может, все не так уж плохо?

Он решил пригласить всю труппу к себе в уборную. Пол Гарнер и Бенни Уорт пришли в смокингах, Кэрол Конуэй — в ослепительно-красном прозрачном наряде. Все они немного нервничали: еще не бывало случая, чтобы Гарольд созвал их перед выступлением.

— Это пока только мои домыслы, но, кажется, сегодня вечером мы танцуем для мистера Гитлера.

Их прямо раздуло от тщеславия: вот это успех! Бенни Уорт, прирожденный командный игрок, сжал свой огромный кулак со сверкающим бриллиантовым перстнем, попортившим не один любопытный нос, и прохрипел сквозь сигарный дым: "Да не беспокойся ты, не хватало еще портить нервы из-за этого сукина сына".

Плакса Кэрол посмотрела на Гарольда глазами, из которых грозили хлынуть слезы:

— А они знают, что ты...

— Нет, — отрезал он. — Но завтра мы отсюда уедем. Я просто предупреждаю: не сбейтесь, когда увидите его в зале. Танцуйте, как обычно, а завтра мы сядем в поезд — и в Будапешт.

Над круглой сценой ночного клуба висела массивная люстра; сгусток мерцающих огней раздражал Гарольда, который не любил танцевать, когда над головой что-то висит. Розовые стены с мавританским орнаментом, столы цвета сочной зелени. Сквозь щелки в занавесе позади оркестра они наблюдали, как ровно в полночь управляющий герр Бикс остановил музыку, вышел на середину сцены, извинился перед переполненным залом за прерванный танец и, поблагодарив гостей за то, что они пришли, объявил: "долг" требует попросить всех освободить помещение. Поскольку обычно клуб закрывался около двух, люди решили, что случилось что-то экстраординарное, а под словом "долг" подразумевалось, что это как-то связано с властями, поэтому по залу пролетел лишь легкий ропот удивления и несколько сотен завсегдатаев, взяв свои вещи, вышли на улицу.

Некоторые пошли пешком, другие сели в такси, а задержавшиеся на обочине одиночки с благоговением наблюдали, как появляются и сворачивают в соседний переулок знаменитые длинные "мерседесы", сопровождаемые спереди и сзади тремя-четырьмя битком набитыми черными автомобилями.

Через щелки в занавесе Гарольд с танцорами потрясенно смотрели, как по залу вокруг Вождя, чей столик был поставлен в дюжине футов от сцены, рассредоточиваются не меньше двадцати военных в форме. За тот же столик сели невероятно толстый и легко узнаваемый Геринг, еще один офицер и Фуглер.

— Вообще, они почти все были огромные; по крайней мере казались такими в форме, — сказал Гарольд.

Официанты наполняли бокалы водой, и Гарольд, сам почти непьющий, вспомнил о широко известном вегетарианстве Гитлера. Суетящийся за кулисами Бикс, управляющий "Кикса", тронул Гарольда за плечо. Мохаммед уже не склонялся безвольно над клавиатурой: расправив плечи, он, по сигналу Бикса, взмахнул унизанными кольцами руками и под аккомпанемент щеток ударника заиграл "Чай для двоих" — и Гарольд очутился на сцене. Композиционно номер был проще некуда: Гарольд соло исполнял "мягкий степ", переходил на шафл[1], затем, на третьем припеве, слева и справа появлялись в кекуоке[2] Уорт и Гарнер, и, наконец, прелестной соблазнительницей выпархивала Кэрол и замирала в красивых позах возле партнеров, которые то сходились, то расходились, то перестраивались. Не прошло и минуты, как Гарольд, глянув в страшное лицо Гитлера, с изумлением обнаружил, что этот человек пришел в неконтролируемый, дикий восторг. Танцоры перешли на стомп, их туфли выбивали дробь, а Гитлер словно застыл, захваченный рокочущим ритмом, его сжатые кулаки уперлись в стол, вытянутая шея напряглась, рот приоткрылся.

— Казалось, он испытывает оргазм, — сказал Гарольд.

Геринг, который "сделался похож на большого толстого младенца", постукивал ладонью по столу, посмеиваясь в своей обычной снисходительной манере. И, конечно, свита, подстегнутая нескрываемым энтузиазмом своих повелителей, будто сорвалась с цепи, наперегонки соревнуясь в том, кто убедительнее выкажет восторг. Гарольд ничего не мог с собой поделать: летая на кончиках туфель, он наслаждался триумфом. После стольких тревог этот выплеск брутального восхищения смыл последнюю скованность, и душа полностью отдалась во власть искусства.

— Что ни говори, ощущения были феноменальные. — Гарольд вспыхнул от смущения и упоения победой (занятное сочетание). — От сильного переживания Гитлер сделался похожим на... девушку, что ли. Знаю, звучит глупо, но он даже казался трогательным — если про него можно так сказать. — По-моему, это объяснение не устроило и самого Гарольда, но он сменил тему, сказав: — В общем, мы могли брать их голыми руками, и это было чертовски здóрово, особенно после того, как мы перетрусили до полусмерти.

Он издал невнятный смешок, смысл которого я не смог уловить.

Программа, с троекратным повторением номеров по приказу все более и более распаляющегося Вождя, растянулась почти на два часа. Когда танцоры вышли на поклоны, Гитлер с сияющими глазами встал, одобрительно кивнул и сел — на его лице вновь появилось выражение

1. От английского shuffle — шарканье.
2. Танец американских негров, вошедший в моду в начале XX века в Европе и Америке.

добродетельной властности. Они с Фуглером о чем-то горячо зашептались. В зале воцарилась тишина. Все пребывали в растерянности. Свита теребила скатерти и потягивала воду, бесцельно глазея по сторонам. Танцоры на сцене переминались с ноги на ногу. Спустя несколько минут Уорт, всем своим видом демонстрируя пренебрежение, направился было к кулисам, но подскочивший Бикс подтолкнул его обратно. Гитлера заметно возбудили слова Фуглера, который то и дело указывал рукой на Гарольда, стоявшего на сцене в нескольких футах от них. Танцоры от волнения стиснули руки за спиной. Кэрол Конуэй со страху непрерывно кивала, кокетливо поигрывая бровями и поглядывая на людей в форме; те галантно улыбались в ответ.

Так прошло не менее десяти минут; наконец Фуглер жестом пригласил Гарольда подойти. Рука Фуглера дрожала, губы пересохли и потрескались, глаза бессмысленно блуждали; оказанный чечеточникам потрясающий прием наглядно продемонстрировал, какой вулканической силой воздействия на людей обладал Гитлер, и Гарольда снова охватили страх и гордость за то, что он сумел эту силу укротить.

— Легко смеяться над ним издалека, — сказал Гарольд, имея в виду Гитлера, — но вблизи, уж поверьте, было гораздо комфортнее, если он тебе симпатизировал.

При этих словах он улыбнулся, и на его мальчишеском лице впервые проступило что-то похожее на боль.

Фуглер откашлялся и повернулся к Гарольду, держась подчеркнуто официально.

— Утром мы поговорим обстоятельнее, но сейчас герр Гитлер желает предложить вам... — Фуглер сделал паузу — вероятно, как выразился Гарольд, чтобы он с должным вниманием отнесся к предложению фюрера. Гитлер, натягивавший перчатки из мягкой коричневой кожи, смотрел на него с каким-то напряженным любопытством. — Говоря в общих чертах, фюрер хочет, чтобы вы создали здесь, в Берлине, школу и научили немецкий народ танцевать чечетку. Эта школа, какой он ее видит, будет находиться в ведомстве нового департамента правительства, который, он надеется, вы будете возглавлять, пока не обучите себе преемника. Ваш танец произвел на фюрера сильное впечатление. Заложенное в нем сочетание полезных физических нагрузок, строгой дисциплины и простоты поспособствует укреплению здоровья нации. Сотни или даже тысячи немцев объединятся в танце в залах и на стадионах, по всей стране. Это воодушевит и оздоровит германский народ еще больше, укрепит связывающие его железные узы. Существует и ряд других моментов, но суть того, что хотел сказать герр Гитлер, я вам передал.

На этом Фуглер по-военному четко дал знать фюреру, что поручение исполнено. Гитлер встал и протянул руку в перчатке Гарольду, который поспешно вскочил и от волнения не сумел вымолвить ни слова. Фюрер сделал шаг от стола, но вдруг, птичьим движением повернув голову к Гарольду, сморщил губы в улыбке, после чего ушел в сопровождении своей небольшой армии, стучащей сапогами по деревянному полу.

Гарольд Мей рассказывал об этом посмеиваясь, но иногда в нем проглядывало еще не изжитое, подспудное благоговение. Гитлер к тому времени уже два года как был мертв, но страх, который он более десяти лет внушал миру, пока не рассеялся полностью. Так сказать, еще свежи

были могилы жертв. Все обрадовались смерти этого чудовища; его существование было сродни болезни, терзавшей нас слишком долго, чтобы так сразу взять и пройти. Мне стало не по себе, когда я уяснил, что в нем оказалось достаточно человеческого, чтобы размякнуть от увиденного на сцене, что ему не чужды творческие порывы, и продолжения истории я ждал с некоторой тревогой. Гарольд теперь совершенно переменился, казалось, он постарел за время своего рассказа.

— Наутро Фуглер снова явился к завтраку, — сказал Гарольд. — Это был совсем другой человек. Треклятый фюрер предложил мне *департамент! Лично!* Мой блестящий успех заодно поднял на пару ступенек иерархической лестницы Фуглера, который затеял эти смотрины. Так что мы оба сделались hoch[1] персонами, важными шишками. Теперь следовало изрядно потрудиться, чтобы оправдать оказанное нам высокое доверие. Поскольку данные мне полномочия исходят с самого верха, я должен объехать Берлин и подыскать место для школы. Вскорости из другого департамента придет человек, чтобы обсудить мое жалованье, а рассчитывать я, по словам Фуглера, мог минимум на пятнадцать тысяч долларов в год. Я чуть не упал. Тогда "кадиллак" стоил около тысячи. Пятнадцать — бешеные деньги. Я попал в обойму.

Теперь, когда на кону были школа и огромные деньги, перед ним, продолжал Гарольд, возникла дилемма. Конечно, можно было взять и уехать из Германии. Но это значило бы отмахнуться от денег, которые давали возможность приобрести дом и машину, всерьез задуматься о подружке и законном браке. Сейчас он изо всех сил пытался объяснить мне, что творилось тогда в его душе.

— Мне всегда с трудом давались ответственные решения, — говорил он, — а Гитлер был у власти всего несколько лет, и мы еще не знали всей правды о лагерях, хотя и то, что просачивалось наружу, было довольно страшно. Нет, я себя не оправдываю, но тогда просто не мог напрямую сказать ни "да", ни "нет". Потому что Балканы не Голливуд, а снова колесить по Штатам — об этом даже думать не хотелось.

— Вы хотите сказать, что приняли предложение? — спросил я, улыбаясь в замешательстве.

— Пару дней я ничего не делал, только бродил по городу. Меня не беспокоили. Мои товарищи были в восторге от Берлина, а я все время пытался разобраться в себе. Понимаете, на взгляд праздного прохожего ничего особенного в Берлине не происходило. Он ничем не отличался от Лондона или Парижа, разве что чистотой. Ну, может, военные попадались чуть чаще. — Он посмотрел мне в глаза. — Вот и всё.

— Понятно, — сказал я, хотя Гитлер был слишком уж страшен и омерзителен: у меня в голове не укладывалось, как можно испытывать хоть малейшую симпатию к нему или его городу. Наверное, именно поэтому у меня впервые мелькнула кошмарная мысль: уж не... влюбился ли, часом, Гарольд в это чудовище?

Гарольд смотрел на улицу сквозь витринное стекло. Кажется, он не до конца понимал, какое впечатление должен производить на слушателей его рассказ. Для конца сороковых такой персонаж, как Мей, не был

1. Большой, влиятельный, важный (*нем.*).

совсем уж необычен. Некоторым — увы, не всем — до сих пор были памятны героические поступки тех, кто боролся с фашизмом в годы войны; на стенах домов на парижских перекрестках устанавливались всё новые памятные доски в честь павших французов-антифашистов — мужчин и женщин, расстрелянных немцами без суда и следствия. Но многие, как, видимо, и мой собеседник, не осознавали сути этих церемоний и их нравственного и политического значения.

— Продолжайте, — сказал я. — Что случилось потом? Это потрясающая история, — заверил его я со всей теплотой, на какую был способен.

Кажется, он немного оттаял.

— Так вот, — сказал он, — четыре или пять дней спустя Фуглер появился снова.

Фуглер по-прежнему сиял. Опять пошли разговоры о том, как и где открыть школу.

— И тогда, — сказал Гарольд, — он между делом упомянул, что все, кто занимает должностной пост в сфере культуры, обязаны пройти стандартную проверку на расовую чистоту. — На лицо Гарольда вернулась ироническая усмешка. — Нужно было обследоваться, ариец я или нет.

Для этой стандартной процедуры ему предстояло вместе с Фуглером отправиться к профессору Мартину Циглеру.

От такой новости Гарольду стало совсем неуютно.

— Мне трудно объяснить. Я влез в эту историю, хотя и знал, что рано или поздно придется уехать из Германии. Правда, когда и как именно, не знал. Но это обследование меняло дело. Получалось, я все время их обманывал. Они могли спохватиться, объявить меня врагом и что-нибудь со мной сделать, невзирая на американский паспорт. В воздухе запахло грозой.

Но Гарольд не попытался бежать. На мой вопрос "почему?" ответил:

— Сам не знаю. Наверное, просто ждал, что будет дальше. Представьте, я согласился — настолько, не стану отрицать, меня заворожила мысль о деньгах. Хотя... — Он снова смолк, явно неудовлетворенный этим объяснением.

Как бы там ни было, сев в машину Фуглера, он почувствовал себя совершенно незащищенным — именно потому, что Гитлер лично выказал ему внимание и восхищение.

— У меня было такое ощущение, будто... будто он наблюдает за мной, что ли. Может, из-за того, что я видел его вживую, пожал ему руку.

В тоне Гарольда угадывалось, что он чувствовал себя обязанным Гитлеру — своему, как ни крути, предполагаемому благодетелю, которого он ввел в заблуждение.

Сейчас, наблюдая за своим собеседником, я кое-что понял; в душе его, несомненно, царило смятение, и все-таки, как мне показалось, я уловил главное: Гарольда потрясло то, что Гитлер так искренне им восхищался, даже, можно сказать, полюбил его за талант — никто и никогда столь пылких чувств к нему не проявлял. Должно быть, то выступление стало апогеем Гарольдовой творческой карьеры, а может, и жизни, крючком, который он заглотнул и не способен был выплюнуть. В конце концов, он ведь так и не стал знаменитостью и, возможно, ни разу больше не ощутил на своем лице обжигающее тепло того магического света.

В машине, сидя рядом с Фуглером и направляясь на осмотр, Гарольд глядел в окно на огромный город, обыкновенных людей на улицах и вдруг почувствовал: все, что он видит, исполнено смысла, окружающий мир — картина, и все на ней что-то *означает*. Но что?

— Мне стало любопытно, — сказал он, — другие тоже это чувствуют? Что они как рыбы в бассейне, а сверху за ними кто-то наблюдает — с вниманием и *заботой*.

Я не поверил своим ушам: Гитлер — с *заботой*?

Гарольдовы глаза увлажнились. Он сказал, что, когда посмотрел на Фуглера, с удобством расположившегося на сиденье рядом с ним, а потом перевел взгляд на прохожих, то "все было таким чертовски *нормальным*. Наверное, именно это и вызывало страх. Как будто спишь и во сне тонешь, а всего в нескольких ярдах от тебя, на пляже, люди играют в карты. Или: вот я еду в машине куда-то, где мне будут измерять нос и все прочее или осматривать член, — и это тоже абсолютно нормально. То есть, я хочу сказать, вокруг были не какие-то витающие в облаках недоумки, у этих людей имелись *холодильники!*

Впервые в его речи прорвалась злость, но злился он, похоже, не столько на немцев, сколько на некую трансцендентную, не поддающуюся определению ситуацию. Конечно, нос у него был маленький, курносый, да и к тому времени среди немцев обрезание стало обычным делом, так что особенно опасаться физического освидетельствования не следовало. Словно услышав мою мысль, он добавил:

— Не то чтобы я боялся этого обследования, но... не знаю... вляпаться в такое дерьмо... — Он снова осекся; снова был неудовлетворен своим объяснением, подумал я.

Кабинет профессора евгеники Циглера скрывался в недрах современного здания; вдоль стен, на полках с раздвижными стеклами, стояли тяжелые медицинские тома и гипсовые слепки голов — китайца, африканца, европейца. Озиравшемуся по сторонам Гарольду почудилось, что его обступили покойники. Сам профессор был крошечного роста (едва Гарольду до подмышки), близорукий и очень услужливый; он поспешно усадил гостя в кресло, а Фуглер остался ждать в приемной. Профессор сновал туда-сюда по белому линолеуму в поисках тетради, карандашей, авторучки и заверял Гарольда:

— Еще минутку, и все будет готово. Ваша школа — это нечто невероятное!

Наконец, усевшись напротив Гарольда на высокий табурет и положив тетрадь на колени, профессор отметил удовлетворительную голубизну его глаз, светлые волосы, осмотрел ладони, явно выискивая какой-то тайный знак, после чего сказал:

— А сейчас мы произведем некоторые измерения.

Вынул из ящика стола большой латунный кронциркуль, приставил его одним концом снизу к Гарольдову подбородку, другим к темени и записал полученную цифру. Аналогично были измерены расстояние между скулами, высота лба от переносицы, ширина рта и челюстей, длина носа и ушей, их расположение относительно кончика носа и темени. Каждый замер тщательно фиксировался в тетради с кожаным переплетом, а Гарольд тем временем размышлял о том, как незаметно раздо-

быть железнодорожное расписание и какую вескую причину придумать, чтобы в тот же вечер уехать в Париж.

Процедура заняла около часа, включая осмотр пениса, который, несмотря на обрезание, почти не вызвал у Циглера интереса: профессор склонился к нему лишь на мгновение, критически изогнув бровь, и посмотрел, "как птица на червячка". Гарольд засмеялся. Наконец, подняв голову от разложенных на столе записей, профессор с профессиональной неколебимой уверенностью произнес на ломаном английском:

— Я пришел к заключенью, что вы представлять собой сильный и отчетливый образец арийской расы, позвольте искренне вас поздравить с успехом.

У Фуглера, естественно, на этот счет вообще не было сомнений, особенно сейчас, когда его, автора такой изумительной идеи, обласкала власть. Воспроизводя мягкий фуглеровский акцент, Гарольд рассказал, как на обратном пути в машине тот напыщенно разглагольствовал о том, как степ "превратит Германию в общество не только производителей и солдат, но и артистов — а что может быть более благородным и возвышенным?!", и так далее. Затем он повернулся к сидящему рядом Гарольду:

— Должен вам сказать... Разрешите теперь называть вас просто Гарольдом?

— Да. Конечно.

— Гарольд, эта, если так можно выразиться, авантюра, завершающаяся поистине триумфальным финалом, позволила мне понять, какое чувство испытывает художник, заканчивая свое сочинение, или полотно, или любое другое произведение искусства. Чувство, что он себя обессмертил. Надеюсь, я вас не смутил.

— Нет... нет. Я понимаю, о чем вы говорите, — сказал Гарольд, витая мыслями где-то далеко.

Вернувшись в отель, Гарольд собрал труппу у себя в номере. Он выглядел бледным и напуганным. Усадил всех и сказал:

— Мы уезжаем.

Конуэй спросила:

— Ты хорошо себя чувствуешь? На тебе лица нет.

— Собирайтесь. Поезд сегодня в пять. В нашем распоряжении полтора часа. Моя мать в Париже опасно заболела.

Брови Бенни Уорта поползли вверх.

— Твоя мать в *Париже*?

Тут он наткнулся на взгляд Гарольда, и все трое встали и молча поспешили в свои номера складывать вещи.

Как Гарольд и ожидал, Фуглер легко не сдался.

— Скорее всего, ему позвонил портье, — сказал Гарольд, — потому что, едва мы положили ключи на стойку, он уже был тут как тут — и растерянно уставился на наш багаж.

— В чем дело? Вы уезжаете? — спросил Фуглер. — Что случилось? У вас есть реальная возможность пообедать с фюрером. От такого не отказываются!

Стоявшая ближе всех к нему Конуэй шагнула вперед. От страха ее голос взвился на пол-октавы.

— Неужели непонятно? А вдруг его мать умирает? Она еще не старая, значит, что-то стряслось.

— Я свяжусь с французским посольством. Они кого-нибудь к ней направят. Вы должны остаться! Иначе и быть не может! Где она живет? Пожалуйста, дайте мне ее адрес, и я позабочусь, чтобы к ней вызвали врачей. Так нельзя, мистер Мей! Герр Гитлер впервые в жизни выразил такой...

— Я еврей, — сказал Гарольд.

— А он что на это? — потрясенно спросил я.

Почувствовав мое волнение, Гарольд поднял глаза. Мне стало интересно, не это ли и было целью его рассказа: не только описать свое бегство из Германии, но и откреститься от связи с Гитлером? Уж очень счастливо расплылось в улыбке его мальчишеское лицо под гладкими, разделенными строгим пробором волосами.

— А он сказал: "Как поживаете?"

— Как поживаете? — почти завопил я в полнейшем замешательстве.

— Вот именно. "Как поживаете?" Отшатнулся, будто ему в грудь пальнули из духового ружья, и сказал: "Как поживаете?" И выбросил вперед руку. Разинул рот. Побелел. Я думал, он в обморок грохнется или в штаны наложит. Даже жалко его чуточку стало... Я и руку ему пожал. А он перетрусил так, словно увидел привидение.

— Что он хотел сказать этим "как поживаете"? — поинтересовался я.

— Понятия не имею, — уже серьезно ответил Гарольд. — Я сам не раз об этом думал. У него было такое лицо, будто я упал на него с потолка. Он испугался, это было видно. Прямо до чертиков. Оно и понятно: ведь он притащил к Гитлеру еврея. Евреи для них были вроде заразы, чего я до недавнего времени толком не понимал. Но, сдается мне, его еще что-то испугало, не только это.

Он на мгновение замолчал, уставившись на пустой стакан из-под содовой. Тротуар за окном заполнялся офисными служащими: день подходил к концу.

— Вспоминая, как мы познакомились в Будапеште и что было потом, я спрашиваю себя, уж не потянуло ли его ко мне. Я не о сексе; он вообразил, что я для него эдакий пропуск, дающий право на личное общение с Гитлером, чего удостаивались только очень важные персоны, а кроме того, насколько мне известно, в этой новой школе он приглядел себе теплое местечко. А я теперь в некотором смысле был наделен властью — я начал это понимать по дороге к профессору, — в машине Фуглер вел себя со мной как с особой, более высокой по положению, а когда профессор вышел и сказал, что я *кошерный*, стал открыто заискивать. Было в этом что-то жалкое.

— Не забывайте, — после долгой паузы продолжил Гарольд, — в то время мы еще не знали о концлагерях и всем прочем.

И замолчал.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил я.

— Ничего. Просто я... — Он осекся. Через мгновение поднял на меня глаза и сказал: — Если честно, не такой уж он плохой, этот Фуглер. Просто безумный. Совершенно безумный. Они там все были такие. Вся страна. А может, вообще все страны, откровенно говоря. В какой-то степени. Когда я вижу сегодняшний Берлин, в кашу перемолотый бомбеж-

ками, и вспоминаю город в то время, когда на тротуарах ни единого фантика не валялось, мне хочется спросить: "Как такое было возможно? Что с ними случилось? Что-то же случилось. Но что?"

Снова повисло молчание.

— Я ничуть их не оправдываю, но, когда Фуглер сказал "Как поживаете?" — словно мы давным-давно не виделись, я подумал, что эти люди живут во власти иллюзий. И вдруг оказывается, что тот, кого он считал равным себе, — еврей. Вы, конечно, можете сказать, что эти иллюзии стоили жизни сорока миллионам, но все равно это были иллюзии. Если честно, то, по-моему, все мы такие — витаем в облаках. Эта мысль не покидает меня с тех пор, как я уехал из Германии. Уже десять с лишним лет как я вернулся на родину, но все равно ломаю над этим голову. Немцы, как ни одна другая нация в мире, любят, чтобы все было тип-топ. Практичные люди — а не видят дальше кончика носа. И лелеют свои мечты.

Он посмотрел на улицу.

— Гуляя по городу, невозможно отделаться от мысли: а мы разве не такие же? Может, и мы грезим наяву? — Он указал на уличную толпу. — Они о чем-то думают, во что-то верят. Как знать, имеет ли это отношение к реальности? Мне теперь кажется, все мы — персонажи песенок да романов, а к реальности возвращаемся только тогда, когда кто-нибудь кого-нибудь убьет.

Несколько минут мы молчали, потом я спросил:

— Значит, выбрались вы без проблем?

— О да. Видимо, они были рады, что обойдется без ненужной огласки. Мы вернулись в Будапешт и катали тур до тех пор, пока немцы не вошли в Прагу, а потом поехали домой.

Он выпрямился на стуле, приготовившись встать. Подумать только: ведь еще полчаса назад, когда мы познакомились, он показался мне таким молодым и ничем не примечательным — эдакий паренек недавно из Кукурузного края, — а ведь, если приглядеться, вокруг его глаз морщинками отпечатались неудачи.

Он протянул мне руку, и я ее пожал.

— Если хотите, используйте эту историю, — сказал он. — Пусть люди знают. А удастся ее разгадать, приезжайте в гости.

Потом встал и вышел на улицу.

Больше мы не виделись, но за последние полвека эта история всплывала в моей памяти добрую сотню раз, а я в силу ряда причин гнал ее прочь. Видимо, предпочитал размышлять о чем-нибудь позитивном, обнадеживающем. Это все тоже, конечно, из области грез. И тем не менее мне хочется думать, что благодаря грезам на свет появляется и много хорошего.

Эрнест Хемингуэй

"Солдатам не светит хорошая смерть..."

Стихи о войне

Перевод с английского и вступление Максима Свириденкова

В России поэзия Эрнеста Хемингуэя неизвестна широкому читателю. Многие вообще не знают, что великий прозаик писал стихи. Отчасти это можно объяснить тем, что их принято относить к "подготовительному" этапу творчества писателя.

Действительно, подавляющее большинство своих поэтических произведений Хемингуэй написал в 1920—1923 годах, то есть в ранний период. Сегодня литературоведам известно лишь около двадцати его стихотворений, которые в начале 20-х годов были опубликованы в ряде изданий, таких, как газета "Торонто стар", где он в те годы работал репортером, а также в одной из первых книг Хемингуэя "Три рассказа и десять стихотворений" (1923), вышедшей тиражом всего в триста экземпляров. В дальнейшем Хемингуэй не возвращался к поэтическому творчеству и никак не оценивал свои ранние опыты. По крайней мере, мне не удалось найти упоминаний об этом ни у русских, ни у западных исследователей.

Рискну утверждать, что некоторое "пренебрежение" литературоведов к стихам Хемингуэя лишает нас полноты восприятия творческого наследия американского классика. Поэзию Хемингуэя нельзя назвать "ученической". Именно в стихах отчетливо проявились отличительные черты его последующих прозаических

© University of Nebraska Press, 1979
© Максим Свириденков. Перевод, вступление, 2009

произведений, особенности его зрелого стиля — в частности лаконизм, внешняя простота, глубина подтекста.

В данной подборке я ограничился переводом лишь нескольких стихотворений военной лирики Хемингуэя, навеянных его пребыванием в пехотных частях действующей итальянской армии в годы Первой мировой войны, и позволил себе расположить их в той последовательности, которая представляется мне наиболее адекватной для их восприятия.

* * *

Арсиеро, Асиаго...
Сто имен назвать сумей —
Приграничные деревни
Довоенных дней.
Монте-Граппа, Монте-Корно
И ещё названий двадцать...
Кто мог знать... Поля сражений
Стали так же называться.

Париж, 1922

* * *

Все армии одинаковы
Но слава дается не всякому
Грохот гаубиц всем одинаково слышен
А доблесть — удел мальчишек
У старых бойцов измученный взгляд
Ту же старую ложь слышит каждый солдат
А над павшими мухи кружат

Париж, 1922

Reparto d'assalto[1]

Об пол кузова грузовика от мили к миле
Каблуки их сапог барабанную дробь выводили.
Сержанты держались,
Капралы грустили.
Лейтенанты думали о проститутках из Местре[2],
Сонных, мягких и теплых проститутках из Местре,

1. Штурмовой отряд (*итал.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Материковая часть Венеции.

Тех, с которыми можно забыть о невесте.
По дороге извилистой, где сплошные ухабы,
Грузовик поднимался в сторону Граппы[1].
Arditi[2] дрожали от холода на скамейках,
Все с небритыми лицами, едут хмурые,
А пехота упорно шагает, готовится к штурму.
Было пасмурно, холодно, вилась дорога змейкой.
Поднимаясь к побитым шрапнелью соснам на горном склоне,
Все arditi погибли у Асалоне[3].

Париж, 1922

Штурмовые отряды

Бойцы с радостью шли на смерть.
Но это были не те бойцы,
Что шагали
Строем
Долгие годы.
Их лишь несколько раз отвезли к месту боя.
После них остались
Только их непристойные песни.

Париж, 1922

Champs d'honneur[4]

Солдатам не светит хорошая смерть.
Им светит крест возле поля боя.
Крест из дерева вгонят в земную твердь
У павшего воина над головою.

Солдат кашляет в дыму и корчится,
А вокруг грохот взрывов, огонь и вой.
Солдат, пока атака не кончится,
Задыхаясь, не верит, что он живой.

Чикаго, 1920

1. Граппа (Монте-Граппа) – гора в Италии, у подножия которой находится город Бассано-дель-Граппа, являющийся, к слову, родиной знаменитого алкогольного напитка под названием "граппа". Данный район был одним из центров итальянского сопротивления во время австрийского вторжения 1917–1918 гг. Ныне здесь находится воинское кладбище, на котором захоронено около 25 тыс. солдат, как итальянцев, так и австрийцев.
2. Букв.: отважные (*итал.*). Так называли солдат штурмовых отрядов в итальянской армии в 1915–1918 гг.
3. Гора неподалеку от Монте-Граппы, ставшая местом жестоких боев в 1917–1918 гг.
4. Поля сражений (*франц.*).

Хорошие парни погибли

Они затянули нас в омут —
Король и страна,
Всемогущий Христос
И все остальное.
Патриотизм,
Демократия,
Честь —
Слова и фразы.
Одни из-за них скурвились, другие погибли.

Париж, 1922

Пленные

Некоторые из них вернулись в оковах,
Не сломленные, но усталые.
Настолько усталые, что шли спотыкаясь.
В них не было ненависти, и они не рвались в бой.
С этим было покончено.
Раны от долгой войны зарубцевались.
Им стало легче принять смерть.

Чикаго, 1920

Век потребовал

Век потребовал, чтобы мы громко пели,
Но отрéзал нам языки на деле.
Век потребовал, чтобы мы шли вперед,
Но стеной кирпичной закрыл проход.
Век потребовал, чтоб мы пустились в пляс,
Но одел в железные брюки нас.
И в конце концов наш век напоролся
Как раз на то, за что он боролся.

Париж, 1922

Жак Дюшен
Два дня с Черчиллем

Глава из книги

Перевод с французского Ирины Волевич

Лондон, 21 октября 1940 года

Посвящается Пьеру Лефевру[1], сотруднику Мишеля Сен-Дени с 1935 по 1957 гг.

Французы, я по-прежнему в одном строю с вами.

Черчилль, который регулярно обращался по радио к английскому народу с речами, замечательными по стилю, энергичными, проникнутыми оригинальным, только ему присущим юмором, решил обратиться и к французам. Он написал текст, преисполненный бодрости духа и искренней любви к этой стране (он неизменно упоминает о Франции со слезами на глазах). Мы перевели эту речь на французский язык, и Жак Дюшен отправился в резиденцию британских премьер-министров на Даунинг-стрит, чтобы отрепетировать выступление с самим Черчиллем, который говорил по-французски с ужасающим акцентом. Впоследствии Дюшен часто и очень остроумно описывал нам эту удивительную встречу.

Жан Оберле[2] *Рассказывает Жан Оберле...*
Воспоминания о пяти годах, проведенных в Лондоне

10 мая 1940 года вследствие злополучной норвежской кампании[3] Невилл Чемберлен[4] подал в отставку, и премьер-министром Великобритании стал Уинстон Черчилль.

В тот же день Гитлер захватил Бельгию и Голландию.

© Editions de l'Aube, 2008
© Ирина Волевич. Перевод, 2009

1. Пьер Лефевр (1914–2007) – французский актер, режиссер, педагог, сотрудник Мишеля Сен-Дени с 1935 по 1957 гг. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Жан Оберле (1900–1961) – французский художник и график.
3. Речь идет о так называемой операции "Везерюбунг" – за 62 дня войска Германии заняли всю Норвегию и обеспечили таким образом безопасность своего северного стратегического фронта. Норвежская кампания впоследствии была описана в "Мемуарах" У. Черчилля.
4. Невилл Чемберлен (1869–1940) – английский политический деятель, премьер-министр Великобритании (1937–1940), консерватор.

На следующий день после немецкого наступления мы покинули Авен-ле-Конт[1], с облегчением оставив позади эту бессмысленную, зашедшую в тупик "странную войну"[2]. Британский Генштаб, куда меня направили служить в качестве связного офицера, был расквартирован в городе Рене, находившемся примерно в шестидесяти километрах к западу от Брюсселя.

Однако четыре дня спустя нам пришлось покинуть Рене и проделать по северу Франции круговой переход, которому суждено было завершиться только через две недели в Дюнкерке[3].

Перечислю основные этапы этой гонки, кончившейся только у моря:

Сначала возвращение в Авен-ле-Конт, где мы с изумлением обнаруживаем, что все пути отхода перекрыты импровизированными заграждениями. На рассвете, после бессонной ночи сборов военного имущества, то и дело прерываемых воздушной тревогой, мы прощаемся с местными жителями, с которыми успели подружиться за полгода нашего постоя и которые в страхе и неуверенности перед будущим наверняка скоро побегут на юг, предварительно выпустив из хлевов скот.

Хазебрук[4]. Трехдневная передышка. Первая бомбардировка города, где смешались гражданские и военные, как мы это наблюдали на дорогах страны; вместе со всеми мы укрываемся в погребах. Какая-то старуха, забившаяся под лестницу, стонет от ужаса, заслышав грохот рвущихся снарядов. По улицам мечутся люди, застигнутые врасплох этой массированной атакой, женщины вопят, я становлюсь свидетелем всеобщей паники — такой я никогда еще не видел во Франции. На следующее утро объезжаю окрестности в поисках хлеба для своей части. По возвращении застаю машины уже нагруженными и едва успеваю отправить с ними нашу походную кухню: говорят, что немцы уже на подходе к городу. С какой стороны они идут? Где линия фронта? Ходят слухи, что мы окружены.

Остановка на Кассельском холме[5], под ослепительным майским солнцем. Эта пауза затягивается надолго: судя по всему, мы прочно застряли в длинной веренице грузовиков, неподалеку от кладбища, на склоне холма. Выше, на плоской вершине холма, мы замечаем группы британских военных в ладно подогнанных мундирах, в лоснящихся на солнце кожаных плащах. Это офицеры генштаба. Чего они ждут? Внезапно пронзительный свист прижимает всех нас к земле. Снаряды рвутся справа от нас, на кладбище. Это стреляют немцы, они уже в Хазебруке. Когда же мы наконец тронемся? Но вот все взгляды обращаются в небо, и люди бегут кто куда. Что это? Ну конечно, самолеты, они с воем пикируют на скопище людей и машин. Да простятся нам ужас и паника: ведь это первые истребители, атакующие нас с та-

1. Авен-ле-Конт — французский город близ пролива Па-де-Кале.
2. "Странной войной" называли период 1939–1940 гг., когда французская и английская армии, с одной стороны, и немецкая, с другой, находясь во Франции, на линии Мажино, выжидали, не вступая в открытую конфронтацию.
3. Дюнкерк — портовый город Франции, в проливе Па-де-Кале, откуда велась эвакуация английских, бельгийских и французских частей, блокированных после Дюнкеркской битвы.
4. Город на севере Франции.
5. Кассель — французский город в департаменте Нор.

кой спортивной точностью, в три захода, и сколько их там — один Бог знает.

"Скорей в машину!" — кричат нам. Некогда даже помочь товарищам, хрипящим в агонии посреди дороги; мы с трудом продвигаемся вперед, стараясь держаться поближе к стенам домов или горящим грузовикам и ускоряя шаг всякий раз, когда жар от огня становится совсем невыносимым.

Куда же мы направляемся? Ясно лишь одно: все держат курс на север — и французские солдаты, устало шагающие по склону холма рядами с интервалом в несколько метров, с винтовками в руках, в тяжелых шинелях и обмотках, и гражданские — этих оттеснили с дороги, и они бегут во весь опор по кромке поля.

Пересекаем Берг[1]. И вот мы уже приближаемся к Дюнкерку, проходя между каналом и железной дорогой, по которой в обе стороны несутся почти вплотную друг к другу составы, битком набитые гражданскими и солдатами; каждые десять минут звучит сигнал воздушной тревоги, и обезумевшие люди бегут врассыпную, спасаясь от пулеметных очередей с самолетов, несущихся на бреющем полете. Нам приказано повернуть назад, к Бергу, и приходится разворачивать грузовики, изнемогая от душной предвечерней жары, от пыли, в этой сумасшедшей людской мешанине.

Четыре дня в еще невредимом Берге. Мы живем в доме местного епископа, в ожидании авианалетов, которые вскоре сметут с лица земли этот город, некогда укрепленный Вобаном[2]. Каждую ночь необходимо патрулировать окрестности: говорят, мы находимся на передовой позиции. 15-го числа капитулировала Голландия. 28-го капитулирует Бельгия. Немцы прорвали французский фронт, значит, теперь мы отрезаны от главных военных сил. Похоже, нас собираются эвакуировать через Дюнкерк. Только удастся ли нам попасть в Дюнкерк?

В один из последних майских дней, уж и не помню, в какой именно, мы добираемся под прикрытием грозового ливня до Дюнкеркского порта, заметного издали по гигантскому султану черного дыма; мы движемся вперед короткими перебежками среди этого вздыбленного, обугленного каменного пейзажа; вереницы двухэтажных санитарных машин, то и дело застревающих в толчее, свозят сюда лежачих раненых, бессильно распростертых на носилках; их взгляды — у тех, кто еще способен открыть глаза, — устремлены в небо. Мы поднимаемся на борт без вещей, без снаряжения. Судно — последний туристский пароход из мирного времени — забито людьми так, что яблоку негде упасть. Однако генерал Мейсон-Макфарлейн[3] все-таки протащил сюда свою собаку, а какой-то усатый капитан доставил на причал в фургончике торгового дома "La vache qui rit"[4] все свои чемоданы. Мы глядим на него сверху, с палубы. Льет дождь, свирепо задувает ветер. Но вот чудо: туристский

1. Берг — французский город в департаменте Нор.
2. Себастьен ле Претр де Вобан (1633—1707) — маршал Франции, выдающийся военный инженер своего времени. Разработал научные основы фортификации.
3. Сэр Фрэнк Ноэль Мейсон-Макфарлейн (1889—1953) — английский военный и политический деятель, губернатор Гибралтара (1942—1944), член Парламента (1945—1946).
4. Букв. "Смеющаяся корова" (*франц.*) — мягкий французский сыр (в России продается под названием "Веселая буренка").

пароходик благополучно, без воздушной тревоги, отваливает от французского берега. Может, нам помогла гроза? Или же мы защищены от налетов лучше, чем казалось?

Полночь, а может, и два часа ночи; прибытие в Дувр. Я единственный французский офицер на борту нашего судна. Мои попутчики сошли на берег, оставив меня в кромешной темноте ждать полицейских, которые придут проверять документы. Слава богу, хоть здесь царит порядок. Английский полисмен, под два метра ростом, вышагивает по палубе рядом со мной, и наши грубые ботинки дружно отбивают такт на деревянном настиле.

— Хорошенькое представление устроила нам ваша страна, сэр, — замечает полисмен в непривычной тишине этой весенней ночи.

Я отвечаю ему вопросом:

— А немецкие самолеты здесь уже были?

— О нет, — говорит он, — наша воздушная оборона организована в высшей степени надежно. Они не смогут ее прорвать.

— Вы думаете? Боюсь, скоро вам придется познакомиться с ними поближе.

— Их сюда не пропустят.

— Ну, надеюсь, вам это удастся.

— Не сомневайтесь, сэр!

Олдершот[1], шесть часов утра. Мы лежим в траве, греясь на солнышке. Хорошенькие молодые женщины, приятельницы усатого капитана, приносят нам вкуснейший завтрак в корзине для пикников: слишком уж они хорошенькие, эти женщины и эти корзинки, по контрасту со столькими бедами и смертями там, на континенте. Беззаботная веселость этих англичанок и уверенное спокойствие давешнего полисмена ясно отражают как счастливое неведение Англии, так и военную мощь страны, на чей берег я только что ступил.

17 июня, Тидворт. Это лагерь к северу от Саутгемптона, здесь собирают всех, кто спасся в Дюнкерке и готов снова сражаться во Франции, вероятнее всего, в бретонских опорных пунктах. 14 июня немцы вошли в Париж — город открыли врагу.

Мы находимся в *mess* (английской офицерской столовой), где представлены обе нации — англичане и французы. Слушаем французское радио — кажется, это было после обеда, — как вдруг диктор объявляет, что сейчас выступит маршал Петен[2]. Французы скучились в центре зала. Англичане стоят вокруг нас. Прямо передо мной в кресле сидит, гордо откинув голову, французский адмирал. Услышав слова: "Прекратите сопротивление, мы заключаем почетное перемирие", два молодых офицера, те, что утром рассказывали, как они нарушили приказ об отступлении, продолжая оборонять один — какой-то мост, другой — то ли ограду, то ли рощицу, начинают топать ногами, не вставая с места и пряча лица. Адмирал, поникнув, хватается за голову и рыдает. Англичане тактично удаляются.

1. Небольшой городок в 60 км к юго-западу от Лондона.
2. Анри Филипп Петен (1856–1951) — французский военный и государственный деятель, глава коллаборационистского правительства "Виши".

Мое уныние мало-помалу переходит в твердую решимость действовать.

22 июня, Уэймут[1]. Я стою на пирсе и проверяю документы многочисленных французских беженцев, прибывших из Бретани. Пляж ощетинился колючей проволокой.

14 июля 1940 года. Первая радиопередача нашей группы "Французы обращаются к французам".

Вот уже месяц как мы живем в ожидании вторжения, и лишь агония Франции отодвигает эту катастрофу. Немцы рвутся на юг нашей страны и тем самым дают Англии отсрочку. Однако ходят слухи, что власти уже организуют Home Guard[2] и людей вооружают кирками. 13 июня церковные колокола, по приказу правительства, перестают звонить в положенное время: отныне этот звон будет служить только сигналом большой воздушной тревоги. Их молчание усугубляет напряженность. Так и чудится, будто немцы, беспрепятственно пролетев над судами Королевского флота, вот-вот обрушатся с неба на растерянную Англию, столь грозную и неприступную в безоблачные дни мира и столь беспомощную перед гитлеровским "сверхчеловеком".

Лондон постепенно фильтрует свое население: иностранцы бегут из пока еще свободной, но уже обреченной страны. Здесь находят пристанище правительства в изгнании.

Месяц назад Франция заключила перемирие с Германией.

За Дюнкеркской катастрофой и несколькими неделями лихорадочной паники последовало благотворное затишье. Оставшись в изоляции, Англия начала собирать силы для отпора. Мы отыграли у судьбы конец июля.

Август выдался изумительный; в моей памяти его сияние выглядит особенно ярким между кошмаром Дюнкерка и однообразием *блицев*[3]. Буйное великолепие лета подчеркивает красоту зрелищ, ежедневно созерцаемых жителями южных графств: темно-голубой небосвод до самого горизонта — сколько хватает взгляда — разрисован белоснежными шлейфами, тянущимися за самолетами, которые вьются в боевом танце под прерывистый треск пулеметных очередей; где-то далеко рвутся снаряды, но их грохот, приглушенный расстоянием, достигает слуха лишь спустя несколько секунд и кажется совсем неопасным; словом, все эти отдаленные баталии производят впечатление таких изящных и чистеньких, что трудно связать их с грозным вечерним сообщением в газетах и по радио: "Сбито сто восемьдесят пять вражеских самолетов". Этот новый взгляд на войну — легкость и мастерство, с которыми ведутся боевые действия, — входит в вопиющее противоречие с нашими тщетными усилиями переломить ход Фландрской кампании[4], а лондонцам он доставляет радость, которую не могут погасить даже сводки о героической гибели молодых солдат, участников этих сражений.

1. Курортный городок на южном побережье графства Дорсет (Англия).
2. Home Guard (*англ.*) — британская гражданская оборона во время Второй мировой войны. Ее участникам не хватало оружия, и им раздавали кирки и мотыги.
3. Зд.: регулярные интенсивные бомбардировки Лондона немецкими самолетами с начала сентября.
4. Имеется в виду вторжение немецких танковых дивизий в Бельгию в мае 1940 г.

Вечером, после первого воздушного налета на Лондон, — когда же это было, 26 августа или 7 сентября? — мы сидели втроем, совсем одни, в каком-то дурацком, тесном домовом бомбоубежище, устроенном в глубине кирпичного подвала. Ближайшие к нам зенитки молчали, и потому казалось, что самолеты бомбят город совершенно беспрепятственно. Смотритель — warden[1] — то и дело забегал к нам проверить, все ли в порядке. Раненым моментально оказывали помощь, не было слышно ни криков, ни жалоб. Очутившись под вражескими бомбами, мы неожиданно обрели моральную стойкость, помогавшую выдержать любые испытания.

В продолжение всего сентября налеты не прекращались ни днем, ни ночью, и ночные бомбежки были для нас тяжелее всего. В двадцать один тридцать, закончив радиопередачу, мы ложились спать на тюфяках в Концерт-холле Би-би-си и расходились по домам только после отбоя, около шести утра. В предрассветной мгле мы шли по улицам, где возобновлялась обычная, повседневная жизнь; это выглядело тем более странно, что чуть ли не на каждом шагу в глаза бросались следы ночных разрушений: развалины домов, растерзанная кровать, ванна, висящая в пустоте на перекрученных трубах, лестница, ведущая в никуда, вдавленная в стену с уцелевшими обоями, автобус, выброшенный взрывной волной на террасу кафе, непристойно оголенные манекены на тротуаре вперемешку с бюстгальтерами и комбинациями, в которых они еще накануне красовались в витринах магазинов на Риджент-стрит.

Мы возвращались домой, чтобы побриться, выпить большую чашку горячего чая и расспросить друзей о событиях минувшей ночи; затем все шли обратно, на свои рабочие места, и по дороге нас обычно настигала первая дневная воздушная тревога.

Сентябрь был мрачным; с течением дней радостный подъем от сознания, что мы "держим удар", постепенно ослабевал, сменяясь под неумолчный вой сирен, грохот рвущихся снарядов и тревожные сигналы санитарных машин усталостью и страхом. То и дело неожиданно гасло электричество, падало давление газа, останавливались поезда, отчего люди опаздывали на работу; то тут, то там не хватало воды для тушения пожаров. Неужели нам грозило поражение?!

Все, кто мог, раз в неделю сбегали из Лондона, предпочитая доверять свою жизнь какому-нибудь одинокому автобусу, из окон которого при каждой воздушной тревоге люди озирали небо в поисках смертоносного самолета или вражеского парашютного десанта. Я и сам время от времени, когда нервы совсем сдавали, укрывался по субботам в Эссексе, в маленьком деревенском коттедже, откуда в сумерках, с сорокамильного расстояния, глядел на беззвучные багровые вспышки над Лондоном — это рвались бомбы.

Однажды утром, в понедельник, по возвращении в город я не нашел своей студии. Двумя часами позже мне подыскали другое рабочее место — прямо посреди Риджентс-парка с его осенней золотистой листвой.

1. Так называли в военное время людей, ответственных за порядок в своем квартале во время воздушных налетов.

Моя полуденная передача все-таки вышла в эфир, как и вторая — в шесть вечера.

Стояла уже середина октября, а "они" по-прежнему регулярно, и днем, и ночью, являлись с налетами, только теперь мы куда реже прятались в бомбоубежища, предпочитая ночевать в своей постели: привычка к риску пока еще не до конца укрепилась, но со временем угроза гибели стала казаться не такой уж страшной.

В субботу 19 октября я в очередной раз поехал автобусом в Эссекс.

В воскресенье 20-го, как раз перед обедом, полисмен гигантского роста, держа за руль велосипед, который рядом с ним выглядел прямотаки игрушечным, отворил калитку садика, где я сидел в ожидании начала трапезы, и, обратившись ко мне по имени, сказал: "Сэр, вас вызывает к себе премьер-министр. Не могли бы вы как можно скорее вернуться на Би-би-си?"

Я знал, в чем дело: уже ходили слухи, что в один из ближайших вечеров Уинстон Черчилль должен обратиться с речью к Франции.

Однако мне удалось вернуться в Лондон лишь к ночи: из-за бомбардировок автобус то и дело останавливался в темноте, пока не доехал до унылого вокзала на Ливерпуль-стрит в центре Сити. Я сразу же заметил, что предыдущей ночью в Лондоне была скверная погода.

На Би-би-си меня уже ждали. Премьер-министра не удовлетворил перевод речи, с которой он хотел обратиться к Франции на следующий вечер. Нужно было срочно написать другой вариант и во вступлении представить Уинстона Черчилля французам. Готовый текст ждали в доме № 10 по Даунинг-стрит в понедельник 21 октября, между десятью и одиннадцатью часами утра, то есть на следующее утро.

Для того чтобы я был в пределах досягаемости, Би-би-си сняла для меня номер в отеле "Ленгем", как раз напротив студии. В назначенное время за мной должны были зайти. А пока — скорей за работу! "Доброй ночи, желаем успеха!"

Я появился на Даунинг-стрит ровно в одиннадцать часов. Подходя к дому, я увидел, что соседнее здание, где находилось Министерство финансов, частично повреждено — видимо, во время недавнего налета. Молодой человек — секретарь — сообщил мне, что премьер-министр занят важными делами и просит прийти к нему в час дня на ланч.

В тринадцать часов привратник провел меня по длинному холлу, который тянулся вглубь через весь дом, от парадного подъезда на Даунинг-стрит до застекленных дверей, выходивших в Сент-Джеймский парк. Затем меня усадили на диванчик, напротив портрета Веллингтона[1], изображенного во весь рост. Минут через пятнадцать появился секретарь, и я спустился следом за ним по узкой лестнице в цокольное помещение. Отворилась дверь, я вошел, и она захлопнулась за мной.

Я оказался в столовой, длинной светлой комнате с довольно низким потолком; свет проникал в нее справа, через слуховые окошки, расположенные слишком высоко, чтобы из них можно было разглядеть газон парка. Я одиноко стоял в ожидании.

1. Артур Уэлсли Веллингтон (1769—1852) — британский полководец и государственный деятель; в 1808—1813 гг. и в 1815 г. сражался против наполеоновской армии.

Вскоре я заметил в дальней, противоположной стене открытую дверь, а за ней, в полумраке, силуэт плотного человека в рубашке с засученными рукавами, который неторопливо мыл руки. Он громко позвал: "Мэри, Мэри!", и по этому звучному голосу я узнал Черчилля. Слева приотворилась дверь, — очевидно, буфетной, примыкавшей к столовой, — и оттуда торопливо вышла худенькая женщина средних лет в белом фартучке с кружевным нагрудником, легким, как и ее высокая наколка, — традиционный, классически простой костюм служанки. Черчилль остановился на пороге, вытирая руки.

— К нам на ланч приглашен француз. Есть в доме вино?

— Не думаю, сэр, — робко ответила Мэри.

— Но нам необходимо вино!

Мэри отворила нижнее отделение стенного шкафа. Черчилль бросил полотенце на раковину, вошел в столовую, прихватив свой пиджак, и стал ждать, когда Мэри закончит поиски. Наконец та сказала, обернувшись к хозяину:

— После вчерашней ночной бомбежки тут все вверх дном. Вина больше не осталось.

Черчилль сердито приказал:

— Ну, так пошлите кого-нибудь в ближайший паб, и пусть принесут бутылку... нет, пару бутылок белого вина. Хорошего наверняка не найдется, но уж какое будет.

Он отвернулся, чтобы надеть пиджак, наконец заметил меня и смущенно, точно пойманный на шалости мальчишка, сказал уже потише:

— Прошу меня извинить. Садитесь, пожалуйста.

Мы одновременно подходим к небольшому круглому столу, расположенному почти в центре комнаты. Странное дело: по обе стороны от него высятся два столба, которые подпирают деревянный щит, прилегающий к потолку. Этот навес, несомненно, сделан в целях безопасности. Я кладу свои бумаги на стол. Мэри снует туда-сюда, подавая закуски, и мы молча приступаем к еде. Почти сразу же раздается гул самолетов, сопровождаемый громкими разрывами снарядов ПВО: воздушную тревогу, как часто бывает в дневное время, не объявили. Поэтому сквозь постукивание вилки, накалывающей колбасу, мне удается расслышать сердитое хрипловатое бурчание:

— Как представлю себе эту физиономию, эти усики... Говорят, он гений, но это вранье. — Черчилль повышает голос до крика, словно вызывая врага на бой, только теперь его слова звучат размеренно и грозно. — Он самый гнусный из всех выродков, когда-либо произведенных на свет гнусной человеческой породой!

Черчилль разъярен; ткнув последний раз вилкой в блюдо и сжав в руке салфетку, он взирает на меня так сурово, словно я ему не верю:

— Мы победим, друг мой, победим потому, что мы куда лучше, чем они, и потому, что у нас такие ученые, каких ни у кого нет!

Появляется Мэри с вином. Черчилль берет у нее бутылку и наполняет бокалы. Вдали слышится несколько зенитных залпов.

— Они хотят разрушить этот древний город — наш город! — но на каждую бомбу, упавшую на Лондон, придется десять, которые упадут на

Берлин; за десять своих они получат сотню наших; за сотню своих — тысячу наших, а за тысячу — сотни и сотни тысяч.

Я потрясен: его голос теперь звучит так, словно исходит из самого сердца. Этот человек переживает войну всем своим существом. Он будто видит перед собой Гитлера, видит Берлин и с апокалипсическим пафосом бросает вызов врагу, как герои "Илиады".

С закусками покончено. Мы пьем... Вино и в самом деле скверное. Мэри меняет тарелки. Я тянусь к своим бумагам, но Черчилль резким взмахом руки останавливает меня. Теперь он подался вперед, низко пригнувшись, опершись ладонями о стол, и медленно, задумчиво продолжает:

— Не пойму, чем они занимаются там, во Франции? О чем только думают? Я знаю старика Петена, этот всегда был пораженцем. Я знаю Дарлана[1], и всегда был о нем высокого мнения: он очень много сделал для французского флота. Знаю Рейно[2]... Так чем же они там занимаются?

Глаза его полны слез, веки покраснели. Он отворачивается, чтобы вытереть их краем салфетки, потом говорит мне тихо, церемонно, с достоинством и одновременно как-то по-детски:

— Прошу меня извинить.

Мэри вносит ростбиф с подрумяненной картошкой и зеленой фасолью. Но я не думаю о еде, меня заботит другое: если я сейчас упущу время для работы, есть риск, что потом Черчилль не успеет детально изучить перевод своей речи, в котором я не очень-то уверен. Однако я плохо знал Черчилля. Тогда как я положил себе только один кусок мяса, он взял целых два, и его тарелка полна.

Немецкий самолет возвращается; теперь мне отчетливо слышен гул его мотора, и сухой треск зенитных пушек звучит все ближе и чаще. Я уже покончил с едой и инстинктивно бросаю взгляд на потолок, на нелепый деревянный щит, якобы способный нас защитить; Черчилль перехватывает мой взгляд и, воздев кверху вилку, с ехидцей громко вопрошает:

— Что, страшно?

Зенитки строчат не переставая, и вражеский самолет с пронзительным воем разворачивается и летит назад.

— Не бойтесь, — успокаивает меня Черчилль, — если бомба упадет не очень близко, все обойдется, этот щит достаточно крепок, чтобы прикрыть нас. Ну, а если она попадет в цель, — он произносит это почти весело, и в его голосе слышится насмешка, — то мы умрем, друг мой, обнявшись, как пара героев!

Мэри приносит вторую порцию ростбифа и робко шепчет:

— Сэр, вам бы лучше спуститься в убежище.

Черчилль улыбается:

— Не волнуйтесь, Мэри, прислушайтесь: все уже кончено.

Гул мотора и в самом деле удаляется и стихает так же быстро, как возник. Кажется, настал подходящий момент заняться моим перево-

1. Франсуа Дарлан (1881—1942) — адмирал французского флота, главнокомандующий ВМС Франции в годы Второй мировой войны, министр в правительстве Виши (1941—1942).
2. Поль Рейно (1878—1966) — премьер-министр Франции в марте—июне 1940 г. Был противником перемирия с немцами, находился в немецком концлагере до конца войны. В послевоенный период — депутат и министр.

дом. Листок уже у меня в руке. Я отказываюсь от ростбифа, но Черчилль взял себе добавку. Он с аппетитом уплетает мясо, пристально смотрит на мою пустую тарелку, потом на меня и спрашивает с полнейшей серьезностью:

— Почему вы не едите? Неужели вы не голодны?

Не успеваю я ответить, как он уже кричит:

— Мэри, Мэри!..

Я бормочу, опасаясь, что он примет мое воздержание за страх:

— Прошу вас, сэр, может быть, мы начнем?..

— О, у нас еще много времени, — говорит он с полным ртом и, обернувшись к Мэри, появившейся на пороге столовой, приказывает: — Принесите еще ростбифа, Мэри. Этот джентльмен должен поесть как следует.

И добавляет, громко и безапелляционно:

— Вам нужно хорошо питаться, друг мой.

Сам он усердно жует, склонившись над тарелкой; делать нечего, я тоже продолжаю есть, но торопливо и механически — совесть не позволяет мне наслаждаться обедом в такой момент.

И тут Черчилль говорит, указывая подбородком на разложенные рядом со мной листки:

— Нужно, чтобы речь была обращена ко всему французскому народу в целом, без всяких различий. Я думаю, в настоящее время не стоит упоминать о де Голле[1]. А вы как думаете?

Я отвечаю премьер-министру, что он наверняка лучше меня информирован об общественном мнении во Франции, но, судя по тому, что известно мне самому, видимо, прав.

Наконец, трапеза окончена, но немецкий самолет снова рокочет над нашей крышей, и лихорадочная стрельба батарей ПВО звучит, кажется, чуть ли не под нашими окнами. Мэри наливает нам кофе недрогнувшей рукой. Но не уходит, а остается в комнате и нерешительно топчется на месте со своим подносом, окидывая нас по очереди заботливым материнским взглядом. Наконец она не выдерживает и жалобно умоляет:

— Ох, вы только послушайте, сэр, как там грохочет, вам надо идти в бомбоубежище!

Черчилль с улыбкой глядит на нее, затем со слоновьей грацией оборачивается ко мне и кричит, перекрывая доносящийся с улицы грохот:

— Пойдемте в убежище, друг мой: Мэри приказывает!

И встает из-за стола. Мы идем к двери с чашками в руках, такими полными, что кофе выплескивается на блюдца. Черчилль останавливается, мы отпиваем по глотку обжигающе горячего напитка и, словно какая-то нелепая процессия, шествуем друг за другом по подземному коридору; Мэри идет впереди и отворяет перед нами двери.

Наконец мы входим в бомбоубежище с бетонными стенами, видимо, построенное совсем недавно: это помещение примерно шесть на четыре метра, без окон, с простыми скамьями, пахнущими свежей еловой

1. Шарль де Голль (1890—1970) — президент Франции (1958—1969), генерал. 18 июня обратился по радио к французам, призывая их к борьбе с захватчиками.

древесиной. Здесь уже собрался весь обслуживающий персонал дома. Увидев нас, люди встают.

— Садитесь, — говорит Черчилль, — и не бойтесь, думаю, этот налет долго не продлится.

Мы проходим вдоль стены в каморку с оконцем под потолком, откуда скупо сочится дневной свет, и едва не натыкаемся на стоящую под ним походную кровать, узкую, как корабельная койка. Еще с порога я вижу сидящего у левой стены радиста в наушниках, который быстро, монотонно повторяет какие-то цифры и буквы, одновременно делая записи[1]. С минуту Черчилль прислушивается к радисту, чуть подавшись вперед и все еще держа чашку в руке; на его губах играет еле заметная, как свет из оконца, загадочная усмешка. Мы выпиваем наконец-то остывший кофе, и тут Черчилль замечает на кровати плоскую деревянную коробку, размером примерно двадцать на тридцать сантиметров. Он раскрывает ее широким радушным жестом, и я вижу внутри сигары всех калибров и размеров. "Берите!" — предлагает он. Я выбираю самую маленькую, он — самую большую. Поднеся сигару ко рту, он смачивает слюной ее кончик и сжимает в губах, перекошенных свойственной ему воинственно-горькой гримасой. Грохот зениток стихает.

— Отбой, — говорит Черчилль, — пошли наверх.

Мэри подоспела в столовую раньше нас.

— Еще кофе? — спрашивает она.

— Да, Мэри, пожалуйста, и принесите коньяк.

Я снова раскладываю свои бумаги на чистом столе и объясняю Черчиллю, что Би-би-си сочла необходимым предварить его речь коротким введением. В нем я рассказываю слушателям о самом премьер-министре и о дружеских чувствах, которые он питает к Франции, перечисляю его выступления, которые, начиная с 1932 года, были посвящены угрозе немецкого фашизма и необходимости перевооружения страны. Упоминаю также о недавнем обещании премьер-министра восстановить освобожденную Францию "в полной целостности ее территории и государственного суверенитета". Затем сравниваю его с нашим "Тигром", с "папашей Клемансо"[2].

— Нет, нет, так не пойдет! — почти сразу восклицает Черчилль. — К чему такие долгие разглагольствования?!

Я перечитываю свой текст через его плечо.

— И потом, вы меня явно перехваливаете. Они вам не поверят.

Он продолжает читать, но теперь уже в абсолютной тишине: это значит, он дошел до строк о Клемансо. Наконец он поднимает на меня увлажненные глаза и, протянув оба листка, растроганно говорит:

— Вы чересчур добры ко мне.

Он вынимает белый платок и подносит его к глазам, повторив еще раз свое "прошу меня извинить" с таким трогательным смущением, что

1. Несколько месяцев спустя я понял, что цифры, которые повторял радист, являлись координатами немецких самолетов в небе над Лондоном, полученными благодаря первым, в то время строго засекреченным радарам, которых у немцев еще не было. Вот что означали слова Черчилля "У нас такие ученые, каких ни у кого нет". (*Прим. автора.*)
2. Жорж Клемансо (1841—1929) — премьер-министр Франции (1906—1909; 1917—1920), за темпераментные и резкие выступления в парламенте получил прозвище "Тигр", добивался установления военно-политической гегемонии французского империализма в Европе.

мне даже хочется его обнять. От недавнего возмущения не осталось и следа: мне позволено самому решить, стоит или нет удлинять мой текст. Мэри возвращается с горячим кофе, бутылкой коньяку и парой крошечных рюмок. Черчилль берется за бутылку: "Налить вам?" Пройдет два часа, и бутылка мало-помалу опустеет.

"А теперь за работу!" И мы приступаем к редактированию перевода. Уже два часа дня.

Черчилль успел перечитать свой текст еще до нашей встречи и теперь желает изменить некоторые места; особенно он настаивает на одном-двух важных пунктах и заключительном выводе: немецкое радио обвиняет Англию в том, что она собирается захватить французские колонии и суда. "Так вот, – отвечает Черчилль, – англичане питают уважение к другим народам и хотят лишь одного – уничтожить гитлеризм. Это наша единственная цель". Мы переносим этот абзац в самый конец речи. Все остальные вопросы решаются по ходу дела. Я читаю вслух свой французский перевод, а Черчилль слушает меня, следя по второму экземпляру и обсуждая каждую фразу. Он не может бегло объясняться по-французски, но достаточно хорошо знаком с достоинствами нашего языка, чтобы догадаться, в какой мере тот способен причесать его английский – колоритный, непринужденный и вместе с тем высокопарный. Он наделен чувством ритма и умеет находить слова, поражающие слух и воображение. Несколько раз он настойчиво повторяет:

– Я хочу, чтобы меня восприняли через мою речь, а не через вашу; таким, какой я есть, – не пытайтесь сделать из меня француза, не вынуждайте говорить слишком гладко!

Ту же мысль он развил позже и в своих "Мемуарах": "Я хотел выразить суть того, что сказать мог лишь по-английски, а чувствовал по-французски"[1].

Я прекрасно понимал, чего он добивается, но мне не сразу удавалось найти адекватное выражение, которое бы его удовлетворило, и тогда он безжалостно выжимал из меня подходящий вариант. Так, например, мы с ним застряли на переводе последней фразы одного особенно трудного пассажа. Фраза была такая:: "The scientific low-cunning of a ruthless police force"[2].

– Low-cunning... low-cunning... – бормочет Черчилль. – Вы перевели это двумя словами – "низость и хитрость". Они, конечно, отражают мою мысль, но звучат плохо – слишком абстрактно, слишком беззубо... Cunning[3]... У вас нет такого слова, которое начиналось бы с буквы "к"? Что-нибудь типа "корыстолюбие"?

– Низкое корыстолюбие... да, так можно сказать, но это меняет смысл.

– А есть у вас слово, близкое к нашему "crafty"? Почему бы не сказать так: "небывалая, низкая и подлая 'crafterie'"[4]?

1. Уинстон С. Черчилль. Вторая мировая война. Т. 2, с. 461 (Londres, Cassell and Co. LTD, 1949). (*Прим. автора.*)
2. Букв.: невиданное, низкое коварство безжалостного полицейского государства (*англ.*).
3. Cunning – хитрость, коварство (*англ.*).
4. "Crafty" – хитрый (*англ.*), "crafterie" – хитрость (английская основа с французским окончанием).

Я со смехом возражаю:

– Нет, это они вряд ли поймут.

– А жаль, – вздыхает Черчилль. – До чего же бедный язык!

Зато он вполне удовлетворен, когда я предлагаю слово "бедствие" для его "bad luck" и перевожу "common people" как "простые люди". И очень доволен поговоркой "Смеется тот, кто смеется последним" в качестве эквивалента "All will come right"[1]. Потом с восторгом вспоминает, что его первое обращение к участникам Сопротивления заканчивалось фразой, которую он во времена Первой мировой войны чуть ли на каждом шагу читал во Франции: "Помните: всюду есть вражеские уши!"

Наконец после своего первого упоминания о Наполеоне: "Ницца, Савойя и Корсика – родина Наполеона! – будут оторваны от своего прекрасного домена, Франции", он останавливается:

– И они смеют сравнивать этого безумца Гитлера с Наполеоном, настоящим гением, гением во всех отношениях!

Мы поспешили закончить, скомкав работу над последней частью. Комнату заволок густой сигарный дым. Черчилль спрашивает меня:

– Который час?

– Четыре часа, сэр.

– Боже великий, у меня ведь на три тридцать была назначена встреча с Бивербруком[2]. Ладно, пойду посплю.

Он встает и, заметив мой удивленный взгляд, осведомляется:

– А вы разве никогда не отдыхаете после обеда?

– Никогда, сэр.

– А надо бы. Иначе долго не продержитесь.

И добавляет, уже стоя на пороге в глубине столовой, перед тем, как скрыться:

– Просмотрите мой текст еще разок, очень внимательно, и покажите его моей секретарше – она привыкла печатать мои записи для выступлений по радио и объяснит вам, как нужно подготовить эту речь. А в шесть часов приходите ко мне в верхний кабинет.

Я возражаю: меня ждут на Би-би-си, там хотят знать, сколько времени займет выступление.

– Ну, так позвоните им и скажите, что не сможете прийти, пусть как-нибудь выйдут из положения. Я должен еще раз повторить с вами текст, мы поужинаем вместе.

И он исчез.

Я поднимаюсь в ко́мнату секретарей, где меня встречают с обычной для английских учреждений приветливостью. Сразу предлагают чай, а позже угостят виски или бренди.

Я вношу последние исправления и несу рукопись машинистке; она показывает мне тексты уже состоявшихся передач: по расположению строк они напоминают верлибр. В действительности текст попросту разбит на смысловые периоды, что позволяет оратору выдерживать за-

1. Все обойдется (*англ.*).

2. Уильям Максуэлл Бивербрук (1879–1964) – член британского правительства в 1918-м и 1940–1945 гг., министр авиационной промышленности (1940), руководил правительственной информационной службой.

данный ритм речи и акцентировать внимание на основных ее моментах. Длина абзацев и интервалов варьируется в зависимости от смысла для создания нужного эффекта. Все напечатано на машинке с непривычно крупным шрифтом. И вот я сижу, вооружившись карандашом, и размечаю свой текст таким же образом.

В четыре тридцать окна плотно занавешивают маскировочными шторами, в соответствии с приказом о затемнении[1], а ровно в шесть, как и каждый вечер с начала сентября, начинается бомбардировка, она служит мне сигналом — пора стучать в дверь большого кабинета, расположенного рядом с комнатой секретарей. Черчилль стоит перед высоким камином, где пылает уголь, и ведет разговор с каким-то английским генералом. Я вхожу в дверь у него за спиной, и как раз в тот момент, когда оказываюсь рядом с ним, он восклицает:

— Ну, где же этот лягушатник с моей речью?

Я отвечаю ему в тон:

— Вот он я, сэр.

Черчилль проворно оборачивается и с улыбкой опять разыгрывает пойманного шалуна, удостаивая меня своей коронной фразой: "Прошу покорно меня извинить!"; ее интонацию, как я понимаю, он меняет в зависимости от обстоятельств.

В семь вечера я опять спускаюсь в подвальную столовую, которая уже стала для меня историческим местом; таковым она и пребудет в моей памяти. Стола на прежнем месте не видно: сейчас, когда окна и внутренние ставни плотно закрыты, его отодвинули в левый угол комнаты, почти ко входу. Ясно, что этот закуток представляет собой лучшее укрытие, нежели пара столбов, нелепо торчащих посреди комнаты. В глубине столовой, справа, одиноко стоит высокий сухощавый человек, с виду типичный англичанин, полная противоположность Черчиллю с его обликом Джона Булля[2].

Едва я его увидел, как Черчилль появляется из той же дальней двери, что и в полдень; он облачен в небесно-голубой вельветовый siren suit[3] с металлической "молнией" впереди, закрытой доверху, но ровно на эту же длину разорванный на левом боку. Судя по ярко-розовому цвету лица, премьер-министр только что принял горячую ванну и теперь похож на детскую игрушку.

Он говорит долговязому "Добрый вечер!" и представляет нас друг другу: это сэр Маргессон[4], госсекретарь по военным делам. Мы садимся за стол — Маргессон и Черчилль на одном конце, а я напротив моего "ученика" — здесь это слово вполне уместно, ибо Черчилль сразу же говорит:

— Теперь нам нужно все повторить серьезно, не меньше трех раз подряд, мой французский совсем нехорош.

1. Приказ, действующий в Англии с начала войны и до 1945 г., согласно которому после 18. 00 требовалось занавешивать окна во всех домах так, чтобы свет не был виден с улицы.
2. Джон Булль — шутливое прозвище англичан; изображался на рисунках и карикатурах в виде плотного коренастого человека.
3. Siren suit (*англ.*) — специальный комбинезон, который можно было быстро надеть в случае воздушной тревоги.
4. Дэвид Генри Реджинальд Маргессон (1880—1965) — английский политический деятель, вошел в правительство Черчилля в качестве государственного секретаря по военным делам.

И он углубляется в чтение своего текста, куда вносит еще несколько поправок, а мы молча сидим за накрытым столом.

ПВО старается вовсю: сегодня гул немецких самолетов звучит не громче обычного. Мэри вносит красное вино.

— Нет-нет, спасибо, Мэри, мне вина не надо; вечером я буду говорить по-французски.

Мы начинаем репетицию; я останавливаю Черчилля на каком-то слове.

— Ладно, поправляйте, — говорит он, — только не слишком часто. И не надейтесь заставить меня безупречно говорить по-французски, ничего у вас не выйдет. Нужно, чтобы меня легко понимали, только и всего. Чем правильнее будет мой французский, тем меньше он им понравится.

Он произносит эту шутку с наигранной свирепостью, зато в процессе работы покладист и внимателен, как усердный школьник: проявляет ангельскую кротость и гневно взрывается лишь в редких случаях: например, когда ему не удается грассировать на французский манер, а главное, чисто произносить некоторые наши гласные типа "о", которое англичане растягивают и форсируют. Он смакует слова, точно фрукты.

Я напрочь забыл, что мы ели на обед (да и ели ли вообще) и о чем говорил военный министр. Помню только Черчилля, похожего на голубого плюшевого мишку, сидевшего напротив меня, через стол, и наполовину скрытого бумагами, которые он зажал в обеих руках, борясь с трудностями этого неподатливого французского.

— Да, Мэри, принесите кофе... Нет, спасибо, мне коньяку не надо...

И он жестом дал ей понять, что остальные — то есть мы, говорящие на "нормальном" языке, — имеют право на выпивку. Мне удалось дважды повторить с ним весь текст. Но из-за частых остановок я так и не смог прохронометрировать его речь. Уже двадцать минут девятого. В дверь стучат, и в проеме встает высокий бравый молодец.

— Пора, джентльмены, — говорит он; его осанка и тон сразу выдают инспектора Скотленд-Ярда.

— Прекрасно! Пошли! — с облегчением командует Черчилль.

Мы поднимаемся гуськом по узкой лестнице, военный министр замыкает шествие; инспектор освещает нам дорогу фонариком. В те времена все ходили с электрическими фонарями; один такой лежал на чем-то вроде длинной низкой тумбы в дальнем конце холла первого этажа, недалеко от портрета Веллингтона.

В холле царит кромешная тьма, и под лучом фонаря наши тени пляшут на стенах. Я успеваю заметить множество головных уборов, аккуратно разложенных на обеих полках тумбы, — фетровые шляпы, цилиндр, кепи, фуражки, каски; это часть гардероба Черчилля, любящего переодевания. Он уже направился к выходу, натянув серо-голубую шинель, а на голову — авиационный шлем. Полагаю, что он носил при себе и сумку с противогазом, в ту пору обязательным для всех без исключения.

Взявшись за дверную ручку, Черчилль оборачивается.

— Готовы? — кричит он так, словно за ним шагает целый полк.

— Да, — отвечаем мы в унисон.

— Выходим!

И мы бегом пересекаем Даунинг-стрит следом за премьер-министром. Зенитки ПВО стреляют довольно близко, и оглушительные разрывы их снарядов у нас над головой сопровождаются свистом падающих осколков. Мы ныряем вместе с Черчиллем под арку и оказываемся в просторном дворе здания Foreign Office[1]. Всё так же, бегом, продвигаемся вдоль правой стены дома к двери на уровне земли, ведущей в подвальное помещение.

Куда же мы попали? Нам пришлось спуститься как минимум на три этажа вниз. И первое, что приводит нас в изумление, это свет. Внезапно мы оказываемся в совершенно ином, упорядоченном, стерильном мире чудес науки: вмонтированные лампы ярко освещают ослепительно белые стены коридоров. Может, мы очутились на субмарине? В этот момент в стене отворяется дверь и оттуда выходит... матрос! За его спиной я вижу металлический рабочий стол, клавиатуру пишущей машинки; блестящие доски, испещренные номерами и стрелками красного или черного цвета, пол, застеленный где паласом, где резиновыми ковриками; самое поразительное, что несущиеся оттуда звуки — дробный перестук клавиш, телефонные звонки, попискивание каких-то приборов — воспринимаются как мертвая тишина в сравнении с грохотом бомбежки там, наверху. Я жадно впитываю непривычные, неожиданные впечатления от этого бесшумного, светлого, деятельного мирка, которому яркие лампы придают вид роскошного и надежного убежища. На самом деле мы находимся в генштабе министерства обороны; Черчилль в своих "Мемуарах" называл его "Annexe"[2] и считал одним из мозговых центров свободного мира.

Мы проходим в глубину зала и попадаем в комнату, имеющую форму лежащей буквы "Т"; слева, там где ее "ножка", под легким деревянным перекрытием из светлых планок стоит узенькая походная кровать, опять-таки напоминающая о Наполеоне; справа, по верхней, горизонтальной черте буквы "Т" — длинный стол, в центре которого торчит целое скопище микрофонов с логотипами; вокруг суетятся техники Би-би-си.

— Хронометраж имеется? — спрашивает меня один из них. Я оборачиваюсь к Черчиллю, но тот рявкает:

— Ничего, обойдутся!

Он уже восседает в дикторском кресле, в самом центре стола, перед микрофонами, вполне свободно чувствуя себя в своем голубом комбинезоне.

Однако мне предстоит говорить первым. И я спрашиваю:

— Куда мне сесть, сэр?

Черчилль осматривается и, не увидев никакого другого кресла, говорит:

— Да ко мне на колени, — и, откинувшись назад, хлопает себя по ляжке. Я просовываю одну ногу между его коленями и с трудом устраиваюсь, частично на ноге Черчилля, частично — на подлокотнике его крес-

1. Foreign Office — Министерство иностранных дел Великобритании (*англ.*).
2. Букв.: "Филиал" (*англ.*).

ла. "Тишина в студии!" Загорается зеленая лампочка. Звучит название передачи: "Французы обращаются к французам", я наклоняюсь вперед и начинаю:

Сейчас к вам действительно обращается француз, но я ограничусь краткой преамбулой. Вы уже знаете, что сегодня вечером, через несколько минут, к Франции обратится премьер-министр Великобритании, сэр Уинстон Черчилль. Не могу выразить, с какой радостью мы восприняли сообщение о том, что господин премьер-министр будет говорить с вами. Тот факт, что он наметил для своего обращения время ежевечерней передачи "Французы обращаются к французам" – двадцать часов тридцать минут, – имеет глубокий смысл. Сэр Уинстон Черчилль – это англичанин, которого французы понимают без всякого труда. Почему? Да потому, что он не наводит на них страх. Им нравится его облик, его манеры, импонируют его юмор, искренность, живая реакция, выразительный язык, колоритный и торжественный стиль его речей, словом, все, что отражает его богатую натуру и мощный темперамент.

Кроме того, французы прекрасно помнят, что господин премьер-министр всегда был другом Франции. Он хорошо знает Францию, знает французов. Он глубоко и всесторонне изучил их. Ему довелось познакомиться с ними еще во времена Первой мировой войны. Он восхищается Францией, вырос на ее культуре. С начала июня, даже в самые трагические моменты нашей истории, в выступлениях господина Черчилля не прозвучало ни одной оскорбительной для простых французов фразы. Его любовь к нашей стране затмила то тяжелое разочарование, которое принесли ему условия перемирия.

В июне 1940 года господин Черчилль сказал в одном из своих выступлений по радио: "Из Франции до нас доходят крайне скверные новости, и мне тяжело видеть ужасное несчастье, постигшее мужественный французский народ. Но ничто не заставит нас, англичан, изменить доброе отношение к французам и умалить надежду на возрождение свободной Франции".

Некоторое время спустя господин премьер-министр в своем торжественном обращении к стране заявил, что "победа Англии будет означать освобождение Франции и восстановление целостности ее территории и суверенитета".

Именно политическая прозорливость привела господина Черчилля к власти. Начиная с 1932 года он неустанно обличал опасность германской агрессии и упорно стремился к союзу своей страны с Францией.

В ноябре 1932 года он писал: "В Европе растет тревога, разногласия обостряются, военные организации все активнее разворачивают свою деятельность и все теснее сотрудничают друг с другом, между тем как Англия в этом отношении пока слаба. А пока Англия слаба, Европа будет подвергаться опасности".

В 1937 году он в завуалированной форме дал Франции совет: "Принимая во внимание угрозу войны, которую ослабление Франции может значительно приблизить, государственным деятелям и руководителям всех политических партий этой страны было бы полезно осознать свой долг перед родиной и пожертвовать ради общего блага как своими личными убеждениями, так и партийной принадлежностью. Таким образом они смогли бы всецело посвятить себя тем важнейшим вопросам, которые являются основой существования любого государства".

В своих "Мемуарах" господин Черчилль описывает Клемансо, которого ему довелось увидеть на фронте. Мне кажется, любой француз, глядя на фигуру Черчилля, осматривающего английские оборонительные сооружения, тотчас же вспомнит котелок, сапоги и насупленные брови Тигра. Да, Уинстон Черчилль – тот же Тигр. Но это тигр мирового масштаба. Он один олицетворяет собой борьбу всего мира с нацистским кошмаром. Вот почему дружеские чувства, которые мы позволяем себе испытывать к нему, уступают место величайшему восхищению и горячей приверженности.

Сейчас вы услышите речь господина Черчилля. Премьер-министр произнесет ее сначала по-английски, а затем по-французски. Поскольку это обращение будет транслироваться по радио всеми другими службами Би-би-си, а затем и Соединенными Штатами и Канадой, мы просим наших слушателей подождать несколько секунд перед тем, как господин Черчилль возьмет слово.

Закончив, я быстро, бесшумно встаю и отхожу.

Черчилль произносит речь по-английски, делает паузу и приступает к французскому варианту. После вступительного слова: "Французы!" он неожиданно добавляет: "Это я, Черчилль, обращаюсь к вам" и лишь затем читает подготовленный текст, размеренно и неторопливо:

В течение тридцати с лишним лет, и в мирное и в военное время, я шагал в одном строю с вами, и теперь снова иду рядом тем же старым путем. Сегодня ночью я обращаюсь ко всем вам, к тем, кто сидит у домашнего очага или скитается там, куда забросила судьба, и повторяю молитву, ставшую некогда девизом на ваших луидорах: "Боже, храни Францию!"[1]. Здесь, в Англии, под обстрелом бошей[2], мы ни на минуту не забываем, какие тесные узы связывают нас с Францией. Мы продолжаем упорно бороться, и наши сердца полны твердой решимости одержать победу во имя того, чтобы в Европе вновь возродилась свобода, чтобы простые люди всех стран обрели былое достоинство и чтобы восторжествовала благородная миссия, побудившая нас сообща взяться за оружие. Когда добропорядочные люди подвергаются агрессии и угрозе смерти со стороны коварных и подлых злодеев, они должны тесно сплотиться, забыв о междоусобицах. Немцы упорно пытаются рассорить нас, и в этом бедствии, в этом разгроме происходит много нежелательного, того, что играет на руку врагу. Мы вынуждены принять сложившуюся ситуацию, но при этом будем делать все от нас зависящее, чтобы победить.

Здесь, в городе Лондоне, который этот господин Гитлер вознамерился обратить в прах и который в данный момент бомбят его самолеты, наши люди проявляют стойкость и мужество. Британская авиация не просто отражает воздушные атаки врага. Мы ждем вторжения, которое нам так давно и так часто сулили враги. Но и рыбы тоже ждут, когда мы сбросим врага в море! Конечно, мы еще только в начале пути. Сегодня, в 1940 году, наша страна, невзирая на некоторые потери, остается, как и прежде, владычицей морей. В 1941 году мы будем господствовать и в небе. Не забывайте, что́ это означает. Это означает многое. Этому господину Гитлеру удалось, благодаря своим

1. Этот девиз сохранялся на французских золотых монетах (луидорах) до 1905 г., когда его сменил другой, существующий доныне: "Свобода, Равенство, Братство".
2. Презрительное прозвище, данное французами немецким оккупантам во время Первой мировой войны.

танкам и прочей военной технике, а также — и об этом следует помнить! — происках его пятой колонны, сборищу предателей и глупцов, на какое-то время захватить самые прекрасные страны Европы; его мелкий прихвостень Муссолини, уповая на подачки с барского стола, робко поспешает за своим хозяином. Им обоим не терпится разделать Францию и ее владения, как пулярку. Один хочет получить ножку, другой крылышко, а если повезет, то и кусочек грудки.

Но эта парочка мерзавцев не ограничится тем, что растерзает французскую империю: Эльзас-Лотарингия в очередной раз окажется под гнетом немецких захватчиков, да и Ницца, и Савойя, и Корсика — родина Наполеона! — будут оторваны от своего прекрасного домена, Франции. Однако господин Гитлер мечтает не только украсть земли у других народов и оторвать от них несколько кусков, которые швырнет своему приспешнику-лизоблюду. Я говорю вам правду и прошу вас мне верить: этот бандит, этот выродок — порождение былого разгрома и ненависти — твердо вознамерился полностью уничтожить французскую нацию, ни больше ни меньше, стерев память о самом ее существовании, лишив ее будущего. Он прибегнет к самым подлым, самым жестоким способам, чтобы навсегда перекрыть источники французской культуры, французской духовной жизни, бесконечно обогатившей весь мир. И если позволить ему действовать безнаказанно, то вскоре вся Европа превратится в одну сплошную Бошландию, открытую для эксплуатации, грабежа и насилия со стороны нацистских гангстеров. Простите мне мою беспощадную прямоту, но нынче не время золотить пилюлю.

Сегодня Франции грозят не просто военные последствия разгрома от рук немцев. Ей придется пройти все этапы на скорбном пути окончательного и полного уничтожения. Армия, Флот, Авиация, Религия, Законы, Язык, Культура, Государственные Институты, Литература, История, Традиции — все это будет сметено грубой силой торжествующих оккупантов и их безжалостной тайной полицией с ее гнусными псевдонаучными методами.

Французы! Пусть мужество вновь поселится в ваших сердцах, пока не поздно! Вспомните, что сказал Наполеон перед одной из битв: "Солдаты, при Йене те же пруссаки, что так хорохорятся нынче, имели перед вами троекратное преимущество, а при Монмирае — шестикратное"[1]. Я отказываюсь верить, что душа Франции мертва и что ее место среди других великих наций может быть навсегда потеряно.

Все козни, все преступления господина Гитлера неизбежно навлекут на его голову и на его режим кару, свидетелями которой станут еще многие из нас. И ждать осталось не так уж долго. Дело движется к неизбежной развязке. Мы настигнем врага, и наши друзья по ту сторону Атлантики примкнут к нам, как и ваши друзья по ту сторону Атлантики примкнут к вам. Гитлер не сможет уничтожить нас, зато мы уверены, что уничтожим его вместе со всей его кликой, всеми их черными делами. Надейтесь и верьте. Смеется тот, кто смеется последним!

Но с какой же просьбой мы, англичане, хотим обратиться к вам в нынешнее трудное время? Мы просим лишь об одном: поскольку вы не можете по-

1. Наполеон произнес эту речь 15 июня 1815 г. перед битвой при Ватерлоо. Сражение при Йене, где Наполеон наголову разбил пруссаков, произошло в 1806 г. Сражение при Монмирае, когда Наполеон одержал победу над русской армией, помешав ее соединению с прусским корпусом, произошло в 1814 г.

мочь нам в этот час, когда мы напрягаем все силы, чтобы одержать победу, которую разделим с вами, не создавайте хотя бы препятствий. Скоро настанет день, когда вы сможете и сочтете своим долгом поддержать тех, кто борется за вас. Однако даже и теперь мы надеемся, что у каждого француза, где бы он ни находился, радостно забьется сердце, забурлит в жилах кровь при каждом нашем успехе в небе, на море или чуть позже — но наступит и этот миг! — на суше. Не забывайте, что мы не остановимся на полпути, не опустим руки, не уступим врагу, что наш народ и вся империя в целом посвятили себя благородной задаче избавления Европы от нацистской чумы, спасению мира от нашествия современных варваров. Радио, которое контролируют немцы, пытается внушить вам, что мы, англичане, намерены завладеть вашим флотом и вашими колониями, — не верьте этим лживым измышлениям. Мы хотим только одного — сражаться до тех пор, пока Гитлер и гитлеризм не испустят дух. Мы хотим только этого, и будем добиваться только этого, пока не достигнем своей цели. Мы ничего не ждем от других народов, кроме уважения. Среди французов, находящихся во французских колониях или живущих в якобы не оккупированной Франции, не могут не найтись люди, которые время от времени будут действовать во благо своей родины. Я не стану развивать эту тему, ведь "всюду есть вражеские уши". Но я хочу сказать другим французам, тем, к кому мы, англичане, относимся с величайшим сочувствием, поскольку они живут в условиях палочной дисциплины, угнетения и слежки бошей: "Думая о будущем, вспоминайте слова великого француза по имени Гамбетта. Он произнес их после 1870 года, именно по поводу будущего: 'Думайте об этом всегда. Но не говорите об этом никогда!'" [1]

Итак, я желаю вам доброй ночи. Спите спокойно, собирайтесь с силами ради грядущей зари, ибо заря обязательно придет, прославив бесстрашных борцов за свободу, согрев своим теплом преданных и пострадавших и овеяв вечной славой могилы героев. Да здравствует Франция! Да здравствуют простые люди всех стран, вставшие на бой против зла, за свою поруганную отчизну и идущие вперед, к новому светлому будущему!

Долгая пауза. На часах четверть десятого. Никто даже не шелохнулся: все мы застыли, потрясенные этой речью. Наконец Черчилль встает; его глаза полны слез.

— Этот вечер останется в истории, — говорит он мне.

Входит butler[2] с подносом, на котором стоят три высоких бокала виски с кубиками льда. Черчилль отказывается от предложенного ему бокала:

— Прошу извинить, у меня сейчас совещание с военным кабинетом.

Он подходит к боковой двери, но вдруг оборачивается ко мне:

— А вы что намерены делать?

— Вернусь на Би-би-си.

— Каким образом?

— На метро, сэр.

1. Леон Мишель Гамбетта (1838—1882) — адвокат, политический и государственный деятель, министр в правительстве национальной обороны в 1870—1871 гг. В 1871 г. произнес речь по поводу аннексии Эльзас-Лотарингии, где и прозвучали эти знаменитые слова.
2. Официант (*англ.*).

Черчилль спрашивает кого-то, продолжается ли там, наверху, бомбежка. "Да, сэр, и довольно интенсивная", – отвечает сержант, а Черчилль задает ему следующий вопрос:

– Где моя машина?

– У южного выхода, сэр.

– Прекрасно. Проводите этого джентльмена наверх и скажите моему шоферу, чтобы отвез его на Би-би-си в броневике. Благодарю вас.

Я располагаюсь на заднем сиденье броневика, этого надежнейшего убежища на колесах. Здесь ничего не слышно, а виден только кусочек улицы в узкой горизонтальной прорези, позволяющей шоферу вести машину. Вся французская секция Би-би-си на Портленд-плейс ждет меня, чтобы отметить событие, которое, надеемся, очень поможет нам в повседневной работе. И я провожу часть ночи с товарищами, рассказывая им подробности своего необыкновенного приключения, которое выпало на мою долю благодаря этому переводу, 21 октября 1940 года.

На следующий день леди Черчилль оказала мне величайшую честь, пригласив на обед, вместе с несколькими ее друзьями, во французский ресторан "Boulestin" недалеко от театра "Ковент-Гарден". Черчилль, по ее словам, был очень доволен своим выступлением.

"Видите ли, – добавила леди Черчилль, – вчера он впервые почувствовал, что снова близко соприкоснулся с той Францией, о которой думает днем и ночью и судьба которой неотступно тревожит его".

Ян Эрик Волл
Дневник Рут Майер
Еврейская беженка в Норвегии

Перевод с норвежского Н. Федоровой

От редакции

Дневники и письма Рут Майер (1920—1942), написанные ею в оккупированной нацистами Вене в конце 1930-х, — документ эпохи, который ждала трудная судьба. В 1939 году, в восемнадцатилетнем возрасте, Рут эмигрировала в Норвегию, спасаясь от преследований в Германском рейхе. Казалось, все позади, но с приходом нацистов к власти и в этой стране кошмар повторился. Во второй раз Рут Майер спастись не удалось — она была перевезена в Германию и погибла в Освенциме.

Ее дневники, как венские, так и норвежские, вместе с письмами, которые она писала уехавшей раньше в Лондон сестре Юдит, хранились у ее норвежской подруги, поэтессы Гунвор Хофму, пытавшейся издать их еще в 50-е годы. После смерти Хофму этим архивом занялись исследователи, и в 2007 году дневники и письма Рут Майер в переводе на норвежский издал поэт и литературовед Ян Эрик Волл. В оригинале, на немецком языке, эти тексты еще не были изданы, и русскому читателю "ИЛ" представляет их в переводе с норвежского[1]. В подборку вошли фрагменты из дневника 1938 года, описывающего аншлюс Австрии и первые гонения на евреев, а также письма к сестре, в которых Рут рассказывала о том, как переезжала в Норвегию. Также мы приводим предисловие Я. Э. Волла к выдержкам из этого дневника.

Последняя осень на родине
Сентябрь–декабрь 1938 года

Осенний дневник 1938 года – восемьдесят плотно исписанных страниц нелинованной тетради форматом в четвертушку листа, рукой Рут помечено: "Не сжигать!" Эту тетрадь она взяла с собой в Норвегию. Предыдущий дневник, как и последующий или последующие, утрачен.

Австрия присоединена к Германскому рейху. Осенью 1938 года Майеров насильственно переселили в еврейское гетто в центре Вены, по адресу Обере-Дона-

© Jan Erik Vold, 2007
© Н. Федорова. Перевод, 2009
Полностью книга будет опубликована в издательстве "Мосты культуры / Гешарим".
1. Немецкое издание вышло в свет уже после того, как началась работа над русским переводом: Ruth Maier. Das Leben konnte gut sein. – München: DVA, 2008.

уштрассе, 43, где они живут в одной квартире с семейством Зингер. Рут и Юдит начинают посещать еврейскую школу.

Дневник открывается сводкой политических событий, имевших место после вступления Гитлера в Австрию в марте 1938 года. Далее упомянуты осенние мюнхенские переговоры, когда британский министр иностранных дел дал согласие на оккупацию Гитлером Чехословакии. В ночь на 10 ноября по всей территории Германского рейха прокатилась волна антиеврейских выступлений, во время которых евреев убивали, громили их магазины, били окна и витрины. Эта "хрустальная ночь" совпадает с восемнадцатилетием гимназистки Рут Майер.

Осень 1938 года – последняя, проведенная Майерами на родине.

Одиннадцатого декабря сестра Юдит оставляет Вену и уезжает в Англию. Мать Ирма и бабушка Анна покинут страну в течение следующего года.

Рут осознает себя еврейкой. Ее пугают ужасы, происходящие у нее на глазах. Она рисует пронзительные картины Рождества в гитлеровской Германии, частью которой стала теперь ее Вена. И одновременно цитирует Нагорную проповедь.

В остальном Рут рассказывает о своих еврейских друзьях и подругах, которые постепенно разъезжаются по всему свету. И сочиняет письма от имени вымышленных поклонников – покойному русскому писателю Максиму Горькому и еврейскому актеру Эрнсту Дойчу[1], живущему в эмиграции.

Вторник 27 сентября 1938 года, Вена

Я забросила прежний дневник, где давала волю то страху, то трусости, то надежде и т. п. Из-за чего? Из-за того, что немецкий язык называет коротким и точным словом "война". Попробую обрисовать положение вещей, полностью отвлекаясь от собственных эмоций.

Когда в марте Гитлер аннексировал Австрию, о войне вообще не было речи. Все австрийцы ликовали, прямо-таки шалели от восторга. Флаги кругом, люди на радостях кидались друг другу на шею, целовались.

Тогдашний канцлер Шушниг[2], которого Англия, Франция и Италия бросили на произвол судьбы, сидел под арестом то в гостинице "Метрополь", то в Бельведере. Кардинал Иммицер[3] не замедлил благословить Великую Германию. Евреев, занимавших до сих пор если и не равноправное, то по крайней мере человеческое положение, низвели до недочеловеков, свиней и т. п.

Сразу после аншлюса стали слышны недовольные голоса. Люди ожидали совсем иного.

Однако недовольных вскоре отвлекла травля евреев и т. п. В мае, то есть два месяца спустя, Гитлер занял Судетскую область[4]. Чехословакия ответила всеобщей мобилизацией. Взбешенный Гитлер обрушил на Че-

1. Эрнст Дойч (1890–1969) – еврейский актер, которому в 1933 г. пришлось бежать из Берлина. Он успешно выступал в Вене, Праге и Лондоне, а в 1938 г. эмигрировал в США, где играл на сцене под псевдонимом Эрнест Дориан. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Курт Шушниг (1897–1977) – один из лидеров Христианско-социальной партии, федеральный канцлер Австрии в 1934–1938 гг.
3. Точнее, кардинал Теодор Инницер (1875–1955) – венский архиепископ, который поначалу приветствовал аншлюс.
4. Судетская область отошла к Германии лишь согласно Мюнхенскому соглашению от 29–30 сентября 1938 г.

хословакию шквал яростных обвинений: судетские немцы подвергаются притеснениям, немецким детям не дают возможности посещать немецкие школы, немецкие женщины страдают от издевательств и т. д.

Проблема усложнялась все больше и больше. Английский советник лорд Рансиман, взяв на себя миссию посредника, обратился к *чешскому* правительству. Начались переговоры. Конрад Генлейн[1] обнародовал карлсбадские требования[2], настаивая на собственных вооруженных силах и собственной внешней политике.

Через несколько дней германское радио передало воззвание Генлейна: "Мы хотим домой, в рейх". Международная ситуация становилась все более напряженной.

Англия и Франция толком не знают, что им предпринять. Советский Союз обещает помочь Чехословакии. Чемберлен едет в пресловутый Берхтесгаден[3] и обсуждает с Гитлером международную обстановку, чтобы отыскать мирное решение.

Сразу после этого правительство Ходжи[4], "скрепя сердце", принимает германские требования, но тотчас же уходит в отставку. Премьер-министром вместо Ходжи становится некий генерал Сыровый[5], получивший образование в Советском Союзе. Напряженность возрастает. На новых судетско-германских территориях введено чрезвычайное положение. Сыровый мобилизует всю Чехословакию. Из Судетской области прибывают новые и новые беженцы, усердно подогревающие военную истерию.

26 сентября Гитлер направляет в Прагу германский меморандум: уступка территорий, полностью населенных немцами; референдум в остальных немецко-чешских районах. В речи от 26 сентября Гитлер заверяет, что это последняя территориальная претензия Германии в Европе. Он конечно же понимает, что для тридцатимиллионного народа Польши "польский коридор", то есть выход к морю, жизненно необходим. На Эльзас-Лотарингию он вообще никогда не притязал. Тамошнее немецкое население очень обрадуется, если споров по поводу этой территории не будет. Южный Тироль он даже не упоминает. Там на границе проходит *черта*. Муссолини и Гитлер всегда хорошо ладили между собой. Но что до Судетской области, то здесь миролюбие Гитлера иссякло. Немецкий народ впредь не желает смотреть на страдания братьев по крови. Германский меморандум вручен. До 1 октября Чехословакия должна сказать "да" или "нет". "Господин Бенеш[6], решение за Вами". Этими словами он закончил свою речь.

1. Конрад Генлейн (1898–1945) – лидер судетских немцев.
2. В конце апреля 1938 г. Генлейн во время секретной встречи лидеров судетских нацистов в Карлсбаде выдвинул восемь требований, сводившихся, по сути, к одному – требованию независимости Судетской области.
3. Имеется в виду вилла "Бергхоф", одна из резиденций Гитлера в Баварии, расположенная вблизи курортного городка Берхтесгаден.
4. Милан Ходжа (1878–1944) – чехословацкий политик, глава Крестьянской партии, премьер-министр в 1925–1938 гг.
5. Ян Сыровый (1888–1970) – чехословацкий политик, генерал, исполнявший обязанности президента и премьер-министра несколько месяцев в 1938 г. и ушедший в отставку с избранием Э. Гахи.
6. Эдуард Бенеш (1884–1948) – государственный деятель Чехословакии; в 1935–1938 гг. – президент Чехословакии.

Таково положение вещей на сегодня, 27 сентября. А что произойдет дальше...

Значит, 1 октября будет вынесено решение о войне и мире.

Во второй половине дня "Радио Брно" объявило, что в случае войны Чехословакия не станет бомбить мирное население. Франция с началом боевых действий развернет такое широкое наступление, что натиск на чешский фронт заметно ослабеет.

Возможно, мне только кажется, что мы подошли к поворотному пункту истории. По крайней мере, стоим на пороге кровавой и жуткой драмы. Возможно, затем будет свет. Солнце, и свобода, и *мир*.

Я вновь смогу любить людей, когда они кровью отмоют себя дочиста от того, что мне в них ненавистно. Через страдание и скорбь они, быть может, *возродятся* очищенными. И все же! Вероятно, есть и другой выход. Я не хочу скорби, горя, боли, смерти и ужаса.

Жан! Почему я теперь часто думаю о нем? Потому что он тоже пойдет на войну и будет убивать? Этот француз с узкими, бледными руками и детским лицом, с его тысячью мелодий, с пальцами, привыкшими перебирать лишь клавиши из слоновой кости. Жан, которого все так любят, который так по-детски смотрит на мир своими печальными глазами и робеет прикоснуться к девушке.

Сузи, который вправду ужасно мне нравился, Сузи с его загорелыми, жилистыми руками. И Виллигер, и Эгон. Нельзя думать об этом.

А когда я вижу их всех перед собой — Виллигера, Эгона с ружьем, — тогда я думаю, что так быть не должно. Не должно, не может так быть. Конечно, так не будет, по той простой причине, что так вообще не бывает.

А стоит мне подумать, что папа...

Но мне ведь не обязательно думать о каждом из них. Об их милых лицах, о милых привычках...

Буду думать о французах. Их остроумии, их шарме. Об их языке, который очень люблю. О русских и их Достоевском, Толстом, Горьком. О русских крестьянах, об их женах и детях, их любимых матерях. Об итальянцах, их солнечном языке, их "Божественной комедии".

Не стану думать о них по отдельности. Стану думать только о том, что все они люди, что они наверняка способны сообща бороться во имя доброй цели и не заслуживают взаимного истребления. Ни в коем случае недопустимо, чтобы один человек боялся другого и ненавидел.

По радио передают шлягеры. Странный, жуткий мир.

Среда 28 сентября 1938 года, Вена

1 октября Гитлер предъявит ультиматум. Воздух дрожит от напряжения и тревоги. Или мне только так кажется?

Вчера Чемберлен выступил с речью: он сделал все возможное, чтобы сохранить мир. И теперь более не видит способа обеспечить его. Британскому народу чужда мысль вести войну из-за столь отдаленной территории, как Чехословакия, но если есть на свете держава, полагающая, что террором можно повергнуть мир в страх и ужас, то...

Рузвельт обратился с мирным посланием ко всем европейским государствам. Гитлер ответил, что, *поскольку* ему известны последствия войны в Европе, он не может взять на себя ответственность за войну.

А я, я смотрела на чудесное фото молодого папы. Это очень успокаивает. Дарит уверенность и умиротворение... Мягкая, нежная кожа, руки...

Я завидую маме! Будь я папиной женой, я бы очень его любила. Мы бы отлично ладили друг с другом. Папа и я. Людвиг и Рут.

Своего ребенка я назову Людвигом.

Четверг 29 сентября 1938 года, Вена

Муссолини, Даладье[1], Чемберлен и Гитлер встретятся сегодня в Мюнхене. Проведут совещание о войне и мире.

Я бы с удовольствием пошла работать в Красный Крест.

Воскресенье 2 октября 1938 года, Вена

Угроза войны миновала. Гитлер добился своего[2].

Вчера я навещала слепых. Мне нравится бывать у них.

Сегодня я впервые пошла в гимназию имени Хайеса. Школа до крайности националистическая. Эту опасность никак нельзя недооценивать, и кто знает, может статься, я не сионистка только так — из духа противоречия.

Директор произнес негромкую, симпатичную речь, в которой постоянно упоминал о еврейском национальном самосознании. Он невысокого роста, с проседью, все время наклоняет голову то в одну, то в другую сторону. Рассуждал он о нашей ответственности, о том, что надо "держаться с достоинством", и выразил твердую уверенность, что все мы наверняка попадем в Палестину. Он надеется, что "крещеные и не исповедующие какой-либо религии" тоже войдут в еврейское сообщество.

Странное чувство — все мы, молодежь, юноши и девушки, сидели там, загнанные туда враждебностью и презрением, предоставленные самим себе...

Да, именно в этом и заключается опасность — в "еврейском сообществе". Сначала моим сообществом было человечество, а теперь его вдруг подменит еврейство. От гуманизма через национализм одна дорога — к жестокости!!! Злые слова, но, как оказалось, вполне обоснованные, не знаю, кто первый их высказал.

Сегодня директор сказал: "Можно объяснить и оправдать национал-социализм, но можно и отвергнуть его".

Что ж, я объясняю, и оправдываю, и *понимаю* сионизм (разумеется, в связи с национализмом), но отвергаю его. Именно потому, что я, как

1. Эдуар Даладье (1884—1970) — французский политик, в 1933—1934 гг. и в 1938—1940 гг. премьер-министр Франции.
2. То есть фактического расчленения Чехословакии.

справедливо заметила сегодня Анни Шерман, все время чувствую на себе последствия национализма.

Ладно, в данный момент я уверена, что более чем далека от мыслей о национальном самосознании и т. п. И все же непрестанно стремиться к "ассимиляции" — это ведь неправильно и даже вредно? Отказаться от себя самого, от своей самобытности... Н-да, вот так меня и шатает туда-сюда меж социализмом и — страшно написать — национализмом.

И возможно, как раз это шатание и стало особой приметой еврея, еврея как человека.

Чтобы закончить: факт тот, что 75 % еврейской интеллигенции, еврейской молодежи силой толкают к сионизму.

Н-да, а тут слепые. Что значат все эти проблемы, ныне жизненно важные, в сравнении со слепыми людьми на Хоэ-Варте...

Молодые парни, девушки, старики, а в первую очередь дети.

Часто я думаю, что, если б в моих силах было вернуть этим людям зрение, я бы начала с детей. Ведь они самые невинные, самые чистые, им более всего недостает солнечного света и тепла. Да-да! Я бы начала с самых младших. С Сильви. Она такая юная, белая как молоко, полная светлой, алой крови. И все же слепая. Зачастую это не сразу осознаешь. Видишь ее темные глаза, но, когда она хочет показать своих кукол, ей приходится ощупью пробираться по стенке. Когда она не находит порога, когда спрашивает: "Ты кто?" Когда...

Так грустно. А она так благодарна за все приятное и доброе, что делают для нее.

А Янек! С его прелестными мелодиями и стихотворением "Солнечный свет". "Солнечный свет, прекрасный, живой, / вовеки ты останешься со мной". Так и чувствуешь страх этого маленького, этого крохотного детского сердечка перед вечным мраком, правда? А как охотно он вкладывает свою ручонку в мою, как ему нравится, когда его легонько похлопывают по стриженным ежиком волосам. Совсем недавно он по собственному почину рассказал мне свой сон: "Мне все время снится, будто у меня есть младший братишка, его зовут Моцу, я очень его люблю, всегда его защищаю, присматриваю за ним, и мы все делим между собой". Разве не грустно — слепой ребенок, то и дело натыкающийся на острые углы шкафов, на двери, робкий и пугливый, сочиняющий строки вроде "Солнечный свет, прекрасный, живой, / вовеки ты останешься со мной", этот ребенок мечтает о младшем братишке, которого защищает и за которым присматривает. Янек! Я в самом деле люблю его. Недавно он наигрывал мне свои мелодии. Красивые, нежные. День рождения, прощальный привет родителям.

Родители! Все тоскуют по своим родителям. Слепой мальчик Людвиг, которому уже пятнадцать, прочел мне стихотворение "Милая мама". Это стихотворение — одно из самых печальных и, можно сказать, самое трогательное. Тоска по любимому и доброму человеку, ощущение, что тебя покинули, — они знакомы всем, но у слепых, у слепых детей и подростков, особенно остры.

Пожалуй, стоит записать небольшую сцену, в которой я участвовала: держа Сильви за руку, я открываю дверь, в комнате тесно, ни проблеска света, за фортепиано сидит мальчик, совсем один, в темноте, играет и поет "Когда во мраке дети".

Вторник 4 октября 1938 года, Вена

Милая мама

Делаешь все ты ради меня.
О, как же я люблю тебя!
Новая встреча не скоро придет,
И я печалюсь весь день напролет.
В сердце моем гнездится печаль.
Нет тебя рядом — так больно, так жаль.
Всегда ты сидела у моей постели.

Людвиг, слепой

Среда 5 октября 1938 года, Вена

Раннее утро, на улице ни души. Еврей, молодой, хорошо одетый, выходит из-за угла. Вдруг появляются двое эсэсовцев. Оба — сначала один, потом другой — бьют его по лицу, он пошатывается... хватается за голову... идет дальше.

Я, Рут Майер, восемнадцати лет, спрашиваю как человек, спрашиваю у мира как человек, допустимо ли такое... Спрашиваю, почему такое дозволено. Почему германцу, немцу, разрешается бить еврея по лицу оттого только, что *он* — немец, а *тот* — еврей?!

Я не говорю о погромах, о травле евреев. Не говорю о разбитых окнах, о разграбленных жилищах... Беспредельная гнусность выражается *не в этом.*

Но именно в этой пощечине. Если Бог существует... я в него не верю и, скрепя сердце, называю его имя... однако сейчас не могу не сказать ему... если он существует: эту пощечину до́лжно искупить кровью... или... да разве ее чем-нибудь искупишь!!!

И я говорю всем вам, арийцам, англичанам, французам, которые с этим мирятся: в ответе за эту пощечину вы, ибо вы ее допустили.

Сколько же горя вокруг. Все время одно только горе. Есть ли лучшее свидетельство тому, чем еврей, который пошатывается и... идет дальше.

Сузи рассказал нам про Вергассе, про охранника, который кричал на евреев, орал, обзывал жидовскими свиньями и еще того хуже. Стоял перед евреями, провоцировал их. Сузи думал: что же будет... вдруг он ударит меня по лицу... я ведь ничего не смогу сделать... ничего... ну и хорошо... очень хорошо... чем хуже, тем лучше... чем хуже, тем лучше... Что еще вам от меня надо, свиньи, нелюди, звери?! Эх, плюнуть бы на вас! Но, пожалуй, лучше опишу вам выставку "Вечный жид". Опишу лица евреев, евреев из Дахау[1]. Истощенные, скорбные лица. Умные, прозрачные, одухотворенные, безволосые мужчины с высоким лбом, с табличкой: "Врач", "Коммерсант".

Показать вам? На нашу одежду нашили желтый знак, потому что мы — евреи.

1. Дахау — один из первых концлагерей на территории Германии; основан в марте 1933 г. недалеко от Мюнхена.

Или, может быть, перечислить вам многих и многих евреев? Это Гейне, Бёрне, Шницлер[1], Маркс, Лассаль, Цвейг и многие другие. Смотрите! Все они вышли из народа, который вы преследуете, потому что он принадлежит к другой расе.

Раньше люди верили в злых духов, в высоких властителей. Ныне они верят в расы.

А мы, разве мы все не мученики своей расы?

Впору оплакивать евреев, мои ребяческие мечты о человечестве и его спасении.

Больше я в это не верю. Да, по правде говоря, я потеряла веру.

Сегодня Йом-Кипур[2]. Долгий день, день еврейского поста. Штурмовики придумали себе по этому поводу забаву. Объявили евреям, что они обязаны в три дня освободить свои квартиры и в течение месяца покинуть Германию. "Иначе вас всех высекут".

Что это — золотое венское сердце или крайняя жестокость? Мы привыкли, что нас мучают и притесняют. Но разве обычное дело — шляться по городу, орать и потехи ради глумиться над беззащитной жертвой? Это же самая настоящая страсть мучить других, которую обуздывала, сдерживала цивилизация. Садизм, доведенный до одержимости.

Я в отчаянии, правда в отчаянии... Беженцы из Судетской области толпами хлынули в Австрию, то бишь в Восточную марку[3], из Чехословакии.

Там их якобы притесняли и мучили по причине их немецкой национальности. И что же? Они заявляются в Вену, врываются в еврейские квартиры, требуют — то есть воруют — постели и одежду.

Иными словами, люди, на чью долю выпало столько мук и притеснений, при первой же возможности сами принимаются мучить и притеснять... А евреи — превосходный объект для этого, верно?

На них можно выместить всё, все темные, подавленные желания, инстинкты, комплекс неполноценности, жестокость. Что угодно! У нас нет оружия, мы никак не можем себя защитить. А вы можете отправить наших отцов в Дахау, истребить газом наших матерей, принудить наших сыновей ползком, как животные, пересекать границу!

Мне вспоминается сцена перед налоговой конторой на Порцеллангассе. Лил дождь. Мы, евреи, с семи утра стояли на улице под дождем, насквозь промокшие и дрожащие. Подошел дворник с палкой от метлы и разорался, размахивая руками и осыпая нас бранью. Орал с пеной у рта: "А ну, валите отсюда, выблядки поганые, не то всех в тюрягу засажу!" Он словно бы радовался, что может выплеснуть свою злобу на нас, на низшую расу. Дворник!

Когда вперед нас в контору вошла арийка, хотя мы не один час отстояли в очереди, а она явилась в последнюю минуту, но попыталась из-

1. Людвиг Бёрне (1786—1837) — немецкий публицист и литературный критик, один из идеологов литературного течения "Молодая Германия". Артур Шницлер (1862—1931) — австрийский писатель и драматург.
2. Йом-Кипур (День искупления) — религиозный праздник, завершает десятидневный период покаяния, который начинается с Рош-ха-Шана (еврейского Нового года). Для верующего еврея это 25-часовой период полного поста и молитв.
3. Так гитлеровцы называли Австрию после аншлюса.

виниться, кто-то сказал ей: "Сударыня, вам незачем извиняться, мы же люди второго сорта".

Он сказал это без малейшего пафоса. А прозвучало так жутко, так жестоко, но ведь мы не люди второго сорта, мы... кто мы, собственно говоря?

Воскресенье 9 октября 1938 года, Вена

Никогда прежде в истории не бывало ничего столь ужасного, унизительного, позорного, зверски жестокого.

Удивительно, что мы это *терпим*. Что наперекор всему не открываем газ, не бросаемся в Дунай.

За три дня до родов женщина-еврейка нелегально переходит границу. Семья разлучается... жена становится кухаркой в Англии, муж нелегально выезжает в Бельгию, мать по-прежнему в Германии, брат в Дахау, сестра...

Все это настолько невероятно, что у нас самих в голове не укладывается. На Йом-Кипур штурмовики врывались в квартиры в 17-м, 18-м, 19-м районах, приказывали тамошним обитателям в двадцать четыре часа собрать вещи и исчезнуть. Можно представить себе кошмарные сцены. Да, какая уж тут деликатность. Некоторые открыли газ. Штурмовики нагрянули к Эрлихам и к госпоже Камилль. Родители Хильдегард хотели выехать в Венский лес... в XX-то веке... Ладно, кончай, это же была шутка, забава... В синагоге еврейских женщин и девушек заставили своими руками осквернять реликвии...

Штурмовики заявляются в квартиры и конфискуют книги: "О, евреи читают Гейне". Сжигают Гейне, Цвейга, Шницлера. "Подонков-космополитов".

Некоторые не выдерживают! Мать госпожи Герр покончила с собой!

Только бы уехать!

Воскресенье 16 октября 1938 года, Вена

Погромы!

Они избивают евреев, рвутся вешать их на фонарных столбах. Кричат: "Ну, живей, живей!" Спасательная служба едва успевает поворачиваться. Они громят синагоги. Клочьями рвут волосы из бород стариков-евреев, набрасываются с кулаками на женщин. Бьют окна. Рут, запомни это. Теперь семь часов, и в этот миг все начинается сызнова. В тесных переулках: Шиффамтсгассе, Леопольдгассе и др.

У Кэте темные круги под глазами. Страшно смотреть. И сказать ничего нельзя. Стискиваешь зубы: средневековье. Мечты, мои детские мечты, моя любовь к людям, этим страшным извергам... Я еврейка, и потому они убьют меня. Да, такие вот дела. И я невольно спрашиваю: "Мы что же, скот, животные?" — "Да, — говорит господин Геббельс, — вроде лягушек".

В 1938 году мир погрузился в непроглядный мрак.

А я люблю евреев, таков результат. Люблю, потому что они страдают. Люблю всем сердцем. Прямо-таки самозабвенно. Их умные лица. Пускай эти кричат: "Ну, живей, живей!" Я — еврейка! И пускай все это знают, пускай повесят меня на верхушке церковного шпиля, пускай пинают меня ногами, оплевывают, избивают до полусмерти, я — еврейка... Чего вам еще надо? Вскройте мне жилы, выпустите мою еврейскую кровь. Ор и крик! Свиньи. Если вам доведется прочесть эти строки, деритe меня за волосы, бейте по лицу. Я к вашим услугам... А потом играйте джаз и радуйтесь жизни. Ведь она и вправду наслаждение.

Н-да, я в самом деле совершенно забываю, что по-прежнему существуют луга, желтые пшеничные колосья, солнце, тихий ветерок, звезды, синее небо. Все это сейчас так далеко...

Что ж, если хотите, я нарисую вам вот такую картину: еврей, по его лицу тянется сверху вниз красная полоса, один глаз вы ему выкололи, бороду вырвали. Вам нравится?

А вы, студенты, трогательные заступники человечества. Социалисты, коммунисты, мечтатели, романтики с белыми руками. Почему вы позволяете все это? Почему?

Я всё могу себе представить. Всё! Мне можно, потому что иначе я не могу. "Чем больше, тем лучше". Но, если вы тронете моего отца, я не знаю, что сделаю. Наверно, выхвачу револьвер. Потому что вы не смеете трогать моего отца. Я приползу к вам на коленях, стану умолять: "Не троньте моего отца! Не троньте моего отца!"

Я осознала себя еврейкой, я чувствую. И не могу иначе.

Извините, у меня в голове все перемешалось. Пишу так беспорядочно!

Октябрь 1938 года, Вена

Снова вечер. Октябрь! Десятого ноября мне исполнится восемнадцать. И все же! Никогда больше мне не будет ни семнадцать, ни четырнадцать. Все возрасты для нас, девушек, такие разные. От года до двадцати. И я чиста, нетронута. Верно? Тело у меня очень красивое.

Ну вот, вчера они опять напали на еврейский дом, и сейчас многие еврейские парни ходят в бинтах. Бить евреев для них — спорт. Директор говорит: "В избиении евреев заключена своеобразная мораль", — и он прав. В этом действительно заключена своеобразная мораль... Вчера я проходила мимо еврейского магазинчика. Витрина разбита. Маленькая дырка в стекле, окаймленная острыми осколками. Зловещее зрелище.

Может быть, мне удастся уехать в Англию прислугой. Может быть. Что ты на это скажешь?

Вторник 1 ноября 1938 года, Вена

Глубокоуважаемый господин Горький!

Вас нет в живых, я знаю, и тем не менее должна написать Вам. *Должна*, чтобы искренне от всего сердца поблагодарить Вас за Ваши "Две по-

вести о детстве"[1]. Читая их, я плакала. Это ничего, мне было так хорошо, душу переполняла благодарность. Вы — поэт, наверно, лишь поэты способны на такие чистые, ясные чувства. Все евреи по всему миру — в Англии, Франции, Германии, Палестине и США — плачут, читая Ваши "Две повести о детстве", и с благодарностью чувствуют, что есть на свете *сострадающий* человек. Вокруг столько горя, но теперь и для нас есть надежда. Спасибо Вам!

Среда 2 ноября 1938 года, Вена

Вчера навещала слепых. Там есть один человек, который хочет покончить с собой по причине... по причине нынешних обстоятельств. Теперь он слепой. У него тонкое еврейское лицо, светлый лоб, на щеке шрам... Теперь, ослепнув, он радуется жизни, передвигается неуверенно, вытянув руки перед собой... Ему сорок, и он *очень* любит Сильви. Очень любит! Прижимает ее к себе, повторяет: "Милая ты моя, лапочка моя". Ему приятно чувствовать ее головку у своей груди, гладить ее по волосам, говорить: "Ты будешь счастлива, дядя всегда о тебе позаботится".

"А что значит — позаботится?"

"То и значит, что он бесконечно тебя любит, будет тебя кормить, жильем тебя обеспечит..."

Теперь он ослеп и хочет умереть — неужели так и будет?

Четверг 3 ноября 1938 года, Вена

Пришли письма от Виллигера. Миссис Уэллем, у которой я, возможно, получу место, справлялась у него обо мне.

Dear Ruth,

This morning I was asked by a Mrs. Wellum, Essex, to supply her with a report of certain Ruth Maier she is contemplating to take into her employ. I did my best and I hope you will get the job.

I was pretty surprised at your still being in Vienna. Some weeks ago I learnt from a letter, I think from Mrs. Brauchbar, that you and your sister were leaving for France.

Now I have the prospect of meeting you here.

One thing I want to tell you in advance. You will be admitted to this country only for domestic work and many Austrian girls of your education were a bit bewildered at the computations they were subjected to. But I think that the most humble position in this country is to be preferred to your present life.

My love to your mother and all the best to yourself.

Yours sincerely...

Ну-ну.

1. Имеются в виду первые две части трилогии Максима Горького "Детство", "В людях", "Мои университеты".

[Дорогая Рут!

Сегодня утром некто миссис Уэллем из Эссекса попросила меня дать ей сведения о некой Рут Майер, которую она намеревается взять на работу. Я старался изо всех сил и надеюсь, ты получишь это место.

Меня порядком удивило, что ты по-прежнему в Вене. Несколько недель назад в одном из писем, кажется от госпожи Браухбар, я прочитал, что ты и твоя сестра уехали во Францию.

Теперь у меня есть шансы встретиться с тобой здесь.

Одно хочу сказать заранее. Въездную визу в эту страну ты получишь только как прислуга, а многих австрийских девушек с твоим образованием привели в замешательство условия, в каких они оказались. Но, по-моему, самое низкое положение в этой стране предпочтительнее твоей нынешней жизни.

Поклон твоей маме и всего наилучшего тебе.

С сердечным приветом...]

Пятница 4 ноября 1938 года, Вена

Ну вот, вчера это опять куда-то пропало, а потом вдруг всплыло, совсем рядышком... Я точно знаю, почему не умею забывать: каждый человек, заурядный маленький человек, жаждущий малой толики романтики, тоскует по золотым искоркам в своей жизни, по глупым, действительно глупым и ненужным вещам, сочиняет из собственной жизни маленький роман, придумывает маленький секрет, устраивает уголок, где собирает и прячет милое и любимое... Так вот, человек любит этот уголок, не желает с ним расстаться, несет туда свои разочарования, свои устремления, свои крохотные мечты. И когда ты маленькая личность (как я), то предаешься этим мечтаниям, вместо того чтобы что-то предпринять. И совершенно безразлично, кто это — лысый профессор, преподававший тебе латынь, или попрошайка, стоящий на углу с протянутой рукой. Думают они об одном: об исполнении своих желаний, о мечте и т. п.

Да, я замечаю, что, думая о нем, о Виллигере, совершенно конкретно, подмечая у прохожих всякие мелкие черточки и словечки, присущие и ему, я внутренне вздрагиваю, потому что не хочу видеть его наяву, так сказать, во плоти.

Что ж, у каждой есть свой Виллигер. Даже у бабушки. У нее это лесничий, *не*еврей, за которого ей не разрешили выйти замуж. Первая любовь — пожалуй, в ней есть что-то виллигеровское, верно?

Суббота 5 ноября 1938 года, Вена

Маленький семнадцатилетний эмигрант совершил покушение на немца, советника дипломатической миссии. Он польский еврей. О Господи!

Настроение опять подавленное, атмосфера напряженная. *Евреи*, как загнанные животные, пробираются вдоль стен домов. Все будто вымерло. Евреи из дома не выходят. Мы все боимся, что они набросятся на нас с кулаками, ведь польский еврей хотел убить немца.

Пятница 11 ноября 1938 года, Вена

Они нанесли нам удар! Вчерашний день — самый страшный из всех, какие мне довелось пережить. Теперь я знаю, что такое погромы, знаю, на что способны *люди*. Люди, сотворенные по образу и подобию Божию.

В школе директор сказал нам: "Да, стало быть, они поджигают синагоги, арестуют, избивают..." У подъезда стоит грузовик... Трое учителей арестованы. Нас по очереди зовут к телефону... Как на бойне: мы не смели выйти на улицу, смеялись... острили, нервничали... Мы с Дитой поехали домой на такси, хотя до дома рукой подать. Улицу перебежали бегом, словно в войну... Народ молча наблюдал, холодно, на тротуаре теснились какие-то люди, а прежде всего — грузовик с евреями, они стояли в кузове, как убойный скот! Это зрелище я не могу и не хочу забывать, никогда! Евреи в грузовике, как убойный скот... Народ молча глазеет.

Мы прошмыгнули в дом, словно затравленные зверьки, пулей взлетели по лестнице. Они избивали, хватали людей, крушили скарб в квартирах и т. п. Мы все, землисто-бледные, сидели дома, а с улицы к нам приходили евреи, точь-в-точь как живые трупы.

"Как там?" — спросила я.

"Кошмар!"

У Греты Л. они отобрали 46 рейхсмарок, орали, избивали семидесятипятилетнюю старуху, а она кричала; они разгромили ее квартиру — били молотками и т. д.

Сегодня я прошлась по тесным переулкам. Прямо как на кладбище. Все вдребезги разбито, еврейские магазины заколочены досками и брусом. Плакат: "Оборудование в этом кафе арийское. Поэтому — не ломать!"

В "Фольксруф" написано: "Что станется с желтым знаком?"

И хотя нам всем приходится носить желтый знак, они все равно никак не отнимут у нас самое сокровенное — наш мир, который мы носим с собой. Потому-то они и вымещают свою ярость на оконных стеклах, крушат их и орут: "Жид, подохни!"

Внизу, на улице, какой-то ариец говорит: "Я так намял этому жиду бока, что он рухнул как подкошенный".

Люди, сотворенные по образу и подобию Божию! И вот это: "Блаженны изгнанные за правду"[1].

Воскресенье 13 ноября 1938 года, Вена

Где-то по соседству еврей играет на скрипке. Прелестно, хотя временами фальшиво... Несмотря ни на что, несмотря на погромы и избиения, еврей по соседству будет играть на скрипке. А я с замиранием сердца буду смотреть на картины Микеланджело.

Вообще-то внутри у меня пустота — ни особой печали, ни особой радости. Все так ужасно, что просто в голове не укладывается. Я пою, шучу и проч. Такого страха я никогда раньше не испытывала.

Мы только что были у цехового мастера, в организации еврейской помощи. Там сидела красивая молодая женщина с задумчивыми черными глазами и нежным ртом. С ней было двое детей. Муж в Дахау, за це-

1. Мф. 5:10.

лый месяц ни единого письма. Она наверняка искренне любит мужа, по глазам видно. Дети совсем маленькие, а она ходит с ними от одной двери к другой, обивает пороги.

Потом еще старик. Слесарь, высланный из провинции. Да, из провинции всех выслали.

Мужчин с военными медалями и почетными крестами они тоже избивают.

На улице... сплошные мебельные фургоны, большие, вместительные, и простые грузовики. Постели, ящики, качалки, кофейные мельницы — все в одном кузове, весь домашний скарб, у евреев точно такой же, как у других.

А газеты! В каждой строчке евреи. Пошли вон отсюда! Жидовские морды!

Мы так беззащитны, они могут сделать с нами все, что заблагорассудится.

Директор говорит: "Нам необходимо отыскать духовный путь!"

Пятница 25 ноября 1938 года, Вена

Как тоскливо!

Суббота 26 ноября 1938 года, Вена

Глубокоуважаемый господин Дойч!

Вряд ли это письмо когда-нибудь попадет к Вам в руки. Я ведь ничего о Вас не знаю, совершенно ничего, ну, разве только, что Вы великий, изумительный артист и находитесь сейчас очень далеко, в Америке. И все же я Вам напишу. Да, напишу.

Я счастлива, что Вы далеко. Далеко-далеко отсюда. Ведь они бы и Вас избивали, как избивают нас. Возможно, отправили бы Вас в Дахау, как отправили в Дахау наших отцов. Нашили бы на Ваше пальто желтый знак, и Вам бы пришлось работать в каменоломне. А ведь так больно, когда люди, которых глубоко уважаешь и любишь, страдают. Поэтому я счастлива, что Вы не здесь, а в далекой Америке и можете играть там на сцене.

И что люди вновь могут наслаждаться Вашей игрой.

И что Ваша игра вновь заставляет людей смеяться и плакать. Они вполне могут забыть о нас, о тех, кто здесь, в Германии. Я не завидую, главное, чтобы Вы гастролировали и играли на сцене.

Пожалуй, на этом можно бы остановиться, но добавлю кое-что еще. Я многое могу сказать, знаю. И скажу, потому что у Вас такие красивые руки... Я ходила на выставку "Вечный жид" и видела множество Ваших прекрасных фотопортретов. И радовалась, что Вас не забыли. Там были сплошь превосходные, замечательные люди: Гейне, Шницлер и многие другие. В том числе и Вы, что очень меня обрадовало. Не думайте о нас, о тех, кто здесь. Когда сообщили, будто Вы покончили с собой, мне поначалу никто не сказал. Я только задним числом узнала... Вы так чудесно играли в "Привидениях"[1]. И мне так хочется верить, что я еще не

1. Пьеса (1881) Хенрика Ибсена.

раз увижу Вашу игру. Правда-правда! Я искренне надеюсь... Однажды я послала бы Вам морозник, в другой раз – фиалки, это означает, что я восхищаюсь Вами, а если фиалки пахнут едва уловимо, они еще не совсем увяли... как было бы замечательно... Часто я стояла с цветами у театра, ждала Вашего появления... а потом не смела подойти. У Вас были такие красивые седые волосы. Теперь, проходя мимо театра, я закрываю глаза и думаю о былых временах, а значит, и о том, что Вы снова пройдете мимо... и тогда я счастлива, что Вы далеко-далеко и играете на сцене. Да-да! Поверьте.

Если б Вы мне написали... нет, если бы прежде чем выбросить это письмо в мусорную корзину, Вы могли хоть на миг обо мне задуматься. Меня зовут Рут. Будьте добры, думая обо мне, называйте меня Рут!

Среда 7 декабря 1938 года, Вена

Боже мой! Неужели я так никогда и не сумею забыть?! У меня по-прежнему теплеет на душе, когда я думаю о нем... По-моему, это ужасно! Но такова правда. Неужели я так и буду всегда и везде думать о людях, которых люблю? Разберись в своих чувствах, Рут, поразмысли. *Почему?* Почему ты не забываешь? Знаю: потому что мне кажется, я могу найти там что-то на самом деле не существующее, потому что чувствую, более того, верю: он наполнит мою жизнь смыслом! Дуреха!

Ты сама должна наполнить свою жизнь смыслом. Но я *не могу*. Идиотка! Что за вздор я пишу: забыть, не забыть, смысл жизни. Слова пачкаются от паршивой галиматьи, прежде чем успевают высохнуть чернила, а ведь я описываю живое чувство.

Четверг 8 декабря 1938 года, Вена

Ну и ну! Что это вчера со мной творилось? Мне было так плохо, так жалко себя. Сейчас все вчерашние чувства кажутся мне чужими, будто я никогда их не испытывала. Чьи это слова: "Все течет"? В тебе и вокруг тебя. Да! Иногда я ужасна. Совершенно лишена стыда. За это я сама себя ненавижу, за это бесстыдство, с каким я нагло во все лезу, мелочно, без всякого понятия о чести. И раз за разом смотрю на какую-нибудь страницу дневника, злюсь, возмущаюсь. Омерзительно! Торгуешь собой и сама на это смотришь.

Пятница 9 декабря 1938 года, Вена

Завтра Дита уезжает. В Англию. В один из лагерей для еврейских детей-беженцев – прочь отсюда! Я только временами отдаю себе в этом отчет. Пожалуй, вот как раз сейчас. Где-то там, далеко, свежий, прохладный воздух. Откидываешься на спинку сиденья в купе, закрываешь глаза. Потом глядишь в окно. Поезд гудит-поет, треплет волосы. Заграница, неведомый край. И быть евреем уже не означает подвергаться мучениям и травле, просто не верится. Как это, наверно, чудесно, восхитительно!

Итак, Дита завтра уезжает в Англию. Зачастую не успеваешь оглянуться, не успеваешь подумать, события быстро сменяют друг друга, лишь считаные разы мне удавалось выхватить по моему обыкновению несколько

картинок. Когда Дита стирала чулки, натянув веревку наискось через столовую, до меня вдруг дошло: "Эмиграция!" Теперь бельевая корзина тоже пуста... Дита такая милая, такая умелая, ловкая. Утром в постели она лежит среди подушек, волосы поблескивают; от нее веет сонным теплом, рот, волосы, кожа такие мягкие! Я прочитала два ее дневника. Очень мило!

А для меня ничего не изменилось. Совершенно ничего. По-прежнему сижу *здесь*, за письменным столом, корябаю пером. Вообще-то странно, откуда у нас эта потребность испещрять белые страницы синими чернильными строчками и по-детски этому радоваться! Пожалуй, я слишком увлеклась, ведь я просто хотела сказать тебе, что для меня ничего не изменилось. Разве что я стала безучастнее. То, что раньше *пугало* меня и мучило, теперь оставляет равнодушной. Когда я впервые увидела надписи "Только для арийцев" на скамейках и "Евреям вход воспрещен" на стенах кафе и выбитые окна, я едва поверила своим глазам. Теперь же прохожу мимо и не обращаю внимания, не замечаю. Лишь иногда душа вспыхивает огнем — когда я слышу, что Герберт, мой ровесник, милый, хороший мальчик, теперь в Дахау. Или когда иду по Вергассе. И по-прежнему вижу там евреев. "Куда вы поедете?" — "В Шанхай". Господи! Тогда я диву даюсь, что безысходность все растет и растет. Два еврея — один слепой, другой без гражданства. Он вышел на улицу, и во взгляде его читалась такая горечь, такая усталость: "Ну вот, у меня больше нет выбора — осталось только ждать высылки". Не так давно два человека покончили самоубийством, просто потому, что были евреями. Перед смертью они написали записку: "Вот так перед полуночью перейден рубеж". Несколько аффектированно как будто бы. Но перед самой смертью все часто сводится к одному и тому же, а значит, ничего невозможного тут нет!

Вот всегда так! Поначалу возникает ощущение, будто где-то далеко-далеко что-то шуршит, постепенно оно усиливается, становится ярче, напирает, и однажды вечером я просто *не могу не* написать ему письмо, полное — скажу беспощадно, — полное сентиментальной чепухи, тоски и т. п. Письмо — это разрядка, все сразу делается мягче, спокойнее, печальнее... проходит, вновь отступает вдаль, пока... однажды... где-то далеко опять не начинается шуршание.

Я знаю только, что сионизм и социализм несоединимы. Сегодня я отчетливо это увидела. Я — социалистка. И стараюсь освоить социализм, тягу к которому ощущаю в себе, стараюсь добраться до него, пусть и с трудом.

Воскресенье 11 декабря 1938 года, Вена

Девять часов вечера.

Дита уехала. Сейчас, в эту самую минуту, она сидит в поезде. Смеется, достает еду, наверно, скучает по дому.

Страшно — писать дневник. Жутко. Страницей раньше написано: Дита уезжает завтра. А сегодня: Дита уехала. И дневник продолжается. Впору со стыда сгореть.

Вчера в девять вечера, скорым поездом. У нас "дома" возникла пустота. Мама называет меня Дитль, бабушка плачет, мама тоже. "И кто это слово придумал, постылое слово — 'прощай'?"[1] Так сказано в "Смерти

1. Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Перевод А. Карельского.

Дантона"... избитая истина, что жизнь — это сплошные разлуки. Встречи и разлуки, быть может. Каждую минуту, каждую секунду... Не впадай в сентиментальность, Рут! Нехорошо.

Вчерашнюю сцену я могу изобразить в точности. Хюттельсдорф тонет в темноте. Евреи-охранники светили нам карманными фонариками. Дети — разного возраста, до семнадцати. Мальчики и девочки с рюкзаками и чемоданами. Последний поцелуй, снова и снова. Еще один и еще. Рядом со мной плакала женщина, не тихонько, не себе под нос, а громко причитала, стонала. Всхлипывала. Лицо сведено от рыданий... Четырехлетние малыши ревели благим матом. Сумасшедший дом! Пришлось уносить их на руках. А матери! Отцы малышей в Дахау... Одна молодая женщина всем телом отпрянула назад, муж наклонился к ней. Еще кто-то пробормотал: "Оба сразу, оба!"

"Мама, — сказала я. — Смотри, мама, вот наша молодежь, еврейская молодежь, они вырастут честными, они прошли школу, они страдали как мало кто, они собственными руками построят себе новую жизнь". Кое-кто из самых маленьких до крови обдерет руки, думаю я. Самые маленькие, оторванные от родителей, будут, скорее всего, плакать до утра. Н-да, вот такими я их видела. Евреев. Евреев, у которых забирают детей, не дав им досыта нацеловаться, думаю я. Наверно, в вас есть что-то особенное, евреи, а? Сколько горя вам приходится нести на своих плечах. Сколько горя. Потому что вы — евреи! Только по этой причине. Так красиво звучит: "Во время прощания разыгрывались душераздирающие сцены". Нет, душу так легко не раздерешь. Мама говорит: "Если бы заголосил один, *все* бы подхватили". Нет, никто в голос не рыдал, не бранился. Все только плакали. Я видела слезы, только слезы. Дита стояла в темноте, вместе с небольшой группкой. Мне был виден только ее шарф, бело-голубой. Когда мы проходили мимо этой группки еврейских беженцев, Дита быстро окликнула: "Мама!" И помахала рукой. Потом их повели мимо нас. Они прошли совсем рядом! Дита и мама хотели поцеловаться, в самый последний раз. Их губы были совсем близко друг от друга, но вмешался охранник: "От этого будет только тяжелее!"

Еврейские беженцы. Их распределят по разным английским семьям. Дита скоро напишет. У нее будет приличная жизнь. Достойная. Звучит старомодно. И все же: "Я постараюсь сохранить чувство собственного достоинства". Дита тоже. Не скоро я увижу ее. Как все сложится к тому времени? Через год! Когда мы будем в Америке. Ведь у нас есть въездная виза. Кто это недавно говорил: "Мы уехали, поскольку имели официальное согласие на въезд!" Ну вот, собственные мысли увлекают меня прочь, надо держать их в узде... Снова возникает та картина. Высокая железнодорожная насыпь, травянистый склон. На самом верху — сетчатая ограда. Там поезд с освещенными окнами. Полный ребятишек, еврейских детей. И родители, увидав наверху эти вагоны с детьми... На перрон нас не пустили, и все полезли на насыпь. Закричали, а дети открывали окна, плакали, махали руками. "Мама!" — звал кто-то. Я совершенно отчетливо все видела. В ночной темноте, в Хюттельсдорфе. Мы вместе стояли там. У Диты был номер 258. "Вот видишь, — сказала я, — теперь ты всего-навсего номер". — "О нет, я по-прежнему Юдит Майер". ...Но когда выкликнули номер 258 — живо в вагон и прочь отсюда. Начинается жизнь! Что ж, обычно для нас, молодых, вступление в жизнь происходит

исподволь, не спеша, без неожиданностей. Однако сейчас нас туда вышвыривают! Сегодня еще в гимназии. А завтра прислуга, да-да, незачем пускать друг другу пыль в глаза. Мама конечно твердит: "Да, но ты же фактически почти член семьи, они ведь знают, кто ты". Как ни крути, никуда не денешься. Я буду прислугой. Пролетаркой! Почему бы нет? По крайней мере, стану одной из них. Целиком и полностью.

Безоблачное, чистое небо и бесконечные поцелуи. И женщина рядом со мной всхлипывала и дрожала. И малыши плакали в темноте. Холодно, сыро. Дита прошла мимо. Бело-голубой шарф. Мужественная девочка. Номер 258. Молодое поколение, оно будет бороться.

Евреи, евреи. Папа. Генрих Гейне.

Суббота 24 декабря 1938 года, Вена

Вечер, половина одиннадцатого.

Итак, рождественский вечер. Я шла по улицам... снег... безлюдье... Из громкоговорителей доносятся рождественские песни, сентиментальные, ласковые. На противоположной стороне поблескивают разбитые витрины еврейского магазина, с надписью на иврите. Лживый мир, лживый, лживый... Хлопок — лопнула автомобильная шина... или это был выстрел?.. выстрел в рождественский вечер... колокольный звон плывет над городом... на магазине намалевано: "Жид", и все. На другом магазине: "Убирайся в Дахау, сволочь!"...В окне выше этажом горят рождественские свечи... рождественский вечер в гитлеровской Германии. Я бы поцеловала этого обруганного еврея. Да-да, поцеловала бы. Быть евреем — какая мука, какая тоска, и все же...

Воскресенье 25 декабря 1938 года, Вена

Десять утра.

Все любили папу. Все-все! Главное для меня — не запятнать его честь. Мое единственное желание — быть достойной папы. Я так его люблю. Очень люблю. Мне бы никакой Виллигер не понадобился, будь со мной папа. Только папа... Мама влюбилась в папу. Он ее целовал. И у них родились мы — я и Дита... С другими я могу говорить обо всем... но не о папе. О нем я никому не рассказывала, это все у меня *внутри*. Я расскажу своим детям.

Пять часов вечера.

Не знаю, в чем дело, может, в письме д-ра Браухбара. Меня переполняет тоска. Но не разъедает, не высасывает силы. Нет, что-то согревает меня изнутри. В глубине моего существа я чувствую тепло, сияние, легкий аромат. Временами я без причины улыбаюсь, впадаю в грезы. На душе у меня покой. Сквозь это сияние все видится яснее и чище... Мысли у меня теплые, я хожу по улицам, и все западает мне в душу. Как бы сквозь кристалл. Так странно! Вместе с тем я чувствую всю безысходность. И тоскую.

Понедельник 26 декабря 1938 года, Вена

Как же я боюсь этого дневника. Боюсь и все-таки не хочу порвать его в клочья. Ведь, может статься, в этом сумбуре найдется хотя бы одна хо-

рошая, стоящая мысль, вполне заслуживавшая, чтобы ее записали... Как раз сейчас я читаю "Переписку Гёте с ребенком"[1]. Да-да, как раз сейчас, среди мучений и ужасов. Беттина фон Арним — удивительное существо. От кого это я недавно слышала: "Женщины по натуре своей в первую очередь воссоздают, а не созидают"?.. Беттина — ребенок, так искренна, так задушевна. Солнечный луч, увядший листок для нее — целый мир. Снежинка, тающая на ладони... Живи она сейчас, она бы наверняка не выдержала, погибла.

Вторник 27 декабря 1938 года, Вена

Классический образец стыдливости и бесстыдства. Беттина пишет: "А утром, когда одеваюсь, я прячусь от него". Я думаю: "А утром я раздеваюсь для *него, ему* показываю свое тело и говорю: вот я. Для тебя я вот такая. Бери меня, если хочешь".

Навещала слепых. Они пели. У одной, у маленькой женщины, похожей на гадкого утенка, совершенно ликующий голос. Другая, совсем незрячая, очень молодая, с безмятежным лицом и задумчивой улыбкой, пела низким, проникновенным голосом. И множество других. Пели они из гайдновского "Сотворения"[2], из "Свадьбы Фигаро" и т. п. В том числе песню с такими словами: "Никто не в силах дать мне утешенье". На фортепиано горели две свечи. Язычки пламени трепетали, и все прояснилось, дошло до сознания. Что еврейские слепые или, если хочешь, слепые евреи (не знаю, что хуже) поют, одна — ликующим голосом, другая — низким и проникновенным. Сходное ощущение у меня было, когда кто-то в квартире по соседству играл на скрипке, через два дня после погромов 10 ноября. Я все время думала о евреях в Дахау. И часто — о Виллигере.

Другой народ не выстоял бы. Другой народ вконец бы потерял ориентацию. Евреи кочуют. С маленькими детьми уезжают в Шанхай. Евреи *кочуют.*

Иногда я размышляю о том, что написано, к примеру, на скамейке передо мной, белой краской: "Только для арийцев. Евреям сидеть воспрещается". Что это значит? — часто думаю я. Что значит ЕВРЕЙ? Е. В. Р. Е. Й. Пять букв. Самые обыкновенные буквы, встречающиеся, вне всякого сомнения, на каждом шагу. Ими пользуются все и каждый: как сторонники евреев, так и их противники. И вкладывают в них чересчур много. Не хотят верить, что евреи — самые обыкновенные люди. Это ясно. Люди, которые много страдали. Это верно. Но еще и люди, которые просто хотят жить в мире. Мир. Кусок земли. Небо, солнце и *наконец-то* никаких напоминаний о твоем происхождении. Каждый Божий день, каждую секунду. Мы такие же люди, как ты. Нас топчут ногами. Вы можете согнуть нас, но не сломить... Евреи кочуют. Припев, вековечный припев: "они кочуют"! Когда это кончится?

Еврейский вопрос — ложь. Дайте нам на протяжении трех-четырех поколений пожить в мире, и еврейский вопрос решится сам собой. Вы на это не пойдете. Ладно! Будем справляться своими силами. Это назы-

1. Беттина фон Арним (1785–1859) в шестнадцатилетнем возрасте завязала переписку с И. В. Гёте. После смерти великого писателя отредактировала письма и в 1835 г. выпустила их отдельной книгой.
2. Имеется в виду оратория Йозефа Гайдна "Сотворение мира".

вается самоэмансипация. Разве не так поступили рабочие? Можно ли в таком случае отрекаться от социализма?!

Четверг 19 января 1939 года, Вена

Сегодня я переполнена счастьем. Мы получили телеграмму из Норвегии: "Визой улажено, билеты высланы, подробности письмом". *Дита, я так рада, так рада!!!* Печально только, что я не увижу Виллигера. Конечно. Не смейся. Я только что звонила. Там, где он жил, теперь поселился архитектор, некто Шёпплер. Грубиян. Сперва я спросила, нельзя ли попросить к телефону профессора[1] Виллигера. Архитектор сказал: "А, где он сейчас? Он уже больше года как в Англии". Такое странное чувство, Дитль. Почему ты не хочешь понять, что я люблю его? Это же так просто. Натура у меня такая, я не забываю. Дитль, Дитль. Временами мне ужас как страшно. Понимаешь? Читаю сейчас "Переписку Гёте с ребенком". Дитль, там попадаются фразы, которые словно бы написала я сама, просто замечательно. Можно сказать тебе кое-что очень личное? Секрет. Отрывок из Беттины: "Чего же я хочу? Рассказать, как изумительная доброжелательность, с какою Вы отнеслись ко мне, растет и ширится в моем сердце — силой подавляя все прочее, — как я все время неотступно думаю о том, как же было со мною в первый раз?"

Что скажешь?.. И однако же я так рада, так рада, что смогу уехать в Норвегию. Ладно. Хватит об этом, надо вовремя поставить точку. Мне охота излить душу, как говорится.

Я говорила тебе, что бабушка прихворнула? Впрочем, она уже идет на поправку.

Суббота 21 января 1939 года, Вена

Сегодня мы получили твое письмо и ужасно рады, что ты наконец у цели. Да, Дитль, и я скоро достигну своей. В Норвегии! У меня *в паспорте* уже проставлена виза. Дита, я правда бесконечно рада. На этой неделе, стало быть, уезжаю в Норвегию. Жду только билетов, которые пришлет г-н Стрём. Вчера от него пришло письмо. Ты не представляешь себе, *до какой степени* милое. Я просто на седьмом небе от радости... глупо, конечно, что я не знаю по-норвежски, надо будет постараться и выучить язык на месте, чтобы через месяц-другой продолжить учебу.

Дитль, мне бы очень-очень хотелось повидаться с тобой. Увы, с этим придется подождать. Но ты ведь знаешь, время бежит быстро. Даже чересчур быстро, по-моему. Уже на этой неделе я уеду в Норвегию. Турид[2] тоже будет встречать меня на вокзале, хотя поезд приходит поздно, пишет г-н Стрём.

Среда 1 февраля 1939 года, Лиллестрём

Уже одиннадцать часов, я в постели, но все-таки, пожалуй, напишу тебе несколько строк... Мне кажется, будто я в Норвегии уже целый месяц.

1. Принятое в австрийских гимназиях обращение к учителю.
2. Турид — дочь Арне Стрёма, которой было тогда семь лет.

Все так добры ко мне: Турид, Дагмар и г-н Стрём. Турид — маленькая светловолосая девочка, ее мама совсем молодая; она и г-н Стрём — по-настоящему счастливая пара. Вечером мы сидим у камина, г-н Арне читает газету, включено радио... Знаешь, мне *ужасно* хочется чем-нибудь заняться, ты ведь помнишь, я не люблю бездельничать. Впрочем, все еще впереди.

Дитль, вообще-то я хотела написать о путешествии. Знаешь, все было как в сказке. Один высокий белокурый норвежец отнесся ко мне *очень* хорошо. Но начну с самого начала. Прощание — штука нелегкая. Бабушка плакала. Это было ужасно. Потом я села в поезд, соседом оказался югославский спортсмен. Очень милый. Ему 28 лет (Вилли Хибер). Вечером мы оба испытывали некоторое смущение. Я и он, одни в купе! Потом к нам подсел еще один мужчина, и тогда я спокойно уснула. В Берлине — пересадка и все такое. Наш поезд загнали на корабль. Но сперва был пограничный контроль. Какой-то неряшливый субъект копался в моем чемодане. Мерзкими белыми лапами. Прочел несколько страниц дневника. Письмо Виллигера от начала и до конца. Глазел на Эрнста Дойча, отпустил какое-то замечание. Не знаю, какое именно. Слова доносились откуда-то издалека, я думала: всё, конец. Сейчас при мысли об этом мне больно и ужасно противно. Потом я плакала от ярости и заперла дверь. У таможенника я, кажется, вызвала большие подозрения. Немудрено! Ведь я, как дура, зачем-то припрятала 20 рейхсмарок. Сама не знаю зачем. Во всяком случае, позднее норвежец объяснил мне, *насколько* это было опасно. Думаю, можно не описывать чувства, охватившие меня, когда мы пересекли границу. Норвежец (после границы) вдруг затащил меня в свое купе и показал золотые часы и почетный крест, которые тайком провез для кого-то из евреев. Он был весел и очень любезен со мной. Мы вместе прогулялись по кораблю — ветер и море. Знаешь, на палубе он обнял меня за плечи и прижал к себе. Но это не опасно. Я была так счастлива, а он сказал, что просто хочет меня согреть. Не смейся.

Я в него не влюбилась. Иначе бы так и сказала. Мне просто было хорошо. Мы вместе пили кофе, он что-то рассказывал мне, а я ему. Дитль, не думай, я не забыла тех, кто остался в Германии. Мама и бабушка должны *как можно скорее* уехать оттуда. Только теперь, за пределами страны, я вижу, каким свинарником стала Вена. Я рада, что уехала.

Добавлю кое-что еще. Тебе повезло, ты можешь ходить в школу. Да, Дитц, ты получишь аттестат за меня. Я-то лишь болтаюсь без дела и толком не знаю, когда смогу продолжить учебу. Нельзя же с утра до ночи долбить норвежский. Все тут прекрасно ко мне относятся. Г-н Стрём все время говорит с нами по-немецки. Турид тоже ужасно милая, но мне так хочется что-нибудь сделать, чем-нибудь заняться. Правда, я здесь всего-то второй день, но тем не менее.

Войцех Лободзинский

Моя война

Из воспоминаний

Перевод с польского С. Тонконоговой

Начало моей войны

7 сентября 1939

Разбудило меня громыханье — наверно, поднимают рольставни в магазине. Минуту спустя звук повторился. Еще и еще. Странно... Открываю глаза. Прямо над головой, всего в нескольких метрах, листья каштана — красивые, блестящие от росы. Рядом, под одним со мной одеялом, спит Анджей, мой восьмилетний брат, самый младший. Теперь все понятно. Идет война, а мы — то есть мама и трое детей (отец, мобилизованный в конце августа, перед отправкой на фронт отвез нас к дяде с тетей в Лодзь) — удираем от немцев.

"Рольставни" — это далекие разрывы бомб. Накануне вечером мы в панике покинули Лодзь и ночью добрались до Варшавы. Дорога была ужасная: скопище телег, автомобилей, воинские обозы. В придорожных кюветах брошенная или раздолбанная техника, раздувшиеся до немыслимых размеров конские трупы.

Труднее всего было пробираться через маленький городишко: объятые пламенем дома, стена огня, тучи дыма, черные фигурки неведомо куда и зачем бегущих людей. Позже я не раз видел подобное, но тогда это было впервые. Странно — я нисколько не боялся. Помню лишь единственное чувство — удивление. Все эти картины, напрочь отрезав мой прежний мир, порождали множество вопросов: что все это значит? как такое возможно? неужели так теперь будет всегда? Порой на глаза навертывались слезы, впрочем, не эти вопросы их вызывали, а дым, смрад обугленного мяса, резины, выхлопных газов и бог весть чего еще.

В Варшаве — затемнение, лишь кое-где посветлей, это догорают пожары, их пытаются тушить пожарники и какие-то вспомогательные службы. Здесь тоже чад, разве что не такой едкий, меньше ест глаза.

Оказалось, все знакомые уехали, гостиницы переполнены, располагаться придется под открытым небом. К счастью, погода чудесная, тепло как в июле. Глубокой ночью устраиваемся в каком-то парке, на Праге, теперь я знаю, что в Скарышевском. Утром убеждаюсь, что парк

© W. Łobodziński, 2009
© С. Тонконогова. Перевод, 2009

красивый: стройные деревья самых разных видов, декоративные кусты вокруг белого, крытого красной черепицей особняка. Есть и подернутый ряской пруд с кувшинками, извилистые каналы, горбатые мостики над ними. И чудесная зеленая прогулочная лодка. Много лет спустя на ум, вероятно, пришел бы Моне, но тогда я увидел только отличное место для игр.

Увы, не до игр было... в парке полно таких, как мы, беженцев, множество машин, мотоциклов, паутинная сеть полевых телефонных линий, вооруженные патрули. Война как-никак.

Война и здесь, в парке, и в небе тоже. Там, высоко, в безоблачной синеве проносятся косяки маленьких серебристых крестиков, издавая монотонное басовое урчанье десятками своих мощных моторов. "Дорньеры", — замечает кто-то осведомленный. К самолетам медленно тянутся шнурочки желто-оранжевых четок — светящиеся снаряды зенитной артиллерии. Снаряды летят по параболе, чтобы в конце пути, на большой высоте, где-то поблизости от серебристых крестиков, расцвести маленьким сероватым облачком. Красивое, захватывающее было бы зрелище, если б не беспрерывные взрывы по другую сторону Вислы и не дым пожарищ, все плотнее окутывающий крыши Старого города.

Впрочем, тут, в "нашем парке", где небо пока что оставило нас в покое, общество беженцев взбудоражено иного рода переживаниями.

Утром жандармерия арестовала шпиона.

ШПИОН! В первые дни войны это слово было у всех на устах, обретая почти магический смысл. Оно пробуждало ужас, ненависть, преувеличенную подозрительность: "шпион", "диверсант", "парашютист", "пятая колонна" слышалось отовсюду, склонялось во всех падежах.

Несмотря на мамин запрет, мы с братом идем поглазеть на шпиона. Разочарование. Ничего страшного! Молодой дяденька, щуплый, невзрачный, с серым, ничего не выражающим лицом. Одет в форму рядового пехотинца: суконная гимнастерка, штаны, на ногах обмотки. Пояса нет, кокарды тоже, зато на запястьях сверкают наручники. Держится он спокойно, даже можно сказать безучастно, сидит на ящике, время от времени с комичной миной что-то шепчет себе под нос и курит сигарету за сигаретой. Подумать только, жандармы не скупясь снабжают его куревом! Столпившиеся вокруг зеваки этим недовольны, всем хотелось бы узнать, как именно шпионил этот шпион, однако никто толком ничего объяснить не может. Вроде бы пускал "зайчиков" — подавал зеркальцем какие-то знаки немецким самолетам; впрочем, охраняющие шпиона жандармы никакой информации не дают, еще и разгоняют зевак. В воздухе общая враждебность, истерия.

Лишь один из толпы, тучный старик — как позже выяснилось, врач-пенсионер, — всячески пытается вовлечь арестанта в разговор, но конвоиры решительно пресекают любые контакты.

Ближе к полудню подходят трое патрульных во главе с сержантом жандармерии и уводят арестанта в глубь парка. Тучный доктор пошел было с ними, но тут же вернулся, возмущенный. Спустя час или два арестанта приводят обратно. Он снова усаживается на ящик, закуривает очередную сигарету.

С наступлением сумерек беженцы начинают собираться в путь — идти дальше можно только ночью, днем немецкие истребители с бреюще-

го полета обстреливают все, что движется по шоссе. Впрочем, нам хорошенько досталось и здесь, в парке: средь бела дня мы пережили налет бомбардировщиков, сбросивших на парк несколько бомб. К счастью, обошлось без жертв.

Из-за всеобщего замешательства о шпионе как-то подзабыли. Вспомнили, лишь когда появился небольшой отряд во главе с офицером. Офицер что-то сказал арестованному, тот молча встал, еще раз затянулся, отбросил окурок — оранжевый огонек, описав дугу, упал в траву — и, подойдя, носком ботинка втоптал его в землю.

Офицер, явно нервничая, стал подгонять арестанта, тот одернул гимнастерку, поправил фуражку и, поддерживая спадающие штаны, пошел с отрядом. Люди замолкли. Воцарилась напряженная тишина, слышно было лишь комариное жужжанье да фырканье лошадей где-то поблизости, у коновязи. Все чего-то ждали.

Внезапно откуда-то из глубины парка донесся залп и, спустя минуту, — одиночный пистолетный выстрел. Стоявший рядом со мной пожилой мужчина в железнодорожной форме снял шапку и, опустившись на колени, перекрестился; кое-кто последовал его примеру. Поднявшись и отряхивая штаны, железнодорожник со странным выражением лица посмотрел мне в глаза:

— Запомни, парень, был человек и нет человека.

— Да не в том дело, — все взгляды обратились к доктору, — этот несчастный был психически болен, а мы его убили... И ведь это только начало.

Начало? Начало чего? Думаю, не только я, десятилетний пацан, но и никто из окружающих не мог предположить, началом чего это было.

В тот мрачный день мы с братом все же нашли возможность поразвлечься. Много разного рода развлечений было в моей жизни — и в детстве, и в молодые годы, и в немолодые тоже. Но все они забылись, все, кроме того, единственного, запомнившегося навеки.

Я уже говорил: в парке была небольшая прогулочная лодка. Ничейная лодка, близко, рукой подать, как же этим не воспользоваться? Весел, правда, в ней не было, но у меня имелась при себе финка, так что выстругать две палки из веток орешника не составляло труда. Улучив момент, когда опекавшие нас взрослые (мама, тетя Марта и сын ее Генек — водитель легковушки, на которой мы ехали) отвлеклись, мы с братом столкнули лодку в воду и... прощай, материк!!!

Сперва мы отталкивались палками, но, когда, очень скоро, перестали доставать дно, использовали палки как весла в байдарке. В восторге от своего предприятия, мы свернули в один из каналов. Лодка продвигалась медленно: с такими веслами далеко не уедешь, но минут через 10—15 мы все же почти приблизились к красивому мостику с перилами из кованого железа в стиле модерн. Примерно в то же время в небе над Вислой с нашей стороны появился самолет с черными крестами на странно выгнутых крыльях. Сперва он летел довольно высоко, но внезапно с надрывным воем ринулся носом вниз к земле. Вой умолк, когда самолет исчез из нашего поля зрения за деревьями, но тут же раздался оглушительный грохот. Мы были вне себя от радости: наша зенитная артиллерия сбила фрица! Фриц бахнулся о землю! Спустя несколько ми-

нут ситуация повторилась: такой же самолет с таким же воем рухнул вниз, затем последовал грохот. В этот раз мы увидели еще и вспышку где-то между деревьями парка.

Это было так здорово, так патриотично, так победоносно! Однако же пора было возвращаться. Мама как-никак беспокоится. Вскоре мы выплыли из канала в пруд. И когда были уже метрах в пятидесяти от нашего причала, появился третий самолет, который тоже был сбит. Вот тут мы и увидели нашего кузена: он бежал вдоль берега, махал нам руками — мол, возвращайтесь немедленно — и что-то кричал, но рев самолета заглушал его слова. Мы налегли на "весла", но, увы, лодка едва тащилась. Внезапно Генек, как был в одежде, бросился в воду, кролем подплыл к нам и с силой толканул лодку к берегу. Едва ее нос уткнулся в сушу, Генек схватил нас с Анджеем за шиворот и помчался с нами к откосу.

Пока он волок нас вверх по склону, я услышал где-то высоко в небе вой очередного сбитого самолета. Только мы успели взобраться на откос, как Генек повалил нас на землю. Вой усиливался, он словно пробуравливал мне спину. Я не выдержал и, чуть приподняв голову, со страхом глянул вверх — среди деревьев мелькнул темный силуэт самолета, потом раздался сильнейший взрыв, и нас накрыло потоком воды, грязи и водорослей. Как в морской битве: подстрелили — потопили. От лодки не осталось и следа.

Не думаю, что пилот бомбардировщика хотел потопить лодку (теперь она уже скорей была подводной лодкой); не исключено, что целью его была наша машина, укрытая тут же рядом, под деревьями, — он мог заприметить солнечные блики на никелированных частях кузова. И ошибся на какой-нибудь десяток с небольшим метров.

Невдомек мне тогда было, что в тот самый момент кончилось мое детство. За месяц до своего десятилетия я вступил в пору мужской зрелости.

Конец моей войны

17 января 1945

В конце 1944 года вихри войны занесли наше семейство — маму, меня и двух моих братьев — в городишко Каминск неподалеку от Пётркова Трибунальского. Отца с нами не было. Те же военные вихри погнали его по дорогам Карпатской бригады[1]: Ирак, Египет, Тобрук, Монте-Кассино, Болонья.

К январю 1945-го исход войны был предрешен. Восточный фронт уже шесть месяцев проходил по линии Вислы, на западе наступление фон Рундштета в Арденнах закончилось полным разгромом немцев, союзнические войска готовились к штурму линии Зигфрида, однако польскому населению на оккупированных территориях по-прежнему приходилось несладко. Оккупанты ужесточили репрессии, вдобавок именно в той местности, где мы тогда находились, немцы стали возводить оче-

1. Карпатская стрелковая бригада, сражавшаяся в составе польской армии в Северной Африке. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)

редную линию обороны. Жителей Каминска ежедневно выгоняли рыть окопы, противотанковые рвы, разного рода огневые позиции. В городке, насчитывающем менее тысячи человек, располагался немецкий гарнизон в две сотни солдат — в основном пожилых резервистов и юнцов из гитлерюгенда. Гарнизон выполнял функцию поддержания порядка, то есть неукоснительно использовал контингент рабочей силы для укрепления обороноспособности Третьего рейха.

В полдень 17 января я навестил жившего в соседней деревеньке больного гриппом приятеля из "Серых шеренг"[1]. А около трех пополудни возвращался домой по шоссе, пересекающему неоглядную снежную равнину. Погода была чудесная — небо без единого облачка, солнце, заснеженные поля... Морозило, правда, но при быстрой ходьбе этого не чувствовалось: ветерок был слабый, воздух сухой.

Я находился примерно в полукилометре от первых городских строений, когда громыхнул пушечный выстрел, за ним второй, третий. В городке началось истинное светопреставление. Неумолкающие автоматные очереди слились с тарахтеньем крупнокалиберного пулемета, с гулом одиночных пушечных выстрелов.

Внезапно у въезда на шоссе появилась военная немецкая автомашина и за нею следом два танка. Две "пантеры". Они двигались в мою сторону, но башни их были обращены назад.

Когда машина оказалась метрах в ста от меня, из-за изгородей слева и справа от шоссе выползли еще два танка — таких я раньше не видел. Третий на своем пути проехал через овин, превратив его ворота в щепки.

Ситуация прояснилась, когда вся эта техника стала стрелять друг в друга. Потрясенный, я стоял один-одинешенек на безлюдной дороге, вокруг — белая пустыня, ни кустов, ни деревьев, не говоря уж о строениях.

И тут я заметил глубокую яму на краю дороги. Таких ям, предназначенных для стрельбы фаустпатронами, полно было вдоль шоссе, они являлись частью упомянутой выше оборонительной системы. Я не раздумывая спрыгнул в яму и скрючился на дне в надежде, что все это вот-вот закончится.

Машина вскоре миновала меня, фыркая и хрипя — двигатель явно был поврежден. "Пантеры" медленно приближались: все громче становился рокот моторов, лязг гусениц, пальба из орудий. Впрочем, русские танки тоже стреляли без умолку, но вроде бы не очень метко — свист их снарядов я слышал где-то поблизости, а отголоски взрывов доносились издалека.

"Пантеры" проехали мимо. Один танк, очевидно, двигался по шоссе, звуки второго слышались по другую сторону моего укрытия. Канонада не умолкала, а я торчал в яме, беспомощный, в самом прямом смысле зажатый меж двух огней. "Пантеры" отдалились, теперь я слышал лязг гусениц русских танков, они неотвратимо приближались, и, судя по всему, их было несколько.

1. "Серые шеренги" — подпольная молодежная организация, действовавшая против немецких оккупантов. (*Прим. автора.*)

Я уже хотел было высунуться, но вовремя сообразил: это всего опаснее. Если русские заметят, что кто-то сидит в яме — а уж им ли не знать назначение таких ям, — мне конец. Они не станут выяснять, что я за гусь и с какой стати играю здесь в прятки, одна-две гранаты... да нет, достаточно и одной. Минуту назад я чертовски мерз, теперь же меня бросило в жар и становилось все жарче, по мере того как лязг приближался. Я был уверен, что вот-вот танк окажется у меня над головой... но, по счастью, он проехал в нескольких метрах от ямы — я слышал громкие хриплые голоса советских солдат, перекрикивавших рев мотора. Хотя танки меня миновали, по долетавшим звукам я понял, что по меньшей мере один из них задержался поблизости от моей дыры и регулярно лупит из пушки.

Время шло, канонада не утихала. Я начинал замерзать — ветер сдувал снежную пыль прямо за ворот куртки. Особенно мерзли ладони, ступни, лицо и пиписька. В какой-то момент мне показалось, что там, в штанах, попросту пусто. Сунув обе руки в ширинку, я попытался разогреть бедолагу.

Отголоски выстрелов явно удалялись, и я решил осмотреться. Впечатляющее зрелище. На белой равнине все было видно как на ладони. Немецкая автомашина стояла охваченная пламенем. Одной из "пантер" тоже, очевидно, досталось — она не двигалась, хобот ее пушки как-то странно свешивался вниз, касаясь земли (у меня даже мелькнула мысль: повесила нос на квинту — идиотическая в такую минуту!) Другая "пантера" стояла рядом и время от времени била по советским танкам. Один из них полыхал огнем.

Вдали несколько черных фигурок бежало через поле к дальнему лесу — вероятно, это были солдаты из немецкой автомашины; второй танк, возможно, остался, чтобы прикрыть убегающих.

Длилось это недолго. В какую-то минуту "пантера" взорвалась, канонада умолкла, зато застрочил станковый пулемет. Один из бегущих упал, двое других, кинувшись к раненому, пытались его поднять — очередная серия выстрелов скосила всех троих. Остальные, было их еще четверо, остановились, побросали оружие и подняли руки вверх. Советский танк медленно перекатился через шоссе и направился к этой группе. Встал, с него соскочили несколько солдат и, пригнувшись, с автоматами в руках, побежали в сторону немцев. Я видел, как четыре фигурки слились в одно пятно. Люди жались друг к другу. Они все понимали. Быть может, молились. Внезапно все четверо повалились в снег. Спустя секунду я услышал пулеметную очередь. Русские подошли к неподвижным телам, дали по ним еще три-четыре залпа, затем принялись обыскивать убитых.

На Восточном фронте вырвавшиеся вперед бронетанковые части — как советские, так и немецкие — пленных не брали.

Замерзший, с закоченевшей физиономией, я выполз из спасительной ямы и поплелся домой.

На рыночной площади городка — несколько танков, самоходная радиостанция и множество вдрызг пьяных солдат. Собрались там и жители, на лицах растерянность, особенно у женщин. То и дело слышатся выкрики русских: "Давай сюда германца! Прихлопнем его!" Местным подонкам — лафа; охваченные эйфорией, они тащат за собой советских

солдат, вместе обшаривают сараи, овины, погреба. Время от времени слышатся автоматные очереди. Выследил, значит, сволочь, небось горд собой, пришел его час, как же, он теперь властвует над смертью. И "освободитель" доволен: еще одни трофейные часы обрел (позже мне встречались герои, у которых красовалось по два-три таких трофея на обоих запястьях).

Дома меня встречают как восставшего из мертвых. Родные насмерть перепуганы долгим моим отсутствием. Они знали, куда я пошел, а им уже сообщили, что именно там была самая горячая точка на всем Восточном фронте.

Мама натирает меня скипидаром, переодевает во все теплое, отпаивает оккупационным "чаем" с малиновым соком, все возбужденно выпытывают подробности последних часов. В тот день я — объект всеобщего внимания, чувствую себя прекрасно, однако назавтра, ближе к вечеру, начинается лихорадка, кашель, головная боль. Мама укладывает меня в постель; бутылки с горячей водой, какой-то настой с тем же малиновым соком. Ночью меня колотит сухой мучительный кашель, прошибает пот, утром температура подбирается к сорока.

Мама нервничает: в радиусе нескольких километров вокруг нет ни единого врача. Еще месяц назад здесь был доктор — симпатичный доброжелательный старичок. К несчастью, его арестовали гестаповцы: доктор прятал у себя раненого аковца[1]. Выдал его один из местных, пьянчуга, — надо полагать, за бутылку водки. Спустя несколько дней Дохляк (выглядел он как живые мощи, пропитанные денатуратом, отсюда и прозвище) был застрелен по приговору Армии Крайовой.

За неимением врача мама приводит местного ветеринара. Коновал прослушивает меня старинным деревянным стетоскопом, качает головой. Прописывает банки (кошмар!) и что-то "потогонное" — мало, что ли, я и без того потею? Следующие два-три дня очень тяжелые: сухой кашель, боль в боку, сперва в левом, потом в обоих, душно, я обливаюсь потом, чувствую непреодолимое отвращение к еде и при этом нестерпимую жажду. Слышу, как мама советуется с соседками, с акушеркой. Доносятся слова: "воспаление легких". Снова визит ветеринара и категорический его приговор: двустороннее воспаление. Он опять что-то прописывает, но я почти ничего не помню — все становится далеким, нереальным, кроме разве что кашля, пота, нехватки воздуха и ощущения невыносимой жары.

Колеблющаяся граница между сном и явью. Помню склонившееся надо мной заплаканное лицо матери (кажется, ночью), она молится, она говорит, что очень, очень любит меня, но в тот момент это лицо, эти слезы, эти слова ровно ничего для меня не значат. Полное равнодушие, мир вокруг пуст, безразличен, не имеет ко мне отношения.

Я брежу: стою на корме красавца парусника, знаю, что ведет его Джозеф Конрад и Мартин Иден в одном лице. Мы находимся где-то неподалеку от Борнео и Целебеса. Я смотрю вниз, за борт, там вода дивной красоты, кристально чистая, светло-зеленая, с золотистыми мерца-

1. Боец Армии Крайовой — подпольной военной организации, в 1942–1945 гг. действовавшей в оккупированной немецкими войсками Польше и подчинявшейся польскому эмигрантскому правительству в Лондоне.

ющими отблесками на мелких волнах. Вижу, как едва заметно подо мной проплывает песчаное дно, как снуют меж водорослей пестрые экзотические рыбы. Знаю, что вода изумительно холодная и что вот сейчас я прыгну в нее, почувствую бодрящий холод и смою с себя этот мерзкий, вонючий пот, который ручьями льется по моему лицу, животу, по ногам, из подмышек. Перекидываю ногу через борт и — пленка обрывается. Снова жжет меня одеяло, простыня; к счастью, немного погодя я возвращаюсь на свой парусник.

Тяжкое это состояние длится около недели. Температура то и дело подскакивает выше сорока, я почти не прихожу в сознание, порой в горячечном бреду несу околесицу. Никто, кроме мамы, уже не верит в благополучный исход.

И тут в городок входит очередное подразделение Красной армии, второй ее эшелон. У военных есть полевой лазарет, и в нем — врач. Один из друзей нашего семейства, владелец единственного в городке кабака(!), помчался на квартиру, где стояли русские, с литром самогона и притащил с собою врача.

Доктор, молодой, пьяный в стельку то ли калмык, то ли бурят, поискал у меня пульс (пульса не было), приподнял мне веки и выматерился. Однако признал, что, коль скоро я еще теплый, может, все же стоит что-то предпринять. Раскрыв свою сумку, вытащил оттуда шприц и без лишних слов, не думая о стерильности, сделал мне укол, кажется, в сердце. После чего иглой, больше похожей на шило, проткнул мне язык, велел маме вытянуть его на подбородок, а сам принялся мять мне ребра и хлестать по физиономии. В результате пульс появился. Я даже задышал, что, впрочем, делаю до сих пор. Слава богу, доктор не прибегнул к искусственному дыханию по методу "рот в рот". Хотя бы одним тяжким похмельем меньше на моем веку.

Красная армия спасла меня, а заодно я узнал, сколько стоит моя жизнь. Литр самогона.

Ханна Арендт и суд над Холокостом

Ханна Арендт *Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме.* — М.: Европа, 2008. — 421 с.

Как это ни удивительно, изданная по-английски еще в 1963 году книга Ханны Арендт "Эйхман в Иерусалиме" вышла на русском языке спустя считаные годы после ее публикации на иврите: хотя речь в книге идет о самом знаменитом судебном процессе за всю историю еврейского государства, перевод монографии на государственный язык Израиля занял долгие тридцать семь лет. Учитывая, что в связи с иммиграционными потоками процент англоговорящих граждан в Израиле самый высокий среди неанглоязычных стран, дело явно не в нехватке профессиональных переводчиков: книгу эту, написанную одной из самых крупных еврейских интеллектуалок XX столетия, в еврейском государстве читать не хотели. Не укладывается то, что в ней написано, в модель коллективной памяти о Холокосте, которая в Израиле давно уже стала канонической. В результате по-русски уже изданы и переведенные с немецкого магнитофонные записи допросов А. Эйхмана в Израиле (М.: Текст, 2002), и речь израильского генерального прокурора на процессе Эйхмана (Иерусалим: Библиотека "Алия", 1975), и переведенная с иврита книга Моше Перлмана "Как был пойман Адольф Эйхман" (СПб.: Лимбус пресс, 2001) — а вызвавшая самые жаркие споры книга великой Ханны Арендт появилась по-русски только в 2008 году, спустя тридцать три года после смерти ее автора. К этому времени по-русски уже вышли и ее фундаментальные "Истоки тоталитаризма" (М.: ЦентрКом, 1996), и сборники эссе "Люди в трудные времена" (Московская школа политических исследований, 2002) и "Скрытая традиция" (М.: Текст, 2008). Может, это в чем-то и хорошо: подготовленный русскоязычный читатель (а тираж в две тысячи экземпляров заведомо будет раскуплен только подготовленными читателями) уже знаком и с интеллектуальным наследием Ханны Арендт, и с деталями суда над Эйхманом, не говоря уж о Холокосте как таковом (масштабная "Энциклопедия Холокоста" под редакцией Уолтера Лакёра вышла по-русски двумя изданиями, а общий список публикаций по теме составляет многие сотни книг и статей).

Вероятно, желая избежать каких бы то ни было обвинений, редакторы книги пошли на довольно странный шаг — в качестве эпилога был помещен разгромный пятистраничный отзыв, автор которого пишет, что "к книге довольно трудно относиться с симпатией", что книга эта — "провал", "произведение глубоко ошибочное", что она "пронизана пренебрежением к жертвам Холокоста", что высказывания автора "в адрес евреев язвительные, абсолютно клеветнические", что ее "теории и утверждения <...> не только неточные, но чрезвычайно обидные и оскорбительные" и т. д. Довольно странно издавать книгу, помещая в качестве послесловия к ней такой уничижительный отзыв, написанный американо-израильским функционером, профессионально занимающимся розыском по всему миру нацистских преступников, собственный интеллектуальный уровень которого, мягко говоря, уступает уровню Ханны Арендт — одной из наиболее выдающихся представительниц политической философии предыдущего столетия. Более того, в отличие от автора послесловия, родившего в США уже после окончания Второй миро-

вой войны, Ханна Арендт, как и подсудимый Адольф Эйхман, родилась в 1906 году: он родился в австрийском Золингене, она — в Ганновере, и ее родным языком был немецкий. Для него приход к власти национал-социалистов стал началом более или менее успешной карьеры государственного служащего, после двадцати семи лет не шибко успешных брожений и метаний (А. Эйхман не закончил ни школы, ни технического училища, и ни в одном из мест, где работал, он не достиг никаких профессиональных успехов). Для нее это стало началом профессиональных мытарств и тяжелых миграционных метаний: не сумев получить работу в германских университетах или иных учреждениях из-за ограничительных антисемитских уложений новых властей, она вынуждена была вначале перебраться во Францию, а потом — в США. Они находились по разные стороны баррикад, и А. Эйхман, вступивший в 1932 году в НСДАП и в СС, принадлежал как раз к той группе немцев, которую Х. Арендт, арестовывавшаяся гестапо и побывавшая узницей в одном из концлагерей на территории Франции, имела самые глубокие личные причины ненавидеть более всего. Тем удивительнее, что ее книга вызвала столь негативную реакцию в Израиле, да и во многих кругах еврейской диаспоры.

Почему же это произошло? Наверное, по нескольким причинам.

Во-первых, если в Израиле А. Эйхман еще до суда и даже до поимки был заочно объявлен дьяволом, причем не каким-то импульсивным публицистом, а судьей окружного суда в принятом им вердикте (по делу одного из руководителей венгерского еврейства Роже Исраэля Кастнера, который вел с А. Эйхманом переговоры), то Ханна Арендт рисует совершенно другой образ — обычного человека, "практически необразованного", "обладавшего весьма скромными мыслительными способностями", возглавлявшего один из отделов одного из департаментов не самой влиятельной службы (отдел В-4 Четвертого департамента РСХА); "технически и бюрократически пост Эйхмана был не таким уж высоким". Раз за разом Ханна Арендт подчеркивает, что идеи, касавшиеся "окончательного решения еврейского вопроса", исходили от других людей, другие люди и внесли куда более весомый вклад в их реализацию: рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер (покончил с собой спустя менее чем три недели после окончания войны в мае 1945 года), обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих (умер от ран после покушения на него, совершенного заброшенными с территории Великобритании чешскими патриотами в июне 1942 года), группенфюрер СС и руководитель гестапо Генрих Мюллер (судьба которого после 1945 года неизвестна; Х. Арендт также упоминает об этом на с. 108 книги), бригадефюрер СС Франц Шталекер (смертельно ранен советскими партизанами в 1942 году) и другие. Эйхману же "так и не удалось получить чин выше, чем оберштурмбаннфюрер СС (ранг, в армейской иерархии равный подполковнику)", — отмечала Х. Арендт.

Это превращало всю ситуацию в принципиально иную, чем ее видели израильские власти: одно дело судить главного палача еврейского народа, "зачинателя, организатора и ответственного за осуществление преступления, именуемого 'окончательным разрешением еврейского вопроса'... уполномоченного, распорядителя и руководителя этой 'операции'", который "был душой преступного заговора, имеющего целью истребление еврейского народа" (цитаты из заключительной, одиннадцатой, главы выступления генерального прокурора Г. Хаузнера на процессе Эйхмана), и совсем другое — подполковника, "возглавлявшего один из отделов одного из департаментов" РСХА... Более того: в то время как израильские власти рисовали портрет антисемита, с самых моло-

дых лет потерявшего человеческий облик (достаточно прочитать третью главу выступления Г. Хаузнера), Х. Арендт пишет о человеке, который "умел быть благодарным: наличие в собственной семье евреев было среди тех самых 'личных причин', по которым он не испытывал к евреям ненависти". Кузен мачехи А. Эйхмана был женат на дочери еврейского коммерсанта из Чехословакии, при помощи которого А. Эйхман получил в 1927 году место коммивояжера. И даже в Вене, где он в 1938–1939 годах добился таких "выдающихся" успехов в деле принудительной эмиграции евреев, у А. Эйхмана была любовница-еврейка. Чувствительность А. Эйхмана к крови доходила до того, что он не мог даже смотреть на технические средства, придуманные нацистами для массовых убийств евреев. "Я видел молодых людей, превращенных в садистов. Как можно такое делать? Просто стрелять в женщин и детей? Это невозможно!", — патетически говорил человек, лично отвечавший за доставку сотен тысяч евреев в лагеря уничтожения. Не зверь в человеческом обличье, а пунктуальный, исполнительный чиновник второго эшелона, по воле судеб оказавшийся там, где он оказался... Эпохальность события предстает сильно смазанной, а ведь речь идет о единственном человеке за всю шестидесятилетнюю историю Государства Израиль, который был приговорен судом к смертной казни и в отношении которого этот приговор был приведен в исполнение!

Во-вторых, Х. Арендт ставила под сомнение всю концепцию суда как такового. Она была права, когда утверждала, что прокурор Г. Хаузнер говорил в суде голосом премьер-министра Д. Бен-Гуриона, для которого поимка и суд над А. Эйхманом были событиями первостепенной важности. С его точки зрения, именно суд над А. Эйхманом был доказательством того, что создание Государства Израиль было актом необходимым и оправданным, ибо впервые в истории еврейский народ смог поймать и судить одного из своих самых кровавых палачей. Когда группа израильских интеллектуалов обратилась к Д. Бен-Гуриону, объявившему о поимке А. Эйхмана с трибуны парламента, с предложением передать нацистского преступника международному суду, глава правительства ответил им категорическим отказом. Для Д. Бен-Гуриона было крайне важно показать, что Израиль является суверенным государством, которое не нуждается в чьем-либо внешнем одобрении для проведения своей собственной политики, в том числе и относительно тех, кто совершал преступления против еврейского народа до того, как Государство Израиль было основано. Передача дела А. Эйхмана в какой-либо международный суд виделась Д. Бен-Гуриону как свидетельство "гражданско-правовой неполноценности" Израиля среди других наций, и аргументы формально-юридического характера казались ему совершенно незначительными.

Ханна Арендт соглашалась с концепцией политического сионизма в том, что "еврейский народ в целом никогда не был организован, у него не было своей территории, своего правительства, своей армии, что в час, когда это ему было так необходимо, у него не было своего правительства в изгнании, которое могло бы представлять его среди союзников... что у него не было ни запасов оружия, ни молодежи, прошедшей воинскую подготовку". Нет сомнений, что под этими словами Х. Арендт Д. Бен-Гурион подписался бы обеими руками. Более того, Х. Арендт не оспаривала и вынесенный Иерусалимским окружным судом приговор: "фактов, за которые его следовало бы вздернуть, было более чем достаточно"; "после того как суду были представлены магнитофонные записи [допросов А. Эйхмана], смертный приговор был вполне очевидным даже с юридической точки зрения". Казалось бы, что бы израильским общественным

деятелям не прийти в восторг от ее книги?

Но Х. Арендт пошла гораздо дальше, причем в двух направлениях. Во-первых, она раз за разом не оставляла камня на камне от неоднократно повторявшегося утверждения Д. Бен-Гуриона, что Германия К. Аденауэра — это "другая Германия". В январе 1952 года Израиль оказался на грани гражданской войны, когда участники демонстрации, организованной оппозиционными партиями, попытались штурмовать здание парламента, утверждавшего договор о репарациях с Западной Германией. Голосование по столь судьбоносному для еврейского народа вопросу (получение немецких денег как компенсации за конфискованное имущество жертв Холокоста) закончилось благоприятно для Д. Бен-Гуриона благодаря поддержке арабских депутатов: еврейского большинства ему добиться не удалось. Понятно, что этот вопрос беспокоил Д. Бен-Гуриона и в начале 1960-х (дипломатические отношения между Израилем и ФРГ или ГДР еще не были установлены), и ему было крайне важно утвердить идею о существовании "другой Германии", не несущей прямой ответственности за злодеяния гитлеровской эпохи. Ханна Арендт утверждала прямо обратное: "свойственные Эйхману искажения действительности приводили в ужас потому, что сама действительность была чудовищной, но в принципе они мало чем отличаются от всего, что происходит ныне в посттитлеровской Германии"; об умерщвлении жертв газом: "немцы — обычные немцы, не эсэсовцы и даже не члены нацистской партии — и по сей день относятся к акту, который в других странах называется убийством", как к "медицинским процедурам"; "высокопоставленные госчиновники, которых Гитлер вынужден был терпеть, как вынужден их терпеть Аденауэр, хотя они и скомпрометировали себя выше всякой меры"; "со всех сторон и во всех сферах жизни и труда молодежь Германии окружают люди, обладающие властью и положением, — эти люди действительно виновны, но ничего подобного они не чувствуют"; "немецкое общество, состоявшее из восьмидесяти миллионов человек, так же было защищено от реальности и фактов теми же самыми средствами, тем же самообманом, ложью и глупостью, которые стали сутью его, Эйхмана, менталитета. <...> Практика самообмана была до такой степени всеобъемлющей... что даже теперь, через восемнадцать лет после падения нацистского режима... порою трудно не думать, что лицемерие стало составной частью немецкого национального характера" и т. д. Х. Арендт отдельно отмечает, что, "если бы администрация Аденауэра была слишком чувствительной к тем, чье прошлое запятнано сотрудничеством с нацистами, этой администрации попросту бы не существовало", поэтому в результате обвинению "приходилось лавировать, чтобы не поставить в неудобное положение администрацию канцлера Аденауэра". То есть не "Правосудие в Иерусалиме", как озаглавил свою книгу государственный обвинитель Г. Хаузнер, а политический процесс, имевший воспитательные и пропагандистские цели: сформировать некий исторический нарратив памяти о Холокосте и укоренить его в умах израильских граждан, прежде всего неевропейских евреев, а также молодежи: "аудитория... должна была состоять из молодых израильтян, не слишком хорошо знающих историю, или евреев из стран Востока, которым ее никогда не рассказывали".

Во-вторых, Х. Арендт сделала очевидный акцент на еврейском коллаборационизме, на высочайшей степени готовности еврейских общинных лидеров сотрудничать с ведомством А. Эйхмана и его коллег в надежде спастись самим, пусть и ценой гибели сотен тысяч других евреев. Эта проблема раскалывала израильское общество в ходе дела Кастнера, который все же был при-

знан виновным Иерусалимским окружным судом, потом убит неизвестными и лишь посмертно оправдан тремя голосами против двух Верховным судом Израиля (в 1958 году). Суд над А. Эйхманом (а с ним, как указывалось выше, и вел переговоры Р. И. Кастнер в 1944 году) был нужен Д. Бен-Гуриону как раз для того, чтобы "перевести стрелки" от того, кто в бесчеловечных условиях "продал душу дьяволу", к самому "дьяволу". Х. Арендт отказывалась следовать этому вектору, вопрос об ответственности еврейских лидеров (как религиозных, так и светских) Германии и порабощенных нацистами стран поднимался ею снова и снова. Вывод ее был страшен, и принять его было чудовищно сложно: "Где бы ни жили евреи, у них были свои признанные лидеры, и почти все из них — за малым исключением — тем или иным образом, по той или иной причине сотрудничали с нацистами. <...> Если бы еврейский народ действительно был неорганизован и у него не было бы вожаков, тогда воцарился бы хаос, и было бы множество великое страданий, но общее число жертв вряд ли бы тогда составило от четырех с половиной до шести миллионов".

Книгу Ханны Арендт было больно читать в первой половине 1960-х, обжигает руки она и сейчас. Вопрос о том, как подобная беспримерная по своим масштабам трагедия в принципе стала возможной, рассмотрен Х. Арендт с потрясающей глубиной, причем еврейско-германское происхождение автора в значительной мере предопределило глубину проникновения в самую суть исследуемых вопросов. Счастье, что эта книга была написана. Замечательно, что она стала доступна и русскоязычным читателям.

Алек Д. Эпштейн

Иерусалим

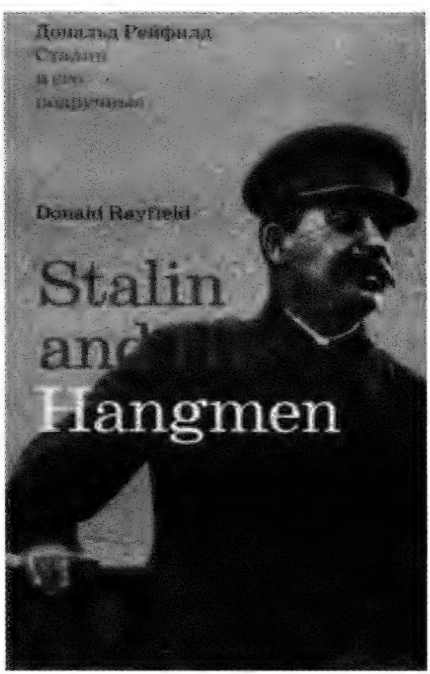
Информация к размышлению

Non-fiction

с Алексеем Михеевым

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая..." и "Идет война народная, священная война!" – эти две песенные строки о Великой Отечественной, как ни парадоксально, не противоречат друг другу. Все зависит от масштаба и ракурса взгляда: на уровне схватки наций война была действительно "священной", а на уровне человеческом – например, в солдатских семьях – она выглядела скорее "подлой". И многое в оценке войны зависит от того, на каком ракурсе делается акцент. После окончания войны прошло уже почти две трети века, но до сих пор не утихают споры о значении Победы, о ее цене и ее последствиях. Три книги, выпущенные в 2008 году издательством "Новое литературное обозрение", специально войне не посвящены, однако в каждой из них ей отведено несколько десятков страниц, и – что главное – в них как раз представлены разные ракурсы, разные уровни описания войны.

Главная тема вышедшей в 2004 году книги англичанина **Дональда Рейфилда** предельно ясно описывается ее названием: *Сталин и его подручные* (перевод с английского автора), а "военная" глава именуется здесь еще более красноречиво: *Палачи на войне*. Сороковые годы, по Рейфилду, стали естественным продолжением тридцатых, когда на пути к неограниченной личной диктатуре Сталин последовательно расправлялся с ближайшими соратниками, уничтожая в ходе Большого Террора не только высшее партийное, но и военное руководство, оставляя при себе лишь преданных *подручных*, каждый из которых, впрочем, рисковал быть в любой момент "преданным" в другом смысле: то есть преданным и уничтоженным своим главным и единственным хозяином. Впрочем, помимо страданий, война принесла с собой также и робкую надежду на лучшее будущее, на грядущую либерализацию режима: не случайно первыми словами первого обращения Сталина к народу было не "Товарищи!" и не "Граждане!", а "Братья и сестры!" Рейфилд цитирует одного из персонажей пастернаковского "Доктора Живаго", считавшего, что *война явилась очистительной бурею, струей свежего воздуха, ветром избавления*. И именно эти надежды – в сочетании с естественным патриотическим инстинктом защиты Родины и спасения своего дома, – наверное, и породили тот са-



моотверженный энтузиазм, который в конечном счете привел к победе над фашизмом.

Победа, как известно, далась дорогой ценой: число погибших в кровавой мясорубке исчисляется миллионами. А после войны долгожданные надежды на свободу так и остались лишь надеждами: напротив, тоталитарный строй продолжал укрепляться. Внутри СССР было проведено несколько массовых депортаций целых народов, а восточноевропейские страны, освобожденные Советским Союзом от немецкой оккупации, вскоре ощутили на себе оборотную сторону этого "освобождения", попав в орбиту советского (то есть сталинского) влияния со всеми вытекающими отсюда негативными следствиями. Тем не менее сегодня практически все мы считаем, что победа в войне стала главным событием XX века и чуть ли не единственным полноценным оправданием самого существования СССР.

Однако, даже если это утверждение объективно справедливо, оно имеет немаловажный побочный эффект, поскольку дает серьезный козырь в руки сталинистов: ведь если Сталин возглавлял страну, а страна одержала победу фактически над воплощением мирового зла, то, следовательно, Сталин заслуживает в российской истории самой позитивной оценки. Подобную логику разделяют многие наши соотечественники, что показал недавний всенародный опрос на тему "Имя: Россия", в котором Сталин занял одно их первых мест. Именно для них и была бы полезна книга Рейфилда – как попытка всестороннего анализа личности государственного деятеля, который в своих реальных поступках руководствовался, вслед за Макиавелли, идеей укрепления сильной власти любой ценой, без оглядки на какие-либо моральные ограничения.

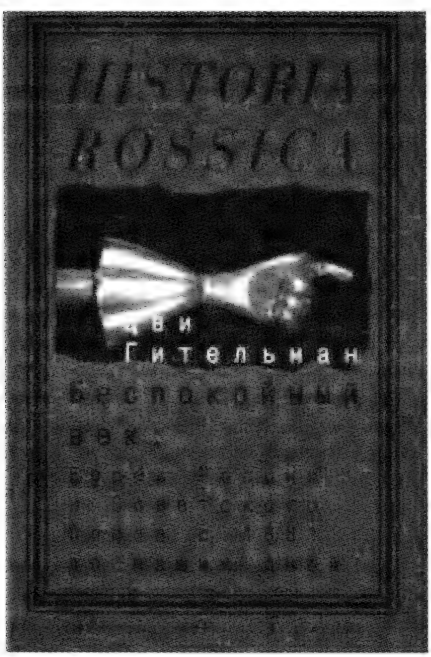
"Военная" глава в вышедшей в 2001 году книге профессора Мичиганского университета **Цви Гительмана** *Беспокойный век: Евреи России и Советского Союза с 1881 г. до наших дней* (авторизованный перевод с английского **А. Б. Каменского**; научный редактор **О. В. Будницкий**) озаглавлена лаконично и зловеще: *Холокост*. Несмотря на небольшой объем главы, некоторые аспекты трагедии восточноевропейского еврейства описаны здесь глубже, чем в других источниках; при этом роль Советского Союза выглядит опять же неоднозначно.

В 1939–1940 годах СССР, в соответствии с пактом Молотова–Риббентропа, оккупировал несколько соседних стран и территорий, в результате чего *от 1,8 до 2 млн. евреев, бывших граждан Румынии, Польши и государств Балтии, оказались под советской юрисдикцией*. В 1940 году многие из них *были арестованы и депортированы в советскую Среднюю Азию и край Коми на Севере;* кроме того, *всех жителей Восточной Польши заставили принять советское гражданство*. Понятно, что условия жизни в отдаленных районах СССР были крайне суровыми, однако парадоксальным образом *в результате депортации внутрь Советского Союза по крайней мере четверть миллиона евреев из этих областей были непреднамеренно спасены советскими властями от уничтожения нацистами;* описывая этот казус невольного обращения "зла" в незапланированное "добро", Гительман использует словосочетание *ирония судьбы*.

Особым фактором, значимым для более адекватной оценки начального (1939–1941) периода Второй мировой войны, был антисемитизм, широко распространенный среди нееврейского населения Восточной Европы. По словам Гительмана, *несмотря на воинствующий атеизм большевиков, преследование ими сионистов и национализацию собственности, многие евреи приветствовали Красную армию как освободительницу. Один житель Восточной Польши вспоминал, что, когда пришла Красная армия, "была праздничная атмосфера. Все изменилось в одну ночь... Немцы не придут, и это было самое главное". Зато когда немцы выгнали Советы в июне–июле 1941 г., неевреи приветствовали их как освободителей и нападали на евреев, как на предателей национального дела, поскольку евреи сотрудничали с ненавистными им русски-*

ми. <...> Уже через три дня после начала немецкого наступления около тысячи евреев были убиты литовскими "партизанами" в (каунасском) *пригороде Слободка, знаменитом своей иешивой. Всего в первые несколько месяцев немецкой оккупации литовцы убили от 7 до 8 тыс. евреев.*

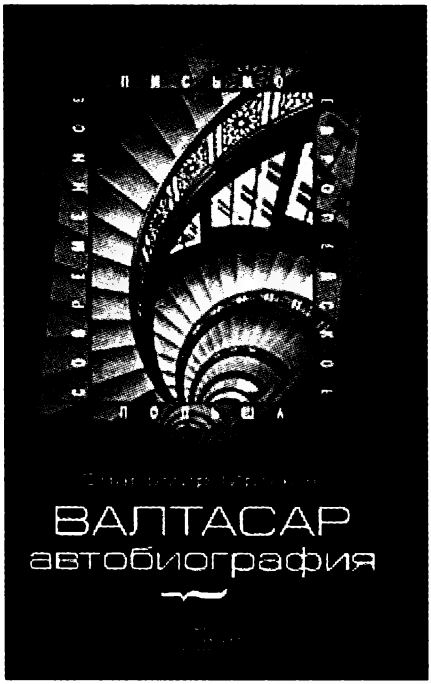
Однако настоящая катастрофа настигла евреев Восточной Европы, когда вслед за германской армией на Восток двинулись *четыре Айнзацгруппен – мобильных отряда смерти, в каждом из которых было от 500 до 900 человек.* Они *либо расстреливали евреев из пулеметов во время массовых убийств за городом, либо истребляли их при помощи голода и болезней в гетто, устроенных в таких городах, как Вильнюс, Минск, Белосток, Рига, Могилев, Житомир и др.* Ссылаясь на американского историка Рауля Хильберга, Гительман пишет, что *большинство офицеров Айнзацгруппен в гражданской жизни были людьми, имевшими специальности – среди них были юристы, фармацевты и даже оперные певцы и один протестантский священник: "Эти люди ни в коем случае не были бандитами, людьми с криминальными наклонностями, простыми преступниками или сексуальными маньяками. Большинство из них были интеллектуалы..." В течение пяти месяцев после своего появления эти "интеллектуалы" убили около полумиллиона евреев. Им помогала украинская, литовская, латышская и эстонская "милиция", набранная для службы нацистскому делу.*



Несколько страшных страниц книги Гительмана посвящены описанию массовых убийств; однако не менее страшно выглядят истории из жизни гетто. В вильнюсском гетто *до марта 1943 г. был период "стабилизации", когда массовые убийства были исключением, и евреи уверовали, что их труд нужен нацистам и они останутся живы до тех пор, пока обеспечивают высокую производительность труда.* Глава юденрата (еврейского совета, назначенного нацистами), Яков Генс, *был женат на литовке и мог избежать гетто, но, по словам его жены, решил разделить участь евреев.* Однако, исполняя функции главы гетто, Генс был обречен на решение таких этических проблем, которые решения не имеют в принципе. *Он сотрудничал с нацистами в двух "маленьких акциях", во время которых были депортированы старые и больные, на том основании, что немцы заберут всех женщин и детей, если не пожертвовать немногими.* А когда летом 1943 года Объединенная партизанская организация призвала к массовому восстанию, Генс не поддержал ее, пытаясь сохранить жизнь обитателей гетто. Тем не менее *14 сентября Яков Генс был застрелен гестаповцами,* а несколько дней спустя гетто было фактически уничтожено. И подобные личные трагедии потрясают не меньше, чем массовые расстрелы.

Совсем иначе выглядит война, если наблюдать ее не на фронте и не в больших городах, а в далекой провинции. В своей автобиографии (2006) под названием *Валтасар*[1] (перевод с польского **В. Климовского**) известный драматург **Славомир Мрожек** описывает свои детские впечатления (когда война началась, ему было девять лет, а когда закончилась – пятнадцать). Именно воен-

1. Фрагменты книги публиковались в "ИЛ", 2008, № 6.



ные главы вошли в прошлогоднюю публикацию фрагментов книги в "Иностранной литературе", поэтому подробно описывать их здесь нет нужды. Важно то, что боев в окрестностях села Боженчин (под Краковом) практически не было, массовых репрессий — тоже, война грохотала где-то вдалеке, и до здешних обитателей доносились по большей части ее далекие отзвуки. Конечно, здесь и падали бомбы, и проходили войска разных армий, но это были скорее периферийные волны.

Вот несколько впечатлений Мрожека, изложенных "пунктиром".

В сентябре 1939 польская армия отступала, и *через Боженчин проходили уже не сплоченные отряды и даже не разрозненные группы польских солдат, а просто крайне изнуренные люди.*

Затем *здание школы занял вермахт.*

Утром 22 июня 1941 года нас разбудили далекие пушки. Вскоре они замолкли, из чего мы сделали вывод, что фронт отдаляется.

В апреле 1943 года обнаружились могилы в Катыни. Конечно, мы верили, что палачи – немцы. Так нам хотелось в то время думать – по крайней мере, живущим в Центральной Польше.

В 1944-м отступали уже немцы. А четырнадцатилетний Мрожек внимание свое обращал прежде всего на новых постоялиц. *Однажды прибыла автоколонна вермахта и разместилась в деревне. У сестер Залесных, двух старых дев, остановилась молодая женщина с очень светлыми волосами... <...> Откуда-то прослышали, что она артистка. <...> Разнесся слух, что актриса со своей труппой открывают Фронтовой театр.* Осенью было разгромлено Варшавское восстание. *Беженцы из Варшавы добирались даже до Боженчина. <...> у нас в кухне мыла голову – впервые после Восстания – молоденькая девушка из Варшавы. Она мне очень понравилась. Немка из Фронтового театра мгновенно уступила ей место.* Затем у сестер Залесных появились *новые постояльцы, с востока: молодой лесничий с женой и ее братом. <...> немка из Фронтового театра и полька из Варшавы померкли.* Да, у будущего драматурга в это время, похоже, начиналась юношеская гормональная буря.

А немецкое отступление продолжалось. *Разные немцы появлялись в доме моего деда. Одного из них помню до сих пор. Он стоял на пороге кухни, статный, высокий, широкоплечий. <...> Он хотел только набрать горячей воды в котелок, который держал в руке. Его просьба на чужом языке, как и тон, совершенно неожиданные в захваченной им стране, на фоне немецкой грубости прозвучали очень непривычно. <...> В другой раз появился русский – власовец в немецком мундире. <...> Церемонно вежливый, расположился, однако, как у себя дома. Помня о Варшавском восстании, мы встретили его не слишком дружелюбно. <...> Я только понимал по отдельным польским словам, жестам и чисто инстинктивно, что власовец ненавидит коммунистов за то зло, которое Сталин причинил крестьянству.*

Первым советским человеком, которого я встретил, был офицер в шинели песочного цвета и фуражке с голубым околышем. <...> Лицо у офицера было на удивление семитским – что казалось особенно странным после немецкой оккупации, поскольку германская армия была на сто процентов Judenfrei (как выражались спесивые немцы), – и на удивление (как сказали бы через пару лет) западным.

БиблиоФИЛ

А спустя более чем тридцать лет далекое эхо этих военных впечатлений Мрожека, похоже, отозвалось в пьесе *Портной*, где жители некоей европейской страны с тревогой ждут нашествия варваров:

Его превосходительство. Так вы говорите, что варвары близко?

Портной. Они здесь, в холле.

Его превосходительство. И давно? Я всегда считал, что нас разделяют по меньшей мере сто лет и два океана.

Портной. Время летит быстро, да и на океаны теперь надежды мало.

Его превосходительство. Неприятное известие. Как они выглядят?

Портной. Ужасно. Они почти голые.

Его превосходительство. А как себя ведут?

Портной. На удивление спокойно. Рассматривают обои, обнюхивают стулья. Один съел букет роз.

Его превосходительство. С шипами?

Портной. Нет, шипы он предварительно срезал — ножичком.

Его превосходительство. Значит, он не такой уж варвар...

Адам Торп
Adam Thorpe
[р. 1956]. Английский поэт и прозаик.

Автор книги стихов *Птицы со сломанным крылом* [*Birds with a Broken Wing*, 2007] и др., романов *Элвертон* [*Ulverton*, 1992], *Нет сообщения* [*No Telling*, 2004], *Между каждым вздохом* [*Between Each Breath*, 2007] и др., сборников рассказов *Перемещения* [*Shifts*, 2001], *Вы именно так выразились?* [*Is This The Way You Said?* 2006] и др.
Роман публикуется по изданию *The Rules of Perspective* [New York: Picador, 2007].

Тамар Радцинер
Tamar Radzyner
[1932–1991]. Австрийский поэт польского происхождения.

Перевод стихов выполнен по изданию: Стелла Ротенберг / Тамар Радцинер *Моя настоящая родина* [Stella Rotenberg / Tamar Radzyner *Meine wahre Heimat*. Alecto Verlag Klagenfurt, 1999].

Джонатан Литтелл
Jonathan Littell
[р. 1967]. Франко-американский писатель. Лауреат Гонкуровской премии [2006] и Гран-при Французской академии [2006].

Автор научно-фантастического романа *Слабое напряжение: Фантазия на четыре четверти* [*Bad Voltage: A Fantasy in 4/4*, 1989], эссе *Органы безопасности в Российской Федерации: Краткая история 1991–2005* [*The Security Organs of the Russian Federation – A Brief History 1991–2005*, 2006], сборника новелл *Этюды* [*Études*, 2008], эссе *Сухое и Влажное* [*Le Sec et l'Humide*, 2008].
Перевод публикуемых глав *Toccata* и *Allemanda I et II* из романа выполнен по изданию *Благоволительницы* [*Les Bienveillantes*. Gallimard, 2006].

Уильям Т. Воллманн
William T. Vollman
[р. 1959]. Американский писатель. Лауреат премии *Виттинг* [1989], Мемориальной премии Шивы Найпол [1989] и Национальной книжной премии [2005].

Автор романов *Вы, ангелы, светлые и восходящие* [*You Bright and Risen Angels*, 1987], *Аргал: Подлинная история Покахонтас и капитана Джона Смита* [*Argal: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith*, 2001], *Восхождение к и нисхождение в: ряд мыслей о насилии, свободе и неотложных мерах* [*Risen Up and Risen Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means*, 2004], *Бедняки* [*Poor People*, 2007] и др., сборников рассказов *Истории радуги* [*Rainbow Stories*, 1989], *Атлас* [*The Atlas*, 1996] и др.
Текст публикуется по изданию *Европа-узловая* [*Europe Central*. Penguin Books, 2005].

Артур Миллер
Arthur Miller
[1915–2005]. Американский драматург. Лауреат Пулицеровской премии, премии Национального института искусств, премий Тони, О. Генри и др.

Автор романа *Фокус* [*Focus*, 1945], пьес *Все мои сыновья* [*All My Sons*, 1947; рус. перев. 1948], *Смерть коммивояжера* [*Death of a Salesman*, 1949; рус. перев. 1956], *Воспоминания о двух понедельниках* [*A Memory of Two Mondays*, 1955; рус. перев. 1958] и др., повести *Неприкаянные* [*Misfits*, 1961; рус. перев. 1961]. Кроме того, на русском языке вышел сборник его критических статей *Наплывы времени. История жизни* [1998]. В *ИЛ* напечатаны его пьесы *Вид с моста* [*A View from the Bridge*, 1957, № 4], *Это случилось в Виши* [*Incident at Vichy*, 1965, № 7], *Цена* [*The Price* 1968, № 6], *Часы Америки* [*The American Clock*, 1988, № 11], рассказ *Голая правда* [*The Bare Manuscript*, 2005, № 10].
Рассказ *The Performance* взят из сборника *Свидетель* [*Presence*. New York: Viking Penguin, 2007].

Эрнест Миллер Хемингуэй
Ernest Miller Hemingway
[1899–1961]. Американский писатель. Лауреат Пулицеровской премии [1953], Нобелевской премии по литературе [1954].

Автор романов *И восходит солнце (Фиеста)* [*The Sun Also Rises*, 1926], *Прощай, оружие!* [*A Farewell to Arms*, 1929], *По ком звонит колокол* [*For Whom the Bell Tolls*, 1940] и др., повести *Старик и море* [*The Old Man and the Sea*, 1952], автобиографической книги *Праздник, который всегда с тобой* [*A Moveable Feast*, 1964] и др.
Перевод стихов выполнен по изданию *Полное собрание стихотворений* [*Complete Poems edited, with an introduction and notes by Nicholas Gerogiannis.* University of Nebraska Press Lincoln and London, 1979].

Жак Дюшен
[наст. имя Мишель Сен-Дени]
Jacques Duchesne
[Michel Saint-Denis]
[1897–1971]. Театральный актер и режиссер, работал во Франции, Англии, США и Канаде.

Основатель *Лондонской театральной студии* [*London Theatre Studio*, 1935]. Руководитель *Королевского шекспировского театра* [*Royal Shakespeare Company*, совместно с Питером Бруком, 1962–1965]. Во время Второй мировой войны под псевдонимом Жак Дюшен вел на Би-би-си радиопередачу *Французы обращаются к французам.*
Текст публикуется по изданию *Два дня с Черчиллем* [*Deux jours avec Churchill.* Éditions de l'aube, 2008].

Ян Эрик Волл
Jan Erik Vold
[р. 1939]. Норвежский поэт, драматург, эссеист, переводчик. Лауреат премии *Гюльдендаль* [2000].

Автор многих сборников стихотворений, в том числе *Печаль. Песня. Путь* [*Sorgen. Sangen. Veien*, 1987], *Не* [*Ikkje*, 1997], *Создатель снов сказал* [*Drømmemakeren* sa, 2004], сборников эссе *Здесь. Здесь, в этом мире* [*Her. Her i denne verden*, 1984], *Счастливое Рождество с Гертрудой Стайн* [*God jul med Gertrude Stein og andre essays*, 2005] и др. Ему принадлежит несколько документальных книг, в том числе биография Гунвор Хофму *Воспевшая тьму* [*Mørkets sangerske*, 2000]. Переводил на норвежский произведения П. Бикселя, С. Беккета, Т. Транстрёмера, А. Рембо, Б. Дилана.
Текст публикуется по изданию *Дневник Рут Майер. Еврейская беженка в Норвегии* [*Ruth Maiers dagbok: en jødisk flyktning i Norge.* Oslo: Gyldendal, 2007].

Войцех Лободзинский
Wojciech Łobodziński
[р. 1929]. Инженер-электронщик.

Во время немецкой оккупации – член подпольной молодежной организации *Серые шеренги.* Участвовал в Варшавском восстании 1944 г., выполняя обязанности радиста, а затем курьера.
Текст публикуется по рукописи, любезно предоставленной автором редакции журнала.

Алек Д. Эпштейн
[р. 1975]. Специалист по истории и политологии Израиля и арабо-израильского конфликта. С 1990 г. живет в Израиле, где защитил докторскую диссертацию о роли интеллигенции в общественно-политической полемике.

Автор десяти монографий и более чем двухсот пятидесяти статей, опубликованных в одиннадцати странах на пяти языках. Активно работает и в Российской Федерации, в частности, ежегодно читает лекции в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова и в других российских университетах.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Алексей Васильевич Михеев
[р. 1953]. Кандидат филологических наук. Лауреат премии *Человек книги* в номинации *Редактор* [2004].

В его переводе с польского напечатаны пьеса С. Мрожека *Портной* [*Суфлер*, 1995, № 4] и повесть Г. Херлинга-Грудзинского *Белая ночь любви* [*ИЛ*, 2000, № 8]. В *ИЛ* также неоднократно публиковались его статьи. Постоянный ведущий рубрики *Информация к размышлению.*

Надежда Гайдаш
Переводчик с английского, редактор.

В ее переводе опубликованы произведения М. Спарк, М. Э. Уилкинс, У. Х. Ходжсона, С. Дэдмена и др. Переводила для театра пьесы К. Черчилл, Д. Келли, А. Рэппа, Д. Макайвора, Д. Грейга, Р. Эстанислао и др.
В *ИЛ* публикуется впервые.

Сергей Валентинович Соколов
[р. 1958]. Переводчик с английского и польского языков. Лауреат премии *Лев и Единорог* [2007].

В его переводах выходили произведения Д. Диллона, Х. Хоссейни, Л. Винер, К. Мура, И. Хмелевской, М. Краевского, М. Домбровской, Я. Парандовского и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Игорь Померанцев
[р. 1948]. Поэт, прозаик, эссеист. Лауреат премий имени П. А. Вяземского [1996] и журнала *Октябрь* [2006]. С 1978 г. живет в Западной Европе [Лондон, Мюнхен, Прага], работает на радио *Свобода*.

Автор книг стихов *Стихи разных дней* [1993], *NEWS* [1998], *Почему стрекозы?* [1999], *Семейное положение* [2002], *Те, кто держали нас за руку, умерли* [2005] и др., а также четырех книг прозы и эссеистики, радиопьес.

Александра Юрьевна Лешневская
Переводчик с французского и английского языков. Аспирант ИВГИ РГГУ.

В *ИЛ* опубликованы ее статьи *Три "Гранде"* [2008, № 4], *"Казнить нельзя помиловать"* [2008, № 12] и перевод фрагмента пьесы *Обратная сторона Луны* Робера Лепажа [2008, № 11].

Ирина Мельникова
Переводчик с французского, кандидат филологических наук.

Автор работ по истории франкоязычной литературы Швейцарии. В ее переводах выходили произведения Д. Маджетти и К. Колом. В *ИЛ* публикуется впервые.

Антон Викторович Нестеров
[р. 1966]. Переводчик с английского и норвежского языков, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии *Инолиттл* [2002].

В его переводе публиковалась проза М. Брэдбери, А. Конан Дойла, Дж. Донна, У. Б. Йейтса, А. Мейчена, А. А. Милна, Ч. Симика, Э. Паунда, М. Элиаде, романы Т. Пратчетта *Угонщики*, Т. Фишера *Философы с большой дороги* и др., стихи Ага Шахида Али, Л. Глик, Дж. Грина, А. Дагена, Дж. Моррисона, Э. Паунда, У. Рэли, Л. Ферлингетти и др. Составитель, переводчик и комментатор тома прозы Дж. Донна *По ком звонит колокол* [2004], автор работ по английской поэзии рубежа XVI—XVII вв. Выпустил книгу стихов *Сон рыбы подо льдом* [2002]. В *ИЛ* неоднократно публиковались его переводы и статьи.

Олеся Леонидовна Качанова
Переводчик с английского, выпускница Литинститута имени А. М. Горького.

В ее переводе опубликованы романы Р. Сейфферт *Темная комната* и З. Смит *Белые зубы* [совместно с М. Денисенко]. В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть Р. П. Уоррена *Цирк на чердаке* [2001, № 5], рассказы М. Чейбона [2004, № 4] и Т. Капоте [2005, № 10].

Максим Петрович Свириденков
[р. 1984]. Переводчик с английского, журналист, поэт, прозаик.

Автор повести *Пока прыгает пробка* [2001], романа *Ангел вскрывает вены* [2004], публицистической книги *Полковник Касаткин: "Мы бомбили Берлин и пугали Нью-Йорк"* [2007], а также многих критических статей и рассказов. В *ИЛ* публикуется впервые.

Ирина Яковлевна Волевич
Переводчик с французского, лауреат премий *Инолит* [1997], *Книга года* [2006] и имени Ваксмахера [2008].

В ее переводе издавались романы *Приключения барона Фенеста* А. д'Обинье, *Пятница, или Тихоокеанский лимб* М. Турнье, *Голубые цветочки* Р. Кено, *Рыбья кровь* Ф. Саган [*ИЛ*, 1991, № 2], *Усы* Э. Каррера [*ИЛ*, 1999, № 4], *Праздники любви* Я. Муакса [*ИЛ*, 1997, № 7], *Все утра мира* [*ИЛ*, 1997, № 11], *Терраса в Риме, Альбуций, Вилла Амалия, Салон в Вюртемберге* П. Киньяра, *Лгунья* и *Эглантина* Ж. Жироду, *99 франков* Ф. Бегбедера [*ИЛ*, 2002, № 2], *Гринвичский меридиан* Ж. Эшноза, *Галантные дамы* П. де Брантома, поэмы в прозе С. Малларме, пьесы Ж. Жироду, М. Ашара, А. Руссена, М. де Гельдероде и др.

Нина Николаевна Федорова
Переводчик с немецкого, шведского, норвежского, нидерландского, английского и польского языков. Лауреат Австрийской государственной премии в области литературного перевода [1994], премии имени Жуковского [2004].

В ее переводе печатались произведения К. Вольф, Г. Гессе, Ф. Дюрренматта, А. Зегерс, К. Рансмайра, П. Низона, Й. Рота, А. Штифтера, И. Бергмана, Х. Мартинсона, Л. Густафссона, С. Дельбланка, Т. Линдгрена, Ё. Тунстрёма, рассказы М. Л. Кашниц и З. Ленца, драмы Р. Музиля и др.
Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

Тонконогова Стелла Дмитриевна
Редактор, переводчик с польского.

В ее переводах опубликованы произведения Ю.-И. Крашевского, Г. Сенкевича, Е. Анджеевского, Я. Ивашкевича, трактат Папы Римского Иоанна Павла II *Любовь и ответственность*.

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО.
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины японского художника Х. Ёнекуры *Предчувствие Второй мировой войны* [1936].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

Адрес редакции: 119017, Москва, Пятницкая ул., 41
(м. "Третьяковская", "Новокузнецкая") ;
телефон 953-51-47; факс 953-50-61.
e-mail inolit@rinet.ru

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции (понедельник, вторник, среда, четверг с 12.00 до 17.30).

Купить журнал можно:
в редакции;
в киоске "Новой газеты" (Страстной бульвар, д. 4);
в книжной лавке ВГБИЛ им. М. И. Рудомино (Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине клуба "Проект-О.Г.И." (Потаповский пер., д. 8/12, стр. 2, вход со двора; м. Чистые пруды, Китай-город);
в книжном магазине "У Максима" (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1-й Гуманитарный корпус; м. Университет);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в книжном магазине "Фаланстер" (Малый Гнездниковский переулок, д. 12/27, стр.2–3).

Электронный дайджест журнала:
http://magazines.russ.ru/inostran
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.03.2009
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,67.
Заказ № 1057.
Тираж 5000 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

PERSONA
Журнал «Персона»/«Persona»

Журнал о творчестве для творческих людей

Подписка-2009
38678
Объединенный каталог «Подписка-2009» – «Пресса России»
80905
Каталог агентства «Роспечать» – «Газеты. Журналы»

Продажа в книжных магазинах, театрах и культурных центрах Москвы и РФ

Льготная подписка и продажа в редакции (возможно с доставкой)

Редакция 119019 ул. Новый Арбат, д. 21
(495) 691-20-05, 691-50-27
E-mail persona-magazine@mail.ru
www.persona-magazine.ru

[6] 2009

РОМАН РОБЕРТА НАЯ "МИССИС ШЕКСПИР" / СТИХИ АНТОНИО ПОРПЕТТЫ И ДЖО ГРИНА / РАССКАЗЫ НЕДИМА ГЮРСЕЛЯ / ЭДВАРД ЛИР В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ПЕТР ВАЙЛЬ В РУБРИКЕ "CARTE BLANCHE" / СТАТЬЯ ДМИТРИЯ ВЕДЕНЯПИНА "ЕВРЕЙСКИЙ-ПИСАТЕЛЬ-ЗИНГЕР"

(*роль*) **Ex** Each character was ~ed with so much grace and art. Все роли были исполнены с большим изяществом и мастерством.

NEW! **sustainability** [səˌsteɪnəˈbɪlətɪ] *n* устойчивость; устойчивое развитие; ecological / environmental ~ экологическая устойчивость, устойчивость окружающей среды *(предполагает поддержание экологической целостности и запасов природных ресурсов)*; financial ~ финансовая устойчивость; the Royal Award for S. *брит* королевская премия за устойчивое развитие *(вручается предпринимателям)*

NEW! **sustainable** [səˈsteɪnəbl] *adj* **1.** устойчивый; жизнеспособный; ~ development устойчивое развитие; ~ economic growth устойчивый экономический рост **2.** экологически рациональный; способный существовать, не нанося ущерба окружающей среде; «устойчивый»; ~ agriculture экологически рациональное сельское хозяйство, «устойчивое» сельское хозяйство; ~ forestry экологически рациональное лесопользование, «устойчивое» лесопользование; ~ use of natural resources рациональное использование природных ресурсов

sustained [səˈsteɪnd] *adj* **1.** длительный, продолжительный; непрерывный **Syn** long, protracted **2.** монотонный *(о звуке)*

NEW! **sustaining** [səˈsteɪnɪŋ] *adj* **1.** поддерживающий, подпирающий; ~ power стойкость, выносливость **2.** доказывающий, подтверждающий

NEW! **sustaining program** *n амер радио* некоммерческая радиопрограмма

sustenance [ˈsʌstənsˌ] *n* **1.** средства к существованию **2.** питание; пища **Syn** food, fare **3.** поддержание, поддержка, помощь **Syn** maintenance

sustention [səˈstenʃən] *n* поддержание *(в том же состоянии)*

sustentive [səˈstentɪv] *adj* поддерживающий; подкрепляющий

susurrant [suːˈsʌrənt] = susurrous

susurrate [ˈsuːsəreɪt] *v книжн* **1.** шептать **2.** издавать лёгкий шорох, шелест

susurration [ˌsuːsəˈreɪʃən] *n* **1.** шёпот **Syn** whisper **2.** лёгкий шорох, шелест

susurrous [suːˈsʌrəs] *adj* **1.** шепчущий **2.** шуршащий; шелестящий

susurrus [suːˈsʌrəs] = susurration

Susy [ˈsuːzɪ] *n уменьш от* Susan, Susannah Сюзи *(женское имя)*

Sutherland [ˈsʌðələnd] = Sutherlandshire

Sutherlandshire [ˈsʌðələndʃə] *n геогр* Сатерленд(шир *(графство Шотландии)*

Sutlej [ˈsʌtlɪdʒ] *n геогр* Сатледж *(река на территории Пакистана, Индии, Китая)*

sutler [ˈsʌtlə] *n* маркитант **Syn** canteen keeper

...дятся. **3.** нить для сшивания раны 4. сшива...ие, соединение

NEW! ...*мед* накладывать швов, сшивать

SUV *сокр от* Sport Utility Vehicle внедорожник *(автомобиль повышенной проходимости, предназначенный для активного отдыха, чаще всего с прицепом на все четыре колеса)*

Suva [ˈsuːvə] *n геогр* Сува *(столица государства Фиджи, юго-западная часть Тихого океана)*

suzerain [ˈsuːzəreɪn] *n* **1.** феодальный властитель, сюзерен **2.** сюзеренное государство; ~ lord правитель сюзеренного государства

suzerainty [ˈsuːzəreɪntɪ] *n* **1.** власть сюзерена **2.** сюзеренитет

SVC *буквенный код для* El Salvador colon сальвадорский колон *(денежная единица)*

svc. *сокр от* service **1.** обслуживание, сервис **2.** служба

NEW! **...lte** [svelt] *adj* стройный, гибкий *(о женщи...)* **Syn** thin

Sverdlovsk [ˌsveəˈdlɒfsk] *n геогр, ист* Свердловск *(название г. Екатеринбург в период с 1924 по 1991 г.), см тж* Ekaterinburg

Sverdrup Islands [ˌsveədrʊp-] *n pl геогр* острова Свердруп *(группа островов в составе Канадского Арктического архипелага)*

SVO *сокр от* subject verb object *лингв* тип языка с характерным порядком слов: подлежащее - сказуемое - прямое дополнение *(как в русском, английском), см тж* SOV

SW[1] *сокр от* short waves короткие волны

SW[2] *сокр от* southwest юго-запад

Sw. *сокр от* Sweden Швеция

swab [swɒb] **I** *n* **1.** 1) швабра, щётка **Syn** mop 2) *воен* банник *(насадка типа щётки на шомпол)*; шомпол 3) помазок **2.** *мед* 1) тампон 2) мазок **3.** *мор жарг* офицерский погон **4.** 1) *презр* салага 2) *разг* матрос, моряк **Syn** sailor, gob

II *v* **1.** *(тж ~ down)* мыть шваброй; подтирать шваброй **Ex** Every morning, the sailors had to ~ down the deck of the ship. Каждое утро матросы должны были швабрами драить палубу на корабле. **2.** *мед* смазывать, наносить тампоном **Ex** She ~ bed the wound with iodine. Она смазала рану йодом.

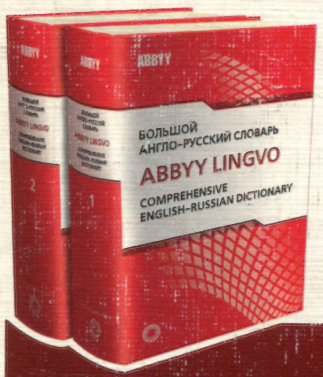
swabber [ˈswɒbə] *n* **1.** юнга, драящий палубу **2.** грубый, невоспитанный, подлый человек **3.** разг увалень **Syn** clodhopper, bumpkin **4.** швабра, веник, метла

Swabia [ˈsweɪbɪə] *n геогр, ист* Швабия *(историческая область в Германии)*

swaddle [ˈswɒdl] **I** *n* = swaddling clothes

II *v* **1.** пеленать, свивать *(младенца)* **2.** *(тж ~ up)* бинтовать, забинтовывать **3.** сдержи...

S



Словари ABBYY Lingvo
Современный язык
Академический подход

ABBYY SOFTWARE HOUSE
www.ABBYY.ru
+7 (495) 783 3700

job@abbyy.com
Приглашаем на работу лингвистов и лексикографов

ISSN 0130-6545 09005
9 770130 654770
ISSN 0130-6545 «ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА», 2009, № 5, 1-288
ИНДЕКС 70394